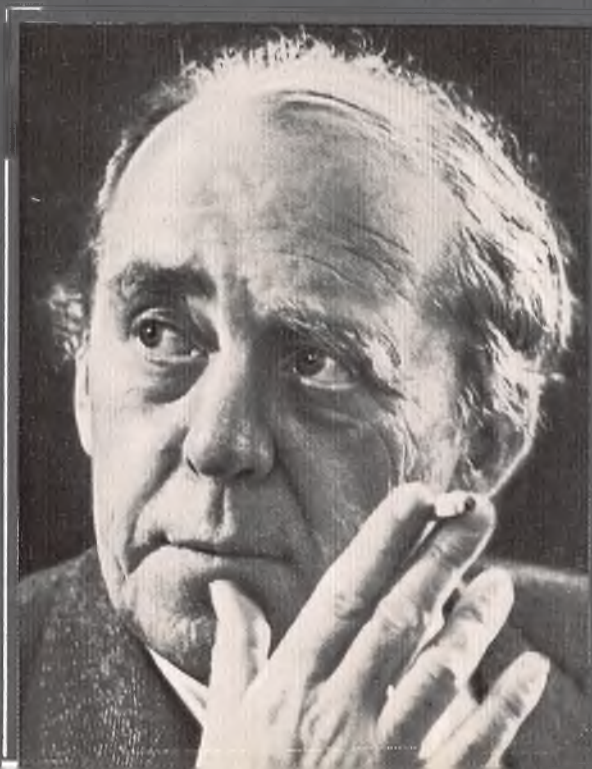
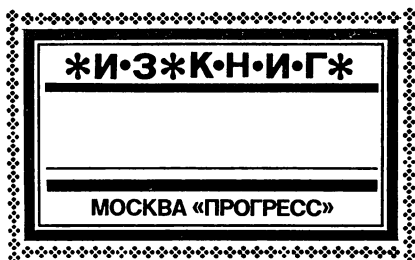


# Генрих БЕЛЛЬ

Каждый день умирает  
частица свободы

О себе самом.  
Франкфуртские лекции.  
Письмо моим сыновьям.





**\*И•З•К•Н•И•Г\***

**МОСКВА «ПРОГРЕСС»**

**ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ, Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,  
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,  
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР

# Генрих БЁЛЛЬ



**Каждый день умирает  
частица свободы**



**Художественная публицистика**

*Перевод с немецкого*



Москва «Прогресс» 1989



ББК 84.4Ф

Б 43

Составитель *Е. А. Кацева*

Предисловие *Т. Л. Мотылевой*

Комментарии *А. А. Гугнина* и *А. В. Карельского*

Художник *Б. И. Левинсон*

Редактор *Л. Н. Григорьева*

В работе над сборником принял участие доктор филологических наук *П. М. Топер*

## **Бёлль Г.**

Б43 Каждый день умирает частица свободы: Пер. с нем./Сост. Е. А. Кацева; Предисл. Т. Л. Мотылевой; Коммент. А. А. Гугнина и А. В. Карельского.— М.: Прогресс, 1989.— 368с., 1 л. ил. — (Зарубеж. худож. публицистика и док. проза). ISBN 5—01—001574—9

В сборник западногерманского писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Бёлля (1917—1985) включены художественно-публицистические произведения: повесть «Потерянная честь Катарины Блюм...», эссе, речи, интервью, исповедальное «Письмо моим сыновьям» — последнее творение страстного антифашиста, чьи исполненные высокого гуманизма произведения во многом определили характер-послевоенной прогрессивной литературы Западной Германии.

Б 4703010400—110 70—89  
006(01)—89

**ББК 84. 4Ф**

ISBN 5—01—001574—9

© 1974, 1975, by Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln

© 1981, 1986 Lamuv Verlag

© Составление, предисловие, комментарии, перевод на русский язык, кроме произведений, отмеченных в содержании \*, и художественное оформление издательство «Прогресс», 1989.

## СОПРИЧАСТНОСТЬ

Генрих Бёлль (1917—1985) начал литературную деятельность, вернувшись с фронта. В 1947 году появились в печати ФРГ его первые рассказы, в 1951 году он получил первую в своей жизни литературную премию — она была присуждена ему «Группой 47». Это было неформальное объединение молодых писателей, которым хотелось создать новую литературу, отвечающую запросам времени; отвращение к недавнему прошлому Германии, к фашизму, милитаризму подразумевалось само собой. Впоследствии Бёлль вспоминал: «Насколько группа обнаруживала общую тенденцию, это был своего рода «критический реализм»<sup>1</sup>.

«Я никогда не чувствовал себя одиночкой,— говорит Бёлль на первой же странице своих «Франкфуртских лекций». — Напротив, я всегда ощущал свою связанность с другими, свою сопричастность,— сопричастность времени и современникам, всему тому, что было пережито, испытано, видно и слышано моим поколением...» В ФРГ выросла, в первые же послевоенные десятилетия, сильная художественная проза, представленная отчасти и старшими мастерами, Вольфгангом Кёппеном, Хансом-Эрихом Носсаком, но прежде всего талантливыми писателями послевоенного поколения, такими, как Альфред Андерш, Ханс Вернер Рихтер, Гюнтер Грасс, Зигфрид Ленц. В этом ряду Генрих Бёлль занимает особо почетное место — он завоевал широкую читательскую популярность не только в ФРГ, но и далеко за ее пределами. Общий тираж произведений достиг еще при его жизни 20 миллионов. Не случайно, что именно он, единственный среди немецкоязычных писа-

---

<sup>1</sup> История литературы ФРГ. М., 1980, с. 37.

телей послевоенного поколения, был удостоен в 1972 году Нобелевской премии. Примечательно, с другой стороны, что его творчество живо заинтересовало читающую публику не только на Западе, но и в социалистическом мире. И особенно — в Советском Союзе. На родине Бёлля высказывалось даже мнение, что в СССР его больше любят, лучше знают, чем в ФРГ. Еще в конце пятидесятых годов у нас стали печататься его рассказы, затем повести «Хлеб ранних лет» (1955), «И не сказал ни единого слова» (1953), «Чем кончилась одна служебная командировка» (1966), «Самовольная отлучка» (1964), а также романы «Где ты был, Адам?» (1951), «Дом без хозяина» (1954), «Глазами клоуна» (1963), «Бильярд в половине десятого» (1959), «Групповой портрет с дамой» (1971); в сравнительно недавнее время наши читатели познакомились с его последними романами — «Заботливая осада» (1979), «Женщины на Рейне» (1985).

В чем секрет популярности Бёлля как художника? Видимо, прежде всего — именно в душевной сопричастности к тому, что волнует миллионы людей. Его творчество по своей сути глубоко демократично, и это свойство выражено у него не в декларациях, не в громких словах (к которым он всегда был нетерпим), а именно в умении не только передавать, но и разделять заветные, затаенные думы и чувства своих героев. В первую очередь — угнетенных и страдающих героев. Персонажи произведений Бёлля могут принадлежать к разным классам общества, однако не зря его называли «писателем маленьких людей». Он склонен был принимать это обозначение как похвалу, но подчас недоумевал: где, собственно, граница, отделяющая маленьких людей от больших?

Мне хорошо запомнилась встреча Бёлля с московскими литераторами, состоявшаяся в первый его приезд в нашу страну, 1 октября 1962 года. Ему задавали много вопросов о его жизни и творчестве, и он охотно отвечал. Спросили, как он относится к Кафке. Бёлль с большой убежденностью сказал: «Считаю его величайшим мастером немецкой прозы XX века». А на подобный же вопрос о Гансе Фалладе он ответил: «Это хороший писатель, но по сравнению с Кафкой явление совсем другой категории. В рамках своей категории это хороший писатель».

Такие суждения Бёлля могут удивить — ведь его сочинения по полноте житейской достоверности, богатству деталей ближе к книгам Фаллады, чем к «Процессу» или «Замку» Кафки. Но в творчестве Кафки Бёлля явно привлекала глубина художественного подхода к трагическим и абсурдным аспектам бытия, острая боль за человека, выраженная с высоким лаконизмом. С другой стороны, понятно сдержанное отношение Бёлля к Фалладе, который ведь тоже был писателем «маленьких лю-

дей». У Фаллады будничная жизнь раскрывается скорей на событийном, чем на психологическом уровне, социальные проблемы вырастают из острых сюжетных перипетий. У Бёлля, как правило, нет острых сюжетов, но в изображении повседневного существования людей есть свои психологические глубины, своя поэтика и подспудная символика. И во всем этом он, по сравнению с Фалладой, ближе к тем классикам, у которых учились они оба — к Диккенсу и особенно Достоевскому.

Оригинальность художественной манеры Бёлля не в малой степени основана на том, что он, как автор, самоустраняется — действие у него, как правило, разворачивается через диалоги героев или через их неслышную внутреннюю речь: лица и события увидены их глазами. (Личностный повествователь явно присутствует лишь в романе «Групповой портрет с дамой», и там этот повествователь, иронически именуемый «авт.», — фигура условная, не автобиографическая.) Естественно, что Бёлль незаметно подключается к мыслям персонажей, вводит в их сознание элементы собственных размышлений. И естественно, вместе с тем, что он нередко испытывает желание высказать свое мнение о текущих делах впрямую, от собственного имени. Его многочисленные статьи и эссе — представленные в данной книге лишь немногими, но характерными образцами — рождались именно из этой внутренней потребности, а иногда и диктовались настоятельной необходимостью вмешаться в те или иные события, волнующие его соотечественников.

По душевному складу он не был политическим деятелем и не чувствовал себя таковым. Он предпочел бы спокойно работать в уединении и не раз говорил об этом; но вместе с тем он признавал и утверждал, что «все, что публикуется, представляет политический акт». Он был убежден, что на литературу в наши дни силою событий возложена огромная ответственность, — читатель ждет от писателя весомых суждений по тем общественным и нравственным вопросам, в которых не в состоянии разобраться ни профессиональные политики, ни церковники. И от таких обязанностей, такой ответственности писатель не вправе уклониться. Так получилось, говорит Бёлль, что сама биография его «политизировала».

Разумеется, политические выступления Бёлля и та система взглядов, которая раскрывается в его романах и повестях, — не просто дань внешней необходимости, скорей тут можно говорить о нравственном императиве. К своей деятельности художника-демократа, художника-гуманиста Генрих Бёлль был подготовлен уже обстоятельствами рождения и воспитания, — об этом есть немало признаний и в его беседах с Кристианом Линдером, и в его документальной повести «Что станет с мальчиком?». Профессия отца — столяра-умельца, резчика по дере-

ву — сама по себе определяла связь будущего писателя с глубинными традициями трудового народа.

Родители Генриха Бёлля были католиками, причем даже «практикующими», то есть соблюдали обряды, — и все-таки, по его словам, в их религиозности было нечто «нецерковное». Отец в силу своей профессии изготовлял мебель и утварь для костелов и соборов, часто общался на деловой почве с католическим духовенством — и судил о нем весьма трезво. (Отзвук этой трезвости налицо в сатирическом изображении католической иерархии в ряде произведений Бёлля, особенно в книгах «И не сказал ни единого слова», «Глазами клоуна».) Вместе с тем для семьи Бёллер, включая и будущего писателя, религия была духовной опорой против господствующей идеологии, она заключала в себе этическое начало, враждебное фашизму, расизму, культу насилия. Генрих Бёллер запомнил слова матери, сказанные, когда она узнала, что Гитлер стал рейхсканцлером: «Значит, будет война!» Запомнились ему и нелегальные собрания католических групп молодежи, проходившие в родительской квартире в 1933—1934 г., — ему разрешалось на них присутствовать.

Бёллерю — одному из немногих в школе, где он учился, — удалось уклониться от вступления в гитлеровский союз молодежи (гитлерюгенд). От воинской повинности ему уклониться не удалось, несмотря на все предпринятые им ухищрения, — лишь на исходе войны он сумел дезертировать. Три раза он был ранен, побывал в плену, испытал все тяготы, лишения, опасности, муки голода и жажды, какие мог испытать солдат. Впрочем, он заранее представлял себе, что его ждет: читал и Ремарка, и Барбюса, отдавая предпочтение последнему. Возможно, что эти чтения повлияли и на характер изображения войны в его собственном творчестве. О жестокости и вопиющем абсурде фронтового быта, об угрозе смерти, подстергающей солдата на каждом шагу, — обо всем этом было уже много написано еще до второй мировой войны. Бёллер-писатель обращался к фронтовому опыту преимущественно тогда, когда ему хотелось взглянуть на прошлое под углом зрения современности. В то же время послевоенные годы он рассматривал с точки зрения человека, прошедшего войну. Именно так взаимодействует прошлое с настоящим в его романах «Дом без хозяина», «Групповой портрет с дамой», «Женщины на Рейне».

Западногерманская критика не раз утверждала, что война была для Бёлля тем основополагающим переживанием, которое определило его творческий путь. Но в беседе с Кристианом Линдером Бёллер внес существенную поправку: исходным переживанием для него как для писателя был «распад буржуазного общества». Ведь и экономический кризис на рубеже тридцатых

годов, и торжество фашизма, и война явились продуктами этого распада.

Бёль считал, что писатели его поколения мало чему могут научиться у тех прославленных мастеров, которые были в эмиграции и не вернулись в Германию после войны: ведь и Томас Манн, и Альфред Дёблин, и Ремарк, и Фейхтвангер не пережили того, что пережил их народ за двенадцать черных лет... Возможно, что он понимал творчество этих мастеров несколько упрощенно,— но так или иначе после войны он был убежден, что возврат к общественному укладу периода Веймарской республики невозможен.

Так называемая Аленская программа Христианско-демократического союза, обнародованная в начале 1947 года, произвела на молодого Бёлля сильное впечатление и вызвала у него прилив радужных надежд. В свете этой программы он представлял себе будущую Германию как страну, где восторжествуют социалистические и вместе с тем христианские идеи. Но его ожидания не оправдались — Аленская программа, носившая у ХДС преимущественно пропагандистский характер, была быстро положена под сукно. Началось восстановление старых форм жизни, «буржуазность, погоня за прибылью». Хозяином положения сделался «тотальный капитализм», собственностью опять завладели старые силы.

Борьба с этими старыми силами стала основным содержанием жизни Бёлля. Не только как художника, но и как публициста, общественного деятеля. В 1974 году в интервью сотрудникам киностудии «Бавария-фильм» он сказал: «Я давно уже не был аполитичным и весьма критически следил за проведением денежной реформы, за условиями, в которых она происходила. Но активность в сфере внутренней политики я проявил тогда, когда стало ясно: освободители бросят нас на произвол судьбы, как только встанет проблема вооружения. Это очень скоро случилось в 1950—1951 гг., когда зашла речь о необходимости снова вооружаться, когда стали проявлять огромную снисходительность к прежним нацистам и самым настоящим военным преступникам,— их выпустили из заключения и где-то прятали, и старых генералов, и политиков»<sup>1</sup>.

Активность Бёлля в сфере внутренней политики проявилась разнообразно, и не только в форме интервью или эссе. В 1961 году с группой сотрудников он начал выпускать журнал «Лабиринт», где делалась попытка противопоставить господствующей социально-политической системе программу, основанную

---

<sup>1</sup> Цит. по брошюре «Генрих Бёль. Творчество преодолевает границы», изданной городской библиотекой г. Кёльна в 1986 г. на немецком и русском языках.

на христианских идеалах. Однако этот журнал не вызвал сочувствия общественности и прекратил свое существование после выхода шести номеров. Зато острые политические выступления самого Бёлля встречали живой интерес широкой публики и вызвали приступы злости у реакционеров. Так было с его речью, произнесенной в 1966 году на открытии драматического театра в Вуппертале. В этой речи прозвучали слова: «Там, где могло и должно было быть государство, я вижу лишь прогнившие остатки власти; защита этих, по-видимому, драгоценных рудиментов гниения ведется с крысиной яростью»<sup>1</sup>. Подобные выступления Бёлля, конечно же, сильно раздражали его антагонистов. В те же годы росла популярность писателя, его книги выходили все новыми изданиями, его деятельность отмечалась все новыми премиями университетов и литературных академий в разных землях ФРГ и за рубежом. К его слову прислушивались. На выборах 1972 года он поддержал СДПГ, он одобрял ее «восточную политику», направленную на урегулирование отношений с миром социализма. В 1979 году президент ФРГ Вальтер Шельс решил наградить Генриха Бёлля, а также Гюнтера Грасса, Зигфрида Ленца орденом «Крест за заслуги перед ФРГ» — но все три писателя отказались от этой награды.

В последние годы жизни Бёллер настолько активно, насколько позволяли одолевавшие его болезни, включился в движение за мир. Он стал поддерживать партию «зеленых», выступающую за разоружение и защиту природной среды. Он поддержал также «Крефельдское воззвание» и призыв европейских писателей, выступающих против нейтронной бомбы. 10 октября 1981 года он произнес речь в Бонне на массовой демонстрации в защиту мира, в которой приняли участие около трехсот тысяч человек.

Понятно, что политическая деятельность писателя навлекла на него постоянные нападки со стороны правых сил. Его обвиняли в подрыве основ существующего строя — его противники изобрели даже словечко «бёллершвизм». Однако Бёллер откровенно высказывался не только о том, что сближало его с коммунистами, но и о том, что его от них отделяло.

Этому кругу вопросов уделено большое внимание в интервью Бёлля, помещенном в газете «Цайт» от 11 августа 1967 года. Здесь проявляется характерное для него желание говорить не только от своего имени, но и от имени многих — прежде всего от своего поколения. Интерес к коммунизму или даже сочувствие к нему, по мнению Бёлля, «закономерный процесс духовной жизни». Но и у него, и у его сверстников вставали преграды на этом пути: с одной стороны, господство Гитлера, с другой — преступления Сталина. «Вероятно, я мог бы — ведь каждый

---

<sup>1</sup> Там же.

иногда позволяет себе такие гипотетические вольности — стать коммунистом. Но я никогда не был им и не являюсь им. Может быть, я несостоявшийся коммунист...» Далее Бёльль сказал: «Я хотел бы, чтобы коммунизму было дано для осуществления своей власти столько же столетий, сколько было дано капитализму. Ибо я все еще считаю коммунизм надеждой, возможностью для человека подчинить себе «эту землю», навести на ней порядок — впрочем, по-моему, можно воспользоваться и словом «социализм». Не скрою, что эту надежду я разделяю со всеми народами Земли, которые теперь начинают освобождаться. Но коммунизм-социализм должен был бы избавиться от всех националистических и великодержавных примесей. Он должен был бы отказаться от опасений, которые для меня непостижимы, — от опасений, которые ему, скажем, внушает религия и искусство. Он должен был бы установить более свободное отношение к тому и к другому, иметь к ним больше доверия». Попутно Бёльль еще раз высказал свое резко непримиримое отношение к «безумию» Сталина и свою симпатию и почтение к «утопленнице в Ландвер-канале», то есть к Розе Люксембург.

Оставим пока в стороне позицию Бёльля по отношению к Советскому Союзу. Из приведенных высказываний писателя так или иначе ясно, что его отделяли от «социализма-коммунизма» не идеи, не суть, а скорее искажения этих идей, действительно имевшие место. Очевидно, с другой стороны, что его сочувствие народам, борющимся в разных концах Земли за свое независимое существование, было осознанным и прочным и сохранилось до конца его дней. Об этом говорит и тот контекст, в котором упоминаются Куба и Никарагуа в его последнем романе «Женщины на Рейне». Младший друг Бёльля, отважный и оригинальный публицист Гюнтер Вальраф, в статье-некрологе свидетельствовал, что только болезнь помешала Бёльлю осуществить свое давнее желание — поехать на длительный срок в «такую страну, как Никарагуа», и там «присмотреться к новой христианско-социалистической модели и по-новому развернуть свои мечты». Такого рода мечты — не слишком определенные, но искренние и благородные — продолжали жить в сознании Бёльля на закате его жизни. Показательно, что герой его последнего романа, старый газетный магнат Фриц Тольм, который, подобно горьковскому Егору Булычеву, прожил свой век не на той улице, на старости лет приходит к мысли, что «социализм должен прийти, должен победить...».

Бёльль был и остался решительным противником не только фашизма и милитаризма, но и общественного уклада, при котором одни объедаются, а другие недоедают. И все-таки проблема революционного преобразования мира для него — как и для многих писателей-гуманистов XX века — оставалась камнем прет-



кновения. Это определяло расстановку идейных сил в его романах. На одном полюсе — те, кого в ФРГ называют «вечно вчерашними»: бывшие нацисты и их пособники, перекрасившиеся, замаскировавшиеся, усвоившие официально-демократическую фразеологию; особенно богатая галерея таких типов представлена в эскизных, но выразительных зарисовках в романе «Женщины на Рейне». На другом полюсе — добрые и честные люди, равнодушные к своему житейскому прусодействию и протестующие против неприспешенного для них строя жизни в одиночку, часто эксцентричными и вызывающими способами. Эстрадный артист Ганс Шнир, не сумевший устроить свою жизнь по общепринятым нормам бюргерского бытия, пытается добыть себе пропитание, распевая на городской площади песенку о «разнесчастном римском папе» («Глазами клоуна»). Столяры Грули, отец и сын, в знак протеста против бессмысленных порожних автопробегов, которые пришлось проделать Грулю-сыну во время военной службы, демонстративно сжигают автомашину, принадлежащую бундсверу («Чем кончилась одна служебная командировка»). Молодой Лев Груйтен («Групповой портрет с дамой») выражает свое отвращение к буржуазному обществу тем, что выбирает себе заведомо непрестижную профессию мусорщика. Персонаж романа «Женщины на Рейне» Карл фон Крейль, уволенный с дипломатической службы за слишком вольный образ мыслей, избирает совсем уж нелепую форму протеста — разбивает топором дорогие концертные рояли в богатых домах...

Понятно, что Бёллю пришлось по душе бунтарские выступления молодежи в странах Запада в конце 60-х — начале 70-х годов. В марте 1970 года при встрече писателя с сотрудниками и авторами журнала «Вопросы литературы» завязался любопытный разговор по этому поводу. В ходе беседы вспомнили один из ключевых эпизодов романа «Бильярд в половине десятого», где архитектор Роберт Фемель в качестве офицера саперных войск отдает приказ взорвать здание аббатства святого Антония, построенное некогда по проекту его отца; этот поступок, не имеющий ничего общего с военной необходимостью, истолкован в романе как акт протеста против войны, против всех вызванных ею смертей и разрушений.

По этому поводу Бёль изложил свою точку зрения на экстремистские действия такого рода: «Поймите меня правильно, я не призываю к разрушению памятников культуры. Но в нашем обществе много таких людей, у которых почитание памятников культуры — одно лицемерие. Вспомним войну. Американская авиация пощадилась Кёльнский собор — но нещадно билась по рабочим кварталам, по густонаселенным домам — масса людей погибла. Да, немецкая авиация была по французским го-

родам — но пощадила Амьенский собор, Шартрский собор. Наверное, и с той, и с другой стороны среди военного командования были порядочные люди, которые действительно хотели сохранить памятники культуры. И в гитлеровской армии были такие генералы, один из них спас Париж от разрушения. Но в то же время солдат вермахта расстреливали без всякой пощады, если возникало хоть малейшее подозрение, что они хотят дезертировать... У нас есть миллионеры, которые охотно жертвуют большие деньги на восстановление Флоренции,— а то, что происходит в Биафре или Вьетнаме, их не волнует нисколько. Когда молодежь протестует против такого почитания культурных ценностей, которое носит чисто показной, музейный характер, я могу это понять... В протесте против всего канонизированного, раз навсегда установленного есть, по-моему, своя необходимость — иначе не будет движения вперед».

Подобные взгляды Бёльль высказывал не раз, устно и печатно, и это не могло нравиться консервативным силам ФРГ. В 70-е годы, по мере того как экстремистские элементы молодежи соскальзывали на опасный путь терроризма, в стране началась травля передовой интеллигенции; в среде учителей, профессоров, деятелей искусства искали «духовных отцов» терроризма — это был благовидный предлог для расправы с людьми, неудобными влиятельным кругам. Травле подвергся и Генрих Бёльль: в июне 1971 года полиция устроила обыск в загородном доме всемирно известного писателя. Обвинения в «пособничестве террористам» Бёльлю довелось слышать и читать и в последующие годы. А он и не думал защищать терроризм, но настаивал на том, что борьба с ним не должна вырождаться в полицейскую истерию, не должна становиться прикрытием для преследования ни в чем не повинных людей.

На эту тему и написана повесть «Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести». В ряду художественных произведений Бёльля она занимает особое место — сам Бёльль в послесловии к ее повторному изданию сказал, что это «переодетый повестью памфлет». «Катарины Блюм» находится как бы на пограничной полосе между художественной прозой и публицистикой: ее сюжет создан творческим воображением автора, персонажи вымышлены, но вся она насыщена актуальной полемикой. В печатном органе, именуемом ГАЗЕТА, западногерманские читатели и без подсказки узнавали бульварную газету «Бильд», выходящую большим тиражом, — великую охотницу до политических сенсаций, играющих на руку самой черной реакции. А подзаголовок «Как возникает насилие и к чему оно может привести» открытым текстом указывал на жизненную проблему, которая здесь ставится в обнаженно-памфлетной форме.

В структуре повести отчасти использован опыт, приобретенный писателем в работе над романом «Групповой портрет с дамой». Вновь перед нами повествование-расследование: в самом начале обозначена острая конфликтная ситуация, а потом идет изложение предшествующих событий и приведены «показания» разных лиц — участников и свидетелей. В сущности, и здесь, в повести, дан «групповой портрет» разноликих современников — среди них есть и буржуа, и либеральные интеллигенты, и полицейские, и журналисты, и рабочие, а в центре стоит женщина, молодая, обаятельная, чистая душой, готовая на любые жертвы и любой риск во имя дорогого ей человека. Катарина Блюм во многом похожа на Лени Пфейфер из «Группового портрета» — она привлекает симпатии читателей, и ей безраздельно принадлежат симпатии автора. И все же Катарина, подобно Лени, — как уточнял впоследствии в беседах сам писатель — вовсе не идеальная героиня. Она просто порядочная женщина, способная действовать по велению сердца. И если веление сердца толкнуло ее на преступление, на убийство бессовестного газетчика Тётгеса, поднявшего против нее клеветническую кампанию и оскорбившего ее женскую честь, — значит, в этом самосуде, в этом очевидном нарушении закона есть своя моральная правда.

Враждебная Бёллю пресса попыталась истолковать повествование о Катарине Блюм как роман о террористах. Но писатель резонно отвечал: ни Катарина, ни любимый ею Людвиг Геттен не являются террористами. Геттен преследуется полицией потому, что дезертировал из бундесвера и растратил деньги из воинской кассы. Катарина помогает ему бежать. Проблема терроризма сама по себе никак не ставится, писателя занимает совсем другая проблема: как можно методами газетной травли и полицейской слежки даже безобиднейшего по природе человека довести до преступления.

Эта травля, эта слежка ведутся беззастенчиво — газетчики сотрудничают с полицией, играют ей на руку, оперируют слухами, сплетнями, создающими беззащитной девушке скандальную славу. Сенсационный материал о Катарине Блюм подается на первой полосе, под громадными заголовками. Возникает лживая версия о заговоре террористов, в котором якобы участвует Катарина; ее именуют «кремлевской теткой», «красной крысой», не щадят ее близких. Журналист Тётгес под видом маляра проникает в палату больницы, где лежит мать Катарини, рассказывает ошарашенной женщине небылицы о ее дочери; слова тяжелобольной фрау Блюм: «Почему должно было так случиться?» — публикуются в газете в «отредактированном» виде — «Так и должно было случиться!» Полицейские со своей стороны ведут расследование с заранее обдуманном намерением —

изобличить «красных». На заметку берется и то, что отец Катарина когда-то кому-то сказал: «Социализм — это не самое худшее», и то, что мать ее крестной живет в ГДР. События разворачиваются стремительно. Непоправимо опозорена не только Катарина, но и семья, где она работала приходившей экономкой: адвокат Блорна и его жена, архитектор, в результате клеветнической газетной кампании теряют клиентуру и находятся под угрозой разорения.

В самом начале повести читатель находит деталь, которая кажется загадочной. Полицейский комиссар Мёдинг «по служебной, а не личной надобности переодевается шейхом». Зачем понадобилось комиссару надевать арабский костюм? Оказывается, действие происходит во время традиционного в городе карнавала. Комиссар вовсе не расположен развлекаться, но и он, и его сотрудники облачаются в маскарадную одежду «по служебной надобности» — для того чтобы внедриться в толпу горожан, vessлящихся на улицах и в кафе, завязать знакомства с подозрительными лицами и разведать их тайны. Мимоходом раскрывается техника слежки, которой подвергся Людвиг Геттен: «Мы ни на минуту не теряли его из виду, за каждым его шагом следила дюжина наших людей, переодетых шейхами, ковбоями, испанцами, оснащёнными мини-радиопередатчиками, прикидывающихся подгулявшими участниками карнавала...» Дело тут не в одном лишь Геттене, не в одной лишь Катарине. Из той картины деятельности полиции, которая дана в повести, следует, что круг лиц, находящихся на учете в качестве подозрительных, очень широк, и либералы-интеллигенты, даже умеренные, находятся под особо пристальным присмотром. А желтая пресса со своей стороны подливает масло в огонь.

К повести-памфлету о Катарине Блюм примыкает и следующее произведение оригинального жанра — остросатирическое повествование в письмах «Донесения о мировоззренческом состоянии нации». Бёль отчасти и в романе «Групповой портрет с дамой», и тем более в повести о Катарине Блюм продемонстрировал высокое искусство иронической стилизации, умение подделываться под стиль официальных документов, незаметно пародируя их. В «Донесениях о мировоззренческом состоянии нации» мастерство Бёля как пародиста проявляется во всем блеске. Изложение ведется от имени тайных полицейских агентов, которые проникают в среду подозреваемых, ведут провокационные разговоры, стараясь навести своих собеседников на криминальные высказывания. Для своих донесений они применяют конспиративный словесный код, пользуются псевдонимами или инициалами, — этот старательно закодированный лексикон в такой густой концентрации сам по себе производит неотразимо комическое впечатление. Агенты усердно составляют

списки подозреваемых людей, главным образом, разумеется, из среды интеллигенции или учащейся молодежи; они добросовестно сообщают о всех фактах и предметах, которые должны, по их разумению, вызвать настороженность в высших сферах, — будь то пристрастие некоторых лиц к сыру «пармезан» (который будто бы может быть использован для изготовления бомб) или статьи о революциях 1848 или 1918 годов, а также издания ГДР, найденные в небольшом количестве при сплошном просмотре содержимого школьных парт. Неловкость всех этих полицейских изысканий становится особенно очевидной по мере того, как мы узнаем, что тайные агенты законспирированы даже друг от друга и, сами того не зная, доносят... друг на друга.

В богатом литературном наследии Генриха Бёлля его «Франкфуртские лекции», читанные в 1964 году, — органически важная часть. Выступая перед студентами, писатель поделился своими заветными мыслями о литературном творчестве; это не столь лекции, сколь размышления, монологи. Бёлль тут не теоретизирует и не поучает, а говорит в доходчивой, даже несколько вызывающе неакадемической форме о своем понимании задач творчества.

Общество без литературы мертво, читаем мы на одной из последних страниц. И, в сущности, все четыре лекции посвящены развитию главной мысли: литература — одна из живых, жизнетворящих сил общества. Бёлль убежден в высоком социальном назначении литературы и именно поэтому нестерпим к официальному пустословию, ко всякому снобизму, элитарности. Язык трудового народа, говорит он, более конкретен, предметен и потому более богат, чем речь общественной верхушки. «Словарь великих мира сего так же бессодержателен, как словарь политиков. По меркам эстетики устной речи какой-нибудь башмачник или рыночная торговка оказались бы, наверное, королем и королевой в сравнении с пустыми и скучными словами из запаса великих мира сего». Бёлль отвергает принятое у критиков разграничение литературы серьезной и развлекательной, не приемлет он и ставшего ходячим термина «ангажированная литература». Подлинное искусство слова, будь то сказки братьев Гримм или романы Фолкнера, всегда способно захватить читателя и всегда несет в себе значительное содержание.

Заявленное в самом начале лекций понятие «эстетика гуманного» в дальнейшем раскрывается как поэтическое выражение социальной жизни, прежде всего в ее будничных проявлениях. Опираясь на богатый литературный материал, цитируя и сопоставляя тексты видного прозаика XIX века Адальберта Штифтера и современного поэта ФРГ Гюнтера Айха, Томаса Манна

и Брехта, Бёль показывает, как художник может через описание жилища, сды, любого проявления повседневной жизни людей раскрыть своеобразис данной социальной среды, данной исторической эпохи, высказать нечто существенное о времени и о человеке.

В современном обществе — это ясно и Бёллю, и его слушателям — литература значительно расширила круг своего действия благодаря практике массовых дешевых изданий. Но в этой массовости, напоминает Бёль, есть и свои опасности, корень которых — упрощенный подход к литературе. «Как писателя меня не пугают массовые публикации, не пугают и квалифицированные истолкования как со стороны противников, так и со стороны приверженцев, — меня пугают истолкователи, считающие себя вправе без всяких предпосылок судить о тексте, обусловленном самыми разными предпосылками». Ведь к роману, говорит он, надо подходить с иными мерками, чем к газетной статье.

Читатель — и, конечно, литературный критик, который берется судить о книге, — должен принять или, во всяком случае, понять «правила игры», предлагаемые ее автором. Писатель «нуждается не только в друзьях, публике — он нуждается в союзниках, открытых союзниках, которые не просто сердятся и не просто торжествуют, но еще и *понимают*».

Бёлля, как и других виднейших прозаиков ФРГ, не раз упрекали в очернительстве, излишне мрачном взгляде на действительность. И во «Франкфуртских лекциях» он со всей энергией отстаивает право писателя говорить правду, даже горькую. «Это не случайность и не злой умысел безродных интеллигентов — будь они атеисты, нигилисты или исправные католиканалогоплательщики, — что Федеративная республика предстает в прозе, лирике и публицистике совсем иной, чем хотелось бы экономическим советникам и пресс-атташе... Почему никто не напишет веселого романа об этой цветущей стране? Ведь никому не запрещается, никому не чинят помех. Очевидно, есть такие помехи, лежащие глубже, чем может представить себе поверхностная политическая обидчивость». «Все, что есть в современной литературе политического и социально-критического, всякий раз определяется материалом, с которым она имеет дело». «Не писатели отравляют местность — они ее уже находят отравленной».

Исподволь, ненавязчиво автор «Франкфуртских лекций» приводит своих слушателей и читателей к мысли: земля, на которой они живут, глубоко впитала в себя отраву фашизма, — избавиться от этой отравы не так-то легко, даже несколько десятилетий спустя. Он с отвращением вспоминает давний эпизод своего пребывания в плену. По вызову американского офицера несколько военнопленных немцев, «бодро чеканя шаг, вышли из

строю: убийцы, еще несколько часов назад проповедовавшие войну до победного конца, они изъявили готовность обучаться на пропагандистов и распространителей демократического образа мыслей». Читатель, знакомый с художественной прозой Бёлля, легко может представить себе последующую судьбу этих убийц, мгновенно перекрасившихся в демократов,— таких персонажей мы находим в изобилии в романах «Дом без хозяина», «Глазами клоуна», «Женщины на Рейне»... Бёллер вовсе не хочет ориентировать своих слушателей-филологов, возможно будущих литераторов, в сторону прямого обличительства (хотя самому такое обличительство вовсе не чуждо, даже в обнаженно-памфлетной форме). Скорее он хочет убедить их в том, что литература обязана быть в широком смысле правдивой, в широком смысле гуманистической — такой, чтобы она могла помочь пусть постепенному, но радикальному выкорчевыванию основ человеконенавистнической идеологии. «...Если уж человек должен жить после Освенцима, жить вместе с бомбой и тем не менее учиться выговаривать слово «будущее», ему надо было бы иметь твердую почву под ногами». Подразумевается: твердую *правдивую* почву. Бёллер спрашивает своих молодых слушателей: «Сумеете ли вы сделать это государство страной, по которой можно будет тосковать как по родине, страной, которая представит в литературе обиталищем человечности?» Вот та задача, над которой он призывает задуматься: ведь «мораль и эстетика взаимосвязаны».

По ходу развития своих мыслей Бёллер — как и полагается университетскому лектору — привлекает обширный конкретный материал, обращается к разнообразным произведениям немецкой литературы XIX—XX веков. Попутно, правда, всплывают и имена Диккенса, Толстого, Фолкнера. Примечательно вместе с тем обобщение, которое делается мимоходом и характеризует различные отношения к духовной культуре в странах, принадлежащих к разным общественным системам:

«В так называемом восточном мире, несмотря на все довольно неуклюжие, часто в приказном порядке организовавшиеся попытки создать эстетику социального и гуманного в форме расхожей монеты, у читателей сохранилась редкостная чувствительность, еще позволяющая распознавать в социальном духовное, религиозное. А вот в нашем мире, называемом себя западным, практикуется и пропагандируется самоубийственное пренебрежение к гуманному и социальному».

Нас не должно тут смущать слово «религиозное», которое в словаре Бёлля родственно понятию эстетического; не должно смущать и критическое замечание в адрес художественной политики социалистических стран, в основном относящееся, по счастью, к минувшим уже временам. Важно, что Бёллер ценит

в читателях «так называемого восточного мира» их чуткость к духовному, к тому, что составляет суть искусства. (Позже, в статье, напечатанной в газете «Цайт» 4 апреля 1972 года он говорил о «необычайной чуткости» советских читателей, об их сердечном отношении к «своей собственной, великой и великолепной литературе».)

Характеристика литературно-эстетических взглядов Бёлля будет неполной, если не сказать о том месте, которое занимала в его духовной жизни русская литература. Оно не ограничивается той глубокой творческой привязанностью, которую он чувствовал к Достоевскому; русская литература привлекала его именно как национальное целое, как воплощение высокой человечности. Думается, что опыт русской классики вошел как составная часть в бёллевскую концепцию «эстетики гуманного».

На той же встрече с литераторами Москвы 1 октября 1962 года Бёлля спросили, кем он интересуется из русских писателей. Он ответил: «В возрасте 15—16 лет я начал читать Достоевского. Затем читал Пушкина, Толстого, Лермонтова, Лескова. Самый близкий мне русский классик — Гоголь. Русская литература необычайно богата, эта литература большого дыхания. Советскую литературу знаю главным образом по писателям раннего периода. Читал Есенина, Блока, Маяковского. Здесь, в Москве, я увидел памятник Маяковскому — он так оптимистически стоит на площади. А ведь это был человек, одержимый сомнениями, — иначе он бы не покончил с собой. Из классиков раннего периода советской литературы я больше всех люблю Исаака Бабеля — великолепный писатель. Знаю все произведения Пастернака, переведенные у нас; из его автобиографии я узнал много интересного для себя, особенно о Маяковском».

Живое внимание к русской литературе отразилось в творчестве Бёлля как романиста и эссеиста. В программной статье «В защиту домовых прачечных», помещенной в настоящем сборнике, он, полемизируя с литературными снобами, ссылается на пример Достоевского, заступника за «униженных и оскорбленных».

В 1971 году Бёлль дал развернутый ответ на проводившуюся среди писателей анкету «Мы и Достоевский», опубликованную в Гамбурге отдельной книгой. В романе «Групповой портрет с дамой» писатель в гротескно окрашенном эпизоде использует мотивы из «Мертвых душ»: в дутом предприятии, которое создает в Германии во время войны некий подрядчик-предприниматель, имеется фиктивный список рабочей силы из русских военнопленных — «мертвые души» носят здесь фамилии Чичиков, Собакевич, Разумихин, Свидригайлов, — и это, возможно, не единственный случай, когда Бёллю пригодился ху-



дожественный опыт Гоголя-сатирика... Для издания «Войны и мира», вышедшего в Мюнхене в 1970 году, Бёльл написал обширное послесловие — «Попытка приближения»; он размышляет здесь над секретами искусства Толстого как мастера эпического повествования и, обращаясь к историческому материалу толстовской эпопеи, исследует отдаленные причины мировых войн, заложенные в вековой истории Европы. Продолжая знакомиться с русской советской литературой по мере выхода русских книг в немецком переводе, Бёльл обратил внимание на роман Юрия Трифонова «Нетерпение» и написал о нем статью<sup>1</sup>. Он отметил связь этого «обстоятельного и внутренне напряженного повествования» с русской классической традицией и признал, что роман этот дает еще один повод задуматься: «Что же это за страна, что за народ, что за язык, дающий не только подобный материал для книг, но и такие книги?»

Высокую оценку дал он — в другой статье — роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»<sup>2</sup>.

Русские литературные чтения и впечатления — важный элемент писательской судьбы Генриха Бёльля. Для него — как для Романа Роллана, Томаса и Генриха Маннов, Эрнеста Хемингуэя и некоторых других больших мастеров культуры XX века — эти впечатления определили интерес и уважение к русскому народу, желание ближе узнать и понять его и в конечном счете — симпатию к Советскому Союзу.

Симпатия эта у Бёльля была прочной и сохранялась даже в моменты обострения разногласий. Бёльл, как уже сказано, не скрывал своих критических соображений — они касались главным образом тех аспектов культурной жизни, культурной политики, которые были характерны для периода застоя, ныне миновавшего.

Читатель вправе спросить: почему же все-таки произведения Бёльля у нас в течение 10 лет не печатались? Только 3 июля 1985 года, за несколько дней до его смерти в «Литературной газете» было опубликовано «Письмо моим сыновьям», которое, к счастью, еще увидел писатель. Неужели у наших издателей были серьезные основания на время как бы вовсе забыть о Бёлле? На мой взгляд и на взгляд многих, таких оснований не было. И можно порадоваться, что наши читатели могут теперь возобновить и углубить знакомство с творчеством замечательного писателя, благородного человека, поборника мира и социальной справедливости.

---

<sup>1</sup> Русский перевод см.: «Иностранная литература», 1987, № 11, с. 214—215.

<sup>2</sup> Русский перевод см.: «Новое время», 1988, № 24, с. 36—39.

Как политическое завещание Бёлля мы вправе воспринять его строки из «Письма моим сыновьям»: «Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших «врагов» как освободителей».

Именно это было главным мотивом в отношении Бёлля к стране, нанесшей решающее поражение фашизму.

*Т. Мотылева*

# О самом себе



Я родился в Кёльне, где Рейн, устав от изощренных красот среднерейнского пейзажа, становится широченной рекой и течет по однообразной равнине навстречу туманам Северного моря; где государственная власть никогда не принималась слишком всерьез, а церковная хоть и принималась, но куда меньше, чем принято думать в Германии; где Гитлера забросали цветочными горшками, где открыто смеялись над Герингом, этим кровавым фатом, который умудрился за час своего пребывания в городе трижды сменить мундир; я стоял вместе с тысячами кёльнских школьников, выстроенных вдоль тротуаров, когда он ехал по улицам, облаченный в свой третий, белоснежный мундир; я предчувствовал, что гражданское легкомыслие моих земляков сделает их бессильными против неотвратимо надвигающейся беды. Я родился в Кёльне, который знаменит своим готическим собором, хотя скорее должен был прославиться романскими церквями; в Кёльне, давшем приют самой старой в Германии еврейской общине и бросившем ее на произвол судьбы; гражданственность и юмор были бессильны против беды — тот юмор, которым Кёльн знаменит не меньше, чем собором, юмор, пугающий в своем официальном проявлении, но порой великий и мудрый на улице.

Я родился в Кёльне 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, народный ополченец, стоял в карауле на мосту. В самый тяжелый, в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двух малышей он до этого уже похоронил; я родился в то время, как мой отец проклинал войну и болвана кайзера\*, памятник которому он показал мне потом. «Вон там наверху, — сказал отец, — он все еще скачет на запад на своем бронзовом жеребце, а ведь на самом-то деле он давным-давно

колес дрова в «Доорне»\*. И теперь еще кайзер скачет на запад на своем бронзовом жеребце.

Мои предки со стороны отца, корабельные мастера, несколько сотен лет назад перебрались сюда с Британских островов, потому что были католиками и изгнание предпочли государственной религии Генриха VIII\*. Достигнув Голландии, они двинулись вверх по Рейну: они всегда больше любили город, чем деревню, и, оказавшись вдали от моря, стали плотничать. С материнской стороны мои предки были крестьяне и пивовары, в самом корне своем состоятельные и работающие, однако среди их потомков затесался расточитель, так что в следующем поколении семья обеднела, но зато в ней опять появился дельный труженик, потом все снова покатило под гору, и родители моей матери уже не пользовались уважением, были бедны, и на них, собственно, род и угас.

Мое первое воспоминание: возвращение домой гинденбургской армии\* — аккуратные серые колонны с лошадьми и пушками уныло двигались мимо наших окон; сидя на руках у матери, я глядел на улицу, где нескончаемой вереницей тянулись солдаты к мостам через Рейн; позже: мастерская моего отца — запах дерева, запах клея, лака, протравы, свежеструганные доски, сарай на задворках доходного дома, где разместилась мастерская. В том доме жило больше людей, чем в иной деревне, они пели, ругались, развешивали белье на сушилах; еще позже: звонкие германские названия улиц, на которых я играл, — Тевтбургерштрассе, Эбуроненштрассе, Вследаштрассе, и воспоминания о переездах с квартиры на квартиру, переездах, которые любил мой отец, — мебельные фургоны, пьющие пиво грузчики, печально качающая головой мать — она всякий раз привязывалась к новому очагу и никогда не забывала снять кофейник с огня, прежде чем кофе закипал. Мы всегда жили недалеко от Рейна, и дети обычно играли на пароме, во рвах старых укреплений, в запущенных парках — садовники вечно бастовали; воспоминание о первых деньгах, которые мне дали в руки: это была купюра с цифрой, достойной банковского счета Рокфеллера, — один миллиард марок; на нее я купил длинный полосатый леденец; чтобы расплатиться со своими помощниками, отец привозил деньги на тачке; несколько лет спустя марка вновь стабилизировалась, и каждый пфенниг был уже на счету; школьные товарищи кланчили у меня на переменах кусочек хлеба — их отцы были безработные; беспорядки, забастовки, красные знамена — вот что я видел, когда ехал на велосипеде в школу по улицам самых густонаселенных кварталов Кельна. Спустя несколько лет безработные оказались пристроенными — они стали полицейскими, солдатами, палачами, рабочими военных заводов либо попали в концлагерь; статистика подтверждала про-

цветание, рейхсмарки текли рекой; расплачивались по счетам позже — нами, когда мы, к тому времени неожиданно став мужчинами, старались расшифровать постигшую всех нас беду, но не могли найти подходящего кода; сумма страданий была слишком велика, чтобы взыскать ее с тех немногих, кого явно можно было назвать виновными, получался остаток — он и по сей день еще не поделен.

Писать я хотел всегда, сызмальства брался за перо, но лишь потом нашел слова.

*1958*



огромных фабрик-прачечных нынче становятся отставные генералы?

Странно, но я не могу припомнить, в каком из своих рассказов или романов я описал или хотя бы упомянул домовую прачечную; я чувствую себя прямо-таки обязанным рассказать о ней в следующей своей книге; быть может, я напишу роман о прачечной, но действие перенесу в Китай или на Ближний Восток. Правда, в этом случае я не смогу воспользоваться подробностями, которые узнал от своей жены. В городишке, где родилась ее бабушка,— по случайному совпадению моя бабушка родилась точно там же, и я мог бы повествовать обо всем самым подробным образом,—так вот, день стирки там, по словам жены, считался особым праздником. Во времена наших бабушек в Дюрнс — так назывался городок — стирка была радостным событием. В ту пору бельевые шкафы были доверху набиты бельем, и стирку устраивали только раз в месяц, стирали целые горы всякой всячины и везли отбеливать на лужайки вдоль берегов Рура. Пока белье отбеливалось, с повозок сгружали бочки пива, ветчину, хлеб, маленькие кадки с маслом, к юным прачкам спешили склонные к безделью молодые шалопаи, и начинались танцы, игры, кутеж, а вечером, погрузив в повозки просохшее белье вместе с опустошенными бочонками и корзинами из-под провианта, все отправлялись по домам. Стирка была веселым праздником, и я жалею, что до сих пор не описал ее в своих книгах.

Само собой, моя мать тоже устраивала постирушки (подумать только, какое унизительное занятие!). Она стирала в домашней прачечной, чаще всего по понедельникам, ранним утром. Ближе к вечеру в этот день куда ни глянь развешались на бельевых веревках рубашки, полотенца, носовые платки, штаны, и вид всего этого никогда не удручал меня, а скорее утешал, ибо говорил об энергии человечества, неутомимо избавляющегося от грязи. Сегодня, как и в годы моего детства, сохнувшим бельем расцвечены баржи, курсирующие вверх и вниз по Рейну. Я ничего не имею против постирушек и домашних прачечных, жаль только, что в век стиральных машин они встречаются все реже, и надо полагать, скоро их можно будет увидеть только в красноречивых музеях: «Домовая прачечная, стиль мещанский, начало XX века».

Мне ничего не стоит вообразить драму, которая разыгрывается в домашней прачечной; между тем действие очень многих пьес почему-то происходит в замках, а диалог представляет собой растянутый на четыре часа обмен банальностями. Я с легким сердцем выступаю в защиту домашней прачечной, которую еще ни разу не описал. Когда по просьбе матери я приносил в прачечную древесную щепу и брикеты и пытался растопить печ-

ку — столь же безуспешно, как и много позже, в бытность мою безответным солдатом вермахта, которого мог обляять каждый, кому вздумается, — я узнавал множество чрезвычайно полезных вещей. С огромным интересом прислушивался я к рассказам о том, сколько быков убивали в дни народного гулянья на ярмарке; какую кучу денег загребали за один субботний день владельцы пивных — вечером банкноты уносили в жилые покои охапками в подоле фартука; как люди определенного сорта отправлялись по утрам скорым поездом в Кёльн, чтобы — как они говорили — почитать «Кёльнскую газету», то есть кутнуть; как один из моих предков стал запойным пьяницей и докатился до того, что — «я видела это собственными глазами» — за пару кружек пива снял с себя последнюю рубашку.

Что касается кварталов бедноты, то я давно уже спрашиваю себя: а какие еще бывают кварталы? Кварталы богачей, кварталы маленьких людей, живущих по принципу *мы люди бедные, но порядочные*, кварталы сильных мира сего, характеризовать которые нет надобности — это уже сделала сноровистая реклама: *сильные мира сего носят часы фирмы «Роллекс»*. Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Что до маленьких людей, то я не различаю степеней величия, как дальтоники не различают цвета. Я не придаю значения тому, где человек живет, и стараюсь относиться ко всем без предрассудков; правда, отсутствие предрассудков довольно часто путают с отсутствием собственного мнения. Величие не зависит от места, где человек обитает, так же как *боль* или *радость* не зависят от социальной среды. И в прачечной можно часами болтать о пустяках, в то же время не исключено, что среди сильных мира сего есть по-настоящему великие люди; предоставим им возможность проявить себя. У некоторых романов Достоевского чертовски неблагозвучные названия: «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», а если приглядеться к среде, в которой обретается Родион Раскольников или даже князь по фамилии Мышкин, то кое у кого она способна вызвать возмущение. Кое-кому хотелось бы подарить бедным героям Достоевского часы фирмы «Роллекс», чтобы они ощутили истинную меру своего величия, а самого писателя подтолкнуть к изображению более изысканных слоев общества. Но при этом его непременно следовало бы спросить, голодало ли в ту пору более двух третей человечества.

Было время, когда все неблагородное считалось недостойным литературы, когда обращение к образу купца слыло революционным шагом, да по сути и было таковым; затем пришла пора нарушителей правил — подходящим объектом литературы и искусства они сочли даже рабочего; вслед за тем появились эстетические теории, отлучавшие от литературы все, что не име-



ло отношения к рабочему классу. Означает ли это, что в нашем достославном обществе нужно создавать теорию прямо противоположного свойства? Вопрос интересный, поучительный и заслуживающий детального разбора.

*1959*

# У нас в стране



Отправляясь около полуночи на Центральный вокзал, мы оба подавленно молчали; разговора не получилось; гость рассчитывал на мои точные наблюдения касательно жизни в Федеративной республике, я же оказался не в состоянии точно определить столь неоднозначную страну. Изыскать стройную формулу для такой неоднородной структуры, как Федеративная Республика Германии, — этого не сумел бы, пожалуй, и сам Эйштейн. На вопрос гостя: «Чем отличаются нынешние жители ФРГ от своих соотечественников образца тридцать третьего года?» — я ответил: «Ничем, ясное дело», потом, правда, добавил: «Экономическое положение теперешних лучше, чем у тех тогда». Другой вопрос: «Остались ли у вас в стране люди нацистских убеждений?» Мой ответ: «Разумеется. Неужели вы верите, что одна-единственная дата, 8 мая 1945 года, способна мгновенно перекроить всех?»

По дороге на вокзал, уже в такси, я добавил к ответу на часом раньше заданный вопрос — хотя никто меня об этом не просил — следующее: «У нас в стране вы не услышите, чтобы кто-то сказал «Германию победили», вы услышите только одно — «катастрофа». Слова «после катастрофы» обозначают период с мая сорок пятого до денежной реформы, порой, вспоминая, говорят: «Это было до денежной реформы». Время с двадцатого июня сорок восьмого года вплоть до наших дней обозначают как «после денежной реформы», в просторечии — «до и после новых денег», причем в это самое «до новых денег» безошибочный инстинкт включает и само военное время, когда деньги как раз текли рекой. Нынче у нас двенадцатый год «после новых денег». До «катастрофы» у нас были нацистские времена, которые в свою очередь распадаются на шесть лет мира и шесть лет войны. Вы наверняка знаете еще с уроков истории, что все на свете

*распадается* на периоды, на период правления Икса и период правления Игрека, на период войны и период мира. А до нацистских времен была Веймарская республика, которая в свою очередь распадается на периоды правления различных президентов; до Веймарской же республики — впрочем, это заведет нас слишком далеко. Когда я вспоминаю, что родился в 1917 году и, стало быть, в младенчестве был еще кайзерским подданным, сие кажется мне даже более невероятным, чем если бы мой отец вдруг абсолютно серьезно принялся повествовать о своем участии в Третьей Пунической войне\* — немыслимо...»

Гость ничего не ответил; шофер такси тоже молчал, он пребывал в скверном расположении духа: три часа дожидаться на стоянке, а в итоге поездка всего на пять марок; перед ним уже замаячила перспектива следующего трехчасового ожидания, а это испортит настроение кому угодно. У нас в стране к услугам такси прибегают не очень охотно, столь же неохотно пользуются у нас телефоном и чековыми книжками; эти несомненно полезные вещи все еще отдают для нас каким-то расточительством; у нас в стране люди с готовностью отправятся на развеселую пирушку вскладчину, но под конец станут тревожно прислушиваться, не прошел ли последний трамвай, и тогда совсем не дешево доставшееся приподнятое настроение растворится в зябком ожидании на трамвайной остановке, а ведь разница в оплате такси и цене трамвайных билетов в ночное время составляет разве что стоимость скромной бутылки вина. Человек, раскошеляющийся у нас в стране на чековую книжку, вполне может считаться преуспевающим, между тем стоимость чековой книжки всего семьдесят пять пфеннигов, зато те пятьдесят чеков, которые она содержит, сослужат вам весьма недурную службу в увлекательнейшей игре для начинающих, каковую должен освоить каждый желающий пользоваться кредитом. Сей вид спорта называется: «Не давай деньгам лежать мертвым грузом». Если двум тысячам марок не дать лежать мертвым грузом пятьдесят раз, выйдет уже сто тысяч, то есть весьма внушительный оборотный капитал. Оборотный же капитал — самое большое богатство, он откроет вам новый кредит, еще больший, предположим, шесть тысяч, эти шесть тысяч, перешедшие из мертвого груза в оборотный капитал, скажем, сто раз, доведут ваш общий оборот до шестисот тысяч. Нужно только знать, как именно следует не давать деньгам лежать мертвым грузом: отсюда — туда, оттуда — сюда; главное — следить, чтобы этот мыльный пузырь не лопнул. Не удивительно поэтому, что в стране, где по сей день живуче великосветское отвращение к математике и точному счету, люди, занимающиеся подобным видом спорта, имеют определенные шансы на успех. Адам Ризе\*, прямо скажем, напрасно прожил свою жизнь; прекрасный устный счет

нынче вызывает скорее подозрение, представьте, что будет если всем вдруг напомнить, как великолепно считал Гёте! Улицы этой сентябрьской ночью были пусты, нам попало лишь несколько машин городского дорожного управления; тихо крутились валки мусоросборников, нежно гудели моторы автомобилей, поливающих улицу. Водитель с благодарностью взял сигарету, предложенную моим спутником; уверял, что сам он в жизни не осмелился бы угостить пассажира сигаретой (не исключено, что на сей счет существует даже некое предписание), и вовсе не из-за мелкого скаредничества, но потому, что в данный момент пассажир воплощает в себе нечто, у нас в стране обожествляемое и презираемое одновременно, — клиента. Выражаясь точным экономическим языком — потребителя. Мы — нация потребителей. Галстуки и конформизм, сорочки и нонконформизм — все имеет у нас своего потребителя, необходимо лишь, чтобы и сорочка, и конформизм были настоящим фирменным изделием. Потребителю наверняка не достанет ни инстинкта, ни опыта, чтоб безошибочно определить качество товара, посему он требует качества, подтвержденного соответствующей фирменной маркой, а такое качество стоит недешево. Если некто решит попытаться удачи в роли торговца фруктами, он должен знать, что самым ходким товаром окажутся наиболее дорогие яблоки, а приди ему в голову пошутить, поменяв таблички с ценой в сорок и восемьдесят пфеннигов, не исключено, что он намного удачнее продаст дорогие яблоки худшего качества, нежели хорошие и дешевые. Какая молодая хозяйка станет в наши дни брать яблоко в руку, пробовать его на ощупь? Возможно, и это мое наблюдение лишь подтверждает существующее на сей счет общее предписание.

Я с нетерпением ждал момента, когда такси свернет на улицу, прямо подводящую к вокзалу. Здания здесь словно излучают особое достоинство и благородство, прекрасный гранит обработан в духе времен нацистских партийных съездов, когда господствовал девиз — строить солидно и на века. Иметь в руках власть и «строить на века» — это по сути одно и то же, а кто у нас в стране строит и имеет власть, видно на этой улице особенно хорошо. Когда проезжаешь по этой улице в такси, водитель обычно предосторожности ради еще раз оценивает обувь, одежду и выражение лица пассажира, дабы удостовериться, что комментарий, который позволяет себе народ относительно всех этих роскошных зданий, прозвучит в данном случае уместно: «На наши денжки все это построено».

И наш водитель тоже в этой теплой сентябрьской ночи впервые нарушил собственное недовольное молчание; он высказался еще более определенно, нежели в таких случаях обычно выска-

зываются другие: «Вот они, денешки, которые мой отец сорок лет подряд платил государственному страхованию».

Здесь нужно иметь в виду, как трудно вообще-то вывести из себя немца, особенно при виде подобных роскошных стросний, да еще глубокой ночью; легкий желтоватый свет придает отливающим медью окнам и дверям налет солидной респектабельности, вполне оправдывающей расходы, понесенные на счетах за электричество. На фронтонах домов местный вольный дух прекрасно сочетается с религиозной символикой; может, правильнее бы сказать «отдаст ей надлежащую дань»? Вопрос в том, принимают ли святые «надлежащую дань»? Никто из них не глядится в качестве модели для скульптора-монументалиста столь удачно, как святой Христофор, переносящий улыбающегося младенца Иисуса через бурно клокочущие воды, к тому же он считается покровителем всех находящихся за рулем, а кто из ездящих в собственном автомобиле не хотел бы заручиться подобным покровительством? Так деловые интересы сплетаются с религиозными, долг представительства — с меценатством, к тому же можно публично выразить собственное презрение к искусству абстрактному, или, как некогда говорили, вырожденческому. Одним ударом семерых! Вот это умение! Гость мой был поражен, увидев столь ярко освещенный в ночи квартал роскошных зданий. «Что это за сатрапы? — спросил он.

Какой провинцией управляют они отсюда, в каком рейхе?» «Вам, наверно, лучше, — ответил я, — в следующий ваш визит к нам в страну поинтересоваться у финансового эксперта, по каким таинственным законам сто обычных рейхсмарок в одних руках превращались в семь, в других — сразу в пять тысяч. Вас постараются убедить, что денши — это весьма рациональная сфера. Люди, сомневающиеся в том, что пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек, не поверят и в то, что столь же чудодейственным способом возможно украсть хлеб у пяти тысяч человек. Нашим детям и впредь будут вбивать в голову, что  $2 \times 2 = 4$ , воспитывая в них прежде всего бережливость. Достойный всяческого уважения Адам Ризе, судя по всему, не много смыслил в чудесах. А может, немецкое чудо основывается на формуле  $7 = \text{бесконечность}$ ?»

Водитель явно нервничал, он даже превысил скорость, чтобы быстрее подкатить к вокзалу, кажется, он старался избавиться от нас как можно скорее; до вокзала было уже рукой подать. Богатые пассажиры, при которых он воздержался бы от своего комментария, на вопрос о денежной реформе отвечают обычно, что в ГДР в результате обмена денег у дураков, не умеющих всреться, осталось на руках еще меньше. У них всегда в запасе для нас множество подобных утешений. Если когда-нибудь меня, ни в чем не повинного, упекут на шесть лет в тюрьму, тут же поле-

зет с утешениями сосед по камере, которого, тоже ни в чем не повинного, упекли на целых восемь лет.

Когда мы высадились у вокзала, водитель остолбенел при виде чашек, врученных ему гостем: две марки на пять! И это от клиента, которого он считал вполне достойным своего комментария! Неужто наметанный глаз обманул его? Может, лучше было бы придержать язык за зубами? А вдруг мы коммунисты и приняли его за того же поля ягоду? Нужно быть наческу! Испуг его, к нашему разочарованию, мгновенно сменился подобострастием. Как бережно вынимал он сумку моего спутника из багажника! У нас в стране щедрость не умеют ценить точно так же, как бережливость. Наши представления о деньгах отягощены сентиментальностью. Что, впрочем, и не удивительно в стране, где бедность давно уже перестала быть прибежищем мистических учений, как, впрочем, и отправной точкой классовой борьбы. Даже в сознании так называемых интеллектуалов такие понятия, как «бедность», «честность», «труд», до сих пор неразделимы, а из этого следует, что, поскольку рабочие нынче не бедны, бедности вообще не существует — да и сами рабочие уже не те бедные, но честные парни, каковыми они были когда-то. Те, кого обычно называют людьми социальных убеждений, у нас пока в меньшинстве, а что асоциальное поведение вполне возможно и в среде сатрапов — к такой мысли у нас вообще пока никто не пришел; человек, раскуривающий трубку стомарковой купюрой, вправе рассчитывать скорее на всеобщее восхищение, чем на презрение и ненависть. А что вместе со стомарковой купюрой он сжигает и частицу нашей свободы — такой вывод показался бы большинству абсурдным. Деньги не могут быть средством обретения свободы там, где бедности не гарантирована независимость. У нас в стране дающий чашку в равной степени теряет свое достоинство, как и принимающий их.

Поезд, с которым должен был уехать мой гость, уходил через несколько минут; отдельные пассажиры уже дремали, другие убивали время с помощью вечерних газет и горячих сосисок. Мой гость вошел в вагон, отыскал свое место, опустил окно, теперь до отправления остались считанные минуты — слишком мало, чтоб возобновить наш незадавшийся разговор. Я попробовал представить, что чувствует он в этот момент; он ведь родился в этом городе, закончил здесь школу и в тридцать седьмом году эмигрировал, его родители задержались до тридцати девятого, за свою веру в немскую добропорядочность они едва не заплатили жизнью; тремя годами позже — в сорок втором — жизнью платили уже за все: за горсть картошки, принесенной тайком сврею в его убежище, или — если ты польский военнопленный — за беглый поцелуй с арийской девушкой у калитки; и поцелую

у калитки, и горсти картошки, и брошенному ненароком критическому замечанию в подвале во время воздушного налета — всему этому была одна цена: жизнь. Моя мать, не боявшаяся наряду со свойственной ей житейской мудростью и силой чувств демонстрировать неприкрытую ненависть к происходившему, позволила себе подобное замечание в сороковом году в присутствии некоего целеустремленного молодого человека, который вовсе не был тогда членом нацистской партии, не вступил он в нее и позже, просто преисполнен был непомерного тщеславия, реализовавшегося в карьере унтер-офицера. Жизнь матери висела тогда на волоске, она целиком зависела от решения местного группенляйтера, который не считал нужным пустить донос дальше; лучше всего понять, что такое немцы, можно было отнюдь не в тридцать третьем, но именно в победном угаре сорокового, когда маршальские жезлы сыпались кругом словно манна небесная. Целеустремленный молодой человек, повзрослев, но отнюдь не поумнев со временем, предстал в сорок шестом году на местных выборах одним из лидеров ХДС — он ведь никогда не был членом нацистской партии. Вполне возможно, что местный группенляйтер, спасший жизнь моей матери, пребывал в это время в лагере для нацистских преступников. Сколько доносов он пустил по инстанциям, а сколько положил под сукно — не знаю. Зато хорошо знаю одно: встречая давних знакомых, я тут же пытаюсь вспомнить, что они делали, что думали в сороковом году, в год наших «блистательных побед», когда одиночки, осмеливавшиеся ненавидеть, особенно остро ощущали собственное одиночество; мы убедили тогда матушку воздерживаться впредь от замечаний в бомбоубежище, свое отношение к происходящему она выражала с тех пор лишь взглядом, но ее большие темные глаза говорили даже больше, чем слова; целеустремленный молодой человек впадал в состояние, близкое к иступлению, наталкиваясь на взгляд этих глаз. Мне неизвестно, заплатил ли кто жизнью за один только взгляд; впрочем, в те времена такое было вполне возможно.

Всего три минуты до отхода поезда, и бессмысленно искать нужные слова, чтобы выразить свои мысли; на соседней платформе усталые бродяги дожидаются отхода местного поезда, следующего в какое-то захолустье. Быть может, именно с этой платформы отправляли в Польшу евреев, и в сорок втором году продолжавших верить в немецкую добропорядочность? И даже когда поезд отходил от платформы, они все еще не могли поверить в самое страшное. Да и кто бы смог поверить в такое? Беглый поцелуй у калитки, горсть картошки, критическое замечание в бомбоубежище, где *не было* явных нацистов. Только не надо копаться в психологии. Попробуем лучше понять язык вокзалов, почувствовать лирику рельсовых путей, послушаем пение ступе-

ней, выводящих на платформы: вот это польские пленные, это русские рабы, евреи, солдаты, дети, отправляемые в неведомое, — сколько же обреченных на смерть прошагало по этим ступеням. Люди, на исходе жаркого летнего дня в раздражении возвращающиеся с неудавшегося пикника, торопливо заглатывающие здесь противный теплый лимонад, — когда-то они провожали здесь сыновей и братьев, и прямо отсюда поезда увозили их в смерть. Как же удалось нынче убить их скорбь, развеять воспоминания? И как мало у нас в стране человеческих лиц, позволяющих предположить, что им ведомы скорбь и воспоминания. Скорбящему даровано будет утешение, но вот пребывающему в раздражении — никогда. Если б одна из матерей разрыдалась вдруг на платформе в голос, вспомнив, что именно отсюда увезли однажды на смерть сына, — ее, наверное, ободряюще потрепали бы по плечу, сочтя в глубине души излишне сентиментальной; ну как можно так распускаться — помнить то, что случилось шестнадцать, семнадцать лет назад. А если бы та же самая женщина без признаков душевного волнения спокойно наблюдала, как семеро пожарных стараются изо всех сил спасти кошку, провалившуюся в канализационный люк, ее сочли бы чудовищем. Научись реагировать на происходящее согласно шаблону расхожих сентиментальных клише, иначе тебя сочтут опасным; а воспоминание о смерти соседа не заслуживает нынче даже скорбного всплескивания рук. Все, что могло бы сегодня пробудить наши воспоминания, изничтожает психологическая наука изобретенным ею смертельным оружием, нынче оно доступно каждому — модное словечко «рессентимент»\*, означающее в данном случае неосознанную, запоздалую обиду; словно нож, вгоняют его в грудь каждому осмеливающемуся демонстрировать подлинные чувства. Чтоб уберечься от смертоносного оружия, люди жаждут изгнать воспоминания и чувства, сей перманентный душевный аборт и делает лица такими пустыми; рыдают и кричат от ужаса теперь лишь в психиатрических клиниках. Отсутствие подлинных чувств, лицемерная сентиментальность — вот что отныне диктует законы рынку, он же в изобилии поставляет объекты, к которым дозволяется испытывать сердечную привязанность, это идола самых разных величин и соответственно цен — от Мекки до нового высотного дома. Сердце и совесть больше не в чести, цены на них падают, зато на товары бытового назначения растут. Чиновник, в тридцать шестом году вступивший в нацистскую партию, чтобы спасти семью от нищеты, представляется мне теперь вполне достойным человеком; для него тогда ведь и в самом деле много было поставлено на карту, со всех сторон испытывал он угрозу собственному существованию, и не было ни одной общественной инстанции и ни одной церковной, которая помогла бы ему от этого чувства избавиться,



подарила бы внутренний покой. Единственная же угроза, которая повергает немца в ужас *сегодня*, — это возможное сокращение сбыта. Как только угроза эта обретает реальность, воцаряется паника, на всех приборах загораются красные лампочки. У нас в изобилии умных, толковых, неплохо владеющих пером молодых людей, информированность и образование которых внушают скорее тревогу, а ведь их учили постигать внутреннюю связь вещей, и в причинах, вызвавших Третью Пуническую войну, они разбираются так же хорошо, как и в творчестве Фолкнера; я лишь то и дело спрашиваю себя, когда же начнется или по крайней мере могло бы начаться их внутреннее сопротивление, их бунт. Они не испытывают страха ни перед Аденауэром\*, ни перед Олленхауэром\*; уличенные в незначительных отступлениях от тех или иных этических норм, они тут же приводят в качестве аргумента некий обобщенный символ, много опаснее, чем любой человек в отдельности, — это Лизхен Миллер\*, «девушка из народа», миф, кажущийся мне порождением их нечистой совести. Лизхен Миллер и проблема сбыта увязаны самым тесным образом. Кто вредит сбыту, имеет реальный шанс спровоцировать моего соотечественника на что угодно. Раз увиденная смерть соседей и друзей не научила его ценить жизнь, боль не придала ему мудрости, скорбь не придала сил, он как-то подуралки беден, ибо перед лицом постоянной угрозы сокращения сбыта не способен даже в полной мере насладиться моментом относительного благополучия. Голодные годы «до новых денег» не наделили моих соотечественников мудрой способностью наслаждаться благословенным мгновением; даже из нищеты не извлекли они жизненной мудрости; тех, чья память простирается далее последнего десятилетия, объявляют душевнобольными, их необходимо погрузить в забвение, дабы затем с новыми силами пробудить для сегодняшнего дня. Горсть картошки, беглый поцелуй у калитки, критическое замечание в подвале, где *не было* явных нацистов, — такова была цена жизни, достойной человека. Быть может, причина подобного исчезновения памяти в таинственной сути того неведомого закона, согласно которому жизнь наша *распадается* на время до и после «новых денег».

Вот что мне хотелось бы объяснить своему гостю, но нужных слов в разговоре я не нашел. Быстрое пожатие руки, короткое «адё» — поезд тронулся. Я спустился по лестнице, сдал перронный билет и отправился домой. На столе, где стояли еще неубранные бутылки, свидетели нашего незадавшегося разговора, я обнаружил грифельную доску младшего сына с заданиями по арифметике:  $7 + 5 = 12$ ,  $9 + 6 = 15$ . Чье сердце не тронет наивная вера, с какой решаются все эти примеры? Я крупно написал на свободном пространстве  $7 =$  бесконечность, убрал пустые бутылки и попытался сформулировать письменно, что не сумел вы-

сказать гостю в беседе. Пусть не всю таинственную формулу целиком, хотя бы отдельные ее компоненты, из которых никто пока не сумел сложить уравнение, которое полностью бы сошлось. Кто возьмет на себя смелость судить местного группенляйтера, который *не* предал мою мать, но наверняка предал многих других? Остается лишь верить, что целеустремленный молодой человек, который вправе был бы подать на меня в суд, обзови я его нацистом, будет хоть иногда вспоминать темные глаза моей матери.

Быть немцем — в парижском отеле это значит: тебя могут оскорбить просто потому, что ты немец; но вот, возвращаясь назад, ты оказываешься в купе рядом с молодым фашистом, он в восторге от последовательности, с какой у тебя в стране насаждался антисемитизм; быть немцем — это значит: ты лишен права вмешаться в разговор, который французы вьдут между собой о войне в Алжире; не исключено, что право высказаться ты получишь лишь тогда, когда в Алжире уничтожат столько же людей, сколько в находившейся под немецким господством Европе в 1933 — 1945 годах. Кто выставляет эти таинственные счета нациям? Кто регулирует цену человеческой жизни? Быть может, хоть завтра мы сумеем разобраться в этом? Тайная биржа, диктующая свой зловеющий курс, ведь кто-то приводит ее в движение? Оскорбление в парижском отеле может выпасть на долю именно того немца, что принес укрывающемуся еврею горсть картошки, а английский таможенник тонкими своими пальцами брезгливо, словно справку прокаженного, возьмет паспорт как раз того человека, что не послал дальше донос. Если б у нас в стране наметились хотя бы первые подходы к постановке проблемы коллективной вины, начать следовало бы с того момента, когда вместе с появлением «новых денег» началась распродажа боли, скорби и воспоминаний.

Ужасно то, что существует достаточно поводов для справедливого гнева, который можно было бы обрушить на нашу страну и на отдельных ее жителей, но кому нужен этот гнев? Они ведь готовы заглотить все, что угодно; можно увидеть в телевизионном репортаже, как, скажем, в дорожном происшествии погибает твой сосед; житель нашей страны на мгновение вздрогнет, возможно даже произнесет: «Кажется, я его знаю» — и тут же уставится на экран в ожидании следующего сюжета. При очередной денежной реформе можно будет пересчитать деньги в отношении  $100 = 0,1$  (состояние ловких дельцов, разумеется, в несколько ином отношении), все повздыхают, поругают немного правительство, а затем, засучив рукава, примутся вкалывать, вкалывать, вкалывать; таким способом еще можно устроить небольшое чудо, не опасаясь, что кто-то займется неизвестным в предложенном ему уравнении. Обратная сторона чуда с ум-

ножением пяти хлебов — воровство хлеба. Лица специалистов, пытающихся оправдать сие чудо гладкими, обтекаемыми фразами, мертвы, словно лунный диск.

Уже светало, когда я поднялся из-за стола. Невинные колонки цифр на грифельной доске сына утратили реальность; я стер свое уравнение  $7 = \text{бесконечность}$ ; оно лишь принесло бы мальчишке неудовлетворительную оценку да дополнительное задание, чего он вовсе не заслужил; в школе пока еще непререкаемым авторитетом считается Адам Ризе, в школе исторические эпохи *распадаются* на отдельные периоды. Мой гость наверняка давно уже спал, его поезд несся где-то между Брюсселем и Остенде; и хотя у него британский паспорт, тонкие, слегка раздвинутые пальцы таможенника в Дувре, возможно, выразят все же некоторое презрение, ведь мой друг выглядит немцем больше, чем многие сегодняшние немцы; одежда, жесты, выговор — все выдает его, и давно уже по сути не являясь немцем, он тоже платит по счетам, которые все считают нынче утратившими силу и которые тем не менее столь актуальны, что только мы, немцы, в состоянии это понять.

1960

# Беседа со студентами



*Является ли доброфравие неотъемлемым элементом литературного произведения?*

Я бы с удовольствием ответил на ваш вопрос однозначным «да», но боюсь, что ответ должен быть однозначно отрицательным. Однако если вы спросите, является ли неотъемлемым элементом литературного произведения безнравственность, я тоже отвечу однозначным «нет». Художник до известной степени всегда невинен и в то же время виновен, он как ребенок, которого ругают за то, в чем он не чувствует за собой вины, и хвалят, когда он считает похвалу незаслуженной.

*Считаете ли Вы, что писатель должен занимать в своих произведениях определенную позицию по социальным и политическим вопросам?*

Занимать такую позицию вовсе не обязательно для каждого писателя. Не существует правил, которые обязывали бы художника следовать определенному, большей частью поверхностному представлению об актуальности. Есть разные уровни актуальности, как есть разные уровни художественного мастерства, и мне кажется, что перед каждым писателем встает труднейший вопрос: какой уровень актуальности считать своим? Есть, например, уровень актуальности Сартра\*, и есть совсем другой уровень, которого придерживается Эзра Паунд\*. Я думаю, оба они занимают вполне определенные позиции по социальным и политическим вопросам, но это позиции настолько разные, что их нельзя сравнивать. Без сомнения, можно не иметь даже малейшей видимой актуальности. Я говорю видимой, потому что определить наличие актуальности в художественном произведении не так просто, как кос-кому кажется.

*Хочется ли Вам иметь как можно больше читателей, и если да, то не заставляет ли Вас это желание выбирать популярную манеру письма?*

Я просто-напросто не знаю, что означает слово «популярный». Очень многие писатели популярны, от Толстого и Хемингуэя до Сенкевича, и популярны по-разному. Удивительное всего то, что непохожие друг на друга авторы пользуются популярностью у одних и тех же читателей. Я полагаю, что ни один писатель, которого с полным на то основанием можно назвать популярным, не пойдет ради этого ни на какие уступки.

*В последние десятилетия средства массовой информации, прежде всего радио и телевидение, стали чрезвычайно важными факторами общественного развития и оказывают сильное влияние на повседневную жизнь человека. Какое влияние, по-Вашему, будет иметь это развитие на литературу?*

Я не думаю, что это развитие серьезно повлияет на литературу. Оно, надо признать, дало писателям новые возможности выражения, но это в принципе не меняет положения писателя, который и сегодня вынужден работать за письменным столом в одиночку. Вероятно, средства массовой информации могли бы увеличить читательскую аудиторию. Но это не значит, что литература должна к этой аудитории приспособливаться. Сами средства массовой информации в меньшей мере зависят от публики, чем принято считать. Они всего лишь инструмент, не обладающий собственной продуктивной идеей. Идея — дело автора. Он должен знать, что писать, должен отвечать за написанное, не прислушиваясь к реакции публики. И тогда его произведение может стать тем, чего, не отдавая себе в этом отчета, ждала от писателя публика.

*В чем, по-Вашему, задача литературной критики? Влияет ли критика на Ваше творчество?*

Критика обязана видеть каждое произведение во взаимосвязи с предыдущим, ей нельзя терять способности удивляться. Она не должна от такого-то и такого-то автора ждать таких-то и таких-то произведений, не должна загонять автора в готовую рубрику и навешивать на него пожизненные ярлыки. Я сужу о критике не по тому, насколько резко она отзывается о тех или иных книгах, включая мои собственные. Я сужу о ней по тому, что она хвалит, ибо только в похвале раскрывается для меня представление критика о литературе.

*Недавно в Швеции прошла бурная дискуссия об экономическом положении писателя, и некоторые ее участники предложили, чтобы писатели получали регулярное жалованье от государства. Ваше мнение?*

По-моему, это бессмысленное предложение, ибо нет ни малейшей возможности найти такой орган, который бы решил, кого можно считать писателем, а кого нет. Всеобщих и объективных критериев художественного качества не существует. Чего же прикажете придерживаться? Того, каким успехом пользуется писатель? Но дай ему жалованье, и оно, вполне вероятно, сделает ненужной погоню за успехом. Успехом пользуется целый ряд плохих писателей и очень незначительное число хороших. С другой стороны, много плохих писателей не добились успеха, а много хороших не могут обеспечить себе прожиточный минимум. Заниматься искусством всегда рискованно, так было и так будет. Я не думаю, что государственное жалованье способно повредить крупному художнику, но он, вероятно всего, от него откажется, потому что риск — часть его жизни и его искусства. Но я не думаю также, что государство обязано из своих средств субсидировать чьи-либо мечты и иллюзии.

*Многие критики используют личную жизнь писателя как ключ к пониманию его произведений. Правильен ли, по-Вашему, этот метод, или Вы считаете, что анализ должен распространяться только на произведение как таковое?*

Без сомнения, есть книги, ключом к которым является жизнь их авторов, но я не думаю, что такая отмычка подойдет к каждому произведению. Большая часть литературы не имеет прямого отношения к жизни писателя. То, что в жизни интересно — любовь, голод, война, борьба, приключения и религия, — писатели переживают точно так же, как и миллионы других людей. Важно то, как они пишут. Есть много писателей — Кафка, например, — внешняя жизнь которых протекла вполне банально, но Кафка не писал банальных вещей. Вот почему неверно отождествлять автора с персонажами его книг. Он растворен в своих книгах, в их голосах и образах, он скрыт в них и сам толком не знает, как все произошло. Корни интереса к личности писателя — в жажде сенсаций, не имеющей ничего общего с литературой.

# Франкфуртские лекции



## I

В отведенные мне часы я попытаюсь на примере отдельных книг, тем и идсь изложить эстетику гуманного: речь пойдет о жилье, соседстве и родине, о деньгах и любви, о религии и пище. Я мыслю себе это так: каждый раз на основе одной-двух книг я выдвигаю исходный тезис, а на последующем семинаре мы его обсуждаем и разворачиваем. Начать я хотел бы, однако, с некоторых предпосылок — как общелитературного, так и сугубо личного свойства, причем об этих последних я просил бы постоянно помнить и в процессе наших семинарских бесед. О себе скажу лишь следующее: хоть я пишу один на один с листом белой бумаги, набором очиненных карандашей и пишущей машинкой, я никогда не чувствую себя одиночкой; напротив, я всегда ощущаю свою связанность с другими, свою сопричастность — сопричастность времени и современникам, всему тому, что было пережито, испытано, видно и слышано моим поколением и что в плане автобиографическом редко и лишь в самой приблизительной степени бывает настолько характерным, чтобы для него нашлись точные слова; сопричастность беспокойству и бесприютности поколения, которое, уже дожив до седовских седин, вдруг обнаружило, что оно — как это там говорится? — выросло, а ума не вынесло. Что прикажете делать с такими дедами, куда их девать — в психиатрическую лечебницу или в крематорий? В каждом взгляде читась мысль об убийстве: лучше б ты умер или был убит. Слишком много убийц открыто и нагло разгуливают по этой стране, и никто не докажет, что они убийцы. Вина, раскаяние, покаяние, прозрение так и не стали категориями общественными, уж тем более — политическими. На этом фоне образовалось и существует нечто, что

сейчас — через двадцать лет и с некоторыми оговорками — можно назвать послевоенной немецкой литературой.

Итак, я сопричастен времени и современникам, но союзников у меня нет; есть, конечно, круг близких друзей, есть круг читателей, но союза они не заменяют. Для каждого публикующегося союзник лишь тот, кто, подобно ему, находится на виду у публики. А это очень уязвимая позиция, знакомая всем, кто говорил здесь до меня и будет говорить после меня. Запомним это — чтобы хоть приблизительно стало ясно, в каком качестве мы, писатели, стоим здесь перед вами. Конечно, мы не только уязвимы — при случае мы и сами можем уязвить; но в ответ на каждую стрелу, случайно попавшую в цель, на каждый камень, невзначай задевший висок Голиафа, раздастся залп из сотни, тысячи дробовиков, а дробь, как известно, разит без промаха, и тут-то обнаруживается, что ни у тебя, ни у кого другого союзников нет.

Вы видите, я говорю так, как только и могу говорить: высказываю точку зрения сугубо личную, но не субъективную; иными словами, быть сопричастным еще не значит быть пристрастным, быть зависимым еще не значит быть поработанным. Наверное, я выражаюсь слишком сложно, но поверьте, проще не скажешь. Я говорю с вами как человек зависимый, но не поймите это как излишнюю скромность, скорее наоборот; просто я не верю в абсолютную независимость, в полную непричастность. Конечно же, существуют клики, кружки, объединения, группировки; но так ли уж трудно представить себе человека, связанного с другими и в то же время не представляющего ничьих интересов — или не рассчитывающего на чей-либо интерес? По-английски «interests» означает также «проценты» — это ближе к сути дела. Как только литература отправляется в общество — или просто ненароком попадает в него, — она сразу становится объектом интересов, даже если это интересы лишь уязвленных либо всего лишь прикидывающихся уязвленными.

В обозначении темы своих лекций я намеренно избегал слова «общество». Оно сейчас стало весьма употребительным, отнюдь не став от этого всем понятным; оно вошло в моду, и его за-таскивают прежде, чем начинают понимать. Иное со словами «социальный», «гуманный»; их в нашем обществе избегают, замалчивают, выставляют на посмешище; они признак дурного тона, они асоциальны, если предстают без доверка или без прикрытия — научного прикрытия, каким обладают слова «социология» и «гуманизм», политического прикрытия, каким располагает слово «социализм». А когда кто-нибудь из нас, преступив рамки дозволенной и сверху донизу организованной благотворительности, станет искать и, чего доброго, обнаружит *вне* этих рамок какую-либо гуманную взаимосвязь религиозного и со-



циального, я несколько не удивляюсь, если церковь немедля заключит союз с любым атеистическим обществом, дабы уничтожить человека или группу людей, которые в простодушном уповании на одну лишь волю господню дерзнули отправиться в сферу не общественного, а гуманного. Может быть, я и преувеличиваю, но скудость моей фантазии замыкает это преувеличение в рамках возможного. Уже были попытки таких исканий, и некоторые даже воплотились в жизнь — потому что получили дозволение, потому что организовались по первому требованию. Знаменательно, что в нашей стране, классической стране ферейнов \*, уже не создаются ферейны, их заменили общества, которые лишь по необходимости, т. е. из юридических соображений, стыдливо называют себя «зарегистрированными ферейнами» и автоматически отправляют никому не нужные ритуалы. Эта тяга к общественности лежит также в основе многочисленных заседаний, встреч, дискуссий, публичных и неофициальных, на которые залучаются дежурные ораторы, придающие программе должный блеск. Я не собираюсь высмеивать эту тягу к общественности, я уважаю надежды, возлагаемые на подобные собрания. Удивительно только, что все эти общества, будь то выпускники ремесленных училищ или слушатели курсов для судебных исполнителей, жаждут вовсе не лести, одобрения или поощрения; нет, они ожидают чего-нибудь задиристого, скандального, общественно-критического, жаждут обличений и разоблачений, я бы сказал даже — о ком бы ни шла речь: о самоуверенных промышленниках или о служителях клира, — жаждут оплеух, и с тех пор как я это понял, у меня пропала охота раздавать оплеухи даже и понарошку.

Своеобразие таких устроений состоит еще и в том, что собственно общественная часть разыгрывается вне рамок официальной программы — во время обседа, за вечерним коктейлем; тут все на удивление самораскрываются, обмениваются доверительными признаниями; как только речь спустится с ходуль публичного тщеславия и обретет раскованность, настанет черед оговорок — «да я вовсе не то имел в виду»; все перемешивается, на стиль уже наплевать, и оказывается, что есть язык публичный и язык интимного общения, что каждая вторая фраза требует наводящего вопроса: «А что вы имете в виду?» — и ты, не успев оглянуться, уже увязает в дебрях дефиниций, почерпнутых из неведомо каких глубин, и тут становится ясно, в какую непроглядную темень забрел в ходе своей истории наш язык. Тут-то и обнаруживается в полной мере катастрофическая ущербность нашего образования. Повторю еще раз: я не собираюсь высмеивать эту тягу к общественности, тем более клеймить ее; в ней выражается жажда сопричастности. Нашего общего словарного запаса едва хватает на час, его недостаточно даже для самого

обыденного разговора, например, о школах, — на втором часу такой разговор превращается в утомительную болтовню. Нет также и ритуала вежливости, который выручал бы больше чем на час. Языка у нас в запасе немало — при желании было бы немало, — но где у нас язык гуманности, социальности, сопричастности, да еще и отвечающий требованиям хотя бы самой скромной эстетики? А ведь любой автор — пусть он и написал-то всего страницы три мало-мальски пригодной для публикации прозы — предполагает в своих читателях хотя бы самую скромную эстетическую восприимчивость — возьмем наискромнейшую: способность подходить с разными мерками к роману и к редакционной статье иллюстрированного журнала.

Я исхожу из убеждения, что человека делают человеком язык, любовь, сопричастность; это они связывают его с самим собой, с другими людьми, с богом — монолог, диалог, молитва. В мои цели не входит исследование того, какие формы эстетика гуманности могла бы принять в устной речи — в лексиконе политика, продавца, учителя, супругов, профессора, босса — и, разумеется, их собеседников; без участия собеседника вырабатывается обычно только словарь узурпаторов, словарь сильных и всегда правых, — он создается на основе заведомого представления о собеседнике или усваивается в процессе долбежки. Чем неограниченной власть, тем бессодержательней словарь — слов много, а смысла нет; не хочу называть это фразерством — ведь фразу отличает стилистическая красота, образцовость, если угодно, даже и манерность, фраза всегда есть инструмент языковой вежливости; она предполагает знание условностей, она почти как танцевальное па; наш язык еще не научился этой вежливости, с помощью которой так удобно выражать и уважение, и пренебрежение. Тут есть над чем задуматься философам и социологам.

Возможно, кое-какие манеры проникают в наш язык благодаря переводам, пусть подчас и несколько манерным. Мы поистине провинциальны, когда усматриваем в так называемом море переводной литературы угрозу немецкому языку; всякий перевод, даже перевод детективного романа, обогащает родной язык, он оживляет лексические пласты, в родном языке почти вымершие, никогда не существовавшие либо уже не существующие. При переводе одного рассказа, в котором наряду со всем прочим речь шла о нью-йоркском башмачнике, мы с женой вдруг поняли, что забыли многие слова, которые еще тридцать лет назад, в детстве, когда мы носили сапожнику башмаки в починку, были для нас само собой разумеющимися. С неимоверно быстрым развитием механизации исчезают целые группы ремесел, а с ними их словарь, наименования их орудий труда, их платьев, их песен. Сравнивать, собирать — для филологов тут

работы непочатый край. Политику тоже делают слова — приглядывайтесь к ним, собирайте, сравнивайте. Сейчас слишком увлекаются анализом содержания, я еще буду об этом говорить. Содержание романа или рассказа — это всего лишь условие, оно дается, можно сказать, даром; дареному коню не стоит смотреть в зубы. Собирайте слова, изучайте синтаксис, исследуйте ритмику — вот тогда и станет ясно, каков ритм, каков синтаксис, каков словарь у гуманного и социального в нашей стране. Уже одно выражение «пакет социальных мероприятий» могло бы стать предметом филологической диссертации. Нам нельзя разбрасываться словами, нельзя терять ни единого — их у нас не так уж и много. Культурному государству — не смущаюсь этим эпитетом — надо было бы сейчас спешить спасти то, что еще можно спасти. Не бог весть какая зажиточная страна Ирландия уже несколько десятилетий имеет правительственные комиссии, созданные специально для этой цели, и они осуществляют работу под стать той, что проделали братья Grimm\*. Правда, Ирландия — страна поэтов, ее первым президентом был Дуглас Хайд\*, языковед; и он был — в этой почти сплошь католической стране — протестант.

Неприязнь немцев ко всему провинциальному, будничному — а оно-то и есть собственно социальное и гуманное — сама насквозь провинциальна. Провинции становятся литературными центрами мирового значения, когда обретают язык, — достаточно вспомнить Дублин и Прагу. Мы теряем слишком много слов, разбрасываемся ими; мир для нас — это всегда «большой мир», «большой мир» — это великие мира сего, а великим мира сего не хватает величия; политики не умеют говорить либо говорят впустую. Идет своего рода распродажа — заручись языкознание финансовой поддержкой от государства, оно могло бы скупать слова по дешевке — собирать их, сортировать. Это всего лишь случайные мои соображения, размышления по поводу; может быть, я с ними уже опоздал и в них нет нужды — я не знаю, что у вас тут делается, что уже сделано.

Словарь великих мира сего так же бессодержателен, как и словарь политиков. По меркам эстетики устной речи какой-нибудь башмачник или рыночная торговка оказались бы, наверное, королем и королевой в сравнении с пустыми и скучными словами из запаса великих мира сего. Меня часто — и несколько пренебрежительно — называли писателем маленьких людей; я должен сознаться, что всегда воспринимал такие оговорки как комплимент. Может, я и вправду до сих пор только в маленьких людях находил величие?

Едва ли это простая случайность, что у нас нет книг для детей, для юношества, нет детективных романов, — в нашей стране, где преступность отнюдь не меньше, чем в тех странах, с чьих

языков мы переводим детективные романы. Похоже, что у нас нет ни доверительного языка, ни сфер жизни, располагающих к доверию; нет доверительных отношений ни с обществом, ни с миром, ни с окружающей средой. И если редко кто из здешних писателей соглашается служить украшением общества, к которому он не принадлежит, — это тоже не случайность и уж тем более не огорчительная — это, по-моему, хороший признак. Писателю не место в обществе, которое свое достоинство мерит или вынуждено мерить — потреблением, в обществе, лишенном стиля, демонстрирующем не манерность даже, а голый снобизм. Если кто-то в таком обществе публикуется, это еще не значит, что он выражает публичные интересы. Надюсь, мне не надо здесь вдаваться в объяснение понятия «выразитель публичных интересов». Немцы — без всяких общественных различий — взыскуют сопричастности, доверительности, а находят только общество, компанию; не случайно они — и об этом я тоже еще буду говорить — так много путешествуют, ищут гуманное и социальное в других местах, дивятся будням других стран.

На современную литературу возложена ответственность, которая ей не по плечу. Бессодержательная, пустословная политика, пустословное общество, беспомощная церковь, ищущая социального воздействия и все более робко настаивающая на обязательности своей морали, ищущая для себя научного алиби, которое ей не к лицу, тоже грешащая пустословием, — а иной раз пользующаяся, подобно обществу и его политикам, ханжеским лексиконом доносчиков, — все это, как я уже сказал, возлагает на литературу бремя ответственности: ей навязывают эротические, сексуальные, религиозные и социальные проблемы, трактовку которых ей же потом вменяют в вину. Где политика пасует или терпит явное поражение, там сразу не от кого иного, как от писателя, требуют слова, решительного слова, — стоит только вспомнить об истерических попытках выжать из писателей протесты против сооружения берлинской стены. От нас ждут как можно доходчивей выраженной формулы, которую политики могли бы использовать в своих склоках. Это не случайность — и не всегда злорадство и цинизм, — что писателей вынуждают к высказываниям по политическим, социальным, религиозным вопросам. Это большая — я бы сказал, слишком большая, — честь и в то же время уж слишком непомерное требование: найти в джунглях дефиниций прямое, доходчивое слово. Спрашивают не ученых, не политиков, не священнослужителей — нет, именно писатели должны высказать то, чего другие явно не хотят высказывать: что потерянное потеряно навсегда, что останется разве что объявить вознаграждение нашедшему. Именно писатели должны назвать пропажи своими именами. Политики вяляют, церковники в обществе всдут себя с умом — неумного,

истинного слова ждут от писателя, а стоит ему его произнести, как машина демагогии взывает подобно сирене воздушной тревоги. Еще бы! Это сигнал опасности — когда произносится слово, выходящее за рамки пустой банальности ходовых публичных формул.

Как более или менее осознанное подтверждение этой ситуации я объясняю для себя появление литературы, которая с непревзойденным совершенством выражает ничего не говорящую пустоту, освобождает человека от всякой гуманности, сопричастности, социальности и с помощью ничего не говорящих слов ставит его в ничего не говорящее окружение; хранить речь внутри себя самой, не давать вырваться наружу ни единому звуку, ни единому слову, ни единому сигналу тревоги; оставаться внутри, в замкнутом кругу — ни единого жеста вовне, лишь биение собственного ритма. Но даже и великим глашатаям поэтического одиночества — Георге, Бснну, Юнгсру\* — не удалось избежать общества; публика их нашла, и не ирония, а трагедия видится мне в том, что и Музиля\* она настигла. Написанное, а тем более напечатанное слово в тот самый момент, когда его пишут или печатают, становится социальным фактом, оно существует — независимо от того, ищет или не ищет писатель путей к обществу, к публике, к переделке мира. Жреческое культивирование искусства в тех формах, в каких его осуществляли великие глашатаи одиночества, всегда оборачивалось, пусть и самую малость, конфузом: где начинают стилизовать и священнодействовать, там в священное ремесло неминуемо прокрадывается ремесленничество, там возникает нечто убийственно дилетантское, своего рода художественный промысел; где отрицают общество на языке элиты, там оно воцаряется прочнее всего: возникает атмосфера интимности, приватности, избранности — и мещанства, сопутствующего таким кружкам и распределяющего в них венки.

Кружок и венок — их роднит закрытость, замкнутость; культовые замашки проникают в сферы, для культа менее всего пригодные. Такая претенциозная требовательность свойственна только ремеслам и промыслам; вкус, со вкусом, тонкий вкус и прочее — это все лексикон посвященных жрецов, заимствующих свою терминологию из области кулинарии; и очень скоро посвященные, с грехом пополам подражая тому, что поначалу, быть может, и впрямь было великим, превращают его в моду. Да, конечно, литературе нужны не только читатели, но и истолкователи, она предполагает и публичность, и сопричастность, — но таинство посвящения не входит в ее устав. Даже для Кафки, величайшего из всех, не требуется посвящения — как бы ни пытались интимные кружки им завладеть. Церковь тоже освящается — но посредством этого ритуала ее не закрывают, а от-

крывают, причем для всех. В кружки принимают, из них изгоняют — так возникают понятия «смутьян», «отщепенец». Я давал читать Кафку и Фолкнера своим детям, женщине, помогавшей нам по дому, — и делал это не из самонадеянной претензии, что искусство принадлежит народу, а из уважения к Фолкнеру и Кафке; я не считаю, что они писали для посвященных. А понятие «труднодоступный» относительно — сказки братьев Grimm тоже трудны для понимания; писатель не ограничивает круга своих читателей, и он делает это не из скромности, а из высокомерия. Ограничения налагаются лишь кругом, в который ты себя заключил.

Я высказываю здесь эти соображения, чтобы уяснить для себя, куда, в какое общество отправляются наши письмена, как только они становятся социальным фактом, — с какими силами приходится иметь дело автору, когда он не прикрывается щитом «Только для посвященных», а глаголет в самозабвенной беззащитности, — когда он переступает круг. И в последнее время меня нет-нет да и осяплет прозрение. Тогда наискромнейшее условие — что произведение повествовательной прозы требует иного инструментария анализа, чем редакционная статья в бульварном листке, — и оно кажется мне еще слишком нескромным. Если я далее подделюсь с вами некоторым опытом, накопленным мною в качестве объекта критики, то это будет лишь такой опыт, который может претендовать на общезначимость, который легко отделяется от объекта. Для начала — всем известный пример.

Если в радиопьесе или в романе трубочист падает с крыши — *должен упасть* из композиционных, драматургических, т. е. эстетических, надобностей, — сразу поступают жалобы от соответствующего профсоюза: трубочисты нынче с крыш не падают. Протесты, обиды, волнения дальше этого не идут, и можно, стало быть, не обращать на них внимания; в обязанности автора не входит давать профсоюзу трубочистов общий обзор свроейской эстетики от Аристотеля до Брехта. Отсутствуют минимальные предпосылки взаимопонимания — а они были бы необходимы, даже и в том случае, если автору по какой-либо причине вздумалось бы позлорадствовать над сорвавшимся с крыши трубочистом. Писатель не может в придачу к роману давать еще и эти предпосылки: трубочисты как таковые ему глубоко безразличны. Он никогда полностью не соответствует этикетке, которую на него иной раз и наклеивают: трубочист, марксист, католик, правительственный советник и т. д., — будь он даже на самом деле католически-марксистским правительственным советником, однажды потехи ради сдавшим экзамен на трубочиста. Чем бы он ни был помимо того, что он писатель, — это все *помимо*, и его сопричастность лишь тогда сопричастность, когда она

по меньшей мере семикратно; он может даже и стремиться найти своего рода середину, но люди внешнего мира — трубочисты, марксисты, католики, правительственные советники и т. д. — при слове «середина» думают сразу о центре круга, т. е. о круглом и, стало быть, эстетически непригодном; но середина, центр есть и у треугольника, и у пятиугольника, и у пятидесятиугольника. У писателя могут быть тысячи настоятельных причин для того, чтобы столкнуться именно этого трубочиста с крыши. К примеру, автору известно, что в сточном желобе вот уже двадцать лет как застрял красивый игрушечный стеклянный шарик, дожидаящийся человеческого общества, и его-то, цепляясь за желоб, должен обнаружить трубочист, пока пожарная команда стремглав несется ему на помощь. Или автору важно, чтобы трубочист вот таким окольным путем — сначала сорвавшись, потом держась за желоб, потом ухитрившись поставить ногу на подоконник — очутился в комнате, где лежит, хворая, или корпит над книгой юная особа, сгорающая от любви к нему. А может статься, ему, автору, нужен в данный момент тот шорох, который создается кедами, когда они скользят по черепице, — именно такой шорох. Ему, может быть, важно, чтобы сверзшийся бедолага качался в воздухе, цепляясь за желоб, медленно отрывающийся от стены; скажем, автор задумал изобразить человека, парящего между небом и землей, чтобы обосновать таким образом последующий внутренний монолог или лирическое отступление. Все сплошь уважительные причины, равно безобидные и грубо расчетливые, причины, которые могут быть столь же абстрактными, сколь и гуманными, столь же глупыми, сколь и бесчеловечными.

Короче говоря: партии, заинтересованные круги, церковные инстанции почти всегда ищут авторский замысел и умысел не там, где надо: их не интересуют стеклянные игрушки, сгорающие от любви юные дамы или уж тем более возможность того, что незадачливый верхолаз окажется переодетым Казановой или Дон Жуаном, из чего опять-таки вытекают две совершенно разные эстетические перспективы, — все это их не интересует. Это как с авиакомпаниями: они не любят, когда в романах разбиваются самолеты, и сразу подозревают, что автор нанят железнодорожной компанией или подкуплен велосипедной промышленностью. Больше об этих уязвленностях, обидах, протестах и говорить не стоит. Конечно же, у такого автора есть свои планы: может быть, он, приводя желоб в колебательное движение, хочет угодить стеклянным шариком — как из рогатки — в каску жандарма, находящегося в пятистах метрах; возможно, его интересует чисто физический эффект — он хочет испытать, сможет ли запущенный таким образом шарик пробить картон, стекло, а глядишь, и металл; у него на уме баллистика — а

ему приписывают политику, нанесение ущерба. Что об этом говорить! Я только пытаюсь наметить разные аспекты эстетики социального — или религиозного, или эротического; может, конечно, случится и так, что у автора не свяжутся баллистика с эстетикой и шарик угодит не просто в совсем другую цель, а и в глаз, трубочист же слишком рано ступит на подоконник, когда юная особа, еще в неглиже, будет проверять в зеркале белизну своей кожи и блеск зрачков.

С возрастом подтвердится одно мое подозрение, над которым я до сих пор в постоянной спешке никогда по-настоящему не задумывался: что читатель — причем я имею в виду также и критика, которого я мыслю себе читателем, умеющим систематизировать наблюдения и формулировать мысли, — жаждет докопаться *до всего*; что он не успокоится, пока не узнает, что писатель *имел в виду*. Вот так и возникают упомянутые дебри дефиниций — и без того темные, но еще пуще затемняемые обидами, раздражениями, протестами и прочими благоглупостями.

Публика явно считает, что мы зарываемся, когда предполагаем у нее знание минимума: чтобы читатель различал избранную автором повествовательную перспективу, принимал его правила игры — внутри же этих правил, конечно, находил закономерности. Короче говоря: даже в более или менее реалистическом романе есть свой потаенный демонизм, способный не одного читателя и критика превратить в произвольного комика, — если те не сумеют распознать намеренного, чисто профессионального комизма предлагаемой повествовательной перспективы. Или скажем по-другому: когда в радиопьесе трубочист свалится с крыши и наивной сердобольной радиослушательнице взбредет в голову вызвать «скорую помощь» и направить ее — куда? — ну, скажем, в студию радиовещания, это будет с эстетической точки зрения реакция более корректная, чем у председателя профсоюза трубочистов, когда он начнет названивать сначала руководителю передачи, а потом представителю трудовых сословий в совете по радиовещанию и выражать решительный протест. Повторю еще раз: в последнее время меня иногда будто осеняет — неужели так уж невозможно предположить, что что-то может быть одновременно и легким и серьезным или как в музыке — серьезным и задорным; что задор — это не глупая ухмылка, что юмор и сатира — это разные понятия, что сатира никогда не бывает издевкой? Не дело автора создавать предпосылки — это дело тех, кто на том же языке, что и он, анализирует им написанное, — уча и учась, интерпретируя и критикуя, короче говоря: создавая предпосылки.

В этом городе Теодором Адорно \* были сказаны великие слова: после Освенцима уже нельзя писать стихи. Я хочу продолжить его мысль: после Освенцима уже нельзя дышать, есть,



любить, читать; кто сделал первый вдох, кто всего лишь закурил сигарету, тот сознательно решил выжить — читать, писать, есть, любить. И я тоже говорю с вами как один из тех, кто решил выжить, — кто рассчитывал найти гораздо больше привычной среды, языковой среды, чем, очевидно, следовало рассчитывать. С вами говорит человек, который любит читать и писать, женат, выкурил немало сигарет; человек, продливший свое пребывание на этой земле, но не уверенный в том, много ли чего останется после него. Он, как и вы, живет теперь вместе с бомбой, она у каждого из нас в кармане, рядом со спичками и сигаретами, и время приобрело с ней новое измерение, почти исключаящее длительность. Все теперь стало серьезным и легким, ничто не рассчитывает сохраниться, тем более пустить корни, тем более стать монументом со свинцовым основанием; утраченная родина, утраченные связи, странно чужой пейзаж — я еще вернусь к этому на одной из следующих лекций, ибо, как я полагаю, гуманность, социальность, сопричастность невозможны без родины, само слово «родина» включает в себя понятия соседства и доверия; без всего этого даже первичная ячейка общества — семья — превращается лишь в полную ядовитой враждебности цитадель, в узкий круг, кружок, исключаящий и отторгающий непосвященных. Узкие круги, кружки, закрытые общества, тайные союзы — это все явления, характерные для тоталитарного общества; они самым роковым образом напоминают мне первые годы после захвата власти фашистами: тогда тоже появились кружки, группировки, все приватно, тайно, а конспирация чаще всего была дилетантская — многие ли имели опыт обращения и обихода со шпиками и секретными службами? Шпикам и провокаторам было раздолье: начались аресты, допросы — даже если ты, без всякой организации, всего лишь поиграл в футбол с мальчишками во дворе. Иной раз дело кончалось плохо, иной раз ограничивалось предупреждением — у диктатуры случались свои накладки.

А что сегодня? Монолитная власть науки, тайные ложи, которые уже не прикрываются вывесками институтов, университетов, издательств, группировок, радиостанций, а формируются вокруг них, внутри них; сплошь разрозненные, сугубо тактические подразделения без всякой стратегии — или она осуществляется втайне? И вот литература, всегда выступающая с открытым забралом, оказывается в самой гуще, в мешанине тактических подразделений. В открытости своей она становится предметом всеобщего внимания, на нее возлагают надежды, совершенно неоправданные: она не может заменить собой религию и общество. Тут неизбежны самые противоестественные смешения и смещения фронтов — ибо бессмысленно заключать дружбу или питать вражду над бездной недоразумений.

Дело не в том — и чем дальше, тем меньше оно будет в том, — чтобы подавлять писателя, избравшего религиозную тему (предмет веры, а не знания), на каких-либо ошибках и прегрешениях, — говорю это не *pro domo*<sup>1</sup>, а скорее *pro ecclesia*<sup>2</sup> и совершенно бескорыстно. Что я имею в виду? В нашей стране господствуют странные представления о реализме: как будто слово — это что-то плоское и расхожее, как пятак, в то время как любой ребенок самое позднее в свой первый школьный день узнает, что язык — это вовсе не досконально знакомая и привычная область и что даже божье слово не следует воспринимать буквально; ни одно из слов, с помощью которых делается политика, изъясняется наука, провозглашается вера, не похоже на плоскую и расхожую монету, пригодную для любого автомата. Все, что мы пишем, подвергается опасности быть изувеченным, расплюснутым с целью сделать слова округлыми и расхожими — ибо все печатается массовым тиражом и для массового потребления; за последние десять лет в нашей стране куплены миллионы карманных изданий. Почти вся современная литература стала в результате массовой — в том числе и литература для посвященных. Книжка в каждом кармане, почти задаром, по цене ниже самого низкого почасового тарифа; даже за рецепт в больничную кассу человек как-никак платит пятьдесят пфеннигов налога — в восемь раз больше, чем авторский гонорар за один экземпляр книжки в карманном издании. Массовая литература нуждается в массовом посреднике, который формулировал бы эстетические предпосылки; университеты тоже массовые учреждения, и их массовость еще будет возрастать. Как писателя меня не пугают массовые публикации, не пугают и квалифицированные истолкования как со стороны противников, так и со стороны приверженцев — меня пугают истолкователи, считающие себя вправе без всяких предпосылок судить о тексте, обусловленном самыми разными предпосылками.

В так называемом восточном мире, несмотря на все довольно неуклюжие, часто в приказном порядке организовывавшиеся попытки создать эстетику социального и гуманного в форме расхожей монеты, у читателей сохранилась редкостная чувствительность, еще позволяющая распознавать в социальном духовное, религиозное. А вот в нашем мире, называющем себя западным, практикуется и пропагандируется самоубийственное пренебрежение к гуманному и социальному.

Нынешняя ультрапрогрессивная техническая мысль услужливо согласилась или вот-вот поневоле согласится рассчитывать срок действия предметов обихода, которым самим по себе сносу

---

<sup>1</sup> В защиту своего дома; *здесь*: в свою защиту (лат.).

<sup>2</sup> В защиту церкви (лат.).

нет, настолько точно, чтобы сохранилась постоянная конъюнктура в экономике, основанной на потреблении; вопрос теперь в том, не согласилась ли эта ультрапрогрессивная техническая мысль заодно и человека пустить на износ, создать своего рода гигантский Освенцим, над воротами которого мог бы висеть лозунг «Через расход — к свободе»\*.

Я никогда не мог взять в толк, почему должны существовать сословные интеллектуальные перегородки в социальных сферах, по самому своему статусу и уставу такие перегородки исключают: например, в религиозной общине, говорящей на разных языках с посвященными и непосвященными. Точно так же не мог я уразуметь — хоть и убедился в этом на горьком опыте, необходимости которого все равно не признаю, — как так получается, что там, где провозглашается всеобщее образование, это образование не способствует, а препятствует созданию общности. Почему оно дается лишь немногим — это, возможно, проявится в ходе наших последующих бесед. До сих пор есть такие родители, которые отказываются посылать своих детей в высшие учебные заведения, даже когда их одаренность и сообразительность засвидетельствованы в официальных бумагах; эти родители боятся отнюдь не материальных жертв и затруднений, а болезненного разрыва, который может произойти, когда их сын или дочь приобретут высшее образование. Тут сказывается не только горький опыт, но также и снобистское высокомерие образованных слоев. Я привел только один пример, их можно привести и больше.

Немцы — народ с ущербным образованием; эта ущербность создаст благодатнейшую почву для демагогии, порождает сословные перегородки, повышенную обидчивость и раздражительность. Посмотрите только, каков был образовательный уровень ведущих национал-социалистов: сплошь ущербные недоучки и неудачники; но если вы поинтересуетесь, каким образом эти недоучки и неудачники сумели прибрать к рукам университеты, вы обнаружите весьма неприглядную картину. Образованные круги в их самом чистом для немцев выражении и воплощении — университетские профессора — не то чтобы оказались бессильными перед этой узурпацией — нет, они вообще не воспользовались своей силой, просто уступили насилию дорогу. Не буду говорить о счастливых исключениях — слишком печальным было правило. Столпам не хватило величия. И нынешние яростные атаки на интеллигенцию, все эти демагогические ярлыки — они от той же образовательной ущербности. А когда к этой ущербности присоединяется еще и недюжинный ум, не нашедший либо образования, либо его применения, то возникает поистине убойная демагогическая сила.

Правда, для университетов новый захват власти уже не представлял бы сейчас опасности. Они обладают собственной свободой, обеспеченной давними, средневековыми привилегиями, они недосыгаемы, неуязвимы — и, помимо всего прочего, совершенно не опасны для государства.

Где наука сегодня выступит как таковая, во всем своем прочно застрахованном всемогуществе, она недосыгаема, а поскольку она теперь — через естественные науки, через медицину, через общественные науки — не только скооперировалась с промышленностью, но и становится иной раз почти уже ее отраслью, ей не грозит больше никакая опасность. Как наука сумеет выбраться из этого своего самого главного — и отныне постоянного — кризиса, да еще так, чтобы ей *поверили*, — это, конечно, и моя забота, но не моя проблема. Новым в судебном процессе против палачей Освенцима, состоявшемся в этом городе, было то, что некоторые обвиняемые ссылались уже не на подчинение приказу, а на ученого, естествоиспытателя, стоявшего за всем этим; показательно желание одного обвиняемого придать себе с помощью белого халата нибь научности.

Если толковать понятие «эстетика гуманного» еще шире, чем я это делаю, то тут, вероятно, придется вспомнить и про шприц, равно как и про белый халат, чья действенность при рекламе косметики и медикаментов неоспорима. В таких деталях особенно явственно обнаруживается, что образование в наивысшем своем выражении — наука — стало реальной силой, институтом власти. Если надо беспрекословно слушаться, ей надо подчиняться, и там, где наука консолидирована в особом формировании — в университете, — где она имеет свои законы и свои суды, подкрепляемые еще многочисленными писаными и неписаными кодексами чести, там ей не страшна никакая угроза извне. Подобный статус и авторитет в народе, чье образование ущербно, равнозначен абсолютной монархии. Тем самым науке выпадает роль реакционной силы, а поскольку послушание и подчинение являются единственной общественной реальностью, которую можно обнаружить во всей истории немцев вплоть до сегодняшнего дня, власть становится совсем уж неограниченной.

Лишь сейчас, лишь сегодня Галилей одержал безоговорочную победу и в Германии, настала его власть, его черед показать, на что он эту власть употребит. Конечно, и у церкви в руках еще немало ключей, есть влияние в высоких сферах, при случае его даже и прибавится, — но это все последние бои вроде тех, что вели японские солдаты в джунглях еще и несколько лет спустя после капитуляции.

Исход битвы предрешен, и нас еще ошеломят самые противостественные смешения и смещения фронтов. Религия как таковая, во всех ее общественных ипостасях, находится уже не

в наступлении, а в обороне. Пока она еще в осаде, скоро, возможно, попадет в опалу или в такое положение, в каком она находится в восточной части Европы,— и в осаде и в опале одновременно. Что ж, посмотрим, сумеют ли тогда атеисты сохранить верность тем, кто, не будучи атеистами, вместе с ними сражался за свободу.

На сегодняшнем — мною обрисованном — этапе, в тисках между ущербностью образования и засильем науки, на писателя ложится огромная ответственность, которая одним только общественным его воздействием не исчерпывается и не подкрепляется. А подкрепление ему нужно. Он человек образованный, даже если он и не прошел ни по одной из привычных троп на пути к образованию,— он должен быть таковым, будь он самое наивное дитя степей или болот, тущоб или джунглей; уметь выразить себя в столь невыразительном мире — эта способность поднимает его, хочет он того или не хочет, на ступень образованности: ведь умение создать образ — это и есть высшая ступень образованности. Но у него как у писателя нет того, чем обладает наука: нет аппарата, нет групп подкрепления; он не может ни контролировать, ни устанавливать правила игры.

## II

После первой лекции я счел необходимым прояснить для себя, в какую авантюру я ввязался, и, поскольку единственной наукой, которой я в своей жизни хоть и недолго, но все-таки достаточно интенсивно занимался, была классическая филология, я решил, что надежнее всего будет прибегнуть — после двадцатипятилетнего перерыва — к помощи древнегреческого толкового словаря Кэги\* и представить себе весь набор значений слова «poieo», а также его медиа «poiesomai», который старина Кэги советует употреблять в функции активного залога и смысл которого целиком зависит от прихоти автора. Град значений обрушился на меня, а утверждение, что «poiein» означает просто «делать», опровергалось Кэги на трех словарных столбцах. И чего-чего только оно не означает! Создавать, творить, поубуждать, подготавливать, основывать, устраивать, совершать, сочинять, выдумывать; делать чем-нибудь, представлять чем-нибудь, объявлять чем-нибудь; действовать, усердствовать, убедительно высказываться, воздействовать, предпринимать, замышлять, учинять, добиваться, производить, строить, сооружать, разворачивать, закладывать, поднимать, обеспечивать, поставлять, добывать, приносить, осуществлять, показывать, судить, нести, пускаться. Есть прелестные формулы вежливости в словосочетаниях с «poiein»: например, «kalos poiein» может означать «слава богу», «к счастью» — а может обернуться и бо-

лес наплевательским отношением: «да ради бога», «мне-то что». Наконец, «poietas» означает «сделанное вообще», «труд», «работа»; далее — «действие», «событие», «что-либо искусственно созданное»; но также и «орудие», «поэтическое сочинение», «стихотворение»; наконец — «произведение письменной словесности», «книга». А вот «poietes» — субъект, делающий все то, что можно натворить с помощью всех этих многочисленных глаголов, — он «творец», «изобретатель», «первозачинатель», «зачинщик», а также «поэт», а также «выдумщик». А в Новом завете «poietes» означает также «деятель» — осуществитель Слова. Вооружившись этой более чем полсотней значений как основой для гастрольного курса лекций по поэтике, я и продолжу, с вашего позволения, свое благое — или черное? — дело.

Рассуждая о тотальном засилье науки, я обозначил послушание и подчинение как единственную общественную реальность, созданную всей предшествующей историей немцев; говоря проще: немцы подчиняются столь же охотно, сколь охотно требуют подчинения. Самой постыдной сценой, какую мне довелось наблюдать (именно постыдной, другого слова я не нахожу, — тогда только что кончилась война, и я почувствовал себя освобожденным — не просто спасения ради пересодетым в штатскую одежду, а настоящим штатским), — самой постыдной сценой была та, когда на первой же поверке в американском лагере для военнопленных некоторые мои бывшие соратники с отменной ретивостью, бодро чеканя шаг, вышли из строя: убийцы, еще несколько часов назад проповедовавшие войну до победного конца, они изъявили готовность обучаться на пропагандистов и распространителей демократического образа мыслей. Чеканя шаг, ретиво, подобострастно — какая уж там эстетика, какая поэтика и поэзия; среди более чем пятидесяти значений слова «poiein» мы не найдем глагола, означающего подчинение, — ни в переходной, ни в возвратной форме.

Поэзию этого лагерного момента моей жизни во всей его отчужденности — как ее передать? Освобожден, но еще в плену; выжил, но на самом волоске; безалаберный американский капитан, от щедрот душевных пообещавший нам пиво и сосиски (он искренне в это верил — как и в то, что обещает нам тем самым мир и покой), — и странное предчувствие, что очень скоро я — все еще не свободный, а только освобожденный — попаду в полон к чеканящим шаг, ретивым, подобострастным, и они захотят сделать из меня то, чем я уже был по рождению и происхождению: демократа... Для всего этого я так пока и не нашел слов. Если говорить о моих собственных произведениях письменной словесности, поэтических сочинениях, книгах — я твердо держусь старины Кэги, — то мне легче было бы развивать поэтику на материале того, чего я до сих пор так и не смог написать, чем

того, что я написал; но для этого нужны бóльшая дистанция, более почтенный возраст. Думается, в возрасте до пятидесяти говорить или писать о собственной поэтической технике можно лишь очень приблизительно — а стало быть, неподобающе; потому я уж лучше займусь толкованием чужих текстов.

Что касается черных дел поэтов, я позволю себе сделать еще несколько замечаний. Когда поэт («poіcіn» здесь в значении «замышлять»), блуждая по бесмолвным ночным улицам, вдруг ощущает несоодолимый порыв натворить что-нибудь поэгическое («poіcіn» здесь в значении «осуществить») и муза нашептывает ему повеление поднять с мостовой три булыжника и запустить в первое попавшееся окно, а он это делает, потому что всегда покорно следует нашептываниям музы, то он едва ли удивится, когда люди, чей ночной покой будет потревожен столь бесцеремонным образом, распахнут окно (при этом осколки стекла посыплются на мостовую, грохоту прибавится, и в результате перекаламутится весь квартал), — когда они распахнут окно, чтобы его по меньшей мере усовестить или припечатать словом покрепче, типа «хулиган», «подонок», «бандит». Но он по праву удивится, если ему сразу припишут покушение на убийство, попытку изнасилования, кражу со взломом, поджог, а то и, чего доброго, подрыв государственных основ. Если же его еще и приволокут на суд, а он станет утверждать, что, во-первых, покорился нашептываниям музы, а во-вторых, его с музой общес намерение заключалось всего лишь в том, чтобы впустить свежий воздух в означенные спальни, — ни одна душа ему не поверит: муза никому не указ. И возникнет ужасный шум и катавасия — потому что поэт не может сослаться на то, на что другие в любую минуту могут сослаться и что будет им зачтено как смягчающее обстоятельство: они-де не могли послушаться приказа.

Я хочу сказать: общественности следовало бы поэкономней обходиться со своим раздражением и раздражимостью, учитывать пропорции. Много ли какой-нибудь поэт («поэт» здесь в смысле «зачинщик») может натворить? Он даже и камни-то бросает не в витрины и не в церковные витражи, а по большей части всего лишь в воду — потому что его интересуют круги, ими образуемые, и он с изумлением обнаруживает, что от брошенного в воду камня расходятся не только круги, но и — вопреки всем физическим законам — волны, и в следующую же секунду тихий, сонный пруд приходит в волнение: поднимают галдеж утки, и пытаются кричать даже рыбы. Он-то, поэт и зачинщик, разумеется, не знал, — хоть это и обозначено на предостерегающих табличках, им проигнорированных, — что глубина в пруду всего метр пятьдесят, а из них семьдесят пять сантиметров, т. е. ровно половина, состоит из застойной, болотной массы. И вот стоит он, святая простота, и ссылается на музу, которая нашепт-

тала ему повеление создать миг поэзии; он вовсе не хотел мутить воду, да вода-то оказалась мутной — вот беда.

Слушаться — это немцу дозволено, даже велено; он может взламывать двери, рушить стены, стрелять, колоть, бить, грабить, маршировать. Но все это, разумеется, только ради государства, не ради себя, — т. е. грабеж из неестественных побуждений. Но можно ли ему слушаться взбалмошной особы, которая никогда не поддается до конца ни секуляризации, ни канонизации, — которая может повелеть ему осуществлять пятьдесят различных действий сразу?

Не знаю, возможна ли демократия по приказу, — стоит задуматься над этой формулой, задуматься и над самим словом «приказ»: по этому слову тюрьма плачет; стереть бы его с лица земли. Целая армия писателей-нигилистов не могла бы натворить даже и приблизительно столько бед, сколько натворило это слово. Я хочу сказать: все скандалы, вызываемые литературой, самым скандальным образом преувеличены. Настоящие скандалы происходят в тех судах, где разбираются дела о приказах.

Что же касается автора, первозачинателя, поэта — он-то не только хотел бы жить с другими («жить» — глагол, часть речи, обозначающая действие), но и сделать обжитым язык, на котором он пишет. Нехорошо, что человек одинок; он не может из тех ребер, что у него остались, сам сотворить себе родину, соседей, друзей, близких. И не может он, подобно Аврааму, породить себе свой народ; народ ему выпадает, и он в него попадает. Он нуждается не только в друзьях, публике — он нуждается в союзниках, открытых союзниках, которые не просто сердятся и не просто торжествуют, а еще и *понимают*. Понимают то, что важнее всего: поиск обжитого языка в обжитой стране.

Перехожу теперь к делу — к вопросу о родине. Вот отрывок из повести Г. Г. Адлера \* «Путешествие»<sup>1</sup>:

Приходили они обычно поздним вечером, а то и ночью, ибо ужасу приносимого ими извещения противился ошеломленный свет дня. «Не имей дома своего!» — вот что было отпечатано на их повестках. И люди уже ждали беду, ибо знали о ней, и потому дома их рушились еще до того, как их добивал милосердный заряд бомбовоза. Бомбовозы прилетали позже — затем, чтобы разрыхлить в пажити эти опустелые руины, а вовсе не затем, чтобы отомстить за вероломный увоз изгнанных из дома своего, о ко-

---

<sup>1</sup> Отрывки из произведений даны также в переводе А. Карельского. — *Прим. ред.*



торых они вряд ли и помышляли, когда намечали участок города, подлежащий уничтожению. С хищным гулом налетали стремительные машины с громопосных ночных небес и низвергали свой гибельный груз на бранные останки, лишь в тот момент и осознававшие свою брэнность, когда взрывалось их нутро. Погибель, стало быть, настигала уже не жилые дома, а заброшенные гнездовья, разграбленные норы, незаконно доставшееся добро, не пошедшее разбойникам впрок. Но это все совершалось уже много позже, и самых первых пострадавших оно миновало — тех, кому давно уже было возведено: «Ты не имешь права на дом свой!»

То был приказ: не имей дома своего! Повесть эта многое мне объяснила. Читая ее, я впервые осознал, что в послевоенной немецкой литературе едва ли найдется хоть одно художественное изображение оседлости, хоть одна книга, в которой соседство, родина полагались бы чем-то само собой разумеющимся. Иногда указывается — а дипломаты просто-таки жалуются — на то, что немецкая послевоенная литература представляет за границей совершенно иной образ Федеративной республики, чем тот, что создается в дипломатических беседах и за столом экономических переговоров. Небезынтересная тема для исследования — сравнить эти разные уровни репрезентации, причем обязательно подкрепить такой анализ глубоким и всесторонним изучением рекламных приложений к нашим крупнейшим газетам, в которых предлагаются и ищутся земельные участки во всех возможных уголках земли. Тут возникает образ прямо-таки целого народа в бегах — бегут кто с востока, кто на запад. А вот с обратными примерами — чтобы кто-то в мире жаждал приобрести земельный участок в Федеративной республике (я имсю в виду участок для жилья, а не для строительства фабрики), — с такими примерами, пожалуй, будет не густо.

Политики — и это не только в нашу эпоху и не только в Германии — слишком много мнят о себе, когда обижаются на современную литературу, которая якобы чинит им помехи в их похвальных начинаниях. Все, что есть в современной литературе политического и социально-критического, всякий раз определяется материалом, с которым она имеет дело. Писатель ищет возможность выражения, ищет стиль, а поскольку перед ним стоит неслегка задача соединить мораль выразительного приёма, стиля, формы с моралью высказываемого, моралью содержания, то его наличным материалом по необходимости становятся политика и общество, их словарь, их ритуалы, мифы, обычаи. И политики и общество, ощущающие обиду или угрозу, не понимают, что речь всегда идет не о них, а о вещах поважней.

Они даже не предлог, разве что — изредка — повод, они и в качестве модели едва ли пригодны: литература вершится поверх них, помимо них. Писатель не берет что-то из действительности — он ею обладает, он ее создает, и потаснный демонизм даже какого-нибудь болсе или менее реалистического романа состоит в том, что для его сути абсолютно неважно, какие стороны действительности попали в него и оказались в нем переплавленными, перегруппированными, преображенными. Важно то, какая действительность выходит из этого тигля и начинает оказывать воздействие вовне. В самых непритязательных формах словесности, в любом письменном тексте, в любом репортаже происходит преображение (транспозиция), совершается перегруппировка (композиция), автор отбирает, отбрасывает, долго ищет «выразительное средство»; уж это-то, по-моему, прописная истина. Даже фотография никогда не бывает верной действительности: для нее избирается ракурс, она проходит обработку химическими препаратами, потом ее размножают. И если кто-то обнаруживает в романе верность действительности или жизненность, то он обнаруживает *созданную* действительность и *созданную* жизненность.

Для немцев же действительность — это невозможность жить в доме своем, неприкаянность, известная не только из послевоенной литературы; конечно, со статистической точки зрения все где-то и как-то живут (даже бездомные бродяги зарегистрированы статистикой), — но, похоже, живут во временках, всегда готовые сорваться с места. Нигде у нас соседство не изображается как что-то прочное, длительное, внушающее доверие. (Соседство, взаимная выручка, сплоченность, чувство сообщества — все это, похоже, известно только убийцам. Другие не выручают друг друга, не держатся сплоченно, не ощущают чувства сообщества.) Жилища изображаются в послевоенной литературе лишь как потерянные жилища, а имеющиеся жилища — лишь как сколоченные наспех временки. Вот еще один пассаж из повести «Путешествие»:

В своей каморке Пауль часто и подолгу раздумывал над тем, что связь человека с окружающим миром зиждется на вере. Где разрушается эта вера, там рвется вся связь, и последствия тогда непредсказуемы.

Итак, вовсе не случайно, что у нас нет и не может быть любовно описанных городов, что ни одна местность не изображается просто как населенная. Слишком много соседства было разрушено, слишком много доверия растоптано — по приказу, не из ненависти даже и не из фанатизма, а по приказу: разрушенное соседство, разрушенное доверие, разрушенная вера. Каж-

дое убийство, каждая порка, каждый пинок — всё по приказу — создают целые округа разрушенного соседства, обманутого доверия. Есть прекрасный настенный лозунг для немецких школ — вот эти строки из стихотворения Ингеборг Бахман \*:

Терпение стало униформой дня,  
наградой — крохотная звезда  
надежды над сердцем...  
Ее вручают  
за неверность знаменам,  
за отвагу перед друзьями,  
за выдачу недостойных тайн  
и за пренебреженье  
любим приказом.

Увсковечить бы в наших детских хрестоматиях всех тех — а им несть числа, — кто повинен в почетном преступлении, отказавшись выполнять приказ, кто принял смерть, только чтобы не убивать и не разрушать. Когда на судах заходит речь о приказах, слишком мало говорят о тех, кто *не выполнял* приказов: приказа расстрелять, приказа взорвать. А ведь тем самым были спасены какие-то люди, сохранены города и мосты. Бесчеловечности дано право прикрываться обязательностью приказа, а человечность оказывается под подозрением, если человек в свое время не воспользовался этим правом. Надо бы больше заботиться о хрестоматиях, а не делать сенсации из одного-двух разбитых стекол.

Не случайно единственным городом, завоевавшим себе в послевоенной литературе имя и ранг, оказался потерянный город — Данциг \*. Берлину тут явно не дотянуть — его в обжитое пространство не превратишь. Этот город бесчисленных трагедий не стал темой ни единой драмы, ни даже, что еще удивительней, детективного романа — а уж этот-то жанр живет реалиями.

По-моему, иные читатели — да и критики — представляют себе дело таким образом, что действительность стоит у автора, как дождевая бочка за окном, — выходи и черпай. Но будь она даже дождевой водой и стой она в бочке за окном, сколько ингредиентов содержится в дождевой воде, в какой смеси они выступают каждый раз? Может быть, пример с Берлином как раз и доказывает, что на таком представлении — действительность за окном — далеко не уедешь. То, что мы ежедневно видим и переживаем, явно не просто воплотить в слова.

Несвеселые картины открываются взору: целые составы ответственных лиц отправляются на юг, на север, на запад, а вот поезда на восток пусты — во всяком случае, купе первого класса. На

восток летают — из опасения самого минимального, совершенно безобидного соприкосновения с действительностью: хотя бы выглянуть из окна, взглядеться в случайные лица на остановках — скажем, в лицо пограничника, проверяющего документы. Плохо для города, когда в него только летают. О нет, я не о политике — я об эстетике гуманного, об эстетике жилья и домашности. Разве стали обычным чтением Альфред Дёблин и Вальтер Беньямин, Раабе и Фонтане\*? Господа в скорых поездах читают главным образом «Бильд»\*, и большинству ее хватает на весь путь от Бонна до Гамбурга или до Мюнхена. Читал бы хоть один из них по крайней мере детективы — там все-таки правилами игры предполагается, что существует закон, общество и уязвимость этого общества! Я уж не говорю о Гёльдерлине\*, о Ницше, о Марксе, тоже ведь писавших по-немецки (между прочим, их читают — не нуждаясь в специальных культурных соглашениях — студенты в Москве и в Глазго). Невеселые картины, невеселые речи: снова и снова слышишь взаимные упреки в том, что кто-то спихнул ответственность на кого-то, — подсунул ведьму, так сказать. Неужели политика столь же примитивное занятие, как самая примитивная, дурацкая и занудная карточная игра? Судя по всему, так оно и есть.

В нашей литературе нет жилых пространств. Гигантские, зачастую мучительные усилия послевоенной литературы в том и заключались, чтобы снова обрести жилье и соседство. До сих пор едва ли кто понял, что значило в 1945 году написать хотя бы полстраницы немецкой прозы.

Есть и еще одно слово, подвергающееся у нас самым разнообразным демагогическим искажениям, — слово «изгнанный», «лишенный родины». Новая родина, старая родина! В рейнских землях еще и во времена моей юности — да, собственно, вплоть до 1945 года — в связи с Пруссией говорили о «суровой родине». А я вот никогда не воспринимал рейнский склад характера, рейнскую почву как такие уж мягкие. Насколько глупыми я считаю издевки над родиной, настолько провинциальными я считаю пренебрежительные насмешки над провинциализмом. Провинциализм, похоже, на долгое время останется для нас единственной возможностью создать истинно жилое пространство, обзавестись соседством — попросту жить.

В Англии до сих пор продолжают споры о Диккенсе, начавшиеся еще при его жизни. Диккенс стал для Англии тем, что в нашей стране и представить себе невозможно: всегда живым и всегда оспариваемым классиком; примерно так же обстоит дело у французских писателей с Бальзаком. В таких дискуссиях многое проясняется, каждый раз заново проверяется и уточняется пространство языка, состояние общества; формируется суверенное сознание, всякой современной литературе, будь она тра-

диционной или экспериментальной, идущее на пользу; создается почва, на которой можно стоять, подбрасывать друг другу аргументы, опровергать их. Где в немецкой литературе города вроде Лондона или Парижа, чью реальность можно было бы сопоставлять с той их реальностью, которая запечатлелась в повествовательной прозе разных поколений? Здесь не время и не место сетовать на географическое положение Германии и на ее историю. Могу только констатировать, что Берлин всего лишь пятнадцать лет был столицей демократической Германии. То был период головокружительных, пьянящих мечтаний; как резко они были оборваны, всем известно. Ни Раабе и Фонтанс, ни Дёблину и Беньямину не удалось сделать Берлин литературной реальностью под стать Лондону и Парижу, Петербургу или Москве. В том, что он все еще не занял в современной литературе подобающего ему места, повинна политизация города, самого этого слова — «Берлин». Это плохо для города, когда ему нельзя быть самим собой, когда он, так сказать, выходит из себя — становится голым понятием, символом, — и ему в повседневной жизни постоянно напоминают об этой его символичности. Как это случилось, не мне вам объяснять.

Так где же столица немцев, где для них обжитое пространство, где они чувствуют себя как дома? Когда политики говорят пустые слова и создают невыносимо выхолащенные понятия, всякое слово, содержащее хоть крупицу истины, становится острополитическим. Когда размахивают лозунгом «Единство в условиях свободы» и кормят им наших детей, а в то же время при каждом удобном случае с обеих сторон подчеркивается невозможность хотя бы приблизительно приспособить общественные и экономические условия одной стороны к условиям другой, то всякий школьник — вот только, может быть, не всякий взрослый — понимает, что это самообман, что в подобных планах для политического будущего взвешиваются две возможности, из которых одна считается неотвратимой, а другая является недосяжимой: война или чудо.

Конечно, невозможность жилья и дома — вовсе не новая тема, она тоже заслуживала бы обстоятельного исследования: Гёте, умевший и жить по-домашнему, и странствовать, и любить; Клейст \*, не умевший ни жить по-домашнему, ни странствовать, ни любить; Штифтер \* с его тишиной отчаяния, написавший «Бабье лето», прекраснейший дом немецкой литературы, — но тоже сон. Великая тема; ее воплощения в литературе носят не только политический, не только исторический, но и религиозный характер — романтическая жажда странствий, голубые дали, голубой цветок \*; и лишь много позже нашелся еще один, умевший жить по-домашнему, и странствовать, и — что не случайно — снова дерзнувший писать о любви: Фонтанс. Удивления

достойно, что в Берлине нет ни музея, ни архива Фонтане. Мне пришлось даже приложить усилия, чтобы выяснить, где похоронен писатель...

Да, невозможность жилья и дома — не новая тема. Из бесед Кафки с Яноухом \*:

Массы спешат, бегут по жизни, будто идут на штурм. Куда спешат? Откуда идут? Никто не знает. Чем рстивей они маршируют, тем недостижимей цель. Они только даром расходуют силы. И думают, что идут. На самом деле они — маршируя на месте — стремглав летят в пустоту. Человек на земле потерял родину, вот и все.

Кафка — это конец. После него — лишь те, кто выжил и ищет себе жилища.

Я думаю о молодых людях, которые устраивают свою жизнь в этой стране и для которых будущее не пустое слово, а ежедневное совершающееся настоящее. Людям моего возраста уже не найти почвы под ногами. За нами нет традиции, для ученья мы слишком нетерпеливы, для накопления слишком недолговечны, для наслаждения нам не хватает засахаренной мудрости цинизма; мои сверстники не мудры, такими они и останутся, они ни в чем не поумнели и во многом даже не наловчились.

Если литературоведение имеет какой-нибудь смысл, то оно должно заполнять пустоты в ртутном столбе — охлаждать искусственно созданный или покоящийся на самообмане жар видимой злободневности, приводить его в верные пропорции. Часть Германии все еще живет в эмиграции, между нсю и современной Германией нет никакого взаимопонимания и никакой связи. Молодому поколению надо потрудиться, чтобы эта страна и в литературе стала обитаемой, пригодной для жилья. Страна тогда обитаема и пригодна для жилья, когда человек может тосковать по ней. В мире есть немало людей, мучимых тоской, — но лишь по той Германии, которой уже нет. Можно тосковать и по какому-нибудь городу — по Берлину или Нюрнбергу, по Гамбургу, Кёльну, Мюнхену. Но не тоска ли это всегда по утраченному или затонувшему Берлину или Кёльну? А тосковать по Федеративной республике? Не знаю — может быть, кто-то и тоскует.

Станет ли когда-нибудь эта страна такой, чтобы по ней можно было тосковать? Это не случайность и не злой умысел безродных интеллигентов — будь они атеисты, нигилисты или исправные католики-налогоплательщики, — что Федеративная республика предстанет в прозе, лирике и публицистике совсем иной, чем хотелось бы экономическим советникам и прессатгаше. Политикам не надо сердиться, тем более жаловаться.

Им надо спросить себя, почему все-таки нет ни одного послевоенного романа, в котором Федеративная республика изображена была бы цветущей, весслой страной. Знаменитый вопрос: а где же положительное? — сам по себе вовсе не глуп, но он не так ставится и не туда адресуется. Почему никто не напишет веселого романа об этой цветущей стране? Ведь никому не запрещается, никому не чинят помех. Очевидно, есть такие помехи, лежащие глубже, чем может представить себе поверхностная политическая обидчивость. Печальная страна — но печали она не знает; она ее переадресовала, переправила через границу, на восток, и все еще не удосужилась понять, что сфера политики — это только поверхность, самый верхний, самый тонкий и самый непрочный слой. Везде, где измеряется политическая температура, в ртутном столбе возникают пустоты. Политикам следовало бы подучить эстетику — даже в политическом отношении они не потратили бы времени даром; современность, будучи выражена литературой в словах, убедительно доказывает, сколь бессловечно держать целое государство в состоянии полной беспочвенности, а слова «лишенный родины» отдать на откуп «Союзам изгнанных» \* и сохранять их в постоянной демагогической готовности как резерв, который при случае можно пустить в ход, что называется, «разыграть». Вот еще отрывок из повести Г. Г. Адлера «Путешествие»:

Были запрещены дороги, укорочен день, продлена ночь, но и ночь была запрещена, и день тоже. Запрещены были магазины, врачи, больницы, транспорт и места отдыха — всё, всё под запретом. Запретили прачечные. Запретили музыку. И ботинки. И купанье. И, поскольку еще оставались деньги, запретили и их. Запретили все, что было и что могло быть. Объявили: «Все, что ты можешь купить, тебе запрещено, но тебе и нельзя покупать!» И люди, не имея возможности ничего покупать, надумали было продавать, ибо надеялись на вырученные деньги кос-как перебиться, но им сказали: «Все, что ты хочешь продать, тебе запрещено, но тебе и нельзя продавать». И все опечалились еще больше и оплакивали свою жизнь, но лишать ее себя не хотели, ибо это было запрещено...

Повесть Адлера — очень немецкая повесть, описывающая очень немецкое путешествие, и не случайно, конечно, что в этой повести даже и не употребляются слова «немецкий» и «сврейский», равно как и слова «полиция» и «лагерь».

Местности в этой повести называются Руэнталь, Ункенбург, Лейтенберг, Штупарт, а ключ к языку повествования следует искать в треугольнике «Кафка — братья Гримм — Штифтер».

Здесь дом этого языка, его родина — но и он изгнан из страны Кафки и Штифтера, из страны братьев Гримм. Как ни одна другая книга, повесть Адлера исключает простой пересказ содержания — в ней каждое предложение, каждое слово говорит за себя.

И к этому ужасу добавляются, перемешиваются с ним слова; ибо язык нам уже не принадлежит, чужими и враждебными вырываются слова из уст того, кто начнет говорить, — мои слова, твои слова; они яростно рушат стены и возводят их снова, скрепляясь в плотный, непроницаемо-прочный состав.

После чтения этой повести мне стало ясно, что вся послевоенная немецкая литература была литературой обретения языка; и я понял также, почему мне часто было приятнее переводить, чем писать самому: когда ты что-то переносишь в пространство собственного языка из чужого, ты имеешь возможность обрести почву под ногами.

Речь в повести Адлера идет почти сплошь о будничных вещах: об электрическом утюге, который нельзя с собой брать, о собаке, о люстре Церлины, о домашней утвари бюргерского семейства и о столь часто высмеивавшейся гостинной бюргерского дома.

### III

Наверное, повесть Адлера потому и осталась почти незамеченной в литературной критике, что передать ее содержание невозможно, что каждое предложение в ней говорит само за себя.

На диван садиться нельзя — помнутся подушки. Ведь только сегодня все было с таким тщанием прибрано! И да с Каролиной все вычистили и пригладили мягкой щеткой, чтобы не повредить красивую обивку. Они весь день не разгибали спин, благоговейно наводя порядок, даже если и нельзя было с уверенностью рассчитывать на приход гостей.

И вдруг вот такой кусок:

Это все мое! Дом, двор, пес! Это мое добро! Владеть! Владеть! На все это я налагаю свою волю и свое имя. Так я хочу. Таково мое решение. Должны быть дом, двор, пес, должна быть собственность — так возник Лейтенберг.

Коль скоро я пытаюсь давать свое толкование текста, я дол-



жен прежде всего пояснить, что я провожу четкое различие между содержанием книги — ее духом, ее смыслом — и той формой выражения, которую автор нашел для этого духа, для этого смысла. Как я уже говорил, содержание дается даром; это не означает, что оно излишне и может быть опущено при истолковании; просто ему обычно придается слишком большое значение — а иногда это значение и приписывается, подсовывается. Великолепие повести Адлера в том, что содержание, смысл здесь неотделимы от формы выражения. Поэтому тут едва ли что можно извратить или втиснуть в рамки идеологических категорий.

Доктору Леопольду Лустигу, практикующему врачу, велено отправляться вместе с семьей в дорогу. До последней минуты доктор Лустиг надеется, что это административное самоуправство не только окажется ошибкой, но и будет признано таковой. Жизнь его до сих пор протекала в атмосфере доброты, порядка, разумности и старомодной педантичности, сам он был из тех людей, о которых женщины обычно говорят: «Он не от мира сего». Он умирает в Руэнтале, где мир обнаруживает перед ним всю свою бесчеловечность и бессмысленность. У него была жена Каролина, двое детей — Церлина и Пауль, в семье жила еще его свояченица Ида Шварц, урожденная Шмерценсрайх, сестра Каролины. Нормальная бюргерская семья, без каких-либо особых примет. Вот примерно и все содержание; описывается путешествие, к которому принуждено семейство Лустигов, — бессмысленное, мучительное путешествие. Разве не принуждаются многие люди к путешествиям, разве не бессмысленны и не мучительны многие путешествия — и разве не умирают многие в таких бессмысленных, мучительных путешествиях? Итак, повесть о путешествии? Могло же ведь быть так, что этот доктор Лустиг попался на удочку какого-нибудь афериста, обманом навязавшего ему путевку, и вот теперь семейство вынуждено по ней ехать, и поездка оканчивается трагически? Разве не мог доктор Лустиг, пожилой человек, привыкший к домашней обстановке, во время этого вынужденного путешествия умереть в какой-нибудь захолустной гостинице или в кемпинге от пищевого отравления, дизентерии или тифа? Простой пересказ сюжета допускает такое толкование, и, читай мы не то чтобы даже поверхностно, а, скажем, не слишком внимательно, мы вполне могли бы пропустить слово, всплывающее однажды в рассказе, — буквально всплывающее, как что-то такое, что все время плыло под поверхностью текста: слово «крематорий». Но и это слово легко поддается объяснению: может быть, доктор Лустиг был членом общества по поощрению ритуала кремации? Еще одна цель путешествия носит странное название «музей». «Остановитесь на минутку, не отвлекайтесь, дорогие дети, и слушайте вни-

мательно, что я вам расскажу. То, что вы здесь видите, было однажды. Эта женщина жила когда-то — вот туфли, которые она носила. Они кожаные. Смотрите, как хорошо они сохранились». Этой женщиной была Ида Шварц, урожденная Шмерценсрайх, сестра Каролины Лустиг. Надо ли мне пояснять, что здесь в сказочном тоне, спроекцированном в будущее, рассказывается о музее, чья реальность достовернее всего, что когда-либо измышлялось литературой?

Мы читаем в этой повести о дорожных распоряжениях, приготовлениях, об отъезде, прибытии, о сопровождающих, один из которых говорит:

— Там вовсе не так плохо. Хорошо готовят. Чуть не каждый день дают картофельные клецки с мясом. Но если найдут деньги, или драгоценности, или табак, то в наказание лишают обеда.

— Значит, не так страшно?

— Вы сами увидите, фрау Лустиг. Очень многие выдерживают. И бьют там только изредка. Во всяком случае, еще никого не убили.

— Но били?

Били, я помню, иной раз и в молодежных лагерях, когда находили недозволенное: деньги, ценные вещи, табак. И разве умный турист, путешествующий с группой, не сдает деньги и ценные вещи портье или руководителю группы?

Простой пересказ содержания — как запрещенный прием; так можно убить книгу даже и без всякого пародийного намерения. Попробуйте это на любом романе мировой литературы — и получится бульварный роман.

Три темы, три лейтмотива главенствуют в повести Адлера: это тема родины, тема путешествия — и тема отбросов, отходов; эпизодически возникают и другие мотивы: музей, собственность. Своих вершин повествование достигает тогда, когда оно полностью сливается с описываемой реальностью, — например, когда автор, подробно сравнивая прогрессивную и устаревшую технику вывоза отходов, подчеркивает в первой безукоризненную отлаженность и четкость, самым жутким образом соответствующую уже знакомой нам безукоризненной организации всей поездки:

Такой торжественности нынче нет и в помине, потому что освобождению от отходов теперь никто уже не радуется, его не ждут, в него, возможно, даже не верят. Во дворе стоят несколько высоких цинковых контейнеров с задвижками, в них можно в любое время выбросить все, чем ты уже не дорожишь, и раз в неделю, без всякого предваритель-

ного оповещения, у ворот с резким скрежетом тормозит мощный грузовик, из него выходят двое в комбинезонах и в резиновых перчатках, похожих на ласты, деловито и невозмутимо, по-хозяйски, входят во двор, вытаскивают один контейнер за другим, бесстрастно опоражнивают их с помощью технического устройства, предотвращающего поднятие пыли, и, по-прежнему не говоря ни слова, вкатывают пустые контейнеры назад во двор, будто ничего вообще не произошло. Набитый до отказа грузовик, дав полный газ, исчезает за казармой, где с помощью очень простого опрокидывающего устройства опоражняется одним махом. Со стонами и хрипом валится мусор на землю, и машина мчится назад в город, чтобы нагрнуть в другие кварталы и поглотить их жертвы в своей гигантской утробе.

Нынче в Лейтенберге стало намного тише, чем прежде, когда вывоз отбросов еще сопровождался людскими благословениями и обставлялся торжественно, со звоном. Идет, бывало, человек с колокольчиком от дома к дому, заходит в подъезд и названивает в свой колокольчик что есть мочи, и все этажи отвечают веселым гулким эхом. Это он оповещает: «Эй, люди добрые, слушайте и радуйтесь, идут за мной мусорщики, хотят избавить вас от всякого праха и хлама!» Многие и без того уже ждали глашатая с превеликим нетерпением, а кто вдруг забыл, тем напоминал шумливый вестник о близком спасении. И из всех домов выбегали хозяйки и служанки с ведрами и ящичками, собирались у ворот, весело судачили, выглядывая, не подкатила ли долгожданная повозка. А она уж тут как тут, громыкает по булыжникам, подъезжает хоть и медленно, хоть и неуклюже, но важно. Запряжены в нее две статные кобылы, и кучеру нет надобности кричать им: «Стой!», потому что они свое дело знают крепко и перед каждым воротами сами останавливаются. А потом кучер весело цокнет языком — и поехали дальше.

Наконец и к твоим воротам подъезжала повозка, все спешили к ней с полными ведрами, а двое мужчин, широко расставив руки, подхватывали их как бы слету, ловко опрокидывали и еще дважды усердно постукивали по днищу, чтобы уж совсем ничего не застряло. Потом они с любезной улыбкой возвращали порожние посудины в выжидательно простертые руки.

потом вот такое место:

Никто вас все равно не услышит, и уже потому строители поступили мудро, запретив с вами разговаривать.

Как хозяева в своих домах отделяются от вас, так и вас от всех отделили и распорядились, чтобы вы не выбирали дома по прихоти своей и вообще не имели дома своего. Вы отбросы, вы тот мусор, которому не место под кроватями и столами, между стульями и шкафами. Мусор смсшивается с мусором, грех с грехом, и мерзкое это месиво пригодно лишь в пищу червям, ускоряющим его гниение. С вами расстались, в смятении всплескивая руками, но на прощанье вам не махали, нет, руки протягивали, чтобы от вас отстраниться. Перед вами умывали души нечистой водою виновности, когда вас выгружали, и двери перед вами запирали так резко, что замки щелкали, как клыки овчарки, потому что приказано было на вас не оглядываться: впечатлительные мамы заходили еще дальше всех заповедей — они старательно закрывали окна и задергивали занавески, чтобы вас, не дай бог, не увидели детки, когда вы брели мимо. Детки могли бы перепугаться, ваш вид мог их травмировать. «Мамочка, а кто эти грязные дяди?» Нет, такого вопроса сердобольные мамы не выдержали бы, им пришлось бы лгать: «Ах, бедняки!» — но это нельзя, или им пришлось бы говорить правду: «Отбросы, бездомные бедняки!» — а так тоже нельзя.

Если рассматривать эту повесть в качестве иллюстративного материала, то напрашиваются сравнения, гораздо непосредственнее многих современных романов указывающие на современность, на сегодняшний день. Напомню вам о супружеской чете в «Финале игры» Беккета \*, о горе из человеческих костей в «Собачьей жизни» Грасса \*. Не писатели отравляют местность — они ее уже находят отравленной. Почему невозможно изобразить никакое путешествие — предпринято ли оно с целью образования, отдыха или любой другой, — чтобы оно не вышло в результате злополучным, в лучшем случае — сатирическим, что тоже является всего лишь нераспознанной формой проявления злополучия? Стоит писателю — скажем, цитированному мною Адлеру — описать по видимости совершенно безобидную процедуру вроде вывоза мусора, — и сразу получится нечто внушающее ужас. Я могу тут привести лишь немногие примеры, дать наметки, стимулы. Например, я часто спрашивал себя: почему, когда немцы пишут о дорожных приключениях немцев, эти приключения непременно оборачиваются злоключениями? Наши духовные отцы и матери бранили захоластность существования своих соотечественников, сетовали на его затхлость и неподвижность, — а стоило тем нынче сняться с мест и пуститься в путешествия, чтобы познакомиться с другими странами и обычаями, как их и в качестве туристов тоже начали безбо-

жно окарикатуривать; и что самое странное — иначе не выходит! Язык явно не воспринимает эту страсть к путешествиям как нечто гуманное. Может быть, никем не замеченная книга Адлера уже одним фактом своего существования утверждает эстетику путешествия, родины, даже очищения от мусора, — создает подлинную реальность? А вдруг придет такое время, когда в языке возможно будет воплотить понятия жилья и родины, когда путешествие уже не будет представляться бегством, потому что поэзия обыденности будет снова распознана не только поэтами, но и теми, для кого они пишут? Вот еще отрывок из повести Адлера:

Пошел снег. Тяжелые хлопья опускались на землю. Им не было дела до скопища людей внизу. Они плавным хороводом кружились над медно-зеленой крышей технического музея. Если чуть высунуть язык, можно, наверно, поймать одну из снежинок, но это опасно, это запрещено. Церлина ужасно обрадовалась, когда одна снежинка зацепилась у нее за ресницу и повисла на ней. Ничего не стоило смахнуть ее рукой, даже чуть заметного резкого движения головой было бы достаточно, чтобы стряхнуть ее. Но Церлина замерла, боясь пошевеливаться. Снежинка растаяла и нерешительно сползла по щеке.

В присутствии героев запрещено двигаться, Церлина твердо это усвоила, хотя о приказе напоминали не так уж и часто. Запрещено вообще жить, и если это не всегда осознается, то лишь потому, что жизнь не прекратилась. Та же самая снежинка могла бы упасть на одного из героев, могла бы, подхваченная ветром, опуститься где-нибудь за музейным двором, на один из близлежащих домов, на улицу. Исключений из общего жребия современников нет. Различия возможны лишь в том, как распределяется судьба, но не в самой судьбе.

С цитированными отрывками из повести Адлера я хочу сопоставить один пассаж из «Бабьего лета» Штифтера:

Помимо бюро, внимание мое привлечено было еще двумя столами, одинаковыми по величине, да и в остальном схожей выделки, но отличающимися единственно узорами на их крышках. На каждой изображен был щит, как-кие бывают у рыцарей и у родовитых семейств, только щиты эти различались рисунком. Но на обоих столах они были обрамлены узорами из персвитых листьев, цветов и знаков, и никогда не доводилось мне видеть более хрупких стеблей былинок, более изящных соцветий и колосьев, чем

на этих узорах, а ведь они были сделаны из дерева и вправлены в дерево. Прочую утварь составляли стулья с высокими резными спинками, вязью и инкрустацией, две резные лавки, будто сохранившиеся со времен средневековья, расписные знамена и, наконец, две ширмы, обтянутые тисненой кожей, а на ней цветы, плоды, звери, отроки и ангелы из рисованного серебра, выглядевшего как цветное золото. Пол в комнате, как и прочая мебель, был выложен инкрустированными плитками старинной работы. При входе в эту комнату мы также — вероятно, по причине особой красоты пола — сохранили на ногах войлочные туфли. Любезный хозяин дома и здесь, когда я выразил свое восхищение обстановкой, отвечал столь же немногословно, как и при осмотре мраморной залы; однако же удовольствие явственно читалось на лице его.

Следующая комната также оказалась старинной, и окна снова выходили в сад. Пол тоже был выложен мозаикой, но стояли на нем три платяных шкафа — комната служила гардеробной. Шкафы были огромные, со старинной инкрустацией, с двустворчатыми дверцами. Они показались мне не столь красивыми, как письменные столы в предшествовавшей комнате, но были тоже красоты примечательной, особенно средний, самый высокий, увенчанный резьбой с позолотой, на его дверцах изображены были щит и узоры из листвы, перевитой лентами. Помимо шкафов, тут стояли только стулья да еще сооружение, предназначенное, по всей видимости, для вешания платьев. Отделка дверей с внутренней стороны соответствовала отделке мебели резьбой и инкрустацией.

Осмотрев комнату, мы спустились по лестнице к выходу, сняли войлочные туфли, и тут хозяин сказал: «Вы, вероятно, удивляетесь тому, что в некоторых частях моего дома приходится терпеть такое неудобство, как эти туфли. Но иначе, право же, нельзя, полы слишком чувствительны к повреждениям, чтобы можно было ходить по ним в повседневной обуви; да и комнаты с такими полами предназначены, собственно, не для жилья, а лишь для осмотра, к тому же, я полагаю, удовольствие от осмотра только повышается, когда оно сопряжено с известными неудобствами».

Я ответил, что эта мера вполне целесообразна и ее следовало бы применить повсюду, где надобно сохранять такие полы, весьма ценные своей искусной отделкою.

Это написано Штифтером в 1857 году; а теперь для сравнения приведу стихи Гюнтера Айха\*:

## Опись

Вот моя каска,  
моя шинель,  
вот моя бритва  
в холщовом мешочке.

Консервная банка —  
мое блюдо, мой кубок! ---  
я имя свое  
нацарапал на жести.

Нацарапал вот этим  
гвоздем драгоценным —  
его от завистливых  
прячу я глаз.

В всевом мешке  
пара носков,  
а что в нем еще —  
никому не скажу;

но все это ночью  
мне служит подушкой ---  
лежит картон  
между мной и землей.

Карандаш вот этот  
всего мне дороже:  
днем стихи он запишет,  
пришедшие ночью.

Моя плащ-палатка,  
записная книжка,  
мое полотенце,  
ниток моток.

## Лагерь № 16

Гляжу сквозь колючую проволоку.  
Там Рейн свинцовый течет.  
Сжимаюсь в окопе — что толку?  
Дождь за шиворот льет.

Укрыться нечем. Шинели

Давно уж простыл и след.  
В сырой земляной постели  
И друга рядом нет.

Стелю себе на ночь люцерну,  
Беседую сам с собой.  
Рейна рокот неверный,  
Звезды над головой.

Люцерна пожухнет, и снова  
Небо затянет покров,  
И Рейн ни единым словом  
Не навесит мне сладких снов.

Лишь дождь останется плакать —  
Ни крыш, ни плотин, ни мостов, —  
И будет растоптана в слякоть  
Зелень весенних лугов.

Где вы, друзья боевые?  
Ах, вас теперь не найдешь.  
Мне в эти дни дождевые  
Гости лишь червь да вошь.

Наверное, вот в таком сопоставлении текстов, отобранных в исторической последовательности, и просматривается эстетика гуманного. Штифтер отчаянно закликает утопию стабильности, культуры, надежного жилья — Айх в своих стихах не только дает лирическое воплощение темы отбросов, отходов, но и изображает их как единственные оставшиеся человеку жилью и обиход. И мы, в окружении этих текстов — прозы Адлера и Штифтера, стихов Айха, — оглушенные и подавленные ими, как гигантскими резонаторами, начинаем понимать, что нам уже невозможно ни стилистически, ни эстетически воплотить какие-либо предметы сегодняшнего потребительского обихода, даже такой безобидный и полезный предмет, как холодильник, такое относительно скромное и безобидное сооружение, как автомобиль, — они оказываются эстетически невыразимыми, невоплотимыми. Я толкую для себя этот факт как свидетельство негласного, но неумолимо-жесткого соответствия эстетических законов наличествующей моральной системе ценностей. Существует некий почти мистический разрыв между тем, что может описать, реально воссоздать современная литература, не впадая в искажения, и тем, что неоспоримо-реально с точки зрения статистики и национальной экономики. Разве штифтеровское описание бургерского дома не звучит для нас сегодня почти пародией?



Войлочные туфли, дом как музей... Вообразите себе, что нынешний автор описывает художественный аукцион, на котором покупаются музейные редкости для обстановки квартир, — разве это не фантазмагорическая затея, если помнить, что уже существуют тексты Айха, Адлера? Конечно, иные ищут выход в снобизме, в цинизме, в нигилизме — или во всем понемногу, или попеременно то в том, то в другом, — но страны, в которой захотелось бы остаться, пожить, из этого не создашь; снобизм ли, цинизм ли — как грань литературы все это очень мило, может быть, даже необходимо, — но почвы под ногами это не даст, как и не создает той атмосферы жилого уюта, которая одна только и позволяет употреблять само слово «будущее».

Я несколько бы не удивился, если бы кто-нибудь в нашей стране написал роман о содержимом первого попавшегося мусорного ведра, — уж не будем говорить о гвозде, куске картона и консервной банке, составивших утварь и жилье для человека в стихотворении Айха. О степени гуманности страны можно судить по тому, что у нее попадает в отходы, сколько повседневных, еще пригодных вещей, сколько поэзии в ней выбрасывается на свалку, считается заслуживающим уничтожения. Я толкую для себя повесть Адлера как свидетельство окончательного крушения штифтеровской попытки изобразить человеческое жилье — и как продолжающееся путешествие по всеям общества, которому угрожает перспектива либо свалки, либо музея, — общества, которое еще не обрело гуманности. Слова «отбросы», «подонки» у нас также слишком легко и скоро употребляются применительно к людям — напомним цитированное мною место из повести Адлера, где людей объявляют отбросами, а их платья — не они сами — оканчивают свое существование в музее. Литературе явно остается избирать предметом своего изображения лишь то, что причисляется к отбросам, предназначается на выброс.

Что было родиной, жильем, соседством, человечностью отходов — все это, наверное, отчетливей всего можно наблюдать на судьбах тех, у кого нет больше родины, хоть их и не изгоняли. Лавину туризма, эту горячку путешествий можно истолковывать и как бегство из страны, утратившей уверенность в себе, ибо ее жители и ее политики не хотят осознать, что в начале было изгнание, когда людей объявляли отбросами и обращались с ними как с таковыми, и что у колыбели этой страны стоял народ, копящийся в отходах. То, что многие изгнанные устроились и сориентировались тут лучше, чем многие не лишавшиеся родины, убедительно доказывает, что слова «изгнанный с родины» нуждаются в новом толковании: если бы наши «изгнанные» в своих сообществах осознали и приняли букву, дух и язык адлеровской повести, еще оставалась бы надежда, что слова «изгнанный с ро-

дины» будут очищены от всякой примешиваемой к ним демагогии, что родина для всех — для эмигрантов, изгнанных, неизгнанных, для всех выживших — приобретет свойство гуманности и станет доступной для художественного воплощения. Выражаясь художественным языком, речь идет о таком тонком, таком хрупком образовании, как запрещенная снежинка на щеке Церлины, как тот гвоздь и тот кусок картона, как ломтик хлеба, о котором Борхерт\* написал один из лучших своих рассказов.

Возрастная группа, к которой я принадлежу, этот с демографической точки зрения опорный элемент данной страны и данного общества, не может без конца повторять азбучные истины. Это не только моральная проблема, то есть нечто такое, чему с помощью поверхностного штампа «преодоление прошлого» можно снисходительно воздать должное (будто панибратски похлопать по плечу) и одновременно не придать серьезного значения, как смешной причуде. Мораль и эстетика взаимосвязаны, связаны неразрывно — вне зависимости от того, насколько запальчиво или спокойно, насколько мягко или ожесточенно, в каком ракурсе или стиле автор описывает или просто изображает сферу гуманности: разрушенное соседство, отравленная атмосфера не позволяют ему укреплять доверие, даровать утешение; единственное утешение, которое могут предложить люди моего возраста, — это сознание того, что все преходяще, — утешение бренности. Слишком много произошло событий, слишком много было пустых слов, слишком мало дел в те времена, когда мы вступали в возраст ответственности. Вокзалы, станции, лагеря, снова станции, вокзалы, лагеря, госпитали, очереди за хлебом, за сигаретами, за выписками; не успеешь оглянуться — и, согласно свидетельству о рождении, ты уже обязан вести себя как взрослый, чувствовать бремя ответственности, которую никогда не сможешь принимать совсем всерьез. То еле тянешься, волоча ноги, то подтягиваешься. Где остановишься, и что от тебя останется? Вопрос не представляет интереса, ибо в плане статистики возрастная группа, к которой я принадлежу, совершенно несущественна, к тому же она лишена всяких связей и корней — ситуация в высшей степени поэтическая, и особую пикантность ей придает то обстоятельство, что такая позиция не выбрана искусственно, а навязана самой историей.

При чтении антологии, изданной ныне покойным Карлом Оттенем под названием «Опустелый дом»\*, я вдруг обнаружил, что большинство ее текстов, хоть и опубликованных между 1903 и 1937 годами, были мне внове: кроме Гертруды Кольмар\*, ни одного имени я не знал. Пробелы в языке, в образовании, в памяти — пробелы, которые могут привести к таким же ложным заключениям, как и пустоты в ртутном столбике термометра, о которых я уже говорил. Встает задача не только навер-

стать упущенное, но и осознать резкие различия даже в пределах одного и того же поколения: как разнятся между собою пражанин Франц Кафка и уроженец Галиции Йозеф Рот\*! И в то же время — разве не писали они оба языком нашего столетия, языком, который нам гораздо важнее предложить потомкам, чем любое вино века? Они были почти ровесники, родились не намного дальше друг от друга, чем Томас Манн и Готфрид Бенн. Можно ли найти более несходные вещи, чем «Сусанна» Гертруды Кольмар и «Слепой» Эрнста Бласса\*, прочитанные мною в антологии Оттена? А ведь оба были берлинцы, оба евреи, ровесники, оба писали по-немецки: немецкий Гертруды Кольмар парит в стихии грез и преданий, немецкий Эрнста Бласса прозрачен и элегантен. В той же антологии — «Зенобий» Эфраима Фриша\*; пояись он сейчас — у него были бы все шансы быть воспринятым как сенсация, вознесенным до небес как явление модерна.

В доме нашего прошлого совершенно не только убийство, но и самоубийство; он в самом деле опустел, и попытки снова сделать его жилым или хотя бы проверить его пригодность для жилья были робкими и беспомощными — в силу исторических, но также и статистических причин. Родина? Что за вопрос... И все же я думаю: если уж человек должен жить после Освенцима, жить вместе с бомбой и тем не менее учиться выговаривать слово «будущее», ему надо было бы иметь твердую почву под ногами. И ему следовало бы учиться тому, что так трудно дается человеку, пережившему империю, республику, диктатуру, междуцарствие, вторую республику: верить в государство. Но можно ли вообще научиться осознавать этот удивительный долг — быть гражданином государства, а не просто налогоплательщиком, — если ты со своего семнадцатого до своего двадцать восьмого года жил в государстве, которому денно и нощно желал гибели, в государстве, состоявшем из стольких слоев, — как темный клубок безнадежно перепутанных, перемешанных нитей? Тогда в церквах молились за победу священнослужители того же вероисповедания, что и их собратья, ежедневно подвергавшиеся истязаниям в лагерях. Многие пытались предотвратить то, что еще можно было предотвратить, а уже сами такие попытки означали вовлеченность в схватку. Было открытое, тайное, активное, пассивное сопротивление — все степени вовлеченности, все разновидности сопротивления в необозримой массе преступного или простодушно-невинного безразличия; люди разворачивались и разворачивали — то была зараза, от которой не отмахнуться, как от досадного эпизода; мысль, слова, сам воздух — все с тех пор отравлено, и одними только судами нам от этого не очиститься. Если мы хотим возрождения гуманности, необходимо заняться кропотливой повседневной работой; она

скучна, тягостна; она должна начинаться с хрестоматий, с детских садов.

Это то, что вам предстоит, — выработать эстетику гуманного, развивать формы и стили, соответствующие нашему сегодняшнему моральному состоянию. Опасайтесь громких слов; опасайтесь поминальных торжеств, на которых в музыкальном обрамлении снова возрождается зловещий, мрачный пафос. Помпа таких торжеств заглушает как раз то, во что надо напряженно вслушиваться: молчание мертвых. Поминовение умерших — это тоже вопрос стиля, эстетики. Пусть останятся поезда в открытом поле, пусть оборвется нелепая суতোлка уличного движения, пусть закроются лавки, пусть не продают больше хлеб, и пустите детей приходить на большие кладбища, а еще лучше на какое-нибудь безымянное поле, где бы им рассказали, сколько пригоршней земли и праха, сколько людей уместилось в нем — тех, что не покоятся на кладбищах. Большинство из них умерли молодыми, а молодым умирать нелегко. Есть маленькая казенная неточность в словах «убитый» или «павший»; они создают впечатление внезапности смерти, а умереть мгновенно посчастливилось лишь очень немногим. Умирающие затихают так, как если бы они медленно исполнялись презрения, и еще их слегка знобит, ибо грозное величие, осеняющее их, дышит холодом. «Геройская смерть» — слова эти живы, как памятник героям. «Герой» — вы помните это слово, оно было в повести Адлера: снежинка и герой.

Когда ты — один из выживших в статистически столь несущественной возрастной группе, тебе трудно принимать всерьез, а уж тем более уважать государства и их стиль. Проложены рельсы, расставлены стрелки, распределены посты — свой стиль общество выработало, но это не наш стиль. Может быть, он ваш — стиль молодых? Фрак, цилиндр, хомбург\* — все это мне напоминает бесконечную рекламу шампанского, но вполне возможно, что этот стиль не так уж и неуместен, когда шампанское становится повседневным напитком. Такие вещи меняются быстро: для моей матери апельсины были в детстве недоступным лакомством, а в пору моего детства их уже можно было купить больше дюжины за марку. Этот странный для нас стиль государства, возрастная пирамида которого — штука весьма шаткая (в середине у нее самое слабое место — больше семидесятилетних, чем сорокалетних), — стиль этот недолговечен, не доверяйтесь ему. Случайные бесприютные гости — ненадежный элемент, с каких бы политических, религиозных или литературных позиций они ни выступали. Вольфганг Борхерт был — так распорядилась смерть — старее Аденауэра. Эта возрастная группа не сумела стать ни мудрее, ни умнее, ни даже сообразительней.

После войны мы начали писать в условиях полного равенства,

оказавшегося, впрочем, недолговечным; всякий возврат к литературному авангардизму был бы смешным; какой смысл пугать бюргера, которого уже нет? Сейчас, возможно, настало время пугать его снова — но я для этого уже слишком стар, и времени нет, да и будь оно у меня, я не уверен, что стал бы это делать, учитывая, что в результате всех искоренений и сам бюргерский уклад сейчас почти искоренен; так что пускай уж этими шалостями занимается кто помоложе.

В 1945 году человек был освобожденным и выжившим; с вами, с самыми молодыми из вас, дело другое: вы свободны, и вы живете; очень скоро вы примете это государство на свои плечи — деды вымрут быстро, вы и оглянуться не успеете, а промежуточное поколение так прорежено. Сумете ли вы сделать это государство страной, по которой можно будет тосковать как по родине, страной, которая предстанет в литературе обиталищем человечности? Может быть, о том, что происходило здесь между 1945 и 1950 годами, однажды действительно будет рассказано — не обрывочно, не в виде разрозненных намсков и деталей, а в панораме большого романа: о том, что существовала однажды эта беспрецедентная ситуация равенства, что все жители этой страны, как это видится задним числом, были несимущими, владея всем, что попадалось под руку, — углем и дровами, мебелью, картинами, книгами. Страна, опустошенная новой Тридцатилетней войной, — только что освобожденная и всеми оставленная. Когда кто-нибудь просил хлеба, его не спрашивали, были ли он в прошлом нацистом или узником лагеря; казалось, что Германии отныне предназначена роль оставаться страной вне политики.

Но вышло все по-другому — конечно же, не случайно и не так уж совсем по своей воле и по собственному желанию, тем более не в силу какого-либо чуда. Причин было много, историки, экономисты и социологи среди вас лучше их знают и могут все лучше объяснить. Может быть, из людей моей возрастной группы вышли бы вполне сносные соседи, с которыми можно было бы по-братски ужиться, но на братство спрос был невелик, зато ценился авторитет, ценились приказы — их ожидали и их получали, — и вот выросла новая гвардия чкающих шаг, ретивых и подобоострастных. А литература пошла совсем другим путем — трудным путем обретения языка, поисков гуманного в отбросах и отходах; потерянно плыла она без руля и ветрил, буквально захлестнутая потоком ставшей наконец доступной иностранной литературы.

А потом внезапно наступил момент, когда все надежды, ожидания, внимание воспитателей, церкви, политиков обратилось к поколению, готовящемуся сойти со сцены. Неужели они все настолько не знают человека, что вынуждены искать его об-

ходным путем, через литературу? Или они навстрывают упущенные откровения? Пустое это занятие — искать человека лишь в том, что делает из него литература, надеяться, что таким образом его можно обрести. Слова «эпичность», «эпический» звучат так обнадеживающе, успокаивающе, почти как что-то домашнее, как некое уютное место, где можно прижиться или, выражаясь по-современному, «обосноваться». А следовало бы перед современными романами вывесить предупредительные щиты: не обосновываться, место не для заселения, располагаться запрещено. Кто хочет иметь почву под ногами, должен располагать большим, нежели то, что могут дать ему литература и искусство.

Стоит задуматься и над пропорциями. Невероятные вещи происходят в этой стране: каких-нибудь два-три, от силы четыре автора, числящихся еще и католиками, способны взбудоражить всю статистически весьма существенную массу немецких католиков — двадцать шесть миллионов. Это свидетельствует не столько о значительности самих публикаций, сколько о полной зыбкости, неукорененности бытия в условиях, когда религия существует лишь как сугубо общественный, официальный институт. В доказательство того, на каких полах, глиняных ногах стоит колосс нашего общества, приведу один пример. Когда современный автор дерзнул изобразить в своем романе такую проклятую сферу человеческого существования, как заводской труд, промышленники возбудили против него судебное дело, а профсоюзы сначала его поддержали, но потом, когда кто-то наконец прочел роман и обнаружил, что автор дерзнул также изобразить и соглашение профсоюзов, его обвинили в предательстве \*. Общество это существует поистине над бездной.

#### IV

По ряду причин эта моя лекция будет последней, и потому, к сожалению, я не смогу испробовать на всех еще остающихся темах метод сопоставления текстов, расположения их как резонаторов, с помощью которых проверяется и испытывается современный словарь. Даже и в затронутых мною темах этот метод был лишь бегло намечен: бесприютность, отходы, путешествия; много чего можно было бы дополнить, друг с другом сопоставить: Жан Поля\* с Гёте, Гёте с Арно Шмидтом\* (у всех троих — мотивы путешествия и проживания); Гейне со Штиффером, или — еще убедительней — Гейне с самим собой, тоже изгнанником, каким был и Маркс, тоже нераспознанным и неслышанным, какими были и Клейст, и Гёльдерлин, и Ницше. Остается так много тем: брак, семья, дружба, религия, еда, одежда, деньги, работа, время; остается тема любви.

Когда я еще в юности читал Достоевского, Бальзака, Честертон<sup>\*</sup>, меня всегда смущало то обстоятельство, что немцев они не просто, как говорится, не жалуют, а еще и представляют шаблонно; мне это казалось прегрешением против эстетики, морали и гуманности сразу (об их взаимосвязи я уже говорил). Все глубже вникая со временем в проблему, я обнаружил, что в иностранных романах иностранцы почти всегда выходят шаблонными: голландцы — неловки и ребячливы, англичане сухи и скучны либо слишком обильно спрыснуты духами Оксфорда или лавандой Блумсбери<sup>\*</sup>, французы слишком чувственны или слишком духовны, немцы, наконец, кислы, основательны, музыкальны, ирландцы всегда рыжи, венгры — пылкие брюнеты (в то время как в этой стране столько спокойных блондинов!). Простор для исследований, как видите, велик: вочеловечение человека в романе, похоже, еще и не началось. Со мной не раз приключалось, что иностранцы, знавшие немцев только по романам или по пропаганде, спрашивали меня, неужели я и вправду немец, и я ловил себя на безумной мысли, смогу ли я в случае крайней необходимости привести доказательства своего не то чтобы арийского, но тевтонского происхождения. В изображении национальных особенностей между крайностями смешного и благородного, похоже, нет места для просто человеческого. Так что тем для раздумья хватает. Немцам, например, чужое всегда представлялось явно более интересным: свою дверь они находят с трудом. Одна тема особенно ждет своей разработки: образ еврея в немецкой литературе; отравленные источники, отравленные колодцы — либо колодцы, соблазняющие обманчиво чистой водой. Еще темы: образ человека, образ немца в немецкой литературе, описания его трапез. Одно время меня подмывало сопоставить описания трапез у Диккенса, Бальзака, Толстого или гениального прожоры Томаса Вулфа<sup>\*</sup> с немецкими текстами, ибо мне казалось: то, как человек в литературе ест, наверняка связано с тем, какое он обрел в литературе жилье; и связь обнаружилась: в немецкой литературе так же мало едят, как и по-настоящему живут. О деньгах почти не говорят, много голодают, а то и питаются одним воздухом; и потом этот жуткий обычай поглощать пищу молча: притихшие дети за столом — съсжившиеся, присмирившие. Вот уже и новая тема: образ ребенка в немецкой литературе. Полцарства за ребенка, которому дозволено быть ребенком, быть свободным!

Жилье и еда, любовь, брак, семья — все это явно друг с другом связано. Не случайно в изображениях места проживания, семьи и жилища все оказывается взаимообусловленным. Одно из немногих подробных описаний трапезы вы найдете в пятой и шестой главах первой части «Будденброков» Томаса Манна:

Последовала новая перемена блюд. На сей раз подали исполинский багровый варено-копченый окорок в сухарях, а к нему кислотатый коричневый шарлотовый соус и такую гору овощей, что из одной-единственной миски могли бы насытиться все сотрапезники. Разрезать взялся Лебрехт Крёгер. Непринужденно вскинув локти, вытянув прямые длинные пальцы вдоль спинок ножа и вилки, он не спеша, с чувством отрезал один за другим сочные ломти. Подали также шедевр кулинарного искусства консульши Будденброк — «русский горшок», смесь из консервированных фруктов с пикантным хмельным привкусом...

Медленно, долго догорали свечи и время от времени, когда язычки их пламени наклонялись в сторону под налетевшим дуновением воздуха, распространяли над столом тонкий аромат воска.

А хозяева и гости сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, тяжелыми серебряными вилками и ложками ели тяжелые, добротные яства, запивали их густыми, добротными винами и высказывали свое мнение.

Дамы очень скоро отвлеклись от глубокомысленных тем. Их вниманием завладела мадам Крёгер, чрезвычайно аппетитно излагавшая наилучший способ приготовления карпов в красном вине:

— Разрезаете их, милая, на кусочки — ну, приличные такие куски, — кладете с луком, гвоздикой и сухариками в плоскую кастрюлю, добавляете чуточку сахара, ложку масла — и на огонь... Но только ни в коем случае не промывать, милочка, — боже упаси! Так прямо с кровью и в кастрюлю...

Наконец на стол водружены были две большие хрустальные вазы со знаменитым «слоеным пудингом» — замысловатой смесью из миндального пирожного, малины, бисквита и заварного крема; а на нижнем конце стола замельтешили первые огоньки — дети получили на десерт свое любимое лакомство, пылающий плюм-пудинг.

— Томас, мальчик мой, будь добр, — обратился к сыну Иоганн Будденброк, извлекая из поясного кармана внушительную связку ключей. — Во втором погребе справа, на второй полке за красным бордоским, — там увидишь две бутылки, понял? — И Томас, явно не впервой облакаемый поручением такого рода, проворно выбежал из комнаты и вскоре вернулся с двумя запыленными бутылками в плетеных сетках. А когда из этой неказистой оболочки в миниатюрные десертные рюмки пролились первые капли золотой мальвазии, этого сладостного дара лоз, на-



стал черед пастору Вундерлиху подняться с рюмкой в руке и, секунду выждав тишины, в изысканных выражениях провозгласить тост ... «За благоденствие семейства Будденброк со всеми чадами и домочадцами, как присутствующими, так и отсутствующими... Во здравие!».

Подобная детальность в перечислении ингредиентов, блюд, стихия чисто чувственного смакования — очень редкий случай, и она, конечно, коренится в том ганзейском чувстве собственного достоинства, в том ощущении уверенности в себе, которое самим текстом романа, взятым в его целостности, как раз опровергается. Это уже весьма далеко от Штифтера — у того вы обнаружите не столько ингредиенты и наслаждения, сколько общий ритуал и дух совместной трапезы:

За обедом мой радушный хозяин отнесся ко мне: «Вас, вероятно, удивляет, что мы вкушаем наши трапезы в полном одиночестве. В самом деле, достойно сожаления, что совершенно вывелся старинный обычай, согласно коему хозяин садился за трапезу в окружении всех чад и домочадцев. Слуги тем самым тоже причислялись к семье, они ведь часто всю свою жизнь служили в этом доме, хозяин жил с ними совместною жизнью в приятном согласии, и поскольку все, что есть доброго в государстве и в человечестве, происходит от семьи, то они становились не только добрыми челядинцами, любящими свою службу, но вместе и добрыми людьми, в простодушном благочестии привязанными к дому как к незыблемому храму и видящими в хозяине верного и надежного друга...

Я намеревался было, — продолжал он после минутного раздумья, — ввести этот обычай и в здешнем нашем доме; но здешние люди росли в иных условиях, они вращались в самих себя, не умели привязаться душою ни к чему чужому и лишь утратили бы в этом случае свою внутреннюю свободу. Я не сомневался, что постепенно они бы с этим сжились, особенно младшие, на которых еще воздействует воспитание; но я уже так стар, что для осуществления этого намерения остатка моих лет не хватило бы. Потому я освободил своих слуг от этого принуждения; но те, что придут мне на смену и будут помоложе, могут возобновить эту попытку, если они разделяют это мое убеждение».

И может быть, вы помните заключительную сцену брехтовского «Галилея»: при закрытии занавеса мы видим одинокого старого человека, он сидит за столом и ест; едва ли есть что-либо

более пронзительное, чем горечь и печаль этой сцены,— одинокий хитрый старик за едой, его предали — и сам он предал,— кончается великая жизнь, великий человек, и занавес опускается над его чавканьем. Я прочитаю вам эту сцену:

Г а л и л е й. Я предал свое ремесло. Человеку, совершившему такое, не место в рядах ученых.

В и р д ж и н и я. Ты принят в ряды верующих.

*(Она ставит на стол миску с едой.)*

Г а л и л е й. Да, конечно... Но пора и поесть.

*(Андреа протягивает ему руку. Галилей смотрит на нее, оставаясь неподвижным.)*

Г а л и л е й. Теперь ты сам учитель. Можешь ли ты позволить себе пожать руку такого человека, как я?

*(Идет к столу).* Вот кто-то прислал мне целых двух гусей. Что я по-прежнему люблю — так это поесть.

А теперь сопоставьте с этим два стихотворения Айха:

### Рецепт оладий

Берете порошковое молоко  
фирмы «Гаррисон бразерс», Чикаго,  
яичный порошок фирмы «Уокер энд Мерримсейкер»,  
Кингстон, Алабама,  
не уворованную немецким лагерным начальством муку  
и трехсуточный паек сахара,  
смешиваете все это с хорошо хлорированной  
водой дедушки Рейна —  
и тесто готово.

Киньте восемь суточных пайков смальца  
на крышку консервной банки —  
и пеките себе оладью  
над костром из сухой травы.

А потом, разделив ее  
по-братски на восьмерых,  
вы почувствуете — о блаженство! —  
как она тает во рту,  
и на какую-то долю роскошной  
секунды к вам вернется  
уютное счастье детства, —  
как вы прокрадывались на кухню,  
чтобы выклянчить щепотку теста  
еще до наступления Рождества  
или кусочек вафли, остаток

от воскресных гостей,—  
и за эту мимолетную секунду  
вы вдохнете  
аромат всех кушаний детства,  
еще раз вцепитесь в фаргук  
матери,—  
о, печное тепло, материнское тепло!—  
а потом вы снова очнетесь  
с пустыми руками,  
посмотрите друг на друга  
голодными глазами — и снова  
поползете угрюмо в окоп.  
Оладью  
поделили нечестно,  
и вот так всегда  
надо следить, чтоб тебя  
не обделили.

### **По пути к вокзалу**

Стынут в лунном свете  
фабричные камни.  
К утренней дрожи  
привыкнуть пора мне!

От фляжки с кофе  
боку теплее.  
Замерзшие руки  
в карманах грея,

сонный, брел бы на поезд  
шестичасовой,  
не зная печали,  
доволен судьбой.

Но вот из пекарни теплый дух  
повеял мне вслед —  
и будто кто сердце мне приласкал,  
и покоя мне нет.

«И вот так всегда надо следить, чтоб тебя не обделили»,—  
говорится в последних строчках стихотворения Айха. Может  
быть, немцы всегда чувствовали себя обделенными? Признаюсь  
вам, что по мере углубления в перечисленные мною тьмы, в пои-  
сках литературных их воплощений на душе у меня становилось  
все беспокойней: единственным писателем после Гёте, нашед-

шим связь вещей и времён, был Штифтер; вот на его произведениях, как и на произведениях Жан Поля, можно демонстрировать эстетику гуманного, которая охватывает все названные мною темы. Занятия Штифтером обогатили меня открытием полноты, запряганной за его скупым языком, но также и открытием его современности, которая означает для меня современность средств выражения. По-мосму, он мог бы стать отцом нового гуманного реализма, вдохновителем попыток — нет, не уничтожить совсем пропасть между действительностью статистической и действительностью, изображенной в литературе, и даже не перскинуть мост через нее, а хотя бы постепенно ее засыпать.

Трапезы в послевоснной литературе — это всегда бутерброды на бегу; затяжные и утомительно-церемонные сидения за столом кажутся сейчас чем-то бесконечно далеким, жутковато-гротескным, доступным лишь сатирическому изображению. А ведь есть масса ресторанов, в которых люди мирно и дружно сидят и едят, — но для литературы там, похоже, мест нет. Она довольствуется ломтем хлеба и супом, второго ей не подают, она перкусывает стоя. Может быть, Штифтер помог бы ей расположиться поудобней.

Что я еще охотно бы развил — и к чему я подготовлен и, похоже, предназначен этим обществом, производящим столько отходов, — так это эстетика хлеба в литературе; сначала он — реальный хлеб, испеченный пекарем, или хозяйкой, или крестьянином; но и не только это, а нечто большее, много большее — знак не только братства, но и мира, и даже свободы; и еще большее — самый действенный возбудитель любви; а еще он просфора, облатка, маца; но вот он магически преобразуется в таблетку, заимствовавшую свою форму от облатки, и таблеткой заменяется все: и братство, и мир, и свобода, и любовный напиток... Но я еще не дожил — и вряд ли доживу — до того возраста, когда человек начинает пережевывать жвачку, интерпретируя самого себя, так что предоставляю другим эту тему, на которую я так много написал. Отвести хлебу должный ранг в системе эстетики — это завело бы нас хоть и далеко, но не в бесконечность; тут надо было бы и дисциплинировать себя, наводить в материале порядок, вести изыскания, но и к мусорным свалкам мы пришли бы неминуемо.

Когда я говорил о том, что у нас нет обжитого пространства, я упомянул и об отсутствии у немцев детских книг, книг для юношества, детективных романов — вообще всего того, что называется развлекательной литературой. На ущерб, наносимый таким положением дел истинной литературе, сетований раздавалось немало: исчезает живая среда, а с нею, разумеется, и сам мир; провинциальная немецкая боязнь провинциальности препятствует установлению доверительных отношений со средой,

а стало быть, и связей с миром. Тут, прежде чем хоть бегло коснуться дальнейших тем, я должен, во избежание недоразумений, сознаться в одном личном изъяне: я никогда не видел разницы между истинной и развлекательной литературой, т. е. при чтении истинной литературы я самым легкомысленным образом развлекался — или, если выразиться яснее в негативной форме: я очень редко скучал при чтении истинной литературы. «Грозовой Персвал» Эмилии Бронте \* «Братья Карамазовы» Достоевского, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Преступление» Бернанола \*, первый роман Алена Роб-Грийса \* «Резинки» — сплошь детективные романы! «Робинзон Крузо» — отнюдь не только детская книжка, равно как и самая горькая, самая злая из всех сатир — «Путешествия Гулливера», написанная Свифтом, который родился в том же городе, что и Джойс, но в отличие от Джойса в нем же и умер. «Под грушей» Фонтане, «Каменное сердце» Арно Шмидта — всё детективные романы.

Точно так же, как и в случае с литературой истинной и развлекательной, я никогда не понимал — и уж тем более не принимал всерьез — различия между литературой «ангажированной» и «неангажированной». Повторю еще раз: вас обманывают, когда какого-нибудь автора хвалят за его убеждения (всякий раз признаваясь достойными), а форму ему прощают или о ней умалчивают. Анализ содержания без анализа формы допускает возможность любой подтасовки, и если бы достойное убеждение и истинная литература всякий раз находились в прямой зависимости, нечего было бы вообще рассуждать об убеждениях, ибо истинную литературу сразу можно было бы распознать по ее стилю, ее форме, манере выражения. Надо взять за несложное правило: чем более «ангажированным» считает себя автор, тем лучше он обязан писать. Я, во всяком случае, не понимаю, почему я должен скучать ради какого бы то ни было убеждения. Ничто не должно быть скучным — и религия в том числе; это блестяще доказал Кьеркегор \*, а до него Августин \*, а после них и Кафка, и Фолкнер, и Толстой. Мы никогда не поймем ни Джойса, ни Грасса, если не будем знать, что это значит для человека — быть католиком или перестать им быть, какое возникает неимоверное напряжение и какие высвобождаются непредсказуемые силы, когда человек теряет или оплакивает подобную веру, как в случае с названными именами. Немыслимо, невозможно понять ни того ни другого, если не понимать этих предпосылок.

Разумется, ни о каком понимании не может быть и речи, когда мы наблюдаем жалкие потуги церкви на научность, и не случайно столь дьявольское единодушие обнаруживают атеисты и те церковные чины, что позволили унижить себя до роли коммивояжеров. Я уже говорил, что тут неизбежны самые противо-

естественные смешения и смещения фронтов; и в один прекрасный день церковь свихнется уже настолько, что не сможет понять религиозную проблематику литературы без специальных знаний в области эстетики, ибо в этом сложном мире даже и все самое простое, легкодоступное идет — вынуждено идти — все более сложными путями. Автор, отважившийся придать своему роману напряженность религиозной проблематики, сразу преступает все пределы безопасности, какие ему обеспечивает любая из господствующих литературных мод. Читатели, стоящие вне всякой религиозной проблематики, могут с полным правом ограничиться недоуменным: «Ну и что?» — а убежденные христиане окажутся то ли в завидном, то ли в незавидном положении, когда обнаружат, что у них нет под рукой подходящей и общепонятной эстетики, которая согласовывалась бы с их верой или их моралью; они уж и так развили поразительную расторопность в выборе эстетики на любой вкус: между Аристотелем и Брехтом их ведь есть добрая дюжина — бей какой попало, если унохал у кого-то излишнюю вольность, а то и, чего доброго, вольности во множественном числе.

Я сказал недавно: вочеловечение человека, похоже, еще не началось; но, похоже, еще не началось и само христианство; наши церкви все еще не понимают, что есть любовь, хотя в их распоряжении достаточно текстов, которые они могли бы сопоставить друг с другом, — великолепных текстов! В итоге осталась только злополучная юридическая изощренность в регулировании любви и брака. А что, если брак становится безлюбным — или, напротив, любовная связь, не освященная браком, принимает форму брака? Эстетика любви, брака — подразумевает ли она непременно «законную» связь? В качестве материала тут нет ничего более увлекательного, чем твердая, несклонная мораль, — мне достаточно напомнить вам лишь романы Грэма Грина: «Конец любовной связи», «Тихий американец», «Ценой потери» \*. В них то, что воспринимается как оковы, цепи, образует форму — а вместе с ней и то сопротивление, без которого литература уже перестает быть литературой. Это та самая проблема внешнего и внутреннего отчуждения от предмета, которая может быть обозначена такими старомодными словами, как «измена», «грех», «обман». Еще один напряженный конфликт — в теологическом плане его легко обозначить тремя именами: Ева, Мария, Магдалина; ни одна из них никогда не обнаруживается в женской натуре в чистом виде — они всегда перемешаны.

Для литературного выражения и воплощения любви я не вижу никакой более подходящей эстетической предпосылки, нежели религиозная. Рутинная практика абсолютно безопасного и абсолютно пресного промискуитета, шаблонный образ водевильной Евы или водевильной Магдалины — если тут и обнару-

живаются раны, их легко залечить коробкой конфет или меховым манто. Там, где отпадает проблема внешнего и внутреннего отчуждения, где исчезает святое триединство женственного, где не царит даже голый инстинкт, простодушно согласующий похоть с заповедью продолжения рода, — там путь ведет в тайные палаты гинекологии, где владычествуют лишь кровь и нож, и еще смерть, и опустошение.

О, тут еще нас ожидают противостественные смещения фронтов: то, что раньше проклиналось как блуд, может однажды обрести статус теологического канона; мать, произведшая на свет внебрачного ребенка, — дитя любви, по прекрасному старинному выражению, — может однажды стать примером для христианских матерей. Надо быть готовым к самым невероятным вещам, если церкви и дальше будут самым жалким образом навязываться наукам или привязываться к ним, кооперироваться с ними. Я уже говорил: западное высокомерие по отношению к Востоку я считаю опасным самообманом; и чистым самоубийством я считаю расхожую иронию по отношению к тому, что изволят называть восточным ханжеством. Признак безнадежного извращения или извращенности я вижу не в том, что, скажем, на Востоке еще сохранилось целомудрие, тогда как на Западе воцарился свальный грех, а в том, что этот самый западный мир все еще смеет называть себя христианским.

Рассуждая хладнокровно — с тем хладнокровием, с которым следует относиться ко всякому материалу, — можно найти такое положение дел и смешным и тогда сделать его предметом не юмористического, а сатирического осмысления. Разумеется, всякого автора, ищущего стиль и форму выражения для религии и любви, это ставит в парадоксальное положение, и из степенного отца семейства, как предсказал уже Шарль Пегги \*, может получиться авантюрист, а какой-нибудь любитель эротических приключений, последыш Казановы, в сравнении с таким авантюристом может оказаться всего лишь смертельным занудой. Не существует больше никакого внешнего отчуждения от любимой — ведь нынче все так просто устроить; нет необходимости в алиби — ведь повсюду царит полное взаимопонимание; не существует внутреннего отчуждения — ведь нет больше ни измен, ни греха, ни ревности. В таком обществе и любви как эстетической проблемы больше не существует — ибо она не находит для себя формы, не находит сопротивления.

Мне очень жаль, что я вынужден формулировать все это лишь кратко, тезисно, на многое лишь намекать, большую часть оставлять разве что как побуждение к дальнейшим раздумьям. Я признаю, что тема была задумана слишком широко; я сам не сознавал, за что берусь, и понял это лишь тогда, когда начал глубже вникать в отдельные темы. Обнаруживать, какое выра-

жение что находит, распознавать в содержании форму, в тексте предмет текста — такой метод, возможно, и способствовал бы выработке критериев. Исследовать образ еврея у Штифтера, у Раабе, у Гейне, у Брентано \*; юмор у Гёте, Шиллера, Жан Поля, Штифтера.

Со времен Готшеда \* почти все немецкие писатели бились над определением понятия «юмор», которое примерно в готшедовы времена, в начале XVIII столетия, еще не перекочевало из медицинской сферы в литературную \*, но все же напрашивалось и как литературное понятие. Были самые разные, сменявшие друг друга определения: Готшеда, Лессинга, Виланда \*, Гердера — и, конечно, единственного из всех немецких писателей, обладавшего юмором, — Жан Поля, чье творчество являет собой законченную систему эстетики гуманного. Поскольку я, после длительного перерыва, много занимался Жан Полем, я не перестаю удивляться, что такой писатель не смог стать немецким Диккенсом или Теккереем. Может быть, это связано с ущербностью немецкой образованности, с нежеланием немцев жить в собственном мире, в собственной среде? Вот подумайте над вопросом: может быть, Жан Поль был для немцев слишком немцем? Когда человека, обладающего чувством юмора, мы называем юмористом, мне чудится тут некоторая передержка. Обладать чувством юмора — и обладать им как писатель — это, по-моему, нечто иное, чем просто быть юмористом. Тут есть разные определения, разные исходные точки: романтическая ирония, Шлегель \*, Новалис, — но, к национальному несчастью немцев, судьба распорядилась так, что их представление о юморе определено было человеком, который, на беду нашу, соединил слово с образом: Вильгельмом Бушем \*. На выбор нам предлагался Жан Поль, гуманный человек, обладавший чувством юмора, а выбран был лишенный гуманности Вильгельм Буш, иллюстрировавший сам себя; его юмор — это юмор злорадства, злобная ухмылка, и я без всяких колебаний назову этот юмор антисемитским, ибо он антигуманен. Он спекулирует на самых отвратительных инстинктах обывателя, для которого нет ничего, решительно ничего святого и у которого не хватает соображения даже на то, чтобы заметить, что своим ужасным смехом он засмеивает и самого себя, сам превращаясь в ничто, в мусор. Это смех и дух свалки.

Юмор долгое время понимали так: стащить с ходулей возвышенное или то, что себя выдавало за возвышенное. Но если вообще существует оправдание для юмора в литературе, то его гуманность, вероятно, заключается вот в чем: показать возвышенность того, что общество считает достойным лишь свалки. Различие между немецким и общеевропейским юмором вытекает из различия между Дон Кихотом и Вильгельмом Бушем —



убийственный результат. А разница между возможностями немецкого юмора и его популярными формами вытекает из различия между Жан Полем и тем же Вильгельмом Бушем. Жан Поль формулировал это так: «Будучи изнанкою возвышенного, юмор уничтожает не единичного человека, а саму преходящность как таковую, показывая ее противоположность возвышенной идее. Для юмора не существует единичной глупости и единичных глупцов, а есть лишь глупость как таковая и безумный мир». В повести Дж. Д. Сэлинджера «Симор. Интродукция» \* я обнаружил эпизод, проникнутый тем же духом. Там о вымышленном брате рассказчика Симоре говорится: «Помню также, как однажды ночью — мы были еще мальчишками — Симор растормошил меня, спавшего глубоким сном, — стоит ужасно возбужденный, пижама желтым пятном маячит в темноте, а лицо такое, про которое мой брат Уолт всегда говорил: «Эврика из глаз прет». Он жаждал сообщить мне, что наконец-то понял, почему Христос никого не велел называть безумным \*... Симор считал, что мне это тоже крайне важно узнать: Христос распорядился так потому, что безумных людей вообще не существует».

«Никого не называй безумным» — это дух Жан Поля. У Буша происходит обратное: уничтожение единичного человека, уничтожение homo, гуманности. К сожалению, немецкое представление о юморе и поныне определяется Бушем — не Жан Полем, не ироническим принципом романтиков. Это юмор злорадства и злобы, юмор, который не возвышенное дласт смешным, а отрицает в человеке возвышенное. Это юмор мусорщика, а не юмор уязвленного, характерный для сатирика.

Уж сколько было попыток дефиниции, а четко разграничить остроумие, юмор и сатиру так и не удалось. В случае с юмором трудность заключается в том, что ему нельзя научиться, — либо он у тебя есть, либо его нет. В иронии — дословно она означает «притворство» — можно натренироваться, сатиру можно изучить — при том условии, конечно, что у вас есть необходимая предпосылка: дар божий. А вот эстетику остроумия, юмора, иронии и сатиры едва ли когда удастся четко обосновать: тут обязательно нужен партнер, публика — нужны резонаторы, — а смех публики — эстетическая реакция очень опасная, потому что очень расплывчатая, особенно в том случае, когда публика тренировалась в юморе на Вильгельме Буше.

Есть великие писатели и мыслители, не обладавшие чувством юмора, — что их величия несколько не умаляет: совсем не было этого чувства у Гёльдерлина, едва ли много у Толстого, очень мало у Гёте, а Гегель его прямо-таки презирал; но были все-таки и Гоголь, и Диккенс, и Жан Поль, и Клейст. Сейчас я склонен — в противоположность ранним своим убеждениям — не доверять и юмору бравого солдата Швейка: это юмор не то чтобы негу-

манный, но почти уже растительный, животный, у него нет никакой цели, кроме одной: по окончании войны пить пиво в харчевне. Он пассивен, а его простодушие граничит почти уже с преступностью — но это и исторически обусловленный юмор, такой возможен был только в «императорско-королевской» Австрии. Чувство юмора предполагает наличие некоего минимального оптимизма и печали одновременно (это и делает его столь подозрительным для тех, у кого его нет): поскольку слово «humores» означает «жидкость» и «соки» и подразумевает, таким образом, все телесные соки — стало быть, и желчь, и слезы, и слюну, и мочу, — оно оказывается связанным с материальной, плотской стихией, сообщая ей в то же время качество гуманности. Как мне кажется, есть только одна гуманная возможность для юмора: утвердить возвышенное в том, что общество объявляет достойным лишь свалки, что оно считает отходами и отбросами.

Я должен тут еще раз вернуться к тому, о чем говорил в своей первой лекции: общество, сбитое с толку эстетически и морально, легко дает себя одурачить, ему не хватает величия, и поэтому достойный объект для своего юмора писатель находит лишь в тех, кто не принадлежит к «большому миру», в тех, кого общество охотно отправило бы на свалку и кому беспрерывно, под треск и канонаду рекламы, великие мира сего навязываются как образец. Сейчас истинно возвышенно то, что асоциально, и, чтобы обнаружить это его величие, надо обладать чувством юмора. Юмор едва ли нужен для того, чтобы показать, сколь мало возвышенны великие мира сего; противопоставлять этот мир, все еще объявляющий себя христианским, его собственным идеалам и притязаниям — это дело сатиры. Напомню вам еще раз определение Жан Поля: «Для юмора не существует единичной глупости и единичных глупцов, а есть лишь глупость как таковая и безумный мир». Нуждается ли в доказательствах безумие этого мира? Нет, оно нуждается в юморе, сатире, остроумии, иронии — и оно нуждается в печали, без которой юмор не юмор. Смех, в котором нет печали, — смех публики, учившейся юмору у Вильгельма Буша, — придаст всем проявлениям юмора привкус неуместности. Стало быть, надо сначала воспитывать в публике способность к смеху — при помощи хотя бы Жан Поля и без помощи Вильгельма Буша и его традиции злорадного юмора.

Современная литература любой страны — это не только необходимое дополнение к той картине, которая, возникая подобно наспех набросанному автопортрету в дискуссиях, в речах министров на дипломатических приемах, в цифровых показателях

экспорта и импорта, так напоминает плакаты туристических фирм. Сравните только Францию де Голля с литературой, возникшей в период его правления, или все еще хранимое достоинство Англии с литературой ее рассерженных молодых людей, или современную литературу Федеративной республики с жизнерадостным автопортретом, создаваемым статистическими сводками о жилищном строительстве и проспектами промышленных ярмарок,— вы получите не только картину, что называется, «неуклонного падения», но и вообще нечто зловеще-многозначительное, призрачное. Государственные деятели расточают улыбки, из своих поездок к соседям они непременно привозят домой «полное совпадение взглядов», выходят из салонов самолетов с традиционным подарком: со своей часто несколько натужной, но неколебимо бодрой улыбкой, которая отнюдь не всегда покоится на лицемерии,— нередко она всего лишь форма проявления отчаяния и пустоты, с усилием удерживаемых за стиснутыми белоснежными зубами.

Современная литература любой страны — это не только необходимое дополнение; ее сообщения совсем иного рода, чем сообщения политиков. Государственным мужам — из какой бы части света мы на них ни смотрели, относя их соответственно к Западу или Востоку, — всегда грезится что-то вроде социалистического реализма в его административной форме, литература, славящая достижения, несущая знамя, черпающая веру в статистических цифрах, бодро похлопывающая нас по плечу и в самом деле принимающая самолетную улыбку за знак полного взаимопонимания. Стало быть, если государственные мужи сердятся и позволяют себе глупые высказывания в адрес литературы,— это у них так принято, это в порядке вещей. Но я все-таки не понимаю, в чем тут дело: в конце концов все писатели, с большим или меньшим рвением, платят налоги, как это делали все люди с тех незапамятных времен, когда налоги были введены, они в среднем все платят за квартиру, свет, газ,— и это единственная сфера их соприкосновения с государством. Больше из этих отношений, на мой взгляд, выжать нечего. На сходных основаниях строятся и отношения между писателем и обществом. Как можно меньше дурачеств — пускай этим занимаются записные грешники и грешницы, рассчитывающие на публичный эффект, по возможности скандальный.

Что ж, умолкнем и уйдем на задний план, чтобы образовать для статистически неопровержимой реальности более глубокий фон, то есть сделать ее более реальной; ибо без литературы нет вообще государства как такового, и общество без нее мертво. Чем была бы историческая ситуация 1945 года без Айха и Целана \*, Борхерта и Носсака \*, Кройдера \*, Айхингер \* и Шнурре \*, Рихтера \*, Кольбенхоффа \*, Шрёрса \*, Ланггессер \*, Кро-

лова \*, Ленца \*, Шмидта, Андерша \*, Иенса \* и Марии-Луизы Кашниц \*? Германия 1945—1954 годов давно бы стерлась в людской памяти, не найди она своего выражения в литературе той поры. Когда мы сейчас, по прошествии двадцати лет, смотрим на эту литературу и вновь открываем ее, мы особенно отчетливо осознаем, что каждое ее высказывание стало уже раритетом: во всех этих ранних высказываниях — если все время помнить об исторической ситуации — поражает их удивительный юмор, их гуманный реализм. В историко-литературных трудах о том периоде много говорилось о Кафке; но разве до Кафки не было Штифтера? Может быть, без Штифтера и Кафка несмыслим — как несмыслим Штифтер без Жан Поля?

Пока мы не откроем их заново, мы не обретем обжитого пространства, не найдем пристанища для жилья, для семьи — для всех перечисленных мною проявлений гуманного.

# Три дня в марте



## БЕСЕДА ГЕНРИХА БЁЛЛЯ С КРИСТИАНОМ ЛИНДЕРОМ

### Первый день

**ЛИНДЕР:** Есть писатели, которым так и не удалось написать то, что им хотелось. Например, Флобер. «Госпожу Бовари» он писал как бы наперекор себе, наперекор своей натуре, это было тяжело, писательство давалось ему трудно. Или возьмем другой пример, из современной немецкой литературы: Ганс Магнус Энденсбергер\*, он, по-моему, тоже не написал того, что хотел написать, и его литературный ранг следовало бы определять с учетом того, что он *не* написал. Он ведь мог каждый год публиковать по книжке стихов, действительно мог бы, но вместо этого занялся другим, тем, что давалось не так легко, чему приходилось учиться: эссе, работы на политические темы, в которых он должен был принаравливать к жанровым особенностям средств массовой информации. Ну, а как в этом отношении обстоит с Вами? Всегда ли Вы писали именно те книги, которые хотели написать? Или готовая книга расходится с тем, что Вы намеревались написать первоначально, на самой ранней стадии замысла? И еще один вопрос: чего Вы не написали?

**БЁЛЛЬ:** На это, пожалуй, я сумсю ответить лишь приблизительно. И давайте сразу договоримся: о чем бы я тут ни рассуждал — о своих книгах, о себе самом, о мире, об окружающей жизни, — все это лишь попытки приближения к истине, не более того; я просто не чувствую себя компетентным — даже по отношению к собственным книгам, автором этих книг я действительно *был*, но их читателем в обычном смысле этого слова я быть не могу, да я их и не читаю. Разумеется, я помню о работе, но не более того; в процессе работы какие-то вещи, которые прежде замышлял сознательно, потом уходят, забываются, и наоборот — проясняются другие, которых раньше не сознавал, так что в этом

смысле мое отношение к собственным работам с годами в корне меняется — это, пожалуй, основное, что надо сказать. Представьте себе художника, который у кого-нибудь в гостях или просто в музее вдруг наткнется на свою картину; он отдавал ее в твердой уверенности, что она закончена, теперь же, будь его воля, написал бы ее совершенно иначе, но... картина ему уже не принадлежит, он ей не хозяин, а владелец никаких переделок не допустит, полотно дорого ему как есть, со всеми достоинствами и изъянами.

Возвращаясь к Вашему вопросу: думаю, надо делать различие между писательством и публикацией. Я много написал не для публикации, и для меня это тоже очень важно, хотя и осталось на уровне черновиков, рабочих набросков и для потенциального читателя, видимо, не представляло бы никакого интереса. Так что в этом смысле я всегда писал то, что хотел, хотя и не все публиковал. Разумеется, были и неудачные — как формально, так и содержательно неудачные — эксперименты... И если хочешь что-то написать — время всегда найдется, я специально говорю это в безличной форме, не только о себе, тут никакие внешние обстоятельства — ну, разве что катастрофы, вроде войны или... не знаю, что еще, — помешать не могут.

Куда интересней для меня вопрос: что я написал против воли — работы по заказу, статьи, доклады; из этих случайных работ возникло очень многое, что для меня по меньшей мере столь же важно, как и то, что я писал по своей охоте. Возможно, я принимал эти заказы слишком легкомысленно, а потом гнет обязательств меня дисциплинировал в той мере, какая при обычной работе, так сказать, в мастерской, не всегда достижима. У писателя ведь тоже, как и у художника, своя мастерская, где много всего происходит, что неизвестно стороннему взгляду. Под заказами я подразумеваю не романы, повести и рассказы, а именно статьи, эссе, доклады, рецензии на книги, — многие из них потом оказались для меня необычайно важны в связи с тем целым, которое я когда-то назвал непрерывным писательством. Иной раз крохотная рецензия в три странички наводит меня — по сути, против моей воли — на мысли, из которых потом возникает роман или повесть...

Не знаю, можно ли вообще ответить на этот вопрос: всегда ли пишешь то, что хотелось? Собственно, это состояние абсолютной свободы — делай что хочешь, — некоего свободного парения я вообще не могу вообразить, даже теоретически... Да и не думал никогда об этом, только иной раз злился на самого себя: господи, теперь вот надо написать еще и это, хотя с куда большим удовольствием взялся бы сейчас за другое. Но этот конфликт есть всегда, и в большинстве случаев он дает плодотворные результаты, потому что работа на заказ сопряжена с формальными

ограничениями — объемом, требованиями жанра — и принуждает к сжатости выражения, дабы не пожертвовать ни одной мыслью, которую хотелось высказать... Я даже не знаю, оказалось ли то, что я всегда хотел написать и потом в конце концов написал, действительно самым лучшим и самым важным, понимаете? А существование интеллигента или, скажем, писателя в некоем безвоздушном пространстве, в невесомости все больше представляется мне иллюзией. Я просто не могу представить себе это пространство вне связи с окружающим миром, с людьми и все меньше верю в гения, который может самонадеянно заявить: так, а теперь я сяду и напишу — или, предположим, нарисую — то, что мне хочется. Так я думал и поступал в юности, лет в 18—20 или чуть постарше, когда у меня вообще бывало время заняться чем-нибудь «для души». Но, по-моему, с того момента, как у тебя хоть что-то напечатано, в жизнь само собой входит нечто вроде — ну да, я произнесу это слово — обязательства, и я считаю: и слава богу.

**Л.:** Но в принципе Вы ведь любите писать, Вам это доставляет невероятное удовольствие, Вы не испытывали так называемых мук писательства, в то время как другие писатели, большинство, то и дело сетуют на отвращение к своему ремеслу, жалуются, что вынуждены заниматься делом, которое им чуть ли не противно, и так далее. Вы ничего такого не говорили, Вы вообще один из немногих писателей, кого я знаю, кто действительно пишет с удовольствием и не работает, как я уже сказал, наперекор себе; Вы всегда с радостью идете на поводу у своих озарений, чем я лично объясняю некоторые слабости Ваших книг, потому что у любого автора не все находки одинаково удачны...

**Б.:** Да, я люблю писать: работать — не всегда, а писать — да, пишу я всегда с удовольствием, подозреваю, что это как-то связано с моей биографией и вообще неотделимо от биографий моего поколения. Мы ведь на собственном опыте убедились, сколь несдальновидно это существование якобы в невесомости, вне обязательств, как мало даст эта слегка искусственная отрешенность писателя от всего и вся. Да и богемные гримасы литературной жизни 20-х годов, а отчасти и XIX столетия самым пагубным образом отозвались на истории, на политике; отсюда, наверно, и эта внутренняя необходимость писать и высказываться, когда попросят, по поводам, на которые по собственной инициативе я, наверно, откликаться не стал бы.

**Л.:** Возвращаясь к моему вопросу: а когда Вы пишете, Вам ничто не мешает, не сковывает Вас?

**Б.:** Бывает, наверно. Конечно. Но есть, разумеется, и другой внутренний процесс, некое «надо», возникающее в тот момент, когда начал что-то писать не по заказу, а по собственной охоте, — в тот же миг возникает и ощущение необходимости во что

бы то ни стало выполнить, сделать, прояснить то, что брезжит в замысле, короче, получается тоже что-то вроде работы на заказ... Понимаю, вообще-то тут полагалось бы долго рассуждать о трудолюбии, но я вовсе не трудолюбив, хотя работаю много, это постоянное внутреннее напряжение...

Ну, а возвращаясь к исходному пункту: конечно, есть много такого, о чем бы я хотел написать, но... думаю, не было еще на свете такого писателя, который мог бы заявить, мол, вот это я хотел и я это сделал, — такое даже вообразить трудно; там, впереди, всегда что-то маячит, и у каждого автора, по-моему, есть свое «там, впереди», оно есть и в тот миг, когда он умирает, и эта незавершенность в почти абстрактном смысле есть некая непреходящая цель, которую точнее определить нельзя, — не думаю, чтобы кто-то мог заявить: все, пишу еще вот этот или тот роман, и баста, так никто не скажет; что-то всегда остается в недостижимости и влечет, манит, причем — это уже взгляд изнутри — оно остается и в вещах, которые ты уже написал. Когда их заканчиваешь, думаешь примерно так: ну, все, теперь хватит, теперь это готово и годится, больше ты к этому не притронешься, — но через год этого чувства уже нет, оно забывается, и тогда прежние недоделки всплывают вместе с новым замыслом, разумеется, после паузы, которая связана с усталостью, и чисто физической тоже, потому что это утомительная работа. Так что у каждого автора всегда остается что-то ненаписанное.

**Л.:** А это ненаписанное — насколько ясно оно Вам видится, хотя бы неосознанно? Вы его чувствуете?

**Б.:** Пожалуй, это действительно только предчувствие, не более. Сперва это персонаж, я помещаю его в различные экспериментальные ситуации и смотрю, что из этого может выйти. Сейчас, например, после того как столько писал о женщинах, я хочу, грубо говоря, написать книгу о мужчине. Уже примерно год над этим думаю. Пока никаких набросков, все еще впереди, но я приближаюсь к образу.

**Л.:** Это реальный человек?

**Б.:** Да. Возьмем, к примеру, политика. Я начинаю размышлять о его частной жизни, о том, что всегда скрыто от посторонних глаз. Ведь обычно его видят во время политических церемоний, обсуждают его политические акции, но по сути не знают о нем ничего, потому что все доходит из вторых, третьих, четвертых рук, все уже интерпретация. А я начинаю представлять себе его жизнь, его политическое, социальное, человеческое, религиозное, психологическое становление, — и примерно через полгода сам этот человек, послуживший мне как бы зацепкой, меня уже совершенно не интересует — я всецело поглощен тем, кто занял его место в моем воображении. И уже того, другого, я окружаю людьми — сотрудниками, женщинами, — обычно путь именно



такой; поэтому, наверно, так никогда и не пойму, что считается реализмом.

**Л.:** А я вовсе и не считаю Вас реалистом, хотя Вас постоянно зачисляют в реалисты. Действительность в Ваших книгах всегда несет в себе элемент вымысла, а вымышленное Вы описываете как реальность.

**Б.:** Ну да, а этого человека, который навел меня на размышления, между тем уже как бы и нет вовсе, то есть я не хочу сказать, что на его место заступил вымышленный персонаж. Нет, это все еще реальная личность, но все равно я пускаю в ход воображение, поскольку — а в данном случае речь идет о человеке известном — чем известней человек, тем меньше о нем известно.

**Л.:** Так в чем же разница между реальностью и вымыслом?

**Б.:** Для начала это чисто внешняя разница, меняется внешность человека, меняется и его региональная принадлежность...

**Л.:** То есть — Вы его перемещаете?

**Б.:** Да, перемещаю, но не надо считать это каким-то трюком, потому что я ведь и изначально не намеревался изобразить именно того человека, который пробудил мой интерес. Ну и, конечно, меняется авторская симпатия или антипатия, «за» или «против», иногда и то, и другое вместе, так что в итоге со временем может получиться нечто совсем новое. Это новое может возникнуть из любой мелочи, допустим, я вижу в трамвае человека и сразу понимаю: господи, вот был бы персонаж! Я его вовсе не знаю, но тем интересней.

**Л.:** Так что рассказчик, «авт.» в Ваших последних книгах — тоже фигура вымышленная? Вы вводите его, чтобы усилить элемент вымысла?

**Б.:** Разумеется... А возвращаясь к тому человеку, скажу еще вот что: чтобы понять его, я должен добраться до его сердцевины, освободить его от всего наносного.

**Л.:** И Вы устраняете все поверхностное, внешнее?

**Б.:** Да, все видимое, связанное с условностями, предрассудками и так далее. Можно, наверное, так сказать: я этого человека переодеваю, обеспечиваю ему квартиру и профессию, окружаю его людьми. Не исключено, что рядом с ним появится и побочный персонаж, реалистический в классическом смысле этого слова, допустим, девушка, которую я увидел на улице, или продавщица.

**Л.:** Выходит, что все это как бы игра.

**Б.:** Игра. Но, я считаю, игра вполне оправданная. Меня вообще интересует проблема перемещения в таком ключе. Мне, например, очень бы хотелось знать — но это уже просто так, гипотезы ради, — кем бы я стал, если бы в тот же день и тот же год родился не в Германии, а в России. Или вот герой, который сейчас меня занимает и которого я, допустим, взял из Баварии или

там Шлезвиг-Гольштинии, да откуда угодно, для начала я должен его — назовем это так — раздеть: освободить от среды, религиозного воспитания, политических предубеждений, — понимаете? Для меня очень важно время, когда человек родился, время представляется мне чем-то вроде географии. 1925 год, к примеру, — для меня это как географическое понятие, географическое во времени, и вот отсюда начинается игра с перемещениями, которая несвероятно меня увлекает. Кто-то, кто здесь, у нас при нормальном ходе событий стал бы священником, в Южной Италии стал бы террористом или священником и террористом в одном лице, — что-то в этом роде. Разумеется, это очень поверхностное объяснение, но, надеюсь, в общих чертах понятно, что я имсю в виду. Эти перемещения, по-моему, надо производить постоянно, если хочешь изобразить то, что мы называем нашей эпохой, нашим временем, изобразить и понять — хотя бы в первом приближении.

**Л.:** В таком случае, наверно, и то, что Вы пишете не для публикации, тоже можно назвать перемещением. Когда что-то пишется только как вариант, чтобы испробовать возможность, а когда испробовали, переместили — и ничего не вышло, осязаемых результатов нет, — работа остается в столе. Может, в этой связи имеет смысл поговорить о том, что Вы написали и не напечатали? Хочется хотя бы приблизительно понять, в чем тут дело?

**Б.:** Это были романы о войне, и короткие рассказы, и радиопьесы, и то, что обычно называют литературной поденщиной, словом, то, что не имело никакого отношения к вещам, которые я потом опубликовал и которые всегда брезжили передо мной в замысле. А то, что осталось ненапечатанным, — это все первые пробы, наброски, словом, черновая работа.

**Л.:** Наброски в плане содержания?

**Б.:** Нет, напротив, больше по части формы.

**Л.:** И как долго все это происходило?

**Б.:** Ах, господи, очень долго, года до 1965-го, да и сегодня иногда случается, правда, уже в иной форме. Понимаете, мне нужны различные версии, я их прорабатываю, снова и снова, я же говорю — черновая работа, пробуешь, проверяешь, нащупываешь, делаешь наброски, наметки, самые грубые прикидки. И так во всем, что бы я ни писал. Даже маленькие рецензии возникают после четырех, пяти, шести вариантов. Самое мучительное, но и самое увлекательное при этом — самоограничение, нельзя же растекаться до бесконечности.

Честно говоря, я и по сей день не оставил попыток научиться писать сразу набело — отчасти из лени, потому что я вовсе не такой уж охотник работать непременно много и подолгу, но пока что мне это ни разу не удавалось. Нет во мне этой мастеровитой уверенности и никогда не было. Наверно, она мне никогда не

давалась потому, что я не очень-то ей доверяю, хоть и всю жизнь мечтал обрести.

**Л.:** Мне это немного странно слышать, я-то всегда полагал, что Вы пишете очень быстро, первый вариант настукиваете на машинке со страшной скоростью, а уж потом, когда первый вариант готов, медленно, шаг за шагом его правите, переделываете и так далее. Но первый набросок делаете очень быстро. Не могу объяснить, почему я так считал. Может, это как-то связано с тем, что я говорил раньше, с ощущением, что Вы не слишком контролируете себя за работой и пишете очень импульсивно.

**Б.:** Нет, это мне никогда не удавалось. Ни одной страницы своей прозы я не написал сразу набело — чтобы прямо на машинке, и готово. Бывают дни, когда я пишу и по тридцать, и по сорок страниц, но по опыту — да я и прикидывал — знаю, что в среднем больше страницы в день не получается. Признаюсь, бывают случаи, когда я экономлю силы и не прописываю окончательный вариант, просто из лени, нет, честно, просто потому, что нсохота, и скрепя сердце, слегка погрешив против совести, отдаю вещь не вполне готовой. Дело в том, что я не могу ничего вписывать в первоначальные варианты — и диктовать, кстати, тоже не могу, надиктовать я не могу ни строчки, — я всякий раз должен все переписать заново от начала до конца, потому что письмо, сам процесс писания — неважно, от руки или на машинке, — неотделим для меня от самовыражения, это нерасторжимо.

**Л.:** Выходит, писательство для Вас работа прежде всего ремесленная?

**Б.:** Да. Художник ведь тоже не может сказать какому-нибудь подручному: так, мол, и так, сделай-ка за меня вот это. Так и я — я все должен сделать сам, понимаете? И в этом смысле в писательстве, конечно, есть что-то от ремесла. Кстати, правку своих текстов я тоже никому не могу поручить, ни в коем случае. Иногда жене даю посмотреть, прежде всего на предмет грамматических ошибок, тут я до сих пор не слишком-то силен.

**Л.:** Писательство как ремесло, ладно, согласен. В конце концов, писателя можно рассматривать и как домашнего рабочего, весь инструмент которого бумага, пишущая машинка, рабочий кабинет и книги. Но ведь есть в этой приверженности к работе «по старинке» и какое-то кокетство. Потому что...

**Б.:** Кокетство, наверно, связано с абсолютной независимостью такого способа работы. Мне и вправду нужен только тихий угол — подыскать его не так уж трудно, — бумага, карандаш, пишущая машинка, ножницы, клей. Но я не вижу возможности — да и смысла (я сейчас говорю только о ремесленной стороне дела) — что-либо тут менять. Кокетство да, вероятно, и со-

блази состоят в том, что ты делаешь дело, которое целиком в твоих руках, в отличие, скажем, от съемок фильма или постановки пьесы, да, наверно, и от журналистской работы. Одно время я, правда, сомневался в правильности своих рабочих привычек, но теперь перестал.

**Л.:** А мысль о том, чтобы пойти в средства массовой информации, поработать в коллективе, в «команде», никогда Вас не привлекала?

**Б.:** Я же использую средства массовой информации, от случая к случаю. Но поработать в «команде» — нет, для меня это, пожалуй, поздновато. Вообще-то в своей сфере я тоже работаю в «команде», совсем не в одиночку, как, кстати сказать, и всякий автор, если он не утратил начисто способность относиться к себе самокритично. Работаю с редактором, с женой, со знакомыми и друзьями, даю им свои вещи на прочтение или просто читаю вслух, чтобы обсудить,— на мой взгляд, это вполне коллективная работа.

**Л.:** Но испробовать какие-то иные способы писательства Вы никогда не пытались? Эксперименты вроде тех, которые, со свойственным ему радикализмом, предпринимает Шмидт, к этому Вас никогда не влекло?

**Б.:** Шмидт — ну, Арно Шмидт — это колосс, всецело опирающийся на этимологию. Я им восхищаюсь, да у него эксперимент оправдан и результатом. Наверно, мои эксперименты не столь очевидны, они — в материалах, в способах вживания, вернее, пропускания этого материала через себя, и еще, видимо, в том, чтобы не допускать мысли о законченности, не развивать в себе такого представления. Собственно, всякую свою работу я воспринимаю как эксперимент, в том числе прежде всего как эксперимент с самим собой, потому что, когда я сажусь писать, я понятия не имею о начале и конце, так что это всегда эксперимент, во всяком случае так я это вижу.

А эксперимент ради эксперимента, экспериментирование как игра, которая, возможно, даже доставит удовольствие,— это, я считаю, бессмысленно. Если уж я пускаюсь на эксперимент, я по меньшей мере должен знать, чего ради, к чему я стремлюсь, и на такой эксперимент я действительно пускаюсь в каждой своей работе, потому что никогда не ведаю, что получу. Согласен, вы имели в виду другое, но я-то воспринимаю это как эксперимент именно потому, что не знаю понятия завершенности и не желаю признавать, никогда не признаю этого понятия, а тем более понятия «мастерство», которое низводит писательство только на уровень ремесла. Когда писателя называют «мастером», меня это коробит. В ремесле можно стать мастером, но только в ремесле, а писательство — это нечто большее, как раз

потому, что всегда остается это недосыгаемое, неведомое «куда?» и «как?».

**Л.:** Но писатель производит еще и продукты фантазии, в том числе и продукты фантазии масс, с которыми он связан, или я ошибаюсь?

**Б.:** Нет, не связан. Чувство связи — это уже религиозность, связь — это вера, нет... Я считаю, автор ни на йоту не должен чем-либо поступаться ради публики, ни шага не должен делать ей навстречу. Когда его работа готова — я говорю «готова» в моем смысле, — он ни минуты не должен раздумывать, как, где и когда она будет воспринята. Чего я решительно не понимаю, так это всевозможных дискуссий на эту тему с широкой аудиторией, дабы выяснить, чего она, аудитория, ждет от радио, телевидения или от писателя; потому что, я считаю, этот процесс — творческий процесс — не поддастся демократизации, а еще потому, что не верю, что какая-либо публика на свете, какая бы она ни была — высококультурная или совершенно необразованная, псевдокультурная или полуобразованная, — в состоянии понять, чего она ждет. На мой вкус, все это слегка отдает дилетантством, которого я не могу принять. Возможно, тут я ошибаюсь, в ГДР или в Советском Союзе часто проводятся подобные дискуссии, где читатели заявляют автору: вот о чем надо писать, причем так-то и так-то; согласен, по части специальных знаний, деталей от этого может быть какой-то прок, если мне, допустим, хочется или нужно описать работу слесаря, я, конечно же, постараюсь осведомиться, как он работает, но это же само собой разумеется, тут нечего и обсуждать. Но публика не знает, чего она хочет, да и я как часть публики — тоже, а я ведь тоже публика, я тоже читаю книги, смотрю фильмы, слушаю радио, но при этом вовсе не жду, чтобы кто-нибудь из авторов стал меня расспрашивать, чего я, собственно, хотел бы от данной книги или от данного фильма, понимаете? Этого заискивания просто не должно быть. И тем более я не верю в фантазию масс, в то, что эти так называемые массы, к которым я, как потребитель, тоже принадлежу, имеют какую-то конкретно выразимую фантазию. Фантазия есть только у отдельного человека, но не у масс.

**Л.:** Тут мы подходим к очень важному пункту — к проблеме успеха, точнее, к Вашему успеху. Ведь Вы описываете общество с извращенным сознанием, общество, живущее как бы в самоослепении, — но именно в этом обществе Вы снискали успех. А успех — это ведь, среди прочего, и умение удовлетворять чьи-то потребности, отвечать на чьи-то ожидания. Как в таком случае Вы сами объясняете свой успех?

**Б.:** Это трудно... Конечно, нужно и упрямство, но оно само по себе, разумеется, успеха не гарантирует... Успех — это вооб-

ще очень сложно, тут есть над чем поломать голову, слишком много компонентов — случайность, просто удача, да мало ли что... Но чем безусловно сго нельзя объяснить в моем случас, так это каким-либо заискиванием, не знаю, надеюсь по крайней мере, что это не так. Если бы это было так, если бы я понял, что стараюсь приноровиться к чьим-то ожиданиям,— я бы немедленно бросил.

**А.:** Нет-нет, мы ведь уже выяснили, что Вы всегда писали только то, что хотели, и не чувствовали на себе гнета общественных ожиданий. Но, возможно, какие-то чаяния, которые Вы вкладываете в свои произведения, совпадают с чаяниями общества...

**Б.:** Может быть — хотелось бы надеяться,— мой успех связан с чувством освобождения, с познанием этого чувства: люди ощущают себя свободнее оттого, что я их так изображаю... Но не знаю. Одно я знаю точно — я ни за что не стал бы писать без риска встретить неприязнь и недовольство. А потом — успех ведь тоже понятие относительное. Не так уж я избалован успехом. Из тиража первых моих четырех книг мой издатель в первые годы с превеликим трудом смог сбыть несколько тысяч экземпляров. На мою работу это повлияло ничуть не больше, чем в последующие годы успех.

**А.:** То, что Вам пришлось пробиваться, это, на мой взгляд, куда лучшая, скажем так, закалка, чем немедленный и большой успех, как, например, Грасса \* с сго первыми книгами, ведь у него был грандиозный успех во всем мире, успех, повторить который ему больше не удалось, да это вряд ли и возможно, и он это знает,— продолжать работу в таких условиях, по-моему, очень, очень тяжело.

**Б.:** Да, вероятно, но это гипотеза.

**А.:** Быть может, из-за того что Вы долго шли к успеху, или, скажем так, не страдали от избытка внимания к себе, Вам и удалось сохранить непринужденность?

**Б.:** Я ее сохранил, но я ее — если вспомнить — часто и терял. А обрел ее снова как бы в игре, играя. Потому что по заказу ее не вернешь, это вечная проблема творчества.

**А.:** Я говорю — «непринужденность», потому что писательство для Вас — радость, это для Вас не сизифов труд...

**Б.:** ...ни в каком случас...

**А.:** ...а что-то вроде райского блаженства: засесть за стол и писать, эта радость творчества, какая бывает только у детей,— лишь бы взрослые не мешали, лишь бы жить всецело в своем воображасмом мирке, населяя сго все новыми фантазиями,— в Вас, по-моему, эта черта сохранилась неповрежденной...

**Б.:** Блаженство? Ну нет, я бы не сказал. Больно уж красиво, к тому же, когда ничего писать не надо — это тоже блаженство.

**Л.:** ...Хорошо, пусть так: радость творчества, которая может и иссякнуть...

**Б.:** ...которая может иссякнуть, верно, но и эта усталость — она ведь тоже в своем роде благотворна, потому что это единственная форма отдыха для, скажем так, человека творческого труда. Когда дошел до упора — и все тут, хоть умри, и приходится все отложить, а до этого никак не мог остановиться. Слегка впадая в патетику, скажу так: очень завидую людям, у которых бывают выходные, людям, которые после работы могут ничего не делать — просто отдыхать, сидеть дома, пить вино, смотреть телевизор, танцевать, говорить о чем угодно, словом, могут полностью отключиться. Для всякого, кто работает как писатель, это состояние почти неизвестно, разве что в крайнем изнеможении, которое и становится отдыхом, и это очень приятное, праздничное чувство, пока снова не примешься за работу.

**Л.:** Значит, чтобы окончательно внести ясность в этот вопрос: Вы любите писать и не любите писательство как занятие?

**Б.:** Это радость и мука вместе, — как всякая созидательная деятельность, это, конечно, доставляет удовольствие, но и устаешь, выматываешься, — называйте как хотите...

**Л.:** Потому что это и физический труд?

**Б.:** Да, и утомительный.

**Л.:** При этом очень многое зависит от хорошего начала, от того, как быстро его найдешь, ведь если начало у книги или статьи удачные, тогда — во всяком случае, это мой опыт — и остальное, как правило, идет легко.

**Б.:** Согласен. И у меня так же.

**Л.:** И много Вам нужно попыток, чтобы найти начало?

**Б.:** Обычно много. Как правило, я нахожу начало только с четвертого-пятого раза. Бывает, правда, что начало у меня придумано заранее, заготовлено давно, чаще всего это в небольших вещах, но для себя я называю это не началом, а «заходом». По-настоящему начинать тогда приходится страниц через десять, а то и через двадцать, или уже через пять, по-разному.

**Л.:** Давайте еще раз вернемся к тому, о чем мы уже сегодня говорили. Вот эти вещи, которые Вы написали, но не напечатали, не могут ли они оказаться важнее того, что Вы опубликовали?

**Б.:** Они важны для моего становления. Кос-что из неопубликованного я давал нескольким людям на прочтение, и они говорили, что это интересно, увлекательно, и вообще не понимали, почему я не хочу этого напечатать. Но для меня эти вещи, видимо, означали лишь стилистический переход, понимаете? Ведь писать начинаешь не с бухты-баракхты, а в какой-то определенный момент; и всякий, кто начинает писать, находится под влия-

нием того, что он прочел раньше. У меня это было очень разное, очень пестрое чтение. Это один из самых каверзных и трудных вопросов — о влияниях. На него, по-моему, вообще ответить нельзя. Каждая книга, которую ты прочел, очевидно, как-то на тебя повлияла. Так и со мной. Много книг; в первую очередь книги, много книг, но и много музыки, это тоже откладывается, всегда ведь стараешься что-то перевоплотить из других форм. На меня, к примеру, как я полагаю, очень повлияло изобразительное искусство, а конкретно и особенно — кёльнские музси, но и романские церкви, возможно, они были для меня важнее, чем Достоевский или Честертон, трудно сказать. Все было важно. Заявить со всей определенностью: на меня, мол, повлияло то-то и то-то, было бы ошибкой. Думаю, однако, что в этих ранних вщах — а я уже в двадцать лет писал прозу — очень чувствовалась стилистика двадцатых годов, да и тридцатых.

**А.:** Судя по Вашим словам, Вы живете в согласии со своим призванием. Правильно ли я Вас понял? То есть — Вы не говорите себе то и дело, мол, господи, какой срундой я занимаюсь, все это совершенно бесполезно, надо бы заняться чем-то дельным. Вы ведь никогда не думали бросить литературу, никогда не сомневались в ней. Я имсю в виду — ведь был же знаменитый «отказ» Сартра: мол, писательство, вообще литература — это абсурд; что сам он всегда оставался вне бед и злоключений своих персонажей, под защитой творческого невроза, который дарил ему чувство счастья в процессе писательства, и что теперь вот он начинает задумываться, на что ушли все эти годы и чем заняться в будущем. Не дословно, но по смыслу он утверждал примерно следующее: кому нужна литература в мире, который голодает? Долг писателя — встать на сторону голодных. Он же принадлежит привилегированным классам и, по сути, такой же эксплуататор, как они. Отсюда у него только две возможности: либо до поры до времени бросить литературу, чтобы всецело посвятить себя «воспитанию народа», либо научиться, живя в нереволуционном обществе, ставить вопросы самым радикальным образом. Сартр сказал это, по-моему, году в 1964-м или что-то около того и попытался сделать из этого практические выводы для себя: больше сосредоточился на действиях и акциях, чем на писательстве, хотя совсем писать не бросил. Конечно, он поставил эту проблему радикально и односторонне, к тому же катастрофически себя недооценил, но в самой постановке проблемы ведь что-то есть. Возвращаясь к началу вопроса: Вас, судя по всему, подобные соображения, если не ошибаюсь, никогда не занимали, Вы эту проблему так не ставили...

**Б.:** Ну, нет. Не настолько бездумно и без проблем я живу, это не так и никогда не было так, и в этом пункте я Сартра очень хорошо понимаю. Даже мысль о том, что мы, я имею в виду всю по-



слевоенную литературу как явление в целом, невзирая на группы и группки — возможно, вместе и в связи с возникновением демократии чего-то добились, что-то сделали, очищая зараженную нацистами территорию, — даже эта мысль может послужить тут лишь скромным и недолгим утешением, и я бы охотно сделал «что-то еще», что-то совсем не на литературном поприще. Впрочем, возможно, еще и сделаю. Сейчас, задним числом, я очень жалею, что не обучился в свое время еще какой-нибудь настоящей профессии, к примеру, адвоката. Ведь просто «встать на сторону голодных» — одного этого недостаточно... Что же касается «воспитания народа», то как раз тут литература очень многое может. Главное же — одно совершенно необязательно должно исключать другое. Но уверяю вас: эта дилемма тоже мне знакома, и не понаслышке.

**А.:** Вы сказали, что в двадцать лет уже писали прозу. А раньше пробовали писать?

**Б.:** Начал-то я очень рано. Желание писать — оно появилось очень давно.

**А.:** И в какой конкретно ситуации оно в первый раз возникло?

**Б.:** Думаю, это как-то связано с экономическим кризисом начала тридцатых годов, с пережитым потрясением, когда рухнул некий сравнительно целостный и благодатный мир, причем это крушение было абсолютным — в политическом, экономическом, социально-географическом смысле. Мне было тогда лет пятнадцать-шестнадцать, а года через два я начал писать — стихи и еще что-то в этом роде, как все.

**А.:** То есть этот экономический кризис Вы почувствовали вполне конкретно, он сказался на Вашем непосредственном окружении?

**Б.:** Да, у моего отца были крупные неприятности из-за какого-то дурацкого поручительства, коллективное участие в финансовой ответственности в делах ремесленного банка, а банк из-за мошеннических махинаций прогорел, и нам пришлось срочно продать дом, и вообще перебиваться, было очень, очень трудно. Мы переехали обратно в город из дивного, красивого предместья, и меня поначалу напугал город, самый центр, в районе Юбирринг, который я потом очень полюбил, потому что в ту пору в большом городе тоже была своя невероятно притягательная романтика, пожалуй, даже более привлекательная, чем в том полудеревенском предместье. Улицы, фонари, задние дворы, трамвай, снег, дождь. В городе ведь все по-другому, не так естественно, он все очень меняет, к тому же огромные людские массы — тогда это были безработные и студенты, мы жили поблизости от университета, — все это будило фантазию, можно сказать — почти что фантазию романиста, притом в самом наипро-

стейшем смысле: кто такой вон тот, откуда он идет и куда направляется, а кем станет вот этот и кем он не может стать, и о чем он сейчас думает? Понимаете? В относительно сельской местности при давнем, устоявшемся соседстве все это известно, а в анонимности большого города я лично ощущаю и некий дух приключений... А потом начинаешь знакомиться, появляются школьные товарищи, приятели родителей, братьев, сестер, и эта анонимность постепенно наполняется, обживается конкретными людьми.

**Л.:** Я сейчас прикинул: когда Вы перебрались в город, Вам было лет четырнадцать?

**Б.:** Да.

**Л.:** А о жизни за городом, в предместье, у Вас тоже приятные воспоминания?

**Б.:** Да, и это тоже было важно. Мы жили возле большого парка, много играли на свежем воздухе, все мое детство, считайте, прошло в этом парке, а потом на улице. И все время в играх. Так что сперва это было изрядное потрясение: оказаться в городе, в центре, в огромном доходном доме. Но уже вскоре я всем этим — не скажу, чтобы наслаждался, — но принял и признал как образ жизни, который мне и сегодня по душе... Мы потом часто переезжали, на каких только улицах, в каких домах мы не жили, но всегда неподалеку от центра, поблизости от старого города. А гулять по городу — это совсем иное дело, чем в деревне, на природе, понимаете? И это тоже было важно, я до сих пор люблю гулять по незнакомым городам, просто так, наугад, бесцельно.

**Л.:** Правильно ли я Вас понял: первые четырнадцать лет Вы прожили без особых конфликтов, у Вас было счастливое, даже, можно сказать, благодатное детство?

**Б.:** Благодатное?

**Л.:** Ну да, Вы же сами недавно сказали: сравнительно целостный, благодатный мир...

**Б.:** Ну, это, наверно, все-таки преувеличение. Отнюдь не все было безоблачно, и, конечно, я это чувствовал. Благодать — это очень серьезное слово... Но относительно благодатный мир? — что ж, пожалуй, да, наверно, благодатный в том смысле, что это было очень свободное, прошедшее в играх детство, мы действительно очень много играли, я и до сих пор люблю играть. А тогда — сперва в парке, потом на улицах, здесь, в старом городе, позже наши игры постепенно переместились в комнату, но это произошло как-то незаметно и, пожалуй, безболезненно.

**Л.:** Родители были очень религиозные?

**Б.:** Да, но на какой-то особый лад, я до сих пор в этом не разобрался. Не знаю, сколько скрытого, невысказанного скептицизма таилось за этой религиозностью, и написать об этом тоже не

смог бы — именно потому, что до сих пор не разобрался. Но я очень рано ощутил, что быть верующим, быть христианином вовсе не означает обязательно быть ревностным прихожанином. Хотя путь к внутреннему освобождению очень замедлил и растянул нацизм, из-за которого возникла повышенная лояльность к церкви; без него, возможно, все было бы проще.

Конечно, мы воспитывались в классически-католическом духе, школа, церковь, нам это, как говорится, прививали. И все же мне кажется, что и отец, и мать вполне определенно были настроены против церкви. Хотя не могу объяснить, в чем конкретно это проявлялось. Об этом так просто не скажешь, тут надо долго думать. Могу только предположить, что у отца, который очень много работал для церкви — он ведь был столяр-краснодеревщик, резчик по дереву и заказы получал почти всегда от церквей, — это было связано с личным опытом общения с церковниками и церковными учреждениями; да и о матери так сразу не скажешь, тут тоже надо долго думать, потому что в ней была бунтарская жилка — по части политики и церкви, но определить, в чем конкретно она проявлялась, тоже непросто. Конечно, это опять-таки как-то связано с образованием, хотя мои родители в привычном, буржуазном смысле этого слова не были образованными людьми, но свое образование у них было, они были людьми сформировавшимися и, следовательно, образованными, если понимать образование не как традиционную, буржуазную категорию. Но для меня, как я уже сказал, все это до сих пор отчасти как бы сокрыто некой завесой, я не могу до конца в этом разобраться и, возможно, так никогда и не смогу этого выразить.

**А.:** Мать была Вам ближе, чем отец?

**Б.:** Нет, пожалуй, отец был ближе... Хотя трудно сказать. Я был самый младший в семье, и, наверно, на особом положении... У меня никогда не было ощущения, что я обделен родительским вниманием — ни со стороны отца, ни со стороны матери. Но в семье, где много детей, взаимоотношения подвижны, часто меняются, — между детьми и родителями, между братьями и сестрами... Наверно, отца я очень любил, но и мать не меньше. Конечно, мать всегда дома, готовит еду, хлопочет по хозяйству, мы много говорили друг с другом, да и играли.

**А.:** Относительно благодатное детство у писателя — вообще-то это редкость. Большинство авторов, банально выражаясь, переживают в детстве какие-то свои трудности, беды, травмы, на этой почве возникают неврозы, а на почве неврозов они начинают писать. У Вас, значит, никаких таких внутренних сбоев не было?

**Б.:** Ну, почему же, все-таки экономический кризис — конечно, это было потрясение. Осознать, что «хорошо» и «пло-

хо» зависит не только от родителей, понимаете? И за пределами семьи происходят важные события — в политике, в экономике, — и даже за пределами Германии; вскоре нам стало ясно, что все это связано с американской «великой депрессией». События, перед которыми ты беззащитен. Ну и, конечно, страх. Обычный страх ребенка, который не понимает, что, собственно, произошло и как же теперь будет дальше... Думаю, правда, страх этот в какой-то мере никого в детстве не обминул, но меня это событие, этот экономический кризис в жесточайшем его варианте, наверно, избавил от обычного или, если угодно, нормального в этом возрасте разрыва с родителями, отрыва от них. Просто я очень рано — лет в четырнадцать-пятнадцать — понял, что родители абсолютно беспомощны перед внешними обстоятельствами.

**А.:** И это, наверно, пробудило чувство солидарности?

**Б.:** Солидарности, которая во мне до сих пор. Сами подумайте: как-никак нас было шестеро детей, и большинство учились в гимназии, хотя жили мы ох как трудно, — по сути, наша жизнь мало чем отличалась от жизни тех моих школьных товарищей, у которых отцы были безработные, хоть мой отец и владел тогда небольшой мастерской. Но он был в тех же экономических тисках. И мне это уже тогда было ясно. Так что не было никакого там чувства вины или, тем паче, искомого зла, понимаете? В этом плане никаких кафкианских переживаний я не испытывал.

**А.:** Семья по-настоящему Вас уберегла, потому что Вас воспитывали в духе солидарности: перед лицом трудностей все вместе, все заодно.

**Б.:** Да. Безусловно. То есть, конечно, внутри были свои трения, что при жесточайших экономических трудностях почти неизбежно, потому что, скажем так, пресловутой абсолютной справедливости не бывает, но это уже другое... В главном же мы были заодно и держались друг за дружку, с братьями и сестрами тоже, хоть я с ними часто и спорил, ссорился — по идеологическим, политическим, религиозным мотивам; но когда дело доходило до дела, все эти разногласия уже не имели значения... Это был настоящий семейный клан, в жизни которого со временем выработался даже некий вызов обществу, меня этот факт сейчас весьма занимает — уже не как факт нашей семейной жизни, а с литературной точки зрения.

**А.:** Вызов обществу?

**Б.:** Да, некий — почти на грани истерики — вызов всему окружающему.

**А.:** Мне трудно судить, я рос без братьев и сестер, но, помому, для Вас это оказалось чрезвычайно важно — семья и все,

что случилось с семьей, и это чувство солидарности, когда все заодно, и что это чувство срабатывало...

**Б.:** Оно и сегодня срабатывает, при всех резких, иногда чуть ли не до скандала, политических и идеологических разногласиях, которые все еще случаются между мной и моими братьями и сестрами. Что-то все равно остается и подразумевается само собой, некий фундамент, заложенный еще тогда, в те годы. Я это прекрасно понимаю. И если смотреть из того времени, теми глазами, — потому что такие вещи, действительно, очень обусловлены личными переживаниями, — мой приход к писательству никогда не был поступком одиночки, это был в буквальном смысле слова социально осознанный шаг, значимость которого еще больше усилилась после захвата власти нацистами.

**А.:** Да, это, видимо, еще одно событие, коренным образом повлиявшее на Ваше творчество?

**Б.:** Это было второе потрясение. После экономического кризиса, после чувства экономической незащитности пришло чувство незащитности политической, что оказалось едва ли не страшней, потому что в первом случае еще как-то можно было приноровиться и выкрутиться, а тут почти нельзя. Я на всю жизнь благодарен родителям за то, что у нас дома году в 1933-м или 1934-м, точно уже не помню, проходили нелегальные встречи молодежных католических организаций и мне разрешалось при этом присутствовать, сам я в этих организациях не состоял, но мой старший брат — да, и мне разрешалось присутствовать, это был знак невероятного доверия, и в те годы он действительно многого мог стоить. Подобные вещи, конечно же, усиливали внутреннее сопротивление. А потом началась война, новая, еще большая, степень незащитности.

**А.:** Вернемся немного назад: как вы, я имею в виду — семья, выбрались из экономического кризиса?

**Б.:** Да, собственно, это все так и тянулось до самой войны. Это ведь заблуждение, то, чему сегодня многие верят, — будто бы с приходом Гитлера экономический кризис кончился; частичная безработица существовала года до 1936—1937-го, залатать эти прорехи, да и то не все, но большую часть, удалось только за счет вооружения, дорожного строительства — знаменитые автострады и так далее, — а потом началась война, и тут уж безработных действительно не осталось. Для таких людей, как отец, владевший маленькой мастерской, это время после 1933 года отнюдь не было периодом экономического процветания, каким его сегодня некоторые пытаются изобразить; по крайней мере в моих воспоминаниях оно выглядит совсем иначе. То, что сейчас, в наши дни норовят назвать кризисом, — это такие пустяки в сравнении с тем, что было тогда, понимаете? Люди были в отчаянии, ну, и кинули на эту ложную приманку на-

дежд, на нацистов, не понимая, что вооружение и война надолго от кризисов не спасут.

**А.:** Когда Гитлер пришел к власти, Вам было пятнадцать?

**Б.:** Да.

**А.:** И Вы помните, как...

**Б.:** Очень хорошо помню. Помню, что во всем рейхе была страшная эпидемия гриппа — масштабы ее, конечно же, были связаны и с тем, что народ плохо питался, миллионы людей просто голодали, — и из-за этой эпидемии школы закрыты, я тоже валялся с гриппом, и как-то после обседа ко мне зашел школьный товарищ и сказал, мол, слышал новость: Гитлер сегодня стал рейхсканцлером; я очень хорошо это помню, я лежал в постели и читал. А моя мать сразу же сказала: это война.

**А.:** Значит, Вы предчувствовали войну задолго до ее начала?

**Б.:** Конечно. Пусть это звучит очень литературно, что ли, но мы пережили войну еще до войны. Разумеется, года с 1934—1935-го мы знали, что война будет и что мы на войну пойдем, понимаете? Это важно понять: для нас это лишь вопрос времени — через сколько лет. Все было нацелено на войну — пропаганда, вооружение, закон о единстве идеологии. Так что перспективы у нас, тех, кому было 15—20 лет, были безрадостные. До 1937 года я проучился в школе, сдал экзамены на аттестат зрелости, чего при нормальных условиях, вероятно, делать бы не стал, а сделал просто потому, что школа была почти совсем не нацистская и, следовательно, это было хорошее убежище — убежище от нацистских организаций, профессиональных организаций и тому подобное.

**А.:** Почти совсем не нацистская школа?

**Б.:** Ну, скажем так, не очень национал-социалистская. Учителя почти все были демократы, только несколько национал-немцев, ну и парочка нацистов, совершенно несотесанных. Большинство учеников, разумеется, состояли в гитлерюгенде, я не вступил, просто не захотел, мне там не нравилось, — даже независимо от политики: эта идиотская шагистика, эта форма. Серьезных последствий это за собой не повлекло. Под конец нас таких осталось двое-трое, тех, кто не вступил, а наказание состояло в том, что по субботам, когда считалось, что у остальных выходной, — то есть они участвовали в Дне молодежи \*, — нам пужно было являться в школу. Мы возились в библиотеке или делали еще что-нибудь в этом же роде, это было скорее приятное занятие, во всяком случае меня оно никак не угнетало и не расстраивало.

**А.:** А Ваш отец — как он в те годы относился к Гитлеру?

**Б.:** Прежде всего мать относилась очень резко, и в политическом плане тоже, без всяких скидок; а отец — он ведь жил на заказы от официальных учреждений, — разумеется, он разделял

наши взгляды, но не мог, понятное дело, гласно их высказывать, вести антинацистскую пропаганду. Это даже я соображал и не ждал от него ничего такого. В партии он не состоял, здесь, в Кёльне, на это смотрели не столь серьезно.

**Л.:** А чем Вы занялись после школы?

**Б.:** Год работал учеником продавца в книжной лавке, потом бросил. Потом трудовой фронт, ну, а после — призыв в армию и до конца войны. Был, правда, перерыв, в 1939-м, несколько месяцев я просидел дома, начал писать, поступил в университет, но не учился — просто числился, потому что до войны все равно оставались дни, это любому было ясно. Ну, а потом война, и я стал солдатом — в июне или июле 1939-го.

**Л.:** То, что Вы испытали на войне, запечатлено в Ваших книгах. По ним можно узнать, как в Вашу жизнь вошел страх, познание феномена смерти, — в книгах все это есть, пусть и в преобразенном виде. И для начала я рискну высказать мысль, что после 1945 года писательство было для Вас всего лишь перевоплощением собственной биографии, перевоплощением ее, скажем так, в романную форму. И, разумеется, это была попытка разобраться во всем этом и закрепить в слове, удержать, вспомнить — для будущих времен. Особенно важным мне кажется тут познание смерти, эта тема сильнее всего выражена в Ваших первых книгах, то есть в нынешних она тоже выражена, но иначе, об этом нам еще нужно будет поговорить. А пока что я хочу спросить: вот это познание смерти, выраженное в книгах о войне, оно ведь испытано Вами и раньше, еще до войны? Или я ошибаюсь?

**Б.:** Нет, это, пожалуй, верно. Этот страх, видимо, связан со всем, что было прежде, — с экономическим кризисом и так далее; между 1933 годом и началом войны — для меня это было совершенно отчетливое время страха.

**Л.:** А пока Вы не начали писать — в чем этот страх находил выход?

**Б.:** Да ни в чем, по-видимому. Но тройкая угроза, скажем так: экономическая, политическая и военная, — эта угроза ощущалась очень сильно и именно как угроза с трех сторон сразу.

**Л.:** И анализировать этот страх, следить за тем, как он изменился со временем, Вы в ту пору не могли?

**Б.:** Нет, не мог. Впрочем, чего не знаю, того не знаю. Во время войны мне случалось, конечно, испытывать очень сильный страх, но то было чувство почти физическое, понимаете? Не какая-то абстрактная угроза.

**Л.:** Но то, о чем Вы говорили прежде, все были вещи довольно конкретные, вовсе не абстрактные. И это хорошо: конкретный опыт меняет человека радикальнее...

**Б.:** Это не совсем так. Многое из того, что было потом пере-

жито на практике, отчасти было сперва испытано как бы в предчувствии, чисто психически, понимаете? Страх иной раз вовсе не был таким конкретным и обоснованным, до войны, между 1930-м и 1939-м, в нем часто бывало что-то абстрактное, даже почти метафизическое. Потом, когда появились конкретные причины для страха — на войне,— я, признаюсь, уже не испытывал его столь сильно. Меня это самого поражало. Вероятно, это объясняется тем, что к страху у меня всегда примешивалось легкомыслие.

**Л.:** То есть?

**Б.:** Да, на войне я старался на многое смотреть легче, отстраняясь хотя бы душой, а по возможности и фактически отстраняясь, с иронией, пусть даже наигранной, так что война во всей ее кровавой скуке вовсе не стала для меня такой уж важной жизненной школой; не столь важной, как все, что было до нее,— страшной была угроза, угроза войны, нацистского террора, который был куда как осязаем, хотя и не всегда ясно, в чем именно он проявлялся... Абстрактное и конкретное там смешалось, а на войне, когда осталась одна конкретика, мне, как ни странно, уже не было так страшно. Наверно, потому, что в моей натуре выиграл тот компонент, который я называю «легкомыслием»,— экономический кризис, нацистский террор и прочее его поначалу задавили, но во время войны он вышел наружу. Понимаете, я затевал игру со всем этим бюрократическим аппаратом, в том числе и армейским, и как бы перемещался сам, превращал себя в другого...

**Л.:** Игру?

**Б.:** Ну да, с махинациями, с подделкой документов, я как бы встревал в бюрократическую механику, не хотел быть просто винтиком. Иногда, наверное, это бывало несколько рискованно, но ради жизни порой стоит чуть-чуть рискнуть. И эта тяга, эта жилка риска была во мне очень сильна... Мне только что пришла в голову мысль, которая опять-таки связана с писательством: различные варианты человеческого поведения в определенной ситуации — в них ведь тоже есть что-то от беллетристики. Возьмем совсем простой пример: вот вы идете на вокзал, вы собрались поехать, допустим, в Вупперталь; вы приходите на вокзал и вдруг решаете — ах, господи, сяду в этот поезд или в тот, какая разница, посмотрим, что получится. Это простейший вариант, но и он может завести очень далеко. Так вот, я вспоминаю, сколько раз во время войны я подобным образом «переигрывал» ситуацию, садясь не в тот поезд,— на свой страх и риск ехал в другую сторону, выходил на другой станции, шел домой к жене и ждал, что будет, одновременно прикидывая, что могло бы со мной случиться, если бы я повел себя паинькой и честно подчинился бы приказу, понимаете? В собственную



биографию тут входит беллетристически-игровой компонент. Это ведь тоже перемещения, суть которых я пытался сегодня объяснить. Я действительно то и дело себя перемещал, даже в административно-техническом смысле. Разумеется, это занятие доставляет удовольствие, но одновременно, поскольку оно сопряжено с риском, возникает и новый страх. Потому что, если тебя сдапают, добром это не кончится... Ну вот, а потом я начинаю думать о людях, которые всего этого не делали, которые покорно плясали под чужую дудку: что случилось с ними, что из них вышло? Так вот и входит в собственную биографию частица беллетристики — посредством изменения *надлежащей*, предписанной судьбы.

**Л.:** Но наряду с вариабельностью, с игровым риском было и нечто постоянное. За все эти годы Вы ведь выработали некую — очень своеобразную, сугубо Вашу — систему жизненных ценностей, таких, как жилье, еда, сон, питье и так далее, и эта система ценностей до сих пор не изменилась, напротив, Вы ее все больше, вплоть до наших дней, усиливали, причем именно опираясь на опыт молодости.

**Б.:** Конечно, и именно такие вещи — обувь, квартплата, еда, самые наипростейшие вещи...

**Л.:** И от этих наипростейших вещей Вы ничуть не отошли?

**Б.:** Нет, в том, что касается этих вещей, тут никаких перемен. Это был очень конкретный жизненный опыт, да он таким и остался. Ну, может, во время войны это было несколько иначе, денег было достаточно, с этим проблем не было. Тут, кстати, привходит еще один компонент легкомыслия: азартные игры. Я был заядлый игрок, играл на деньги — в покер и во все, что угодно. Возникла эта своеобразная смесь богемы, пролетарщины и мелкобуржуазного духа, солдат ведь по существу тот же пролетарий, рабочий наемного труда. Да и среда была схожая — богемная, мелкобуржуазная и отчасти пролетарская, — в силу экономических обстоятельств.

По-моему, элемент игры — не только на деньги, но и на счастье, на удачу — на отпуск или на перевод не туда-то, а в другое место — был очень важен в моей жизни. Игры и связанного с ней риска. Ну и конечно, мечты. Потому что это ведь все вещи из области мечтаний — вторгаться в события, предначертанные и предписанные кем-то другим. Тут-то и начинается сфера беллетристики, — помимо и за пределами чистой лирики, к которой я, видимо, был склонен с самого начала.

**Л.:** Во время войны Вы тоже писали?

**Б.:** Нет. То есть я писал много писем, разумеется, но больше ничего — слишком беспокойная была жизнь, чтобы писать. Это же была сплошная кочевая жизнь. Вокзалы, залы ожидания, вы-

садки, пересадки, потом еще куда-то, снова в эшелон, и потом снова выгружайся...

**Л.:** И в книгах Ваших так же; видимо, это прочно засело...

**Б.:** Да, и до сих пор сидит, это чувство неоседлости, которое сейчас, когда я уже постарел, очень меня мучит. Все время куда-то едешь, то туда, то сюда, что-то с собой берешь, а на очереди уже другая поездка, пакуешь другой чемодан и сдешь, скажем, в Айфель или сюда, в Кёльн, или еще куда-нибудь, к кому-то в гости или по делам, и никогда не знаешь, что с собой взять, а что оставить,—видимо, это отложилось во мне с тех времен.

**Л.:** Это страх или просто привычка?

**Б.:** Был, видимо, страх, а стало привычкой, в которой, впрочем, возможно, есть немного и кокетства...

**Л.:** Кокетства в том смысле, что...

**Б.:** ...Что у меня в комнате постоянно лежит чемодан — на кровати или на стуле, я его пакую для очередной поездки, даже если ехать через две, а то и три недели. Это, вероятно, осталось с тех времен непрерывного кочевья. Когда ты либо ехал, либо ждал, то туда, то обратно, то в госпиталь, то еще куда. Война, если взглянуть на нее отвлеченно,— это ведь многомиллиардная сумма бессмысленных пространственных перемещений — отдельных людей и целых людских масс; взятая вне обстоятельств, вне политики — это просто безумное движение. Даже для людей в городе: снова и снова — то в убежище, то обратно, то собирай монетки, то, как придешь из убежища, распаковывай, а потом снова в подвал и снова наверх, а потом еще эвакуация — и так далее, понимаете? Вероятно, это чувство постоянной неприкаянности вошло в привычку, хотя, как я уже сказал, я не знаю, сколько сейчас в этой привычке подлинного, а сколько напукного.

**Л.:** Напрашивается параллель: жизнь как движение и писательство как движение — ведь писательство-то уж точно движение, — и связь между ними, как в формальном, так и в содержательном аспекте, эту связь, наверно, интересно проанализировать.

**Б.:** Связь, безусловно, есть, я не могу сейчас точно ее сформулировать, но да, конечно, между этим движением моей частной жизни и тем, что я пишу, есть своя связь. Например, как модель, зал ожидания: отъезд, дорога, приезд, снова отъезд, без сколько-нибудь постоянного пристанища, — да, безусловно, все это поддается, наверно, анализу, и тут, наверно, можно установить связь между конкретным и абстрактным; как я уже сказал: если смотреть на войну абстрактно — это только миллиардная сумма бессмысленных движений, конкретный смысл входит сюда только с конкретной жизнью, благодаря вмешательству...

**Л.:** И вместе с тем входит и литература, художественный вымысел?

**Б.:** Да, литература, вымысел — все, что можно создать.

**Л.:** А конец войны где Вас застал?

**Б.:** В американском плену. До этого находился неподалеку отсюда, под Кёльном, три, а то и все четыре месяца жил дезертиром у жены, с поддельными документами, прятался; документы были совсем не безупречные, не для тщательной проверки, так что под конец я снова, совершенно сознательно, чтобы выжить, подался в армию — снова по поддельному предписанию. Это был самый надежный путь, чтобы выжить, дезертиров ведь тогда по законам военного времени расстреливали на месте. А через две недели я уже был в плену во Франции. Полгода спустя вернулся в Германию, в конце 1945-го. Жена жила в деревне, их эвакуировали под Кёльн, в район Берга. Но уже скоро мы вернулись в Кёльн, в разрушенный дом, который мы потихоньку отремонтировали и обустроили.

**Л.:** А жили на что?

**Б.:** Как только открылся университет, я записался в студенты, чисто фиктивно, чтобы получать продуктовые карточки, полагалось иметь официальный род занятий, а сам работал в столярной мастерской брата, подсобным рабочим. Да, и одновременно снова начал писать. Два года занимался чем придется, уроки давал, служил в статистическом бюро кёльского городского управления, а потом, с 1951 года, стал жить литературным трудом. Жена работала, учительницей, ее заработок был нашей финансовой базой. Так и пошло.

**Л.:** Пошло лично у вас, но не у всей немецкой литературы после 1945 года. Не будем сегодня говорить о комплексе проблем послевоенной литературы, об этом и без того много написано и сказано. Но один аспект хотелось бы затронуть, его, на мой взгляд, во всех дискуссиях касались как-то бегло и вскользь, — это вот какой вопрос: почему идейная платформа просвещенного гуманизма, сформулированная в период с 1920 по 1945 год такими людьми, как, допустим, Томас Манн или Альфред Дёблин, не привилась и не получила дальнейшего развития после войны?

**Б.:** Видимо, причина — в пренебрежении, которое нам дали почувствовать, и не только в смысле нашей коллективной вины, но и в том смысле, что, мол, ах, двадцатые годы — их уже никогда не вернуть. Разумеется, их не вернуть, вместо них наступили сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы, — а кроме того, ведь никто, почти никто из великих эмигрантов не вернулся. Я их понимаю, но мы-то жили здесь, при нацизме, во время войны, после войны, — и обрели свой язык, свой гуманизм, уже не настолько насквозь буржуазный; а кроме того, поскольку

большинству из нас великие немские эмигранты были почти неизвестны, мы попали в сферу совсем иных влияний; а еще я думаю, что мы, большинство из нас, все-таки до такой степени были и оставались немцами, что не могли просто так взять и «подстегнуться» к традиции, оборванной в 1933 году.

И именно в этом, в том, что они это не распознали, постоянно это извращали и подвергали наветам, не пожелали признать как данность, в том, что нашу сатиру, критику, иронию они путали с неприязнью,— во всем этом крестяся главная ошибка ХДС, надсюь, ее еще можно исправить. А ведь достаточно было минимума образованности, чтобы уяснить: литература испокон веку всегда выполняла эту функцию.

## Второй день

**А.:** Поговорим сегодня о Ваших книгах, по-моему, после всего, что мы обсудили вчера, это будет легче сделать. На мой взгляд, это чрезвычайно важно — осмыслить мотивы, побуждающие человека писать. В них ведь нет ничего таинственного, тут все — или почти все — поддается объяснению. При этом самые первые побуждения к писательству, как я подозреваю, всегда автобиографического свойства. Разумеется, они определяются и политической жизнью, но все же это не первичные мотивы, это уже из сферы сознательной жизни. Важнее, вероятно, взаимоотношения с родителями, то, как человек ощущал себя в семье, чувствовал ли себя на первом плане или нет, где-то тут должны быть корни. Все начинается с автобиографии и, как я полагаю, не прекращается до конца дней, всякое писательство в моем понимании автобиографично, просто в процессе творчества эта автобиография, разумеется, перевоплощается, переводится на иной язык, в иные формы, и тот, кто пишет, вероятно, не всегда эти первичные мотивы осознает, он хоть и владеет этим материалом, но, как я только что сказал, владеет им несознательно.

**Б.:** Автобиографическое — и биографическое, по-моему, между этими вещами тут следует делать различия. Разумеется, подступы, или корни, как вы их называете, кроются в биографии, в пережитом, скажем так — они связаны с познанием окружающего мира и конфликтов, в этом мире возникающих. Но — и это тема, над которой я много, очень много размышлял, — ведь это биографическое отнюдь не настолько уникально, чтобы оно одно могло стать стимулом к писательству. Я часто думаю о том, сколько людей — их множество, сотни миллионов, — пережили войну, видели и слышали неслыханнейшие вещи, соучаствовали в них — плен, бегство, преследование, смерть, лагеря, — но лишь очень немногие почерпнули для себя из этого столько опыта или, скажем, потребности к самовыражению, чтобы потом об этом

писать — или даже только хотеть написать. Так что импульс, видимо, надо искать где-то еще, потому что и экономический кризис, и национал-социалисты, и даже специфический состав социальной среды — все это вовсе не так уж необычно только для кого-то одного. К тому же в большинстве случаев бывает так, что люди, прожившие удивительную, прямо-таки сенсационную жизнь и умевшие замечательно об этом рассказывать, становятся скучны, едва пробуют об этом писать. Так что дело, видимо, не только в пережитом, в опыте. Стимул должен быть где-то глубже... По-моему, тут все решает желание выразить себя, играть материалом и формами — как в высшем, так и в банальном смысле, — а еще желание запечатлеть на бумаге мечты, представления, идеи и воплотить их в общественной практике, и во всем, что ты пишешь всю жизнь, крестясь, конечно же, твое представление о жизни и смерти, которое нельзя свести просто к какой-то одной формуле...

**Л.:** ...а которое, напротив, выражается в совокупности всех отдельных книг?..

**Б.:** Да, пожалуй, так... Я и вправду часто себя спрашиваю, действительно ли мое детство, моя юность — время, когда, вероятно, были заложены мои основы, — так уж уникальны. Возможно, тут скорей дело в какой-то особой чувствительности, назовем ее так, ну, и чтобы была внутренняя сила действительно об этом написать. Я потому об этом говорю, что знаю очень многих людей, которые замечательно умеют рассказывать, я уже говорил, — они способны повсдавать удивительные вещи, а потом сказать, мол, послушайте, господин Бёль, вот о чем Вам хорошо бы написать, — желание понятное, правомерное, доброе и очень человеческое по сути, неважно, говорит ли мне это первый встречный в кабачке или кто-то, кого я давно знаю, — и я вынужден разочаровывать этих людей, даже тех, кто присылает, так сказать, материал мне на дом, с благородным сопроводительным письмом, так, мол, и так, вот моя жизнь, это безумно интересно, напишите об этом, — всех этих людей я вынужден разочаровывать, потому что мне это совершенно неинтересно, понимаете? То есть как современника, человека, друга, гражданина меня это интересует, но не как писателя.

Я потому говорю об этом, что хочу порассуждать о материале — назовем это лучше фактурой, — словом, о той пригоршне праха, которая, по Библии, потребовалась даже богу, чтобы сотворить человека; да, ему нужен был материал, и, разумеется, писателю он тоже нужен. Но — сам по себе исходный материал не так уж важен, по крайней мере для меня. Я имею в виду не содержание, а именно тот комок глины, который мне нужен, — он может быть совсем маленьким, для романа иной раз даже меньше, чем для короткого рассказа, ибо этот материал становится

явлю только посредством формовки, а формовка интересует меня, во всяком случае, никак не меньше, чем сам материал. У меня в голове множество материалов, заготовок, которые я начал, потом забросил, некоторые — мы об этом вчера говорили — даже прописал до конца, и по материалу они по меньшей мере столь же важны, и хороши, и интересны или, наоборот, неудачны, как и те, что я отработал и опубликовал. Но по моему ощущению — в них не было дыхания, не было, назовем это так, жизни, и я это говорю не в каком-то патетическом смысле, а именно в материальном, — оживший материал, как в изобразительном искусстве, по-моему, изобразительное искусство, литературу и музыку надо гораздо чаще, чем принято, между собой сопоставлять.

**Л.:** Итак, Вы понимаете писательство не столько в автобиографическом, сколько в биографическом смысле, как сопричастность к живой истории?

**Б.:** Да, с учетом совокупности обстоятельств, внутри определенной социальной среды и так далее.

**Л.:** И каким образом социальная среда принципиально на Вас повлияла, как Вы считаете?

**Б.:** Ну, хотя бы тем, как эта опустившаяся мелкая буржуазия, — опустившаяся сугубо в экономико-статистическом смысле, не в моральном, — с гипертрофированной, почти истерической чувствительностью реагировала на окружающий мир. Так мне это виделось. Возьмите, к примеру, Чарльза Диккенса. Я вовсе не хочу себя с ним сравнивать. Но в чем-то, наверно, между нами есть сходство. Он вышел из похожей среды. Как и Достоевский. Эта история с его отцом, совершившим убийство. Буржуазный фасад сразу рухнул... Полагаю, что и с нами случилось нечто подобное...

Иногда о мелкой буржуазии говорят очень пренебрежительно — я-то не считаю принадлежность к ней оскорбительной, это очень плодотворный общественный слой; но эта смесь богемы, опустившейся мелкой буржуазии, — опустившейся в том смысле, ну, когда носят поношенный костюм, не в смысле чувства вины, вина тут вообще роли не играла, — и еще пролетарская примесь, возникшая из экономического положения, — а вот она играла свою роль. Плюс к тому религиозные традиции, постоянная память об этих традициях, которые были нарушены, даже порушены. Так что в этом плане слово «автобиографичность», возможно, и подходит, но — и на этом я настаиваю — сам материал тут не столь интересен, как то, что из него получилось.

**Л.:** Я тоже так думаю. Видимо, мы можем сойтись вот на чем: что вначале, конечно, был материал, под материалом я сейчас имею в виду события детства, юности, допустим, невроз, побудивший потом к писательству, а уж потом, после, волнует уже

только вопрос «как?», а «что?» становится не столь важно; по этот невроз подсознательно еще долго работает...

**Б.:** Почему именно невроз?

**Л.:** Да-да, именно невроз, и я настаиваю еще на одном: писательство автобиографично в том смысле, что писатель как бы «вытягивает» своих персонажей из самого себя. Они как бы заложены в нем.

**Б.:** Не только из себя, но и извне — в себя, а уж потом вытаскивашь их наружу. Они в буквальном смысле слова скомпонованы, сложены, сформированы, персвоплощены, переделаны, трансформированы, — ну да, в общем, так и есть...

Раз уж мы об этом снова заговорили, я хотел бы разобраться, что все-таки стало для меня основным событием, определившим мою жизнь. Как уже сказано, не думаю, чтобы это была война, хотя так часто утверждают. Нет, это, видимо, было раньше. Распад буржуазного общества. Одна из главных тем в литературе. Распад, который именно в двадцатые, в тридцатые годы был настолько очевиден, что стал для меня — и тут не понадобилось никакой особой идеологической подготовки — темой, материалом.

**Л.:** Значит, еще до экономического кризиса что-то, видимо, произошло, еще в детстве, именно это я и имею в виду...

**Б.:** Что ж, очень может быть. Были кой-какие внешние обстоятельства, сейчас припоминаю. Ну, например, — мы очень часто переезжали, отец обожал переезды и устраивал их даже внутри квартиры: то родительскую спальню оборудует в другой комнате, а из той комнаты в свою очередь все перетаскивалось еще в какую-нибудь, и так без конца, вечные перемены. И охота к перемнам. Если посмотреть на это в структурном плане, может, тут и есть некое предвсрние того, что было потом на войне и после войны, — дороги, дороги, вечный зал ожидания, чувство неокончателъности. Да, это, должно быть, как-то связано с беспокоейством в натуре моего отца. Надежность прежних лет этак от 1870-го до 1914-го — потом все больше расшатывалась, ведь то, прежнее время было, в сущности, очень основательное, очень буржуазное, экономически стабильное время.

**Л.:** Надежность, которую Вам так и не довелось извсдать, точно так же, как не удалось развить в себе чувство родины, в смысле — чувство оссдлости...

**Б.:** Ну, нет, еще до войны у меня было чувство родины, оно связано с Кёльном; в Кёльне в ту пору было что-то очень уютное, как в давно обжитом доме, может и не очень опрятном, немножко запущенном, но по нему приятно пройтись. Так что эта родина в моей памяти живет. Потом, правда, ее разрушили нацисты. Вы представить себе не можете, что это значит: вы гуляете, идете по улице, и вдруг навстречу колонна СА или гитлерюгенда,

и все должны приветствовать. Как мы поступали? Просто заходили в ближайший подъезд. Форменным образом убегали и прятались... Это было разрушение улицы как родины, а улица и есть родина. Куда можно выйти прогуляться, куда-нибудь сходить, если есть мелочь в кармане, где-то выпить кофе, пойти в кино... Это разрушение — сейчас, когда мы говорим о чувстве родины, мне это стало ясно — было прямым следствием нацистских шествий, от которых мы скрывались. Просто исчезло чувство надежности на улице, — не в том смысле, что могли застрелить или там обхамить, нет, просто надо было постоянно быть начеку, чтобы не пришлось вскидывать руку в нацистском приветствии. Это было очень явственное, пронзительно ощущаемое разрушение родины. В сочетании с чисто зрительными, да и внутренними душевными потрясениями от созерцания уличных жестокостей, когда людей до смерти избивали прямо на улице, и арстовывали, и тащили — не только незнакомых, иногда и друзей.

Вот я сейчас думаю: мой отец родился в 1870-м, то есть был уже весьма пожилым человеком, когда родился я, и в нем была действительно трогательная — я это говорю вовсе не пренебрежительно — буржуазная надежность. Он в Кёльне вышел в люди, открыл свое дело, изучил ремесло краснодеревщика, по сути — скульптора по дереву, и был настоящий трудяга. Но эта надежность, видимо, потерялась в первую мировую войну и из-за последствий войны, — инфляция, утрата практически всего состояния, это еще тогда, в первый раз. Отсюда — чувство полного недоверия к тому, что принято называть стабильностью. Вы представить себе не можете, какой катастрофой была для нас инфляция, что первая, что вторая, когда отец буквально привозил заработок на ручной тачке, это были миллиарды. Его это, вероятно, лишило жизненной уверенности, да и мою мать, конечно, тоже. Но от нас, детей, они, доколе возможно, пытались это скрыть, пока не разразился экономический кризис конца двадцатых — начала тридцатых, и тут уже больше нечего было скрывать. Видимо, где-то тут для меня все и началось, все или почти все. Вы правы. Потому что остальное — в том числе и исторические события, нацисты, война, послевоенное время, — все оказалось только следствием того, что было подготовлено в конце двадцатых — начале тридцатых. В таком ключе я готов признать слово «автобиографичность», но не в смысле классической автобиографии, а скорее как некую «географичность», когда пережитое, увиденное, услышанное пытаешься не столько обязательно осмыслить, сколько обрести в наглядном виде...

**Л.:** В чувственной данности...

**Б.:** Ну, пусть «в чувственной данности», да, сейчас, кажется, это так называют... Тут еще много всего, и тут еще очень многое



нужно осмыслить, потому что я хотел бы написать обо всем этом в традиционном, классически автобиографическом ключе, но не получается, не идет в руки, мне очень трудно писать о моем отце, о моей матери, только наметками, одно-два предложения. Может, оно потому и не дается, что вылилось в другое, стало автобиографией в другом.

**Л.:** И все это...

**Б.:** Позвольте мне быстренько договорить, потому что тут есть еще кое-что, а именно — некий анархизм, который царил в ту пору, вовне, изнутри, в семье, анархизм, рожденный экономическим положением людей, необходимостью перебиваться, ломбардами, судебными исполнителями, все это было тогда в порядке вещей. Я бы так сказал: анархизм как выражение стойкого презрения к буржуазным формам жизни. Это выражалось во всем, вплоть до одежды. Вот почему я и сегодня вскидываюсь всякий раз, когда анархизм ставят на одну доску с терроризмом, это же полная дикость. Этот привкус анархии, чтобы не сказать анархизма, был тогда очень силен, и не только ради самоутешения, это было средством перебиться, день да ночь, сутки прочь. Это была непрерывная импровизация, когда размеренности и порядка — пусть даже и в мелкобуржуазном понимании этого слова — ни в чем нет и быть не может.

**Л.:** И все это — непокой, бегство — потом только усугублялось, особенно в послевоенные годы, там ведь не было никакого успокоения, скорее наоборот, только в несколько ином направлении?

**Б.:** Да, безусловно, так мне это и видится.

**Л.:** Вчсра — магнитофон как раз выключился — Вы говорили о своем страхе, который засел очень глубоко и до сих пор не изжит, и...

**Б.:** Да, этот неискоренимый страх, который сидит глубже всего и объясняет, кстати, многие из моих труднообъяснимых реакций на политические события, — это тот самый уличный страх, он вспоминается мне снова и снова. Слишком хорошо я все это помню. Первые нацистские шествия здесь, в Кёльне, на Клодвигплатц, мы ведь жили совсем рядом. На меня это невероятно сильно подействовало. А потом — уже прямым следствием — разрушение улицы как родины. Так что страх перед тем, о чем иной раз легко и походя, как о само собой разумеющейся вещи, говорят «фашизм» — я специально выбрал безличную форму, сам я отнюдь не часто употребляю это слово, — этот страх во мне очень силен.

**Л.:** А сейчас есть какие-нибудь конкретные вещи, с которыми связывается этот страх?

**Б.:** Страх возникает чаще всего по довольно незначительным, поверхностным поводам или в связи с актуальными собы-

тиями. Например, речь Штрауса, которую я вчера прочел в «Шпигеле», где он между строк дал понять, что комплот демократических партий — полная чушь. Понимаете? Когда я это слышу, меня просто жуть берет. Хотя я и знаю, что фашизм — нечто совсем иное, что это еще не фашизм, это было бы слишком просто, нет, это что-то иное, что-то, что я сейчас не могу вполне точно определить, скорей всего — это просто маниакальная жажда власти, во имя которой он готов очертя голову идти напролом и все разрушить...

**Л.:** За счет других...

**Б.:** Да уж конечно. Стоило бы вообще-то обсудить, фашизм это или еще не фашизм. А во мне все еще остается немножко доверия к, скажем так, «иным демократическим силам», может, я обманываюсь, не знаю. Но это я для примера. Безумный страх перед политической лексикой определенного сорта — я когда-то назвал ее лексикой фашистских «народных судов», за что на меня все страшно ополчились, все были, видите ли, оскорблены... Так вот, я имею в виду именно такую лексику, сам этот прокурорский тон, этот, я бы даже не побоялся сказать: новонемецкий вильгельминский стиль, напоминающий мне о немецком рейхе до 1913 года. Мол, мы самые сильные, самые богатые, у нас все самое лучшее. Вот этого я боюсь — подобных идей и соответствующих хамских поучений.

**Л.:** А не выражается ли этот страх — я все пытаюсь подыскать психологические мотивировки — среди прочего и в Ваших частых отъездах?

**Б.:** Это просто желание обрести покой где-нибудь в другом месте. Но в этой охоте к перемене мест я бы не стал искать столь глубокие корни, как Вы, очевидно, пытаетесь, да и отношусь я к ней совсем не столь уж серьезно. Зачастую это просто связано с переутомлением, с кучей обязательств. Тогда хочется просто удрать и послать всех, — ну, Гёц фон Берлихинген, Вы понимаете \*... А это в свою очередь сопряжено с изменением моего «профессионального статуса» за последние десять-пятнадцать лет, когда на тебя наваливается ответственность, которую ты просто не в состоянии вынести.

**Л.:** Да, наверно, все дело в этом идиотском «имидже», публичном образе. Популярность, слава — все это, конечно, должно действовать на нервы, я понимаю...

**Б.:** Это действительно идиотский, абсурдный «имидж». Я никогда этого не хотел. И уж совершенно точно не могу такой репутации соответствовать. Видите ли, этот процесс, когда создаются кумиры, когда людей превращают в кумиров, а они сами ничего с этим поделать не могут, — это процесс настолько недемократичный, что я лично готов снести любую самую резкую критику ради разрушения собственного публичного образа.

Только клевету и доносы не могу спустить. К сожалению, различия тут довольно зыбкие. У нас в стране ведь, по сути, нет постоянно действующего общественного мнения, общественное мнение образуется эпизодически вокруг отдельных случаев, чаще всего вокруг скандалов, а скандалы чаще всего раздуваются искусственно. Я, например, вовсе не считаю свои высказывания, по крайней мере большинство из них, скапдальными, обычно это само собой разумеющиеся вещи, ну разве что иногда чуть-чуть заостришь,— но из этого мгновенно раздувается скандал, именно потому, что у нас не действует, да и не существует вовсе общественное мнение.

**Л.:** Получается, что Вы как бы раздвоены: с одной стороны, Вам больше всего хотелось бы сидеть у себя в кабинете за столом и писать, с другой — Вы то и дело чувствуете себя обязанным выходить на люди и высказываться по злободневным политическим вопросам.

**Б.:** Я действительно больше всего люблю сидеть за своим письменным столом и работать, делать любую, даже самую незамысловатую литературную работу, это доставляет мне невероятную радость. Вот сейчас, например, читаю перевод моей жены и попутно слегка редактирую... Да, раздвоен. На того, кто знает, что его место, в сущности, за письменным столом, и другого, которого из-за этого стола то и дело выдергивают (или он сам выдергивается), часто даже против убеждения или не слишком убежденный в правильности того, что он там, на миру, делает.

**Л.:** Тогда это тоже как бы отчасти бегство?

**Б.:** Конечно. Бегство. Движение. Но в то же время и почти вопрос экономии. Время, которым ты располагаешь, ведь неограничено — не только время твоей жизни, но и время дня, рабочее время, время на еду и на сон, на встречи с друзьями,— и в этой ситуации решать, допустим, это ты сделаешь, а то нет, того ты примешь, а этого нет,— это же мука крестная. Потому что приходится принимать решения, которые могут оказаться невероятно важны для другого человека, да и для тебя самого... Видите ли, все это очень просто. Силы убывают. Это биологическая данность, никуда от нас не денешься. И стоит мне вообразить, чего я только на своем веку не делал, чего не пережил — другие, конечно, тоже, но сейчас речь не о них,— я думаю: господи, все, хватит, пора и побережись, и тогда я мечтаю только о письменном столе,— писать, читать, гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями; и в минимальных дозах — общественная жизнь. Этот идиотский «имидж». Ведь тут просто какая-то дьявольщина получается. Стоит чему-нибудь стрястись — допустим, к примеру, похищение политического деятеля ХДС Лоренца\* в Берлине,— а мне высказаться по этому поводу,— на меня тут

же сыплются все шишки; но если я воздержусь от высказывания, они тоже на меня посыплются, понимаете? Общественность сама создает тебе «имидж», делает из тебя моральный авторитет, которым ты не являешься, к которому никогда не стремился,— и сама же постоянно раздражается твоим поведением; видимо, у меня просто дар такой — вызывать гневное раздражение и чувство мрачного недовольства. Поэтому я давно уже перестал отвечать на открытые письма, почти не пишу в колонке читательских мнений...

**Л.:** Словом, от этой публичной функции Вы хотели бы во что бы то ни стало избавиться?

**Б.:** Во что бы то ни стало. Хочу снова иметь возможность спокойно работать, как двадцать лет назад.

**Л.:** К этому еще стоит вернуться, сегодня или, может, завтра, надо будет поподробнее поговорить об этом «имидже» и о том, как он возник, как он был создан; но сейчас хотелось бы еще раз коснуться проблемы раздвоенности, Вашей, как вы сказали, не-расположенностью постоянно вмешиваться в политику...

**Б.:** Да. По-моему, я предрасположен к замкнутой поэтической отрешенности: сидеть в своей каморке и сочинять стихи, рассказы, романы, — словом, как это было у меня в 20-21 год, ну, и позже иногда. Но что жизнь настолько втянет меня в политику, вынужденно, иногда — почти против воли, и что отсюда возникнет эта шизофреническая раздвоенность... Я замечаю это по тому, с каким удовольствием я просто сижу за столом и делаю простейшую литературную работу вроде вот этой, редакторской: просматриваю перевод жены, мы с ней это обсуждаем, я предлагаю варианты, — и мне сразу ясно: вот эта работа по мне, я это действительно могу и делаю в охотку, и другие рукописи других людей, неважно, чьи, мне все равно, чужие переводы или даже свои собственные. Главное — возиться со всякой писаниной.

**Л.:** Значит, работа для Вас — это и некая защита от внешних беспокойств?

**Б.:** И это тоже, безусловно. Потому что когда я уезжаю — а уж сколько я уезжал в Ирландию и там работал, — первое, что мне нужно на новом месте, — это стол, за которым можно работать, даже если в итоге я работать не буду, все равно. Защита? Да, конечно. Но еще и желание, стремление к радости, которую мне доставляет работа, или, как сегодня бы сказали, гарантированный минимум желаний... А политика, как я понял, — это необходимость, хоть иногда я занимаюсь этим охотно и убежденно; но все, что связано с публичностью как таковой, мне ненавистно и просто противно.

**Л.:** Только в Ирландии, по сути, Вы обрели покой и могли спокойно работать; да и Ваш «Ирландский дневник» скорее

спокойная книга, есть в ней, правда, и публицистические «зацепки», но в целом это именно спокойная книга...

**Б.:** Говоря совсем банальными словами, Ирландия была — да отчасти и остается — для меня «второй родиной». Но, разумеется, я эти слова тут же забираю обратно, ибо, конечно же, я знаю, что второй родины не бывает: либо ты совсем эмигрируешь, либо остаешься при своей национальности, — а я немец и пишу по-немецки. И если у тебя есть чувство дома — а дома я себя чувствую здесь, у нас в стране, я знаю, что здесь мое место, — тогда ты должен вмешиваться и быть замешанным в общественно-политическую (а в Ирландии — там это очень важно — в религиозную) жизнь, и в этом смысле я, разумеется, в Ирландии всегда оставался чужаком, иностранцем, туристом.

**Л.:** Давайте вернемся к мысли о писательстве как перевоплощенной, перемещенной в форму романа автобиографии — или, если угодно, биографии. В основных чертах этой биографии Вы, как я считаю, никогда не менялись; пожалуй, вернее будет сказать, — не менялись в ориентации; поэтому и персонажи Ваших романов в основных чертах остаются неизменными. Например, Лени из «Группового портрета». Хотя роман и является историей ее развития, в ходе книги она учится любить, но в основных чертах она ведь не меняется. Я бы сказал, что Лени — это характер, с которым связаны все Ваши ценностные представления и который Вы как бы извлекли из себя. Подозреваю даже, что Вы постоянно себя с ней отождествляли.

**Б.:** Нет. Никогда этого не делал. Это недоразумение или какая-то ошибка. Лени от меня очень далека, впрочем, это всегда так, когда книга уже написана; но ведь по сути она почти бессловесный персонаж, статичный, и все ее значение только в том, что вокруг нее собираются другие люди, в том числе и в смысле группового портрета. Отсюда название — я считаю, очень удачное, его придумал Дитер Веллерсхоф \* вместе с моей женой. Не забудьте о том, о чем мы говорили в начале: все это — только попытка приближения, и я тут не более компетентен, чем Вы. Сейчас, когда я об этом думаю, — Лени ведь действительно почти не присутствует в этой книге сама, она, по сути, существует как бы через других и в других. Разумеется, я испытываю к ней симпатию, хотя бы потому — это прозвучит сентиментально, но почему бы и нет? — что я долго жил с ней бок о бок, а такая совместная жизнь с персонажем порой влечет за собой и излишнюю близость, но я никогда себя с ней не отождествлял.

**Л.:** Но и не ставили ее под вопрос.

**Б.:** Нет.

**Л.:** А почему?

**Б.:** По-моему, образ Лени в романе, как я его задумал да и написал, и так несет в себе немало проблематичного. Это,

так сказать, главная его предпосылка. Проблематичность — пусть это прозвучит несколько поверхностно-парадоксально — состоит именно в том, что никто не ставит ее под вопрос. Такая героиня, как Лени, героиня, в известном смысле излучающая чистоту, может пребывать только в чистоте, в то время как другие эту чистоту утрачивают. Нисобычайно важную роль играет, например, эта Маргарет, которая ведь почти что шлюха, если не похлеще, и без которой Лени совершенно бессмыслима.

**Л.:** Хорошо, пусть она, так сказать, идеальный образ...

**Б.:** Да, чистые, добрые, примерные — они ведь всегда существуют только потому, что есть и другие. После войны я знавал многих людей, добропорядочных граждан, которые из принципа не ходили на черный рынок, они говорили — нет, мы, мол, живем на наши честные марки, не ворует и не спекулируем. Это был чистейший самообман, всякий, кто не старался в ту пору как-нибудь что-нибудь раздобыть, неминуемо умер бы от голода или замерз, по крайней мере здесь, в Кельне; ну, и были другие люди, вроде меня, которые за время войны приобрели огромный опыт на черных рынках от Западной Франции до Средней России и делали за этих чистых, добропорядочных всю грязную работу. Так что я шел на черный рынок и сбывал там для кого-то часы или покупал для кого-то еще хлебные карточки или масло, кофе и сигареты... Понимаете? И в этом смысле образ Лени как раз довольно проблематичен, ее нетронутость, незапятнанность не осознается ею и возможна только благодаря окружающим. Чистота обыкновенной буржуазки или — поначалу — девушки из буржуазной семьи обеспечивается только черной работой потаскух.

**Л.:** Но Вы могли бы поставить ее под сомнение, допустим, в идеологическом аспекте...

**Б.:** Но мне вовсе не нужно подходить к ней с идеологической точки зрения. Я ее — ну да, скажу просто, — сделал такой, как она есть, именно в этом ансамбле, среди которого она живет в своей кажущейся — хотя нет, не только кажущейся, — в своей какой-то бесстыдной чистоте, понимаете? Ведь по сути она бесстыдная особа, потому что она невинна, — скажем так, невинность заменяет у нее нравственную чистоту. А идеологического отношения у меня к ней нет, оно тут вообще невозможно, из того, что я сделал, я не могу выжать никакой идеологии, потому что этого у меня не было в замысле.

**Л.:** Я все равно остаюсь при своем убеждении: во всех своих книгах Вы не ставили своих героев под сомнение — ни идеологически, ни психологически...

**Б.:** Я никогда об этом всерьез не думал. Но... нет, полагаю,

все же это не так. Вот в Катарине Блюм, например, есть очень даже сомнительные черты, я считаю...

**Л.:** Сомнительные в том смысле, что ей приписываются поступки, с точки зрения господствующей морали не вполне красивые. Но это, как я понимаю, не подвергает сомнению сам ее характер. Тут лишь попытка оценить саму господствующую мораль...

**Б.:** Да нет, в Катарине я вижу вполне приспособившуюся гражданку, которая вместе с другими создавала экономическое чудо, убеждена в нем и верит в него, очень трудолюбивая, очень целеустремленная особа — я это говорю без всякой иронии, — которая по воле событий вдруг оказывается выбита из колес. Но если это событие — которое, кстати, не она сама вызвала, скорее оно с ней «стряслось», — отбросить, тогда нетрудно представить — сейчас я описываю то, чего нет в книге, — как годам к 45 она станет преуспевающей, прилежной, чуть застенчивой хозяйкой небольшой гостиницы, понимаете? Во всем строе ее жизни, очень рационально спланированной карьеры, в целеустремленности, с которой она эту карьеру осуществляет, разумеется, есть и свои сомнительные стороны...

**Л.:** Но в то же время в ней есть и — скажу наконец это слово — ангельство.

**Б.:** А она и есть подбитый ангел, правда весьма посредственный...

**Л.:** Но в конечном счете и остающийся невредимым. В финалах Ваших книг что-то всегда остается невредимым, хотя многое другое рушится или подвергается разрушению, но неповрежденными остаются Ваши ценности. Честь, к примеру, честь в Вашем понимании.

**Б.:** Но Катарина еще до того, как попасть в переплет, уже была слегка подбитым ангелом, и в этом плане любой образ всегда содержит в себе проблематичность и некоторую сомнительность. И в военных вещах образы отнюдь не столь чисты и невинны, как это порой воспринимается, для меня это до сих пор загадка.

**Л.:** Я-то имею в виду другое: ведь вполне можно представить, что писатель, создавая какой-либо характер, «найдя» его, тут же подвергает его сомнению в психологическом плане. Вы никогда этого не делаете.

**Б.:** Думаю, тут у нас с Вами недоразумение по части психологии. Я не считаю себя писателем-психологом; конечно, в книгах моих есть элементы психологии, но отнюдь не как в классических психологических романах. Поэтому мне трудно ответить на вопрос, подвергаю ли я своих героев сомнению в плане психологизма, и если да, то как; понимаете, психология — не та пред-

посылка, она, конечно, тоже входит, но,— словом, мои книги не задуманы как психологические изыскания.

**Л.:** Нет-нет, я имел в виду, что это...

**Б.:** Да-да, я понимаю, это очень сложно. Верить в реальность персонажей, которые тобой же сотворены. Но если я скажу сейчас, что принимаю их такими, как есть, во всей их свободе,— это тоже будет не вполне верно, потому что я ведь их сочинил. Впрочем, одной из предпосылок нашего разговора надо бы считать то, что о собственных книгах я могу судить только поверхностно...

**Л.:** Ну да, потому что искажена перспектива: собственные вещи видишь одновременно и слишком близко, и слишком далеко.

**Б.:** Да, это невозможно бывает восстановить. Поэтому меня всегда смущают высказывания авторов по поводу собственных книг, они неизбежно односторонни и не ухватывают целого. А насчет психологии — я никогда не подхожу к своим персонажам с психологической меркой, я даю им свободу и пытаюсь относиться к ним без предубеждений, а ведь психология — это в известной мере тоже предубеждение.

**Л.:** Иными словами, у Вас должно быть очень конкретное, конкретно-чувственное представление о персонажах, и Вы стремитесь это представление в себе вызвать? Во что они одеты, где и как живут, что едят и так далее?

**Б.:** Да, хотя сразу оговорюсь: не всегда. Бывают и внешние впечатления, которые меня стимулируют, но нарисовать своего героя я бы не смог, понимаете? Допустим, если бы я был художником, я бы не смог написать их портреты. Не настолько это точное представление, чтобы я мог нарисовать их как портретист. Это скорее иная, языковая конкретность, материализующаяся в языке, но не поддающаяся иным средствам материализации,— во всяком случае, для меня.

**Л.:** Я уже сказал сегодня, что в финале Ваших книг что-то всегда остается невредимым. Например, честь. Например, честь Катарины. Она стреляет, и этим выстрелом пытается восстановить свою честь...

**Б.:** Да, это попытка восстановить свою честь, вполне логичная, как я надеюсь, в фактуре данного персонажа.

**Л.:** Вероятно, можно сказать и так: это попытка отстоять цельность собственной личности, в Ваших книгах это всегда необычайно важно. Но ведь попытка не удастся. Жизнь Катарины, ее биография продолжается, ее нетрудно домыслить, просто у Вас это остается за рамками книги.

**Б.:** Да, и я смотрю на это так же. История в книге закончена, история персонажа продолжается. Но о том, что будет дальше, я писать не захотел.



**Л.:** Но, по-моему, продолжение — Катарина в тюрьме и все, что с ней будет после тюрьмы, — это продолжение все равно как бы присутствует. Она застрелила человека, застрелила, можно сказать, на глазах общественности, в ситуации, когда она подвергалась постоянному общественному оскорблению, когда, по сути, был разрушен ее брак, — а в книге этот факт подается как данность, без всякого осмысления. Может, стоило бы объяснить, как это вообще бывает, как работает весь этот аппарат массовой информации и каково приходится человеку, когда он попадает под прицел журналистов и пресса травит его, как дичь...

**Б.:** Да, Вы правы, и Фолькер Шлэндорф \*, который сейчас как раз делает экранизацию повести, нашел для своего фильма другой финал, по-моему, очень хороший, потому что он помогает домыслить историю дальше: у Шлэндорфа журналист говорит Катарине, мол, послушай, стоит ли так волноваться, я тут тоже ни при чем, заголовки придумывают другие, мое дело — обеспечить сюжет, а уж как его преподнесут, это не моя забота, и вообще я лично против тебя ничего не имею, — понимаете? В фильме этот журналист с крайним цинизмом заявляет о своей невинности и предлагает ей — что по-своему очень логично — сделку, он говорит — но это в самом грубом пересказе, — мол, послушай, девочка, ты же на этом деле можешь заработать кучу денег, это очень просто: ты пишешь свою историю и получаешь за нее 10 000 марок чистыми... По-моему, этот финал в фильме даже лучше, чем в книге, где вина, невинность и честь сшибаются столь непримиримо или якобы столь непримиримо. Не думаю, чтобы кто-то мог с помощью убийства восстановить свою честь и свою человеческую цельность. Катарина вынуждена так поступить. Именно она. И именно такая, какой она мною создана. На этом я настаиваю — как автор и, следовательно, ответственное лицо.

**Л.:** Я как читатель тоже настаиваю на этом...

**Б.:** Но если додумать до конца, а это нужно сделать, — тогда, конечно, ясно, что убийством, пусть даже убийством распоследнего подонка, нельзя восстановить свою личностную цельность. Поэтому я выступаю... против цельности. И считаю правильным, что в конце концов Катарина не остается цельной натурой. Это я сейчас не против книги говорю, а против упрека в цельности характера. В тот миг, когда Катарина убивает журналиста, — да, вы правы, в этот миг книга, как говорится, кончена. Но жизнь-то продолжается, и этот поступок будет иметь последствия. Я вижу Катарину в тюрьме, где ей очень, очень многое придется обдумать... И, кстати, не нахожу никакой особой цельности в том, что она укрывает столь явного преступника и потом помогает ему бежать. То есть как автор я нахожу, что это просто здорово, и вполне понимаю. Так и должно быть. На

этом я буду стоять до конца. Но проявилась тут не только ее сила, но и, слава богу, ее слабость, ее не-цельность... При такой книге, задуманной всего лишь как этюд, велик риск, что иконографию и пластику слишком легко примут на веру... Но я действительно отнюдь не вижу в Катарине образец чистоты.

**А.:** Возвращаясь к теме персвоплощенной автобиографии: можно ли считать, что Катарина Блюм — тоже персонаж, извлеченный Вами не извне, а из себя, что она связана с Вашим личным опытом контактов со средствами массовой информации? Не стала ли книга попыткой освободиться, сбросить с себя этот опыт? Ведь многие видели в повести о Катарине попытку художественного персвоплощения всего того, что в свое время вызвала Ваша статья о Баадере — Майнхоф\* в «Шпигеле», когда все кому не лень поливали вас грязью. А теперь, мол, Вы всю эту грязь вернули по обратному адресу...

**Б.:** Думаю, рассматривать эту книгу в связи с историей Баадера — Майнхоф тоже ошибка или недоразумение. Тогдашняя перепалка — во всяком случае в том, что касается исходной точки, самой первой статьи, из-за которой и разгорелся сырбор, — меня вообще не слишком удивила, да и не слишком задела: я же знал, что делаю, и понимал, с каким концерном связался. Задело меня во время этой кампании или, скажем так, полемике, потому что я ведь давал сдачи, — задело, и весьма чувствительно, совсем другое. Я рад, что сейчас могу об этом сказать. В связи со статьей о Баадере — Майнхоф мне постоянно бросали один и тот же упрек: мол, за этих заступаюсь, а для своих советских коллег ничего не делаю. Это была злостная и очевидная даже для тех, кто ее распространял, клевета самого подлого пошиба. Это была попытка подменить предмет спора. И вот эта клевета, против которой я не мог публично защищаться, — не мог же я заявить, мол, послушайте, я сделал то-то и то-то, был у того-то и того-то, обсуждал то и се с тем-то и тем-то, добился таких-то сдвигов, если бы я все это обнародовал, я бы все и погубил, потому что все делалось и могло делаться только втайне, понимаете? — вот эта клевета меня действительно очень задела за живое, именно потому что тут я был беззащитен. На другие упреки я какое-то время отвечал, а потом решил — пошли вы все, продолжайте и дальше в том же духе.

Так что в этом плане между всей историей с Баадером-Майнхоф и книгой о Катарине Блюм очень мало общего. Просто в течение какого-то времени я попросил своих добровольных помощников просматривать газету «Бильд» и другие бульварные газеты на предмет обнаружения явной клеветы против известных и вовсе безызвестных лиц. Допустим: актриса Х вчера переспала с режиссером таким-то, ее застукал муж и так далес. То есть самые грязные сплетни, чаще всего с именами и даже фо-

тографиями. И как-то раз я подумал: интересно, а что бывает с этими людьми потом. В один прекрасный день человека пропечатывают в бульварном листке, на день-два он становится знаменитостью, сенсацией, и никто не знает, во что превращается его жизнь потом. Я начал этим заниматься; проводил прямотаки исследование, собрал материал и на основе этого написал историю абсолютно безвестной и безобидной современницы, которая внезапно становится жертвой подобной клеветы. Так что в этом смысле, конечно, книга несет в себе автобиографические черты, у нее биографический «ввод». Ведь главное что? Я-то еще относительно небеззащитен, всегда могу написать статью и попытаться ее где-нибудь поместить; но обычный человек в этой ситуации лишен и этой возможности, он совершенно беспомощен. Это и был мотив.

**Л.:** Мы вчера говорили о познании смерти, Вашей исходной теме, в повести «Поезд пришел вовремя» это отчетливо видно. Все ранние Ваши вещи — от 1945 до 1951—1952 годов — повествуют о любви и смерти, которые противостоят друг другу, причем смерть в них, скажем так, — это почти всегда роковая солдатская смерть, хотя и не с такой однозначностью, там есть различия. Но я о чем хочу сказать: отношение к смерти у Вас внезапно меняется. Возникает как бы цезура. Словно Вы сказали себе: нет, у меня другая тема, надо взяться за другое. Правда, смерть и сегодня остается одной из Ваших основных тем, но воплощается она уже иначе. Словно тогда, я имею в виду во время той цезуры, Вы узрели иную смерть, смерть, можно сказать, олицетворенную всем обществом. Не связано ли это изменением, это новое мироощущение с денежной реформой? Когда Вы, допустим, заметили, что люди, общество в целом стали в своем развитии удаляться от Вашей системы ценностей?

**Б.:** Насчет смерти Вы правильно подметили. Есть много разных смертей. Внезапная гибель солдата, жертвы дорожного происшествия, или просто человек умирает от сердечного приступа — я сказал «умирает», но «умирание» — это уже нечто иное, это куда более медленный процесс, хотя тут «быстро» и «медленно», разумеется, понятия относительные: умирание, длящееся три дня, может показаться вечностью, а умирающее общество может умирать двадцать лет и все еще не умереть окончательно, смерть как длительный процесс, да... Полагаю, что до 1945 года, до конца войны, смерть если и занимала мое сознание, то только как внезапная смерть, да, это вы, по-моему, точно заметили; зато после этого, начиная с первого невоенного романа\*, все важнее становилось умирание. Умирание в самом широком смысле. Умирание, отмирание или даже омертвление живо — последнее пугало меня еще ребенком. Страх перед «сделанными», «готовыми» людьми. Школьные товарищи или

подруги, просто знакомые, по которым было видно, что они в 6 или в 16 лет уже стали теми, кем будут и в 46, и в 56, что они уже «готовы». Это ощущается даже в таких мелочах, как выбор профессии, в работе. Когда человек совершенно точно знает: сегодня я делаю это, завтра то, а послезавтра другое... Я вовсе не хочу это высмеивать, большинство людей должны планировать свою жизнь, обдумывать свою профессию, они вступают на стезю карьеры, где их подстерегают радости и горести, и, значит, они еще живут, что-то в них движется. Но бывает и другое — состояние полной, окончательной сформированности, которое для меня страшней физической или психической смерти, понимаете? Завершенность жизни, в которой ни внутри, ни вовне уже ничто не движется, вот что я имею в виду. Ужасно. Эти люди «готовы» — в этом слышится что-то убийственное или самоубийственное. Правда, у них есть возможность возродиться.

**Л.:** По крайней мере персонажи Ваших романов обладают этой способностью, они ущемлены и уязвлены, но не сломлены, в них всегда что-то важное остается неврежденным, опять-таки какие-то важные ценности.

**Б.:** Да, возможно... Что касается моих персонажей, тут мне трудно судить... Позвольте мне вот еще что сказать: в последние лет десять умирание занимает меня больше, чем смерть, и, кстати, умирания я куда больше боюсь, чем смерти. Смерть — это состояние, умирание — это процесс. Мне вот что в связи с этим вспомнилось: самоубийство одной из моих теток, сестры матери; мне было лет двенадцать-тринадцать; она была завзятая алкоголичка, вдова, очень красивая женщина, — и вдруг практически распалась на глазах, распалась как личность и покончила с собой. Меня это очень потрясло и захватило, захватило в буквальном смысле, — как захватывает попутная машина, чтобы подвезти. Самоубийство как выражение полного распада личности...

**Л.:** Умирание общества, смерть, жизнь, счастье... У всех персонажей Ваших романов социалистическое прошлое или социалистическое будущее; это утопия, которая...

**Б.:** Да, конечно, и никто не отобьет у меня надежду на эту утопию; скажу сейчас только о существующих, практикуемых моделях: все они слишком догматичны и в своем догматизме — и в высокомерии своего догматизма, когда всем и каждому предписывается: ты должен быть счастлив, ты не смеешь быть несчастлив, — приняли формы, порожденные временами суровой, фанатичной религиозности. Ибо злополучное — скажу так — почти что поругание самоубийц в нашей христианской истории тоже ведь было не чем иным, как смертным приговором: и этот обычай не хоронить самоубийц в «освященной земле», и все иные формы презрения, — словом, это было именно чудовищное высокомерие, суть которого состояла — и состоит — в одном:

если бы ты нас не ослушался, ты не был бы так несчастлив. Это высокомерие, обусловленное другими причинами и в резко видоизмененных формах, нетрудно сейчас обнаружить в нынешних моделях социалистического общества. Но будет ли когда-нибудь создано человеческое сообщество, или группа, или государство, которые смогут предотвратить самоубийства? Я не оставляю этой надежды. Отъединение и отчаяние должны быть излечимы — и не догмами, не принципами и, что важно, не за счет ущемления других. В Новом завете сокрыта — отважусь произнести эти слова — теология нежности, целительной нежности, которая исцеляет словом, прикосновением руки, — это ведь можно назвать и просто ласковым поглаживанием, — поцелуями, совместной трапезой, — все это по моему ощущению сегодня абсолютно вытравлено и предано запустению из-за засилия права, я бы так сказал, — из-за засилия римского начала, которое из всего сделало догмы, принципы и катехизисы; этот элемент Нового завета — нежность — еще и не открыт понастоящему; все выродилось в запреты, в повелительные окрики; а ведь наверняка есть люди, которых можно было бы исцелить просто голосом, просто интонациями какого-то нужного им голоса, или совместной трапезой. Ну, у нас-то, в одной из самых ненежных стран, эту, назовем ее так, теологию нежности уж точно не откроют, но, может, где-нибудь еще. Вот и попробуйте себе представить нечто вроде социалистической нежности. Не догмы и не принципы спасут человечество от отчаянья и от самоубийств, а игра — хотя, разумеется, во всякой игре есть свой риск, не глупый, безумный риск того, кто знает, что уже проиграл, а иной, увлекательный, когда еще не знаешь, чем все кончится.

**А.:** Видимо, о писателе, написавшем десять или двадцать книг, можно сказать, что по сути-то он пишет одну-единственную книгу. Ведь не так уж много на свете тем, а на долю каждого писателя выпадает — это, разумеется, банальность — только одна жизнь, так что одни и те же темы всплывают в его книгах снова и снова, он их варьирует от книги к книге, ну, и развивает, конечно. Вашей темой я, грубо говоря, назвал бы тему отхода, отпадения общества от того, что мы назвали Вашими ценностями, и Вы это очень точно схватили в начале 50-х годов, когда, по Вашим словам, Вы поняли, что надо заинтересоваться чем-то другим.

**Б.:** Я полагаю, что то, что мы в свое время называли и продолжали называть, а я и впредь буду называть шансом, на самом деле было шансом, слишком навязанным извне, — мы его не приняли именно как наш шанс. Разумеется, после такой войны нам следовало бы — совершенно независимо от денацификации и помимо нее — начать нечто новое, что, вполне возможно, стои-

ло бы назвать и социализмом: взаимосвязь христианских и социальных или социалистических идей. Да ведь и было что-то такое, в начатках, были ведь даже в программе ХДС подобные представления, и даже в программе ХСС, сегодня иные тезисы этих программ нельзя читать без удивления; эта надежда или этот шанс нашли даже свое политическое выражение, например, в Аленской программе. Но в конечном счете оказалось, что возобладали то, что мы называем реставрацией и что так и следует называть; старые формы были возрождены и почти что навязаны, снова семейный эгоизм, снова культ имущества, снова буржуазность. Буржуазность, бесспорно, тоже модус жизни, причем модус, на исторической практике доказавший свою плодотворность; но в качестве реконструированной модели после 1950 года буржуазность, по-моему, уже ничем себя не оправдывала.

**Л.:** Что Вы потом и показали в Вашем первом невоснном романе .

**Б.:** Хотя и совершенно неосознанно. Эту книгу потом не раз называли романом о нерасторжимости брака, какой она вовсе не была, это был — так я сегодня это вижу — скорее социально-критический роман о браке и, возможно, или очень вероятно, я хотел изобразить или воплотить вот что: что это, пожалуй, катастрофический упадок — все это новое немецкое общество, базирующееся на культе владения и семейном эгоизме. А причину я вижу в том, что немцы все еще как бы и не проиграли войну, — то, что сейчас называют «поражением», «крахом», так и не дошло до их сознания и не было распознано как исторический шанс.

**Л.:** Но тут, по-моему, дело опять-таки в том, что немцы не сами освободились от национал-социализма.

**Б.:** Да, конечно. Нам пришлось перенять социальные модели освободителей, а освободителями были коммунисты с Востока и буржуазные либералы с Запада, каждый из них опирался на свою систему, и с полным основанием, полагая, что именно его общественный строй обеспечил победу над фашизмом, понимаете? Но у них-то ситуация за это время изменилась, сегодняшнее американское общество совсем не то, что тогда, да и английское изменилось очень сильно, в то время как мы все еще прозябаем в этой новооснованной буржуазности 50-х годов.

А потом, конечно, на все это наложилось вооружение, это очень важное событие, куда более важное, чем денежная реформа, о которой Вы упомянули: реформа как техническая акция была необходима, хоть она и создала привилегии, которые и по сей день существуют в нашей экономической системе и по сей день никем толком не проанализированы. Вместе с денежной реформой была введена неукоснительно капиталистическая мо-

дель, но сама реформа как таковая, разумеется, избавила нас от бесконечной мороки инфляций и черного рынка, где, по сути, шла только война на силу и жестокость, кто ее мог выдержать — только горстка проходимцев, понимаете? Нет, саму денжную реформу хаять никак нельзя; но, безусловно, вместе с ней к нам была импортирована и общественно-экономическая система.

**А.:** Мне сейчас подумалось: Вы все еще пишете, исходя из самых первых своих импульсов...

**Б.:** Разве? В каком смысле?

**А.:** Ну да, потому что Вы все еще танцуете от одной и той же печки, от краха.

**Б.:** Разве?

**А.:** Конечно, и у Вас есть очень красивый образ, которым Вы сами как-то воспользовались, он меня очень убедил: Ваши сыновья входят в комнату и ссыпают на стол мешки с битым кирпичом, немецкие развалины, и тогда Вы садитесь за стол и начинаете писать. Значит, Вам все еще нужен для творчества прах развалин.

**Б.:** Да, я ведь однажды написал уже нечто вроде манифеста, он так и называется: «Верность литературе развалин». Это была эйфория первых послевоенных лет, и, если честно взглянуть, не вполне оправданная эйфория, ибо нищета тех лет была, конечно, и горькой, а бесхарактерность людей, взрослых среди этой нищеты, тоже вовсе не была столь отградным явлением, как это иной раз видится из сегодняшнего дня. Среди этой крайней нужды, когда речь действительно шла о куске хлеба, — как описал это Борхерт, очень хорошо, замечательно описал, — возникало и много мелочной подлости и всякой дряни, дрянь тоже всплывала, понимаете? Да, и поэтому у меня выработалась чуть ли не аллергия ко всяким строительствам, к этой беспрерывной суете, когда то тут, то там сносят то дом, то улицу, а потом делают то-то и возводят то-то, нет, ко всему этому у меня самая настоящая аллергия, потому что — это мне сейчас только что пришло в голову — уже больше тридцати лет мы живем среди стройплощадок, среди бесконечной суеты, в которой отнюдь не всегда можно разгадать хоть какой-то смысл.

Ну, и конечно, воспоминание о прахе развалин, плодотворном прахе; ибо все же — тут Вы правы — было нечто очень мирное в зрелище разрушенного города, и была надежда на, скажем так, возможность начать сначала, надежда, всегда очень сильная после катастроф, она была сильна и в те годы. Мирное, сказал я... До такой степени, что вид неразрушенных городов я просто не мог вынести, я помню, как сжал куда-то с женой, и мы видели Гейдельберг, Целле — это было почти непереносимое зрелище, неразрушенные города. Разумеется, при этом возникает и очень опасная черта: нигилистический компонент...

**Л.:** Разрушительное начало?

**Б.:** Нет, я бы назвал его именно нигилистическим. Это все с войной связано. Когда у вас за спиной такая катастрофа и вы в ней выжили — а в самом факте выживания всегда есть какая-то жестокость, по-моему, это проблема всех выживших, в том числе и выживших в концлагерях, — тогда, конечно, возникает и почти нигилистическое равнодушие ко всем постройкам, возведенным со святой верой в их незыблемость, будь то дома или социальные системы, понимаете? Эта основательность, с которой люди после катастрофы снова начинают строить, — в ней есть что-то восхитительное, но она может и спровоцировать нигилистическое равнодушие. Что касается меня, не думаю, что я такой уж ненадежный и неосновательный. Я не основателен в том, что касается всякого прочного порядка. Но я верю в то, что мы в нашей беседе назвали движением. А вот все устоявшееся, готовое для меня мертво, отмерло, — нет, я даже не скажу «умирающее», потому что умирание — это еще процесс, в котором есть движение. Эта зафиксированность, как она выражается, например, в современной архитектуре, в огромных управленческих дворцах с тысячами окон, все на одно лицо, все построены «на века», — вот такой основательности, чтобы ради вечности, во мне нет.

**Л.:** Поговорим еще немного на тему движения, в том, что Вы называете непрерывным писательством, тоже ведь скрывается понятие движения. Как и в том, что все творчество — это роман, который никогда не бывает окончен, что в тот момент, когда Вы прекращаете работу над ним, он окончен неокончательно, готов и еще не готов одновременно, что Вы как бы только прервались, а потом беретесь за него снова, пишете дальше, и хотя получается, возможно, совсем другой роман, он обязательно переключается с предыдущим и со всем, что было написано раньше...

**Б.:** Да, он продолжает, можно проинтерпретировать и так. Писательство как постоянное варьирование, как писание подле времени, со все большей степенью приближения к актуальности наших дней, или что-то вроде того. Но разве это не свойство литературы вообще? Разве у большинства авторов не единственная «своя» тема? И при этом в то же время одна всеобщая, единая для всех? Возьмите Фонтане, он тоже великолепно, поистине замечательно запечатлел закат или умирание определенных слоев общества; точно так же и Бальзак, точно так же и Томас Манн, каждый по-своему и свое. Разве это непрерывное писательство не есть некий общий, не зависимый от всякого отдельного автора единый процесс, свойственный всей повествовательной литературе? Разве не есть это непрерывное продолжение «Человеческой комедии»?



**Л.:** Есть ли в таком случае у Вас представление о возможном окончании лично Вашего непрерывного писательства?

**Б.:** Нет, никакого, ни малейшего. Потому что у меня нет представления даже об очередном романе, который я начинаю писать, я никогда не знаю, чем там все кончится. Потому при всем желании не могу знать, чем закончится мое писательство. Вполне возможно, что я к старости еще попробую силы в лирике, чтобы выразить себя совсем кратко. Но пока я этого не знаю.

**Л.:** И Вы никогда не задумываетесь о возможном конце Вашей писательской работы?

**Б.:** Нет, никогда. Наверно, я не делаю это из чувства внутренней самозащиты. Я ведь тоже пребываю как бы в непрерывном процессе писательства, даже когда не пишу — я тогда делаю разве что наброски, заметки для себя, но все это остается втуне, пока не придумается что-то новенькое, не придет какая-нибудь новая идея. Я думаю, писательство, настоящее писательство постепенно становится привычкой, чем-то само собой разумеющимся, — сам процесс письма, а не то, что пишешь; поэтому думать о том, где и когда остановишься, — нет, мне эта мысль просто не приходила в голову.

**Л.:** Неужели никогда не было мысли: «Все, хватит, здесь я поставлю точку, хватит»?

**Б.:** Нет, правда никогда. Наверно, потому, что писательство стало формой моей жизни, оно неотделимо от моего существования, боюсь, что, перестав писать, я просто умру, — это, конечно, звучит очень уж патетически, извините. С другой стороны, я ведь вот часто подумываю: господи, ну сколько же можно читать — наверно, еще лет пять, десять, нам ведь пришлось многое нагонять, слишком большой перерыв был в становлении, в образовании, просто в потоке информации. Но опять-таки чтение и письмо для меня вовсе не взаимоисключающие процессы, между делом, когда пишу, я читаю, причем всщи, которые ничего общего не имеют с моей текущей работой, никак ее не касаются. Так что единственной причиной прекращения работы могло бы стать только угасание физических и духовных сил.

**Л.:** Но ведь есть же этот фантастический образ последнего писателя на земле...

**Б.:** Последнего писателя? Хорошая идея. Никогда об этом не думал. И как же это подано?

**Л.:** Как одна из иллюстраций к кошмарному пророчеству Адорно: человечество, лишенное памяти...

**Б.:** Судя по некоторым симптомам, все к тому и идет, Вы правы. Кос-где иногда проявляется такое желание — жить без истории, отрицание истории. Но если память человечества отомрет — тогда, значит, все писатели станут утопистами. Предположим, она отомрет — тогда на арену выйдет роман о будущем,

который и сейчас норовит задавать тон, а если фантазии не найдется места в будущем — судя по всему, утопический, научно-фантастический роман вскоре выдохнется, в этой области уже просто трудно что-либо придумать и изобрести, там, по сути, уже царит скука, — тогда человечество снова откроет в себе способность к воспоминанию. Возможно, уже не в форме написанных книг, это другой вопрос; но литература будет существовать всегда.

Смерть последнего писателя... А что, красивый образ, но не думаю, что он осуществится. Я вижу скорее прямо противоположную картину: многие народы, целые континенты только начинают себя вспоминать, выходя из стадии песен, преданий, из устной традиции. Ведь мы пока что знаем литературу и с ней память лишь западноевропейскую — или общесвропейскую, в лучшем случае европейско-североамериканскую, но сейчас целые континенты постепенно начинают записывать свои воспоминания. Вполне возможно, что однажды и вправду останется последний европейский писатель, ведь мировая литература уходит от нас, оставляя нас на периферии. Но посмотрите, что творится, например, в Латинской Америке, на континенте, который с точки зрения литературы я считаю сейчас самым плодотворным, столько там всего произошло и происходит от Гватемалы до Аргентины и Чили, от Астуриаса до Сабато и Неруды\*, а сколько еще там за последнее время появилось молодых и зрелых авторов, молодых и зрелых литератур, — за последние пятьдесят — сто лет пробился такой родник, который не скоро иссякнет, который ничем не заглушить. Просто мы тут, в Европе, слишком привыкли, по-моему, смотреть на все нашими глазами, с точки зрения нашего относительного упадка.

**Л.:** Я тоже так считаю. Самые важные вещи пишутся сейчас за границей, уже не в Германии, в Европе еще кое-где, во Франции прежде всего. Клод Симон \*, например...

**Б.:** Не забудьте Россию, ведь мы большинства тамошних произведений даже и не знаем; в Советском Союзе, вероятно, есть сотни авторов, которые даже в «Самиздате» печататься не хотят, для них даже «Самиздат» слишком официален, как есть там и сотни художников, которых мы не знаем и узнаем, видимо, лишь много позже. Я думаю, тайная литература в Советском Союзе, которая в официальной прессе вовсе не появляется, которая, как я уже сказал, даже в «Самиздате» не печатается, еще изрядно нас поразит. Прежде всего поиском новых форм.

**Л.:** Если у Вас нет представления о Вашей будущей творческой биографии, то, наверно, Вы должны испытывать что-то вроде страха перед ней? Я имею в виду: успех, слава, Нобелевская премия — ведь все это, наверно, очень обременительно и мешает работе?

**Б.:** Страх, да. Страх перед — не скажу рутинной, но перед якобы покоренными вершинами мастерства. Этот страх во мне есть, и очень сильный. Я вполне могу себе представить, как в один прекрасный день подумаю: господи, все, что ты пишешь, — это же скука смертная, понимаете? Скука — для меня, и это решит все дело. Не то чтобы я считал себя большим мастером и великим умельцем. Но действительно может наступить миг, когда я сочту все, что пишу, просто не достойным интереса, не достойным сообщения. Я не представляю себе свою дальнейшую творческую судьбу, но это тоже один из ее вполне вероятных вариантов... Но куда больше я боюсь упадка сил — биологических сил, а вместе с ним — физической и духовной немощи.

**Л.:** Думаю, этот Ваш страх перед рутинной не имеет под собой никаких оснований. Ибо то, что я в Вас лично — скажу так — больше всего ценю и что меня постоянно в Вас удивляло, — так это то, что Вы на протяжении более чем тридцати лет сумели сохранить непринужденность. Что Вам это удалось. Под непринужденностью я имею в виду, что Вы никогда не держите себя под контролем, это делает для меня, да и не только для меня, особенно притягательными Ваши политические высказывания — на фоне всех этих надутых, заикающихся, официальных, неуклюжих и неестественных политиков и журналистов. Но непринужденность, безыскусность чувствуется и в Ваших книгах. Объясняется это, среди прочего, и тем, что Вы, прежде чем начать писать, не разрабатывали никаких теорий.

**Б.:** Слишком много теоретизировать или исследовать, прежде чем начинать писать, — в этом, действительно, толку мало. Это не вина, это беда, зачастую настоящая трагедия. Это как с актерами. Допустим, есть у актера природный талант, которому не нужна никакая особая выучка, не нужно ему долго втягивать, «внедрять в сознание» и «выводить из сознания», он и так самородок; а при слишком тщательной выучке есть опасность, что он эту природную непринужденность утратит и больше не вернет, и это трагическая ситуация... Что меня спасает, — нет, скажем так: что меня пока что держит на плаву, так это огромное желание писать, невероятное удовольствие, которое я получаю от писательства. Но этот образ — человека, который умеет сохранять непринужденность в официальной обстановке, на глазах общественности, — таит в себе и немалую опасность. Потому что в самом образе, в создании этого образа есть некая загадка, почти что с примесью магии: ты сам становишься подобием образа, созданного общественным мнением. И выбраться из этого образа очень трудно. Я то и дело пытаюсь, да не могу. Я действительно то и дело пытаюсь разрушить этот свой образ, иногда совершенно сознательно, делаю скачки и вправо, и вле-

во, — но у меня просто ничего не получается. Надеюсь, может через год-другой все-таки получится. Наконец-то спрятаться, уйти с арены и не появляться на ней в своем публичном качестве. Я считаю, что подобная жажда сотворять себе кумиров, искать образцы для подражания и находить их в людях, которых лично не знаешь, с которыми знаком лишь опосредованно, так сказать, через вторые или третьи руки, — по книгам, интервью или по другим публичным источникам, — это просто опасно для жизни. Опасно и для демократии, если здесь уместно это великое слово. Разумеется, я могу с кого-то брать пример, — но я должен хорошо знать этого человека, лично знать, чтобы наблюдать за ним длительное время в непосредственной близости, а следовательно, и иметь возможность отнестись к нему критически, но не думаю, что нужно создавать публичный образ человеку, которого знаешь только из вторых рук — пусть по его публичным выступлениям. Ни положительный образ, ни отрицательный. На мой взгляд, во всем этом есть что-то от феодализма: писатели, актеры, вообще люди творческого труда берут на себя роль, которую прежде играла, вероятно, знать, или высшее духовенство, или, допустим, какой-нибудь фельдмаршал...

**Л.:** Значит, Вы хотели бы скрыться от всех посторонних глаз?

**Б.:** Да, более того, стать неузнаваемым.

**Л.:** По-моему, так недолго и до мании преследования дойти.

**Б.:** Возникает потребность в убежище. А с другой стороны — это тоже необходимо сказать, — есть и потребность некоторые вещи высказывать или комментировать публично. Так что это очень противоречивое чувство. Ведь я же современник — страстный современник — и, разумеется, хочу высказывать свое мнение; но не в личине своего рекламного образа и не в качестве функционера, а просто как человек.

**Л.:** Позвольте мне еще кое-что заметить: о том, что писатель обязан, а часто и вынужден вмешиваться в действительность, в актуальную политику, — об этом, пожалуй, не стоит даже долго говорить...

**Б.:** Да, не стоит...

**Л.:** ...но ведь Вы и в этих своих вмешательствах сохраняете относительную непринужденность, вот что важно, на мой взгляд; потому что Вы ясно дали понять, что обозначенная Сартром проблема интеллектуала с грязными руками — не наша проблема, — хорошо, согласен, сейчас уже это не проблема Сартра, — я имею в виду, что нельзя при таких идеях сохранить руки в чистоте, — тут снова понятие «чистоты», — Вы ведь никогда в это не верили.

**Б.:** Но ведь я только так, лишь отчасти интеллектуал, я вижу себя прежде всего писателем, который лишь от случая к случаю публикует политические статьи или выступает с речами; а такой

писатель — он не всегда в чистом виде интеллектуал, который носитя по политической арене взад-вперед, мучаясь вопросом, грязные у него руки или нет и очень он из-за этого страдает или не очень. Мы ведь с вами говорили о том, как возникают персонажи романов, как пространство вокруг них заселяется другими людьми, говорили и о проблеме цельности и проблеме чистоты — и эта проблема из того же примерно ряда. Сартр ведь скорее философ и интеллектуал, начинал, во всяком случае, как интеллектуал; я же начинал иначе. Я понимаю Сартра. Но для меня этой проблемы не возникает, никогда не возникало. Ибо писательство, как я его понимаю и пытаюсь объяснить, само по себе грязная работа — именно потому, что чистоты и цельности нет, я к ним и не стремился и не доверяю этим понятиям.

**А.:** Но я-то хотел все это связать с Вашим участием в избирательной кампании за СДПГ, там-то, наверно, эта проблема время от времени возникала?

**Б.:** Да, в таком деле возможны всякие последствия. Тут эта проблема встанет серьезно. Когда я в определенной политической ситуации пытаюсь кого-то убедить или уговорить голосовать за ту или иную партию, это может повлечь за собой последствия, предугадать которые невозможно. Относительно персонажей моих романов я еще что-то могу предугадывать, хотя, например, предугадать, что повлечет за собой выход романа в свет, уже не могу. По-моему, это вообще одна из главных проблем любого писателя, неважно, как он работает, — в высокоинтеллектуальной манере или, наоборот, в конкретно-чувственной. Все равно ни один из нас не ведает, что может натворить своей книгой, — как в позитивном, так и в негативном плане. Для меня это действительно проблема, правда, не в том смысле, чтобы спрашивать себя, замараюсь я или нет, провинюсь или нет при той или иной акции, после того или иного высказывания. Возьмем хотя бы в качестве примера наше — наше — выступление за восточные договоры. Разумеется, тут возникает соучастие в ответственности — в том смысле, как это понимает Сартр. Но на это надо просто решиться, потому что возможность замарать руки — я не говорю, что мы их в данном случае замарали, — в этом деле такой риск действительно есть. Но в конечном счете это не так уж страшно. Во-первых, руки можно отмыть. Во-вторых, если по Сартру, — их даже нужно пачкать.

Самое опасное — и это, действительно, должно волновать каждого автора: он не ведает, какие силы приводит в движение каждой своей книгой, каждым фильмом, каждой пьесой; это ведь все неподконтрольно — и тут, действительно, возникает большая проблема. Например, у нас сейчас развернулась эта громкая и, как я считаю, демагогическая дискуссия о причинах эскалации насилия, в чем якобы мы, писатели, виноваты и к че-

му мы, возможно, и вправду причастны. Не прямо, не в том смысле, что мы кого-то призываем бросать бомбы, стрелять и похищать людей,— но, когда подумаешь, сколько у нас в стране доморощенных теоретиков и философов революции, к которым я себя не причисляю, но которых у нас предостаточно, и сколько они, возможно, всего натворили,— тогда становится немного жутко, потому что всякая написанная вещь, пусть даже это всего лишь социально-критический роман о браке, может вызвать у читателя, допустим у женатого мужчины или замужней женщины, такие мысли, которые затем, пройдя через третьи-четвертые или там пятые руки, повлекут за собой недоразумения или, скажем, просто будут искаженно выражены,— вот это, я считаю, куда серьезнее и важнее, чем вопрос, запачкаю или не запачкаю я себе руки какой-то акцией. Вот что надо бы как следует изучить. Конечно, я получаю домой письма от читателей, благодаря им я отчасти в курсе, но, странное дело, как правило, это пишут люди, у которых прочитанное вызвало положительный отклик, а вот читательские письма, публикуемые в прессе, наоборот, в большинстве своем отрицательные. Но литература в целом,— не каждый автор по отдельности, а вся литература, или, скажем так, современная литература, от Сартра до Артура Миллера\*, от Грасса до Солженицына,— какие силы она приводит в движение, что пробуждает в людях, внешне и внутренне,— это совершенно загадочно. И когда здесь, у нас, начинают разглагольствовать об идейных вдохновителях насилия, не худо бы отдавать себе отчет — в первую очередь политикам, которые заводят об этом речь,— что почти все памятники западной духовной культуры прославляют насилие. Возьмите Ветхий завет — пусть это и восточный памятник, но у нас на Западе он сыграл большую роль,— там же сплошь насилие, возвеличение насилия! А «Одиссея», а «Энеида»! Возьмите наипервейшее латинское чтение всех западноевропейских школьников, «Bellum Gallicum»<sup>1</sup>, в которых с бесподобным хладнокровием живописуется уничтожение целой культуры, кельтской культуры, и все это с холодным торжеством, на которое только этот Цезарь и был способен. Представьте себе — все в том же духе перемещения,— что христианство внедрили бы не римляне, а кельты? Да возьмите хотя бы «Песнь о нибелунгах» — великая, прекрасная вещь, но вся пропитана кровью и насилием! И даже такого, казалось бы, безобидного автора, как Фома Аквинский\*, который был фанатиком деловитости и — при жизни — вовсе не казался современникам таким уж ангелом кротости, и так далее, и так далее, вплоть до Альбера Камю и его повести «Посторонний», одной из прекраснейших книг, пришедших к нам после 1945 го-

---

<sup>1</sup> «Записки о галльской войне» (лат.).

да, удивительной книги, где насилие и убийство возникают из палящего солнца, абсолютно иррационально, но и реалистически, этому веришь и понимаешь... Сегодня, говоря о насилии, надо отдавать себе отчет в том, что было нашей духовной пищей, и тогда снова возникает проблема вины и грязных рук и опосредованного воздействия из пятых или шестых рук или по седьмому недоразумению; это все, конечно же, следует учитывать. Я как-то раз говорил о «насилии, которое хранится в банке». В таком контексте я могу понять проблему грязных рук. То есть я вижу ее вовсе не в прямом политическом вмешательстве, хотя, конечно, если пытаешься помочь какой-то партии — неважно, как она называется, — прийти к власти, то, несомненно, способствуешь и возможным злоупотреблениям власти, в местном или в более широком масштабе, ибо откуда мне знать, к чему и где это приведет, если победит СДПГ или ХДС, кто и где в результате лишится своего места, кого «спихнут» и начнут травить, понимаете? — тут проблема грязных рук может возникнуть очень скоро.

**А.:** Задержимся еще немного на проблеме насилия, поговорим о насилии в Ваших книгах. Из Ваших вещей меня больше других всегда интересовала одна, это не роман, не повесть и не рассказ, это радиопьеса «Неуловимые». Вы описываете в ней молодых людей, которые живут на острове, живут некоей утопической коммуной и совершают нападения на банки — наподобие группы Баадера — Майнхоф. Уже тогда вы предвидели то, что происходило потом у нас в стране в шестидесятые-семидесятые годы. Проблема насилия. Но кто вправе применять насилие? Это ведь один из ключевых вопросов в Ваших книгах. Например, в «Бильярде в половине десятого», там взрывают аббатство, а мать Фемслей стреляет в министра; ну, и, конечно, другая история — с армейским джипом, который сжигают, — и так далее. Ведь Вы лично никогда бы не одобрили насилие на практике. Каким же образом оно проникает в Ваши книги — пусть под видом публичного жеста, «выходки»?

**Б.:** Это не проблема насилия, это проблема конфликта, и с идейной позицией она не имеет ничего общего; в романе Беккета Моллой\* вступает в конфликт со своими камнями, которые он перетаскивает то туда, то сюда; Раскольников через весьма абстрактную идею власти и господства приходит к убийству старухи-процентщицы; в бульварных романах конфликты возникают из внешнего напряжения, в других — из внутреннего. Беккет, я считаю, увлекательней любого остросюжетного боевика. Литература — и не только она — изображает конфликты, так уж она устроена. А одобряю я лично насилие или нет, — это к делу мало относится, это, как я считаю, мещанские представления о чистоте, чистеньких руках и так далее. Я ведь даже не

знаю, какие дела делаются теми деньгами, что я храню в банке, что ими финансируется, на кого эти деньги «работают». Я веду машину, но не могу ручаться, что на следующем углу мне под колеса не вывалится пьяный, не выбежит ребенок, не попадет старушка,— по закону я буду «невинновен», но разве я не виноват в том, что пользуюсь таким опасным средством потенциального насилия, как автомобиль? И какой мне тогда прок от моей гарантированной законом «невинности» или невинности? А иногда автору приходится, как вот мне в упомянутой Вами пьесе, создавать или изобретать конфликты, чтобы — в этом и заключалась для меня суть эксперимента — выяснить, до каких пор следует хранить тайну исповеди. Я втягиваю людей в преступление, чтобы взвалить на священника все большее бремя и все большую потенциальную вину. А сколько насилия крестя — вспомним о Катарине Блюм — в таком слове, как «честь». Я ведь не только не могу устранить конфликты из этого мира — как автор я просто обязан их изображать, а иногда, если нужно, изобретать. Насилие — это большое, слишком большое слово; оно покрывает слишком много всего, а мы в большинстве случаев думаем только о бомбах и пистолетах, но никогда о тех, кто их производит и продает; и мы забываем, что в насилии такого рода, возможно, проявляется и разряжается иное, незримое насилие, чем бы оно ни было обусловлено — лично, психологически или системно и структурно; а стоит начать оценивать насилие с точки зрения интересов, сразу выясняется, что, видите ли, только насилие чилийской хунты можно оправдать, а всякое остальное — нет; вспомните о насилии крестьянских войн и о том, как потом восставшим крестьянам предложили кое-что, что сегодня мы бы назвали «fair trial»<sup>1</sup>, и чем это для крестьян кончилось!.. А кроме того, мне было важно показать в той пьесе вежливость участников. Разумеется, ограбление банка — дело не очень-то вежливое, но, так сказать, само исполнение дела вовсе не требует невежливости. Кстати, в этой связи мне подумалось: раз уж в наших парламентах заговорили о насилии, следовало бы немедленно запретить «Разбойников» Шиллера — и тем паче исключить их из школьной программы. А в той пьесе важно было показать, что насилие можно применять вежливо и в мирных целях, по-моему, мысль красивая и по-настоящему романтическая. Но тогда, когда я писал пьесу, меня волновала только проблема молчания священника...

**Л.:** ...который понимает мечту этой группы...

**Б.:** Да, отчасти. Проблема для меня была вот в чем: до какой степени возможно сотрудничество полиции и церкви, или в какой мере обязан священник, когда дело уже не касается тайны

---

<sup>1</sup> «Честный суд» (англ.).



исповеди, сотрудничать с полицией. Разумеется, тут нужно довольно тяжкое преступление. Мне-то сейчас совершенно ясно, что это конфликт романтического происхождения, как и роль священника в пьесе... Да по сути... Вы навели меня на мысль, я подзабыл эту пьесу, писал-то я ее давно...

**Л.:** В 1957 году.

**Б.:** В 1957-м?.. Да, если как следует разобраться, ведь это по сути почти что модель истории с «Тупамарос»\*.

**Л.:** Можно истолковать ее и так. Анархизм там, конечно, есть...

**Б.:** Ну да, сама идея: мы добываем деньги, чтобы иметь возможность жить в мире. Но изображение насилия — это вовсе не оправдание насилия, мы об этом уже говорили в связи с Катариной Блюм. Если бы все романы, рассказы, фильмы, радиопьесы и пьесы, где встречается изображение насилия — Шекспир, скажем, или Достоевский, — были призывом к насилию, тогда следовало бы просто запретить всю мировую литературу, или почти всю.

**Л.:** Но я повторяю вопрос: откуда жесты насилия в Ваших книгах, если сами Вы никогда бы не одобрили практического насилия?

**Б.:** В повести «Чем кончилась одна командировка» сожжение армейского джипа — это насилие против вещей как акт искусства; разумеется, чистая сатира или, если хотите, ирония, и, конечно же, призыв к искусству в таких его формах. Что вообще означает насилие? Мы, — и это, вероятно, печально — до сих пор не имеем исчерпывающего определения насилия, и что-то я не припомню ни одного философского исследования, где бы объяснялось, как духовное насилие оборачивается насилием физическим, — ну, например, насилие газетного заголовка, которое может спровоцировать настоящий разгул физического насилия вплоть до суда линча. Возвращаясь еще раз к той пьесе, — в ней, между прочим, все связано с войной, меня всегда удивляло и сегодня удивляет, что после войны, где миллионы мужчин миллионы, да что там, — миллиарды раз применяли насилие против людей и вещей, причем на легализованных, санкционированных основаниях, — что все это не повлекло за собой волну преступности, — именно эта мысль занимала меня и в пьесе, где кто-то говорит, мол, ребята, во время войны мы ведь делали то же самое; а когда ты солдат, в тебе ведь действительно воспитывают вора, просто называется это иначе, есть для этого всякие официальные наименования типа реквизиции и прочая ерунда, но суть-то одна: тяните что можно, если нечего есть — украдите, и так ведь и делается, и я тоже так делал, я действительно учился воровать, и воровал, не подвергаясь за это наказанию, понимаете?.. Другой пример, который вы назвали, «Бильярд в половине десято-

го» — там в форме насилия выражено политическое возмущение, возмущение именно против насилия и реставрации...

**А.:** Все это так, согласен, но на вопрос Вы, по-моему, не ответили: откуда изображение насилия в Вашем творчестве, если Вы на деле никогда бы его не одобрили?

**Б.:** Не знаю. Не знаю, можно ли считать это оправданием насилия. Что же делать, если возникают трения, конфликты, проблемы, они вызывают насилие — так в жизни, так и в литературе. Этот министр попросту спровоцировал старую женщину на выстрел, который, по сути, есть только попытка ответного насилия, — но тем не менее насилия...

**А.:** И кто же вправе применять насилие?

**Б.:** Изображение насилия в романе, конечно же, не есть моральное оправдание насилия, это просто конфронтация с проблемами и людьми, которые вызывают насилие, — конфронтация, но не оправдание. Изображая убийство, я же его не оправдываю, — я просто показываю людей в их конфликтах. И с какой стати литературе уклоняться от изображения феноменов и проблем, которых в противном случае общество с милой улыбкой постарается просто не заметить: уличное движение, семья, школа, брак, ограбление банков и сами банки — повсюду насилие; недавно в связи с банкротством банка мне попалась на глаза карикатура: кассир с автоматом в руках направляет из окошечка оружие на ничего не подозревающего клиента.

**А.:** Я к чему клоню: в Вас есть и нечто разрушительное, — с неизбежностью, как и в каждом писателе.

**Б.:** Тогда надо поговорить о разрушительном начале, о деструкции...

**А.:** Например, о том, что во всех своих книгах Вы пытаетесь разрушить надстройку.

**Б.:** Я бы сказал — разложить. Думаю, это связано со всем, что я говорил раньше о жизни, смерти, готовым и окончательным. В том, что мы сейчас назвали деструкцией и что объективно, вероятно, и является деструкцией, осуществляется желание сохранить жизнь или привести жизнь во все здание, в том числе и подвергнув сомнению надстройку. А жизнь ведь может возникнуть только благодаря разложению, — даже биологически это так, — разложение и разрушение надо рассматривать тут и как химический или, соответственно, физический процесс. Физики, вероятно, назвали бы это испытанием материала на прочность: материал — в этом случае авторитет или надстройка — подвергается проверке точно так же, как, допустим, металл подвергают воздействию химических реактивов или физическим нагрузкам; в литературе это языковое испытание на материале языка и материалом языка, — и, поверьте, выдерживает проверку лишь очень немногое; и тут — как и в случае с насилием —

опять-таки не вина автора, что в этом материале — в надстройке, в авторитете — выдерживает очень немногое; к тому же большинство авторитетов нам предписаны, как детям предписано есть суп. Хоть умри, а съешь! Вот оно-то, предписанное, предложенное — и подвергается проверке, кстати, это ведь тоже эксперимент.

**Л.:** Это присущая Вам анархия...

**Б.:** Возможно.

**Л.:** Видимо, ее можно объяснить и жизненным опытом...

**Б.:** Конечно, когда повидал на своем веку столько крахов, перестасшь доверять кажущейся незыблемости фасадов.

**Л.:** Анархия, которая выразится, например, и в Вашей утопии неучастия в гонке преуспевания?

**Б.:** Ну да, что человеку не следует зарабатывать больше, чем нужно для жизни. Для жизни, конечно, многое может понадобиться, но гробить жизнь в погоне за вещами, которые при ближайшем рассмотрении не нужны... впрочем, это каждый сам должен решать.

**Л.:** По сути, еще одна романтическая утопия.

**Б.:** Романтическая, но осуществимая; есть ведь много людей, которые для себя эту утопию уже осуществили, они зарабатывают ровно столько, сколько им действительно нужно, чтобы жить своей жизнью, иногда даже позволяя себе роскошь, — роскошь ведь понятие относительное, пора, наконец, пересмотреть эти идиотские представления о роскоши и потреблении, в которых господствуют клише и штампы, роскошь очень относительная вещь. Для меня, например, самая большая роскошь, которую я себе довольно часто позволяю, — это выкроить время. Да, я знаю, это роскошество, потому что у большинства людей времени нет вовсе, но чтобы позволить себе эту роскошь, я просто отказываюсь от некоторых работ, на которых мог бы заработать деньги.

## Третий день

**Л.:** Сегодня утром я еще раз заглянул в Ваши «Франкфуртские лекции». Неприязнь пемцев к провинциализму, к повседневности, которые, по сути, и есть социальное и гуманное, — неприязнь эта сама по себе провинциальна, так Вы тогда написали. В тех лекциях Вы пытались растолковать эстетику гуманного, оперируя понятиями, которые встречались и в этой нашей беседе: жилье, еда, сон, питье, прогулки, но еще и вина, раскаяние, искупление, благоразумие, — понятия, которые не стали социальными, а тем паче политическими категориями. В этой связи мне вспомнилась одна Ваша фраза, сейчас не помню точно, откуда, но где-то она мне встретилась: «Мы не можем вечно

существовать диалектически». По-моему, все, что Вы написали,— попытка пояснить эту фразу. Неблагополучие Ваших персонажей, их асоциальность, уязвимость их позиций—за всем этим ощущаются первоосновы Вашей морали...

**Б.:** ...которая, с другой стороны, сопряжена с тем, о чем мы говорили вчера: о жизни и смерти. Скажем так: жизненная мораль включает в себя все те вещи, которые Вы только что перечислили, а именно жилье, еду, питье, беседу, сон, любовь,— но без жестокости так называемой витальности, которая всегда столь опасна. Я не доверяю этому понятию витальности, которое обычно употребляется в безоговорочно положительном смысле и которое можно — и нужно — перевести как «жизненная сила» или «сила жизни». Не думаю — это тоже в известной мере утопично с моей стороны,— что, живя и предаваясь всем вышеупомянутым занятиям, обязательно нужно ущемлять жизнь другого человека. Таково, примерно, мое представление о морали. Оно утопично, потому что ситуации борьбы, вообще конфликты, чей-то сон и чей-то беспокойство, чья-то еда и чей-то голод беспрерывно сталкиваются друг с другом даже в простейших вещах, в простейших вещах особенно. Просто в нашем высокоиндустриализованном обществе эта борьба и эта конкуренция никогда не проступают явно, в открытую никто ни у кого ничего не отнимает, никто никого не ущемляет, из-за чего эта агрессивность как бы совершенно абстрактна; когда она проявляется открыто, это еще гуманно, относительно гуманно.

**Л.:** Но как сделать все эти вещи общественными категориями?

**Б.:** По-моему, это действительно почти трагедия немцев: мы учимся всему, чему только можно, дома и в школе, но мы не учимся жить. Радость жизни, радость обыденного, хотя бы радость завтрака,— мы все исхитряемся себе испортить подспудными деловыми мыслями: дела на сегодня, дела вообще... Жизнь сама по себе как бы не признается ценностью, а следовательно — и совместная жизнь, жизнь с другими; как будто во всем на свете должен быть еще и какой-то высший смысл, пусть даже столь убогий, как абстрактная идея заработка, выколачивания денег... Жизнь как таковая деформирована. По моим впечатлениям, в других странах, во Франции например, это не так, да и в Италии, и в Англии. Разумеется, и там люди должны работать, тоже должны, скажем так, бороться, но они в большей мере живут сегодняшним днем, не заняты постоянным обеспечением будущего, которое все равно ведь никому неизвестно. Не подумайте, будто я упрекаю немцев. Тут все дело в их истории: немцы ведь всегда были очень бедный народ, всегда жили с опаской и с оглядкой, то и дело впутываясь в войны, то и дело разоряясь после войн, так что все это не вопрос вины или невиновности,—

это их стремление обеспечить не только собственное будущее, но и будущее детей, и будущее внуков, оно вполне объяснимо.

**А.:** Но при этом, вероятно, возникает и накапливающаяся агрессивность?

**Б.:** Конечно, но агрессивность именно потому и возникает, что люди теряют ощущение жизни как таковой, утрачивают связь с простейшими ценностями жизни. Вообще-то ничего плохого нет, если человек строит планы на будущее: что надо сделать в ближайшие годы, как устроить детей, что будет с семьей и т. д. Но немцам будущее представляется все более абстрактно, они норовят подменить его гарантией уверенности и благополучия, хотя такие гарантии невозможны, и поэтому все больше отрываются от первооснов жизни.

**А.:** Отсюда, наверно, и Ваша мысль, что люди, не «выпадающие из нормы», как бы и не люди, как бы и не живут.

**Б.:** Да, понятие «выпадения из нормы»... В нашем обществе ведь очень многое считается ненормальным, по крайней мере в глазах большинства. В том числе и люди — многие считаются ненормальными, как в социальном, так и в юридическом смысле. Хотя бы, например, те, кто не живет по стандартам, предписанным модой. Стать «ненормальным», стать аутсайдером очень легко — достаточно не быть постоянно «на уровне», в чем хотите: мебель, одежда, житейские привычки и так далее. Таким вот образом наше — но не только наше — общество беспрерывно плодит новых и новых аутсайдеров, то есть людей, в которых все видят только отбросы, хлам, и вот они-то, на мой взгляд, и являются важнейшим объектом литературы, вообще искусства. Потому что, формулируя от противного: те, кто «в норме», и не живут по-настоящему. Не живут в том смысле, в каком мы говорили об этом вчера: эта постоянная готовность «быть на уровне», быть как все, всегда в чистоте, всегда «в порядке», всегда готовым к предъявлению — в этом смысле и в контексте настоящего, как я считаю, гигиенического террора, осуществляемого рекламой. При этом начисто забывается, что, конечно же, чистота и мытье — вещи вполне житейские и очень человеческие, но что для многих людей они раньше были — а для многих и сегодня еще остаются — настоящей роскошью. Я не ратую, конечно, за то, чтобы люди ходили грязными, неухоженными и больными, проблема совсем не в том. Суть проблемы, пожалуй, еще ярче проступает в насаждаемом гигиеническом культе «человека без запахов». Но вдумайтесь: человек, от которого ничем не пахнет, — плохо он там пахнет или хорошо, это уж дело вкуса, — это ведь неживой человек, мертвец. И если дальше пойти по этой линии, Вы легко поймете, что все это напрямую связано с нашим перфектным обществом, обществом абсолютно без юмора, где

господствует культ «прсвосходного», «отменного» и «наисовременного».

**Л.:** А теперь в дело идут и вовсе дешевые трюки, когда негодных людей, если нет возможности спорить с ними по существу, превращают в паршивых овец с помощью усиленной персонализации. Это неприкрытая форма террора. Напомню Вам о Вашем же судебном процессе против журналиста Маттиаса Вальдена, когда шпрингеровская газета «Ди вельт» в репортаже о судебном процессе, помещенном, кстати, в колонке редакционного комментария, написала о том, что Вы, дескать, явились в зал суда в мешковатом костюме. Это же самый настоящий террор! А недавно мне попался в руки пресловутый «Дойчланд-магазин», так там уже всерьез размышляют о Вашем нижнем белье.

**Б.:** Да, это полный абсурд. Абсолютное безумие. Но это помогает понять то, что я как раз хотел объяснить. Люди, которые пишут такие вещи, всроятно, понятия не имеют о том, что я писал о выпадении из нормы. Но сами поставляют нагляднейшие доказательства моих тезисов. Когда уже не к чему больше придаться, когда все аргументы против меня давно исчерпаны и затрепаны до дыр, а я, несмотря ни на что, все еще жив,— значит, надо попробовать оклеветать меня с этой стороны, намекнуть, что от меня, мол, возможно, плохо пахнет или что костюм на мне плохо сидит. Меня это, честное слово, ничуть не задает, скорее изумляет как некий поразительный феномен: оказывается, идейные и политические споры можно свести к домыслам о не вполне корректном внешнем виде оппонента. Таким вот образом у нас и фабрикуется «ненормальность». И я подозреваю, что очень многие, не имеющие моей степени свободы, чтобы более или менее независимо все это переносить, подвергаются самой настоящей травле — и в небольших чиновничьих конторах, и на солидных предприятиях. Это полная дикость и абсолютно бесчеловечно. Для социологов, философов или феноменологов тут широчайшее поле исследования. И сколько бы всего выявилось!

**Л.:** Это непрерывное стремление перейти на личности будет, конечно, продолжаться и дальше...

**Б.:** Ясное дело, тут уж не приходится строить никаких иллюзий. Приведу только еще один пример: когда Солженицына выдворили из СССР и он приехал к нам в Айфель, следом тут же набежала целая орда журналистов, и нам пришлось опустить жалюзи на окнах, гардин у нас там нет, при тамошних добрых соседях в этом нет никакой надобности. А журналисты толкались под самыми окнами, ведь им хоть что-то нужно было разузнать, ну, мы и опустили жалюзи, и большинство журналистов отнеслись к этому с пониманием. Но, как назло, опять-таки газетчи-

ки из «Ди вельт», только из «Ди вельт», больше ниоткуда, стали подглядывать в щели и обнаружили, что в одной из комнат, на их вкус, неподходящие обои, о чем они и написали. Представляете? Я специально говорю об этих мелочах, чтобы наглядно проиллюстрировать это мышление, эту философию «ненормальности». Сразу после приезда Солженицына нам в дом стали посылать цветы, огромные букеты со всех концов страны, по моему, чуть ли не семьдесят букетов, ну, и жена потом их расставила в стеклянные банки,— чем ее несмеленно попрскнули; само собой, так и хочется спросить у этих господ, которые все это написали: «А у вас дома найдется сразу семьдесят цветочных ваз?» Понимаете? И только шпрингеровская пресса. Остальные журналисты вели себя вполне корректно и тактично, ясное дело, они понимали, каково этим Бёллям приходится,— Солженицын, из России, да еще как снег на голову, словом ... понятно, да? Но шпрингеровские люди— нет, тем надо было обязательно подглядеть — хоть в щелку, хоть в замочную скважину. Не помню уж точно, что они там еще у нас обнаружили. По моему, ножки наших кресел их не устроили, старомодные, этим креслам уже лет пятнадцать. Представляете? Вот это я и называю «синдромом ненормальности». А теперь представьте себе людей, не имеющих нашей свободы и независимости, которые зарабатывают свои деньги не в таком отрыве от общественных установлений, как мы,— что можно с ними сделать, во что превратить? И все это с помощью смехотворных мелочей! Вот вам и истоки асоциальности. Я привел эти примеры, чтобы наглядней показать сам этот образ мыслей...

**Л.:** К тому же, как мне кажется, этим людям приписывают репутацию чуть ли не преступников...

**Б.:** Конечно. У нас нет законов, которые предписывали бы ту или иную одежду, но несоблюдение негласных норм— в одежде, внешнем виде, во многих других вещах — чревато опасностью прослыть почти что преступником против законов, которых нет ни в каком кодексе: нет закона, который предписывал бы, как должен сидеть на мне костюм или как должны быть начищены мои ботинки. Объектом общественного презрения, отторжения от общества поначалу, если помните, были юнцы с длинными волосами; а потом длинные волосы вошли в моду. Это стало особым шиком, понимаете? Но сотни тысяч молодых людей в маленьких, больших и средних городах, в школах и в ремесленных училищах успели за это время из-за своих длинных волос столько всего натерпеться. Вот так — из-за нелепых, абсурдных, донельзя искусственных стандартов моды — людей превращают чуть ли не в преступников.

**Л.:** Вас тоже частенько объявляли «преступным элементом» — вероятно, это связано с тем, что все, что Вы писали и пи-

жете, как бы излучает и защищает эту «неправильность» и асоциальность, это как бы главная тема Вашего творчества.

**Б.:** Ну да, мне знаком этот упрек — дескать, и я, и другие авторы, мы не отражаем в своих работах «большую жизнь». Упрек нелепейший и смехотворный. Ибо «большая жизнь» повсюду одинакова и повсюду одинаково скучна. И другой упрек — в том, что я питаю пристрастие к изображению «маленьких людей», хотя никто еще не удосужился объяснить, каких людей надо считать великими и в чем состоит величие. И так далее, и тому подобно. Да, я, безусловно, причисляю себя к маленьким людям и подозреваю, что ярость тех, кто норовит выставить меня «преступным элементом», объясняется как раз тем, что по среднестатистическим параметрам я, конечно же, человек зажиточный и зарабатываю много денег, иногда, и к тому же знаменит,— но при этом пренебрегаю обязанностью одеваться «с иголочки» и вообще выглядеть так, как полагается выглядеть пресуспевающему автору в представлении обывателя, понимаете? Их это, вероятно, провоцирует и злит еще больше: может себе позволить, но пренебрегает и расхаживает в мешковатом костюме,— что, кстати, даже и не соответствует действительности.

Да, это тема, о которой почти ничего не написано, над которой толком еще никто и не задумался; не в том, что касается меня лично, а в том, что касается одежды, манеры одеваться; самое любопытное в этих «поэтах замочной скважины», как мы их дома прозвали,— не их обывательская, мещанская мелочность, а их отношение к себе самим: какая чушь у них в голове? Какими штампами они мыслят, и кто фабрикует эти штампы? Попробуйте продумать это до конца. Тут такая схема выстраивается, что жуть берет.

**Л.:** И эта тенденция «припечатывания» неугодных, очевидно, будет усиливаться?

**Б.:** Наверняка, обратите внимание хотя бы на то, как, в каком виде у нас фотографируют подозреваемых лиц и как потом публикуют эти фотографии,— подчеркиваю, подозреваемых, не преступников, одного подозрения достаточно, подозрение уже становится доказательством виновности; а раз так, подозрение надо подкрепить внешним видом, тут все взаимосвязано, и это очень эффективная модель.

**Л.:** Кстати, мне сейчас пришло в голову,— это ведь и к лексике человека тоже относится, например к Вашей лексике: Вам не могут простить, что Вы — писатель, к тому же нобелевский лауреат,— публично употребили слово «дерьмовый».

**Б.:** Ну да, это Вы о той речи в Берлине... Это было импровизированное выступление, в котором я один раз употребил слово «дерьмовый» --- почему-то всех это страшно переполошило. Опять-таки я нахожу, что с точки зрения феноменологии это



крайне интересно, как достаточно интересны с этой точки зрения и рассуждения деятеля ХДС Карстенса о парламентских манерах. Господин Карстенс считает, что употреблять грубые слова и ругательства нехорошо, вот только сам он — правда, с отличным аристократическим прононсом — беспрерывно клеветает и подстрекательствует. В то время как Венер, к примеру, — прямая ему противоположность. Он ругается, он прямо говорит: «Вы — свинья», или что-то еще в том же духе. Я считаю, в таких случаях ругательства и крепкие выражения куда человечней, куда непосредственней, тут по крайней мере нет доносительства. Ругательство, оскорбление — это ведь достаточно очевидная вещь, это квалифицируется как оскорбление словом, и тут можно защищаться, обратиться в суд. Но вот эта, с аристократическим прононсом, в надменно-поучительных тонах, клевета на всю СДПГ как на якобы антиконституционную партию — она, на мой взгляд, куда хуже, и тут мы снова подходим к проблеме стиля и пресловутой «нормальности»: клевету, оказывается, можно спрятать в изысканных оборотах элегантной речи, тогда как простодушный Венер, которого я, кстати, считаю замечательным оратором, то и дело «выходит за рамки», что, по-моему, куда человечней, да и симпатичней. Вы сами можете сопоставить все это с проблемой одежды и вообще с проблемой выпадения из нормы во всех других сферах.

**Л.:** Не связано ли все это в свою очередь с извращенным представлением об эмоциональности? Испытывать да и изъевлять чувства — в этом ведь нет ничего плохого...

**Б.:** Тут мы подошли к очень важному пункту. Изъевлять эмоции — у нас это считается чуть ли не признаком болезни, а если посмотреть, в какой связи, в каком контексте людей упрекают в излишней эмоциональности, — тут вообще откроются удивительные вещи. Помню, на телевидении была как-то дискуссия о кредиторах Гершгатта\*, то есть о людях, у которых попросту украли их сэкономленные сбережения, у некоторых — сбережения всей их жизни, у других — пожизненную ренту, которую они вложили в дело. Их обокрали, обманули, отняли «плоды их труда» только потому, что они делали то, к чему их все и всячески призывали: они сэкономили — чтобы построить себе домик или еще на что-нибудь. И разумеется, эти люди были взволнованы, их можно понять. И что же им теперь заявляют? Давайте отбросим эмоции! Вы представляете? Я вот сейчас пырну Вас ножом в руку, а потом скажу: давайте без эмоций. Это все из той же сферы насилия. Той своеобразной — еще никем как следует не изученной — формы насилия, когда вас попросту облапошивают, а вы не смеее даже «эмоционально реагировать», а если из 100 марок вам вернули 65, так вы еще будете прыгать от радости до потолка, потому что у вас *не все* отняли.

А теперь представьте себе нечто противоположное: попытайтесь вы облапошить банк, допустим, хотя бы на 35% от двух тысяч марок — у вас отнимут все, из трех электрических лампочек по суду две конфискуют, одну, правда, оставят, позволив вам — и обязав вас — работать; и конечно же, когда судебный исполнитель приходит к вам вывинчивать эти две лампочки — хоть в большинстве случаев он делает это без всякого энтузиазма, — это ведь тоже можно считать насилием; но вы по отношению к банку не только не имеете права применить насилие, — вам еще предлагают «отбросить эмоции». У вас силой отнимают не только деньги, но и ваши чувства.

Эта философия антиэмоциональности опять-таки прямо сопряжена и с террором гигиены «без запахов», с культом «ажура» и так далее... По сути, все это признаки смерти. Человек без эмоций — мертвый человек. Ибо если у тебя есть эмоции, значит, тебя что-то затрагивает, трогает, что-то тобою движет, ты способен чувствовать, волноваться — а все это считается аномалией, болезнью. При таком подходе, разумеется, всякий эмоциональный человек и всякое изъятие эмоций воспринимается как крайняя степень ненормальности.

**Л.:** А ведь без эмоциональности невозможна и рациональность...

**Б.:** Само собой, это очевидно: нельзя научиться думать, если тебя ничто не способно тронуть, расшевелить. Само слово — расшевелить — об этом свидетельствует. Но подумайте, к чему это может привести, так сказать, в последствиях: идет суд, бракоразводный процесс, расторжение брака — и все это должно происходить «без эмоций»; рожать и растить детей — тоже без эмоций... Только представьте себе этот мир, начисто лишенный эмоций, — это же царство мертвых, сплошное мертвое царство, где вместо людей могут спокойно обитать роботы. Это все из той же сферы нормального и ненормального.

**Л.:** Как и фантазия.

**Б.:** Фантазия — с точки зрения «нормы» это тоже опасная для жизни и, значит, отнюдь не поощряемая способность, которая, к сожалению, довольно долго подвергалась профанации со стороны некоторых крайне догматичных левых. Хотя без фантазии невозможно познать действительность, фантазия и эмоциональность тесно взаимосвязаны — как раз в том, что касается речи и письма.

**Л.:** Ко всему кругу этих проблем относится, конечно же, и мораль. Мы эту тему уже затрагивали, когда говорили о том, что писатель у нас в стране считается моральной инстанцией. Но сейчас, если не ошибаюсь, наметилась совсем иная тенденция: писателей упрекают в притязаниях на моральный авторитет. Хельмут Шельски\* совсем недавно назвал Вас «кардина-

лом и мучеником». Этот упрек, конечно, не относится в полной мере...

**Б.:** ...позвольте мне сразу сказать: кардиналов, как известно, назначают, а кроме того, у каждого кардинала есть свой аппарат, настоящий аппарат власти, тогда как у писателя, сколь бы известным он ни был, нет даже причетчика; у господина Штрауса, к примеру, имеется одно, а по сути, почти два, можно сказать, придворных издательства, в которых его причетчики и прелаты орудуют и клеветуют вовсю. А кардиналов-самозванцев не бывает; и что-то не припомню, чтобы я себя когда-либо таковым провозглашал. В том, что общественное мнение, общество да и государство не вырабатывают моральных инстанций, которые бы чувствительно реагировали на происходящее,— как во Франции с ее традициями моралистов, где это само собой разумеется, там случаются жаркие схватки, и борьба идет яростно, но определенные моральные предпосылки по-прежнему не утрачены, а у нас их нет, поэтому, конечно же, всякий, кто время от времени выступит с позиций морали или моралиста, мигом становится моральной инстанцией, пусть даже в одиночку, хотя в одиночку какой же человек в силах представлять инстанцию,— вот это, я считаю, гораздо тревожней. Да, есть это крылатое изречение о «совести нации», которой будто бы обязаны быть Грасс, я и еще кое-кто,— я считаю, это безумный и к тому же опасный бред; совесть нации— это ее парламент, ее конституция, ее законодательство и ее правосудие, заменить все это мы не можем и даже ни о чем таком не помышляем. Поэтому «кардинал и мученик»— формулировка хотя и весьма остроумная и отчасти даже точная в отношении той роли, которую мне и другим попросту навязали, но отражает она в высшей степени недемократические тенденции, в развитии которых я лично не чувствую за собой никакой вины, как нет в том и вины других авторов. Так что я искренне благодарен господину Шельски за то, что он разрушает этот мой «имидж», такой мой публичный образ. Но вместе с тем ему стоило бы задуматься, как подобные образы возникают, почему человеку, который по профессии всего лишь писатель, могут навязать такую роль и почему его со всех сторон призывают эту роль на себя взять. Я не хотел ее на себя брать. Возможно, моя ошибка в том, что, не дав втиснуть себя в роль кардинала и мученика, я тем не менее позволил навязать себе другую— роль современника, который от случая к случаю комментирует происходящие вокруг него события, причем на свой лад,— и тогда возникают подобные инстанции. Я рад, что больше не обязан такую инстанцию представлять. А что до мученика, то я себя таковым не ощущаю; но и этот образ, а может, образчик, создан только для того, чтобы постоянно мазать его дерьмом, понимаете?

Вообще же я считаю, что название книги господина Шельски — «Работу делают другие» — неточное название, ибо работы у нас достаточно, и мы ее делаем. Можно спорить о результатах нашей работы, но делать мы ее делаем, и притом не только свою, но и чужую: поинтересуйтесь как-нибудь в министерстве иностранных дел, какая внешнеполитическая работа нами проделана.

А социолога такого ранга и такой эрудиции, как господин Шельски, по-моему, должна бы интересовать не моя персона, а то, как мы докатились до жизни такой. Ведь тут не в том дело, что какой-то писатель — или два, три писателя — просто взял и заграбастал моральный авторитет. Тут хуже: значит, место авторитета пустовало или, быть может, освободилось. Значит, авторитет или влияние не исходит от тех, кому положено их испускать. И получается, что этот авторитет почти автоматически перешел на эту горстку людей, которые время от времени «высказываются по вопросам». И вот это, я считаю, куда тревожней. И меня вместе с господином Шельски тревожит тот факт, что такие — весьма хлипкие и неблагонадежные — силы, как писатели и вообще интеллигенты, дорвались до постов моральных авторитетов. Вот что самое интересное.

**Л.:** Можно считать — так я Вас понимаю, — что это упадок общественного мнения?

**Б.:** Да. Я, правда, не чувствую себя моральным авторитетом.

**Л.:** Но ведь писатели, безусловно, всегда и моралисты. Что само по себе, я считаю, неплохо, плохо другое — когда морализм становится формой господства, а тот, кто высказывается по вопросам морали, по-моему, всегда стремится к господству, хочет быть властителем дум. Ведь мораль — это всегда приговор, она содержит в себе приговор.

**Б.:** Морализм в моем понимании — это не форма господства, а форма выражения. Понимаете? Вопрос в другом: каким образом писатели достигают этого приписываемого им господства...

**Л.:** Так ли уж совсем «приписываемого»?

**Б.:** Тут Вы меня не сообразите: в такой полноте — безусловно, приписываемого. Разумеется, кое-какие притязания есть, но не на господство. Употребляя само слово «господство» — подумайтесь в него, — нельзя не знать, что господство — это власть, а у властителя имеется аппарат помощников. У него есть парламент — по крайней мере в XX столетии в большинстве стран он есть; — есть законодательные и исполнительные органы власти, есть правосудие и органы правосудия; в такой ее форме власть недоступна ни одному человеку творческого интеллектуального труда. Единственное, что он может, — это про-

тивопоставлять свою мораль, свои моральные принципы окружающей действительности, и тогда могут возникнуть трения и конфликты, но осуществлять господство, быть властителем — в смысле реальной, практической власти — он абсолютно не в состоянии, и это правильно, я считаю, так и надо.

Упадок общественного мнения, раз уж мы о нем заговорили, и упадок общественного контроля — вот главные причины того, что интеллигенты, писатели и прочие люди подобного сорта обрели в обществе вес, который никогда не соответствовал и никогда не будет соответствовать их реальной власти. И вот в этом, я считаю, намечается серьезная проблема, и я лично вижу тут большую опасность. Общественное мнение попросту перестало срабатывать. Приведу один пример: оправдание на суде врача-эвтаназиолога доктора Борма. Это же вообще неслыханное дело. Вот когда всем моральным авторитетам надо было бы криком кричать — не ради того, чтобы непременно упрятать этого господина Борма за решетку, тут дело не в отмщении, а... скажем так: если конференция католических епископов разглагольствует о защите жизни и принимает решение, осуждающее эвтаназию, «умерщвление из милосердия», — то когда же, как не в этот момент, этим епископам, а заодно и учреждениям протестантской церкви надо было бить тревогу? Если такое преступление, как это, остается безнаказанным и общественное мнение молчит, — что ж, тогда и выходят на сцену эти чудаки-интеллигенты, столь немилые сердцу господина Шельски, выходят и протестуют. В данном конкретном случае мне вместе с группой друзей просто пришлось поместить в ряде газет извещение, за публикацию которого мы платили сами. Так вот мы и образовали моральную инстанцию. Понимаете? Что же делать, если другие инстанции не срабатывают. В этом случае не срабатывает даже постоянно превозносимый авторитет церковей. Вот и объявляются чудаковатые интеллигенты и думают, господи, этого же нельзя оставлять просто так, давайте опубликуем извещение — не совместную резолюция, не письмо, которое редакция, чего доброго, захочет подсократить, — просто извещение, и сами оплатим публикацию. Господину Шельски следовало бы задуматься, почему все, кому положено печься о морали, — все теологи ФРГ, католические, протестантские и иудаистские, — все социологи и философы ФРГ не видят тут тревожного симптома... Так и возникают авторитет и притязания, к которым мы вовсе не стремимся. Если государственные инстанции не обладают достаточной чувствительностью, чтобы осознать, насколько ужасен подобный оправдательный приговор, если ни одна церковь и ни одна партия, ни СДПГ, ни ХДС, ни Свободная демократическая партия не находят мужества сказать: нет, так не пойдет, — и подать конституционный протест или, не

знаю, еще что-то предпринять,— тогда и возникнет эта вот пустота, абсолютный вакуум общественной морали, и, разумеется, возникают замещающие их инстанции вроде тех, что описаны господином Шельски; но ему надо бы не обвинять этих людей, которые, возможно, даже против воли взяли на себя такую роль, а вдуматься, проанализировать само общество и его общественное мнение, которые этой моральной инстанцией не обладают.

**Л.:** Тут есть и еще одна опасность, в Вашем случае, на мой взгляд, особенно очевидная: чем больше в Вас видят моральную инстанцию, тем меньше видят в Вас писателя; писателя Генриха Бёлля все больше ассоциируют с его публичными заявлениями, нежели с его книгами, книги забываются за политическими декларациями.

**Б.:** Да. И меня это мало-помалу начинает беспокоить. Ведь главный мой труд — это романы, рассказы и так далее, дело и впрямь может обернуться так, как Вы сказали. Это все опять-таки связано с тем, о чем я только что говорил: становишься одновременно и моральным, и аморальным авторитетом, для одних — моральным, для других — аморальным. Я не хочу этой роли, по мне куда лучше, если бы все это образовывалось демократическим путем, внутри церквей, внутри партий, в среде интеллигенции, на собраниях профессоров, политиков, протестантских и католических священников, писателей и так далее; и если бы таким путем создать, ну, скажем, некий орган по контролю общественной морали, это было бы куда лучше, чем то и дело взваливать такую миссию на отдельных лиц... Сами посудите: в сегодняшней газете я с утра опять прочел, что господин Биденкопф из ХДС выразил сожаление, мол, Грасс и я до сих пор не высказали своего отношения к похищению Лоренца. Сами видите, какой это бред. Всякий, кого они об этом спросили и все политики тоже, — ответил: отвратительно, омерзительно, ужасно. Само собой разумеется, что и писатели — а писатели вроде Грасса, меня или еще кого-нибудь уж наверняка — считают похищение и шантаж действиями в высшей степени преступными. А непрерывное повторение очевидных истин — это ведь, я считаю, разрушение морали. Нет, правда. Так разрушится мораль. Так неужели же мы непрерывно будем твердить самоочевидные вещи? Понимаете? Господин Биденкопф навязывает нам моральный авторитет, провозглашает нас — в том же духе, что в Шельски, — кардиналами. Он говорит: как же так, вы, два кардинала, ничего не сказали, — между прочим, католическая церковь тоже ничего не сказала, и, опять-таки между прочим, никого из этих людей, столь обеспокоенных ростом авторитета писателей, да и вообще никого ничуть не волнует, когда человека объявляют убийцей, даже не доказав его причаст-

ность к преступлению. Все это, по-моему, совершенно абсурдно и крайне опасно, и тут я, возможно, к большому его удивлению, полностью согласен с господином Шельски. Но я-то ждал от него анализа причин. Это ведь не какая-нибудь узурпация с нашей стороны, не можем мы узурпировать власть, даже если бы очень захотели, не можем, письменный стол, пишущая машинка да телефон, — для захвата власти этого как-то маловато, Вы не находите? Вот что господину Шельски следовало бы изучить, а не нападать на наши «неправильные позиции», которые мы заняли, которые нам навязали, возможно, против нашей воли. Да, ну, а возвращаясь к Вашему вопросу — конечно, не худо бы снова начать судить о писателях прежде всего по тому, что они пишут. Как это, кстати, и делается в других странах.

**Л.:** Значит, эта сторона вопроса все-таки Вас беспокоит?

**Б.:** Ясное дело, конечно, беспокоит. Когда общественность только и ждет момента, чтобы поймать тебя на идейной ошибке или даже просто неточной формулировке. Когда от писателя требуется непогрешимость, на которую сам он вовсе не претендует. Зато за всякую погрешность немедленно... понимаете? Сразу дают по мозгам. Это ведь тоже симптом упадка общественной морали, да и общественного контроля.

**Л.:** И как же их восстановить?

**Б.:** Я уже дал понять, как это можно сделать. Газеты, а также специальные общественные группы — от различных партий, от церквей — должны взять на себя эту задачу.

**Л.:** Газеты? Но ведь в них наблюдается прямо противоположная тенденция: как можно меньше о сути дела и как можно больше выпадов против отдельных лиц...

**Б.:** Да, конечно, и все же газеты — тоже возможный вариант. А писатели, безусловно, не могут выполнить эту миссию. У них нет для этого и необходимого инструментария, понимаете? У меня ведь нет своей домашней газеты, как у господина Штрауса, у которого их целых две. Как же мне «осуществлять господство», коли у меня нет никаких рычагов власти? Кстати, страна, в которой правила бы писатели и прочие интеллигенты, правила бы только с помощью пишущих машинок и телефонов, — это была бы нищая страна...

Именно это, кстати, я и имел в виду, когда сказал однажды, что мы не можем вечно существовать диалектически. Не могу я вечно реагировать только опровержением, я не ограничиваюсь тем, чтобы опровергнуть доводы господина Шельски на основе диалектики, которая, вполне возможно, у меня на такой случай имеется. Нет, я понимаю его озабоченность положением вещей, которое и меня самого беспокоит, и я рад, что он разрушает этот мой пресловутый публичный образ. Вот это я и имею в виду, когда говорю, что нельзя вечно жить диалектически, то есть в по-

стоянном отрицании, неприятии другой точки зрения, в постоянном возражении, поддавливая противника на несообразностях и внутренних противоречиях.

Это связано с еще одним обстоятельством, которое крайне меня тревожит: у нас в стране, по существу, нет консервативных сил. Консерватор, а не левый или там левый либерал,— консерватор должен протестовать, когда молодой человек получает десять лет тюрьмы за случайный пистолетный выстрел. Понимаете, именно консерватор — на основе своих консервативных правовых убеждений.

Вероятно, есть и еще один изъян — по причине все той же почти диалектической раскладки: это то, что у нас называют пропастью между ХДС и интеллигенцией. Вероятно, обеим сторонам следовало бы чаще и теснее общаться друг с другом, чтобы этот разрыв не усугублять. Я имею в виду вовсе не завоевание политических симпатий на сторону какой-либо партии, не мобилизацию сил на очередную избирательную кампанию,— это все относительно, второстепенно, это скорее дело десятое. Но положение, сложившееся сегодня, после похищения Лоренца, когда террористов, анархистов и коммунистов ставят на одну доску, когда все валят в одну кучу,— это положение свидетельствует об огрублении интеллектуальных клеток на стороне ХДС, а это чревато опасными последствиями. Это значит, опять понадобятся козлы отпущения, и таковыми опять будем мы. Помоему, тут мы допустили ошибку, упрощенно говоря,— то есть я-то сам в большинстве случаев принимал все приглашения к диалогу от деятелей ХДС; но сейчас, по-моему, самое время, теперь уже той, другой стороне попытаться разведать настроения в интеллектуальных кругах. К тому же сейчас для этого самый подходящий момент, ибо, конечно же, многие интеллигенты склонны к оппортунизму и пытаются приспособиться, но те, кто пытается приспособиться из оппортунистических побуждений, как раз наименее интересны, они всегда наименее интересны, такие приспособленцы и среди левой молодежи, и даже среди левых радикалов тоже наименее важны и наименее интересны.

**Л.:** Видимо, можно сказать — если формулировать в таких категориях,— что раньше Вам было свойственно ярко выраженное дуалистическое мировоззрение. Вы стремились провести четкую границу между добром и злом, и в наметках я все еще нахожу это разграничение в Ваших книгах. Например, Лени, она ведь недаром статична, как Вы сами сказали, и эта ее статичность знаменательна. В свое время Вы использовали образ буйволов и агнцев...

**Б.:** Дуалистическое? Вообще-то сам я так не считаю. Я-то скорей считаю себя сторонником триединства,— не в чисто аб-



страктно-теологическом смысле, а в смысле конкретной третьей возможности, третьего пути — и политического тоже. Третий путь — это, разумеется, и моральная возможность. Возьмем такой пример: брак и проституция, эта дуалистическая модель, с помощью которой западный мир пытался разрешить свои эротические и сексуальные проблемы, — как мне кажется, без особого успеха; потому что одно постоянно переходило в другое, потому что и то, и другое крайне ненадежно. Можно сколько угодно спорить о проституции, о ее идеализации или, наоборот, дезидеололизации или, там, ее романтизации, — но никто не разубедит меня в том, что это явление разрушительное.

**Л.:** В каком смысле?

**Б.:** Проституция разрушает любовь, сексуальность, эротику, а в конечном счете и человека, который ею пользуется, неважно, в каком качестве — потребителя или поставщика. А ведь были попытки основывать большие семьи или, там, не знаю, еще что-то, были еще в раннехристианские, еще в дохристианские времена... Как раз постоянно прокламируемая дуалистическая система — добро и зло, брак и проституция, приличие и неприличие, честность и нечестность, — на мой взгляд, непригодна, не знаю, удалось ли мне это показать.

**Л.:** А как же упомянутый образ буйволов и агнцев?

**Б.:** Сейчас я бы им не воспользовался, нет. Тогда это была вспомогательная конструкция, взятая применительно к совершенно определенному историко-политическому фону; при этом «буйвол» для меня — это скорее что-то вроде Гинденбурга, — но никак не Гитлер! — а «агнцы» — это жертвы. Но сейчас я бы не смог провести это дуалистическое разделение, к тому же, помимо, я всегда пытался разглядеть и показать нечто третье. Но надо прямо сказать, ничто не подвергается столь яростным нападкам реакционной прессы и общественного мнения, как именно это третье. Но если представить или вспомнить, что в истоках нашей христианской культуры заложено именно триединство, что мы, скажу так, в триединстве задуманы, — тогда в осуществлении этой модели нам наверняка чего-то недостает — в том, что касается брака, любви, проституции, эротики, сексуальности и всех этих вещей. Как в плане половых отношений, так и политических. Возьмите капитализм и социализм: ни то, ни другое не существует уже в чистой форме, но — это бросается в глаза — и капиталистические, и социалистические державы там, где они обладают властью системы, более всего ненавидят именно третье, неважно, как оно выражено — смутно и приблизительно или отчетливо, как в Чехословакии в конце шестидесятых.

Нет, я правда не считаю себя дуалистом. Вероятно, мне недостает философских, аналитических и системных способностей или усердия, чтобы выразить это как-то иначе, нежели

в форме романов и рассказов... Но я действительно не ощущаю себя дуалистом, и даже более того, в дуализме я чувствую причину того диалектического существования, о котором я недавно говорил в том смысле, что оно нам больше не поможет и не пригодится. Можно вечно искать и находить противоречия, приписывать кому-то противоречивость или провоцировать ее, и все же я верю, что эту дилемму возможно разрешить посредством третьего пути — в любом плане и в любой области.

**А.:** То, что Вы сказали о третьем пути как политической и моральной возможности, по-моему, возвращает нас к началу нашего сегодняшнего разговора и вообще к исходным пунктам нашей трехдневной беседы. Все это время у меня в голове брезжил вопрос, который связан с тем, что мы говорили об изображении «маленьких людей» и о провинциализме, о политической и литературной ситуации не только в Германии, но и в Европе, Африке, Латинской Америке; он связан и с тем, что Вы говорили о родине и чувстве неоседлости, о некоем и тяге к путешествиям. Дело вот в чем: Вы живете здесь, в Кёльне, и никогда не покидали Кёльн, всегда возвращались сюда; а с другой стороны, Вы ведь постоянно, скажем так, возвращаетесь в большой мир, то и дело разъезжаете по свету. В Ваших книгах и в Вашей жизни есть и то, и другое: провинциализм и интернационализм, как политический, так и литературный. Как это совмещается? И где, в чем?

**Б.:** Думаю, в связи с этим вопросом о «большом мире» и «маленьких людях» есть смысл поговорить о понятии «экзотика»; мне думается, в любой маленькой деревушке — в Мексике, на Урале или в Индии — мир полон, не в смысле благополучия, а в смысле целостности, он представлен полностью — во всей своей проблематичности и хрупкости, уязвимости; разумеется, повсюду есть свои — обусловленные климатом, местностью, административным положением, расовыми и социальными особенностями — вариации и различия, но не существенные. Проблемы, которые обыватель представляет себе как проблемы большого мира и больших людей, — а мы сейчас говорим именно об этом, — это, как правило, проблемы скуки, зачастую искусственные и поверхностные, и разрешаются они, как правило, тоже поверхностно — а именно с помощью денег, — или с помощью насилия. В этом плане все местное, даже мелкорегionalное и есть, по сути, подлинно интернациональное. В Советском Союзе, например, такой роман, как «Глазами клоуна» — роман сугубо рейнский, укорененный в рейнском духе и рейнском колорите, — тем не менее очень хорошо поняли. Все местное, региональное оказалось информативно интересным, а структура общества-лабиринта, где человек обречен биться головой об стены либо попасть на вертел к Минотавру, — эта структура оказалась

интернациональной. А роскошный отель в Сан-Франциско, Тель-Авиве или Стокгольме, разумеется, комфортабелен, но эти отели повсюду одинаковы. Повсюду вы найдете все тот же кусочек мыла в ванной, все тот же или примерно схожий стандартный набор блюд на завтрак. Мне думается, и в роскошных виллах все как в отеле, потому что роскошные отели задуманы как подобие роскошных вилл.

*1975*

# Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести

*Персонажи и сюжет этой повести вымышленные. Если при описании определенных журналистских приемов обнаружится сходство с приемами газеты «Бильд», это сходство не преднамеренное, не случайное, но неизбежное.*

## 1

Нижеследующий отчет основан на нескольких побочных и трех главных источниках, которые будут названы сразу, чтобы потом о них больше не упоминать. Главные источники: полицейские протоколы допросов, адвокат д-р Хуберт Блорна, а также его друг со школьных и студенческих времен прокурор Петер Гах, который — разумеется, доверительно — дополнил протоколы допросов, разъяснил некоторые меры следственных органов и сообщил результаты расследований, не фигурировавшие в протоколах; сделал он это — необходимо добавить — не для официального, а для сугубо частного использования, так как очень близко принял к сердцу скорбь своего друга Блорны, который не знал, чем все это объяснить, но считал, что, «если хорошенько подумать, это вполне объяснимо и даже почти логично». Поскольку дело Катарины Блюм все равно останется более или менее сконструированным — ввиду поведения обвиняемой и очень трудного положения ее защитника, д-ра Блорны, — некоторые мелкие, по-человечески очень естественные некорректности, допущенные Гахом, не только понятны, но и простибельны. Побочные источники — одни более, другие менее значительные — здесь незачем упоминать, ибо их запутанность, перепутанность, пристрастность, сопричастность, сомнительность и убедительность выявятся из самого отчета.

## 2

Если отчет — поскольку здесь много говорилось об источниках — порой покажется «растекающимся», читателю приносятся извинения: это было неизбежно. Так как мы имеем дело с «источниками» и «тескучеством», говорить о композиции не

приходится, может быть, вместо нее следовало бы прибегнуть к понятию «сведение» (в качестве замены предлагается иностранное слово «кондукция»), и это понятие было бы доступно всякому, кто когда-либо ребенком (или даже взрослым) играл в лужах, возле них или с ними, соединял их каналами, опорожнял, отводил, переводил, пока наконец не *сводил* все имеющиеся в его распоряжении водно-лужные ресурсы в единый канал, чтобы отвести или перевести его на более низкий уровень, в изготовленный официальными властями сточный желоб или канал, — причем надлежащим порядком, по правилам, как полагается. То есть производится лишь своего рода дренаж, или осушение, — ничего более. Чистейшее наведение порядка. Так что, если местами повесть станет «растекаться» — из-за разницы уровней, — читателя просят быть снисходительным, ведь бывают же, в конце концов, застои, заторы, обмеления, несудачные кондукции и источники, «не могущие соединиться», а кроме того, и подземные течения и т. д., и т. д.

### 3

Факты, которые, наверное, следует изложить прежде всего, жестоки: в некоем городе, в среду 20.02.1974, в канун предшествующего великому посту карнавала, молодая женщина двадцати семи лет в 18.45 отправляется из своей квартиры на частный танцевальный вечер.

Спустя четыре дня после — приходится выразиться именно так (указывая тем самым на необходимую для течения разницу уровней) — драматического развития событий, в воскресенье вечером, почти в то же самое время, точнее говоря — в 19.04, она позвонит в дверь квартиры старшего комиссара уголовной полиции Вальтера Мёдинга, который как раз занят тем, что по служебной, а не личной надобности пересодвается шейхом, и даст опшломснному Мёдингу официальные показания для занесения в протокол, что в полдень, в 12.15, она застрелила в своей квартире журналиста Вернера Тётгеса; пусть он распорядится взломать дверь ее квартиры и «забрать» оттуда тело; сама она с 12.15 до 19.00 бродила по городу, чтобы почувствовать раскаяние, но никакого раскаяния не почувствовала; кроме того, она просит ее арестовать, она хочет находиться там, где находится ее «дорогой Людвиг».

Мёдинг, который знает молодую особу по различным допросам и питает к ней некоторую симпатию, ни минуты не сомневается в ее показаниях, отвозит ее на своей собственной машине в управление полиции, уведомляет своего начальника, главного комиссара уголовной полиции Байцменне, велит отвести моло-

дую женщину в камеру, через четверть часа встречается с Байцменне у двери ее квартиры, где специально обученная команда взламывает дверь, и убеждается в правильности показаний молодой женщины.

Здесь не следует много говорить о крови, ведь только *необходимая* разница уровней должна считаться неизбежной, и потому читатель отсылается к телевидению и кино, к соответствующим босвикам и мюзикам; если здесь что и потечет, то не кровь. Может быть, следует указать на определенные цветовые эффекты: застреленный Тётгес был одет в импровизированный костюм шейха, сметанный из весьма ветхой простыни, а каждый ведь знает, что может натворить красная кровь на белой ткани, если того и другого много; пистолет в таком случае неизбежно становится почти что краскораспылителем, и поскольку в случае с костюмом речь идет о *полотне*, то ссылки на современную живопись и декорации здесь уместнее, чем на дренажи. Ладно. Таковы, стало быть, факты.

#### 4

Был ли жертвой Блюм также и фотокорреспондент Адольф Шённер, найденный, тоже застреленным, в перелеске западнее веселившегося города лишь в среду на первой неделе великого поста, считалось некоторое время не исключенным, но после того, как восстановили хронологическую последовательность событий, было признано, что это «не соответствует фактам». Один таксист позднее показал, что он подвозил персидского тоже шейхом Шённера вместе с персидетой в костюме андалузки молодой особой как раз к тому перелеску. Но Тётгес был застрелен уже в воскресенье днем, а Шённер — лишь во вторник днем. И хотя скоро было установлено, что орудие убийства, найденное около Тётгеса, никак не может быть оружием, из которого убит Шённер, Блюм несколько часов находилась под подозрением — из-за мотива преступления. Если у нее были причины мстить Тётгесу, то по меньшей мере столько же причин у нее было мстить Шённеру. Но чтобы Блюм имела два пистолета — это следственным органам показалось все же маловероятным. Своим кровавым злодеянием Блюм совершила с холодным расчетом; на вопрос о том, не убила ли она и Шённера, она дала уклончивый ответ в форме вопроса же: «А почему бы и не этого?» Однако потом ее перестали подозревать в убийстве Шённера, тем более что проверка алиби почти полностью доказала ее невиновность. Никто из тех, кто знал Катарину Блюм или узнавал ее в ходе следствия, не сомневался, что, совершив она убийство Шённера, она бы непременно призналась. Во всяком случае, таксист, подвозивший парочку к перелеску («Я, скорее, назвал бы это заро-

слями кустарника», — сказал он), не узнал на фотографиях Блюм. «Господи, — сказал он, — эти хорошенькие стройные шатенки ростом 1,63—1,68 в возрасте 24—27 лет — да их тут в карнавалы дни бегает сотни тысяч».

В квартире Шённера не нашли никаких следов Блюм, никаких следов андалузки. Коллеги и знакомые Шённера могли лишь сказать, что во вторник около полудня из пивной, где собираются журналисты, «он смылся с какой-то гульёной».

## 5

Один высокопоставленный учредитель карнавала, виноторговец и представитель фирмы шампанских вин, который мог похвастать, что возродил юмор, облегченно вздохнул в связи с тем, что оба преступления стали известны только в понедельник и среду. «Случись такое в начале праздника, и хорошему настроению вместе с торговлей конец. Если люди узнают, что переодевания использовали для уголовных дел, настроения сразу же испортятся, и торговле крышка. Это чистое кощунство. Легкость и веселье требуют доверия, это их основа».

## 6

После того как стало известно об убийстве двух ее корреспондентов, ГАЗЕТА повела себя несколько странно. Неслыханный переполох! Крупные заголовки. Титульные полосы. Специальные выпуски. Сообщения о смерти огромными буквами. Словно в мире, где стреляют, убийство журналиста — это нечто из ряда вон выходящее, более важное, к примеру, чем убийство директора, служащего или грабителя банка.

Этот факт сверхвнимания прессы здесь следует отметить, потому что не только ГАЗЕТА, но и другие газеты действительно подали убийство журналиста как нечто особенно ужасное, страшное, почти predetermined, чуть ли не как ритуальное убийство. Говорили даже о «жертве профессии», и сама ГАЗЕТА, конечно, упрямо держалась версии, будто Шённер тоже жертва Блюм, и если приходится признать, что, будь Тётгес не журналист (а, скажем, сапожник или пекарь), его, вероятно, и не застрелили бы, то надо все же попытаться выявить, не правильнее ли говорить о смерти, обусловленной профессией, ибо ведь будут еще разбираться, почему такая умная и сдержанная особа, как эта Блюм, не только запланировала, но и осуществила убийство — в решающий, сию самую избранный момент не только схватилась за пистолет, но пустила его в ход.

Поднимемся сразу же с этого крайне низкого уровня в более высокие сферы. Довольно о крови. Забудем волнения прессы. Квартира Катарина Блюм убрана, ставшие непригодными ковры выброшены на помойку, мебель протерта и расставлена по местам — все по распоряжению и за счет д-ра Блорны, получившего полномочия от своего друга Гаха, хотя пока совершенно неизвестно, будет ли Блорна распорядителем имущества.

Как-никак эта Катарина Блюм за пять лет вложила в квартиру общей стоимостью в сто тысяч марок семьдесят тысяч наличными, так что, как выразился ее брат, в данное время отбывающий небольшой срок заключения, «тут есть чем поживиться». Но кто тогда выплатит проценты и оставшийся долг в тридцать тысяч, даже если учесть довольно значительное подорожание квартир? Остается не только актив, но и пассив.

Тётгес тем временем давно похоронен (с неподобающей pompой, по мнению многих). Смерть же и похороны Шённера, как ни странно, были обставлены с куда меньшей пышностью и сенсационностью и не привлекли такого внимания. Почему бы это? Потому, что он был не «жертвой профессии», а, скорее всего, жертвой ревности? Костюм шейха хранится в складе вещественных доказательств, равно как и пистолет (08), происхождение которого ведомо только Блорне — полиции и прокуратуре выяснить это не удалось.

Расследование действий Блюм в те четыре неясных дня поначалу шло на лад, но, когда дошло до воскресенья, дело застопорилось.

В среду пополудни Блорна самолично выплатил Катарине Блюм жалование за две полные недели — по 280 марок за каждую, за текущую неделю и за следующую, — так как в среду пополудни он вместе с женой уезжал на зимний отдых. Катарина не просто обещала Блорнам, она прямо-таки поклялась, что наконец возьмет отпуск и будет развлекаться на карнавале, а не наймется, как делала все эти годы, на сезонную работу. Она радостно сообщила Блорнам, что вечером приглашена на небольшой домашний бал к своей крестной, подруге, близкому другу Эльзе Вольтерсхайм, чему она очень рада, так как давно уже не имела случая потанцевать. На что госпожа Блорна ей сказала: «Ничего, Катринхен, вот когда вернемся, мы тоже устроим вечер, и ты сможешь потанцевать». С тех пор как она живет в городе, вот уж пять или шесть лет, Катарина все жаловалась на



отсутствие возможности «куда-нибудь просто пойти потанцевать». Как она рассказывала Блорнам, тут были только лачуги, где какие-то жалкие студенты искали бесплатных шлюх, да еще богемного типа заведения, в которых тоже одно беспутство, а профессиональные танцевальные мероприятия она просто не надела.

Как было установлено, в среду пополудни Катарина еще два часа проработала у супругов Хиперц, которым она время от времени по их просьбе помогала. Так как Хиперцы тоже на дни карнавала уезжали из города — к дочери в Лемго,— Катарина в своем «фольксвагене» отвезла пожилую чету на вокзал. Хотя и трудно было найти место для машины, она настояла на том, чтобы проводить их на перрон, да еще и вещи отнесла. («Не за деньги, нет, за такие одолжения нельзя было даже предлагать ей что-нибудь, это ее глубоко обидело бы»,— объяснила госпожа Хиперц.) Поезд, как установлено, отошел в 17.30. Если 5—10 минут дать Катарине на то, чтобы в начинающейся карнавальской сутолоке найти свою машину, еще 20 или даже 25 минут, чтобы доехать до своей квартиры, которая расположена за городом в лесном жилом массиве и в которую она, таким образом, могла войти только в 18.00—18.15, то не остается ни одной невыясненной минуты, да еще надо дать ей время помыться, переодеться и перекусить, ибо уже в 19.25 она появилась на вечере у госпожи Вольтерсхайм, причем съехала туда не на машине, а на трамвае и одета была не бедуинкой и не андалузкой, а просто с красной гвоздикой в волосах, в красных чулках и туфлях, в закрытой блузке медового цвета и обычной юбке из твида того же цвета. Может показаться несущественным, съехала Катарина на вечер в своей машине или трамвае, но здесь об этом сказать необходимо, так как в ходе расследования это имело немаловажное значение.

## 9

Начиная с того момента, как Катарина вошла в вольтерсхаймовскую квартиру, вести расследование стало легче, ибо с 19.25 она, не подозревая об этом, находилась под полицейским наблюдением. Весь вечер, с 19.30 до 22.00, она танцевала, как позднее выразилась в своих показаниях, «самозабвенно и исключительно» с неким Людвигом Гётеном, вместе с которым и покинула квартиру.

## 10

Здесь необходимо принести благодарность прокурору Петеру Гаху, поскольку одному лишь ему мы обязаны сообщением,

граничащим с разглашением юридической тайны, о том, что с момента, когда Блюм вместе с Гёттеном покинула квартиру Вольтерсхайм, комиссар уголовной полиции Эрвин Байцменне распорядился прослушивать телефоны Вольтерсхайм и Блюм. Это сделано способом, достойным, пожалуй, сообщения. В таких случаях Байцменне звонил соответствующему начальнику и говорил: «Мне опять понадобились мои язычки. На сей раз— два».

## 11

Из Катарининой квартиры Гёттен, очевидно, не звонил. Во всяком случае, Гах ничего об этом не знал. Известно, что квартира Катарини находилась под строгим наблюдением, и когда в четверг утром до 10.30 Гёттен оттуда не звонил и не выходил, в квартиру ворвались начинавший терять терпение и выдержку Байцменне с восемью вооруженными до зубов полицейскими, прямо-таки взяли ее штурмом, обыскали, строжайше соблюдая меры предосторожности, но нашли не Гёттена, а только «совершенно расслабленную, почти счастливую» Катарину, которая стояла у кухонного серванта и пила из большой чашки кофе, жуя белый хлеб, намазанный маслом и медом. Подозрительно было лишь то, что она казалась не ошеломленной, а спокойной, «чуть ли не торжествующей». Она была в купальном халате из зеленой хлопчатобумажной ткани с вышитыми по ней маргаритками, под халатом на ней ничего не было, и когда комиссар Байцменне спросил («довольно грубо», как она потом рассказывала), куда подевался Гёттен, она ответила, что не знает, в какое время Людвиг покинул квартиру. Она проснулась в 9.30, а он уже ушел. «Не попрощавшись?» — «Да».

## 12

Здесь следует кое-что сказать о том в высшей степени щекотливом вопросе Байцменне, который Гах однажды воспроизвел, потом опроверг, потом снова воспроизвел и вторично опроверг. Блорна считает этот вопрос важным, ибо думает, что если он действительно был задан, то именно он, и ничто другое, положил начало озлоблению, стыду и ярости Катарини. Поскольку Блорна и его жена характеризуют Катарину Блюм в сексуальных вопросах в высшей степени щепетильной, можно сказать, неприступной, надо взвесить, *мог ли* Байцменне, впавший в ярость из-за исчезновения Гёттена, которого он мысленно держал уже в руках, задать тот щекотливый вопрос. Байцменне *якобы* спросил вызывающе спокойно прислонившуюся к своему серванту Катарину: «А он тебя употребил?», на что Катарина, по-

краснев, но с гордым торжеством, будто бы ответила: «Нет, так я бы это не назвала».

Можно с уверенностью предположить, что, *если бы* Байцменне задал этот вопрос, никакого доверия между ним и Катариной возникнуть не могло бы. Но тот факт, что доверия между ними действительно не установилось, хотя Байцменне, слышущий «совсем не таким уж дурным человеком», по достоверным сведениям, стремился к этому, вовсе не следует рассматривать как окончательное доказательство того, что одиозный вопрос действительно был задан. Во всяком случае, Гах, присутствовавший при обыске, слышит среди друзей и знакомых «сексуально озабоченным», и вполне возможно, что ему самому пришла в голову такая грубая мысль, когда он увидел чрезвычайно привлекательную Блюм, небрежно прислонившуюся к серванту, и что он сам охотно задал бы тот вопрос или охотно занялся бы с ней столь грубо названной деятельностью.

13

Затем квартира была тщательно обыскана, некоторые предметы конфискованы, в первую очередь бумаги. Катарине Блюм разрешили одеться в ванной в присутствии женщины — служащей полиции Плецер. Но дверь ванной оставалась приоткрытой — под строжайшей охраной двух вооруженных полицейских. Катарине позволили взять с собой сумочку и — ввиду возможного ареста — принадлежности ночного туалета, косметичку и книги для чтения. Ее библиотека состояла из четырех любовных романов, трех детективных романов, а также биографий Наполеона и королевы Кристины Шведской. Все книги принадлежали одному клубу любителей книги. Поскольку она то и дело спрашивала: «Но как так, как же так, что я такого сделала?», служащая уголовной полиции Плецер в конце концов в вежливой форме сообщила ей, что Людвиг Гёттен — давно разыскиваемый бандит, почти изобличенный в ограблении банка и подозрительный в убийстве и других преступлениях.

14

Когда наконец в 10.15 Катарину Блюм уводили из ее квартиры на допрос, наручники на нее все же не надели. Байцменне, правда, склонен был настоять на наручниках, но после краткого диалога между служащей Плецер и его ассистентом Мёдингом согласился обойтись без них. Поскольку в этот день начинался карнавал, многочисленные обитатели дома не пошли на работу, но и на ежегодные, подобные древнеримским торжествам, шествия, празднества и т. п. они еще не отправились, и, когда Ка-

тарина Блюм, сопровождаемая вооруженными полицейскими, с Байцменне и Мёдингом по бокам, выходила из лифта, в вестибюле десятиэтажного дома с малогабаритными квартирами толпилось десятка три жильцов в капотах, пижамах, купальных халатах, а в нескольких шагах от лифта стоял фоторепортер Шённер. Ее много раз фотографировали — спереди, сзади, сбоку, а напоследок, когда она, сгорая от стыда, в смятении пыгалась прикрыть лицо руками, занятыми сумочкой, косметичкой, пластиковым пактом с двумя книжками и письменными принадлежностями, — с растрепанными волосами и весьма сердитым выражением лица.

15

Полчаса спустя, после того как ей напомнили о ее правах и дали возможность немного привести себя в порядок, в присутствии Байцменне, Мёдинга, госпожи Плецер, а также прокуроров д-ра Кортена и Гаха начался допрос, внесенный в протокол: «Меня зовут Катарина Бреттло, урожд. Блюм. Я родилась 2 марта 1947 года в Геммельсбройхе, округ Куир. Мой отец — горнорабочий Петер Блюм. Он умер, когда мне было шесть лет, в возрасте тридцати семи лет, вследствие легочного ранения, полученного на войне. После войны отец снова работал в сланцевом карьере, и у него подозревали пневмокониоз. Когда он умер, у матери были трудности с пенсией, потому что отдел обеспечения и объединение горняков не могли прийти к соглашению. Мне очень рано пришлось начать работать по домашнему хозяйству, потому что отец часто болел и зарабатывал нерегулярно, а мать работала уборщицей в разных местах. Учеба в школе давалась легко, хотя и в школьные годы мне приходилось много заниматься домашним хозяйством, не только дома, но и у соседей, и у других жителей нашей деревни, — я помогала печь, варить, консервировать, забивать скот. Я много работала по дому и помогала при уборке урожая. С помощью моей крестной, госпожи Эльзы Вольтерсхайм из Куира, я после окончания школы в 1961 году получила место помощницы в мясной лавке Герберса в Куире, где при случае работала и за прилавком. С 1962 по 1965 год я училась в школе домоводства в Куире — с помощью и при финансовой поддержке моей крестной, госпожи Вольтерсхайм, работавшей там мастером-воспитателем; школу я окончила на «отлично». С 1966 по 1967 год я работала экономкой в детском саду продленного дня фирмы «Кёшлер» в соседнем местечке Офтерсбройх, затем получила место домашней работницы у врача, д-ра Клутена, тоже в Офтерсбройхе, где оставалась только год, потому что господин доктор становился все более назойливым, а госпожа доктор не желала этого терпеть.

Мне эта назойливость тоже не нравилась. Она была мне противна. В 1968 году, когда я несколько недель была без работы и помогала матери по хозяйству, а при случае --- на собраниях и вечеринках корпорации барабанщиков в Геммельсбройхе, мой старший брат Курт Блюм познакомил меня с рабочим-текстильщиком Вильгельмом Бреттло, за которого через несколько месяцев я вышла замуж. Мы жили в Геммельсбройхе, где в выходные дни при большом наплыве отдыхающих я время от времени помогала на кухне гостиницы Клоога, иногда и в качестве официантки. Уже через полгода я стала испытывать неодолимую антипатию к своему мужу. Подробней я не хотела бы говорить об этом. Я оставила мужа и пересекла в город. При разводе я была признана виновной стороной как злонамеренно бросившая мужа и снова взяла девичью фамилию. Сначала я жила у госпожи Вольтерсхайм, пока через несколько недель не нашла место экономки и домашней работницы в доме налогового инспектора д-ра Фенерна, где я и жила. Господин д-р Фенерн дал мне возможность посещать вечерние курсы повышения квалификации и сдать экзамены на дипломированную экономку. Он был очень мил и очень великодушен, и я осталась у него и после сдачи экзаменов. В конце 1969 года господина д-ра Фенерна арестовали в связи с сокрытием имущества от обложения налогами, обнаруженного у крупных фирм, на которые он работал. Прежде чем его увели, он дал мне конверт с трехмесячным жалованьем и просил меня и впредь присматривать за домом; он скоро вернется, сказал он. Я оставалась еще месяц, обслуживала его сотрудников, которые работали в его конторе под надзором налоговых инспекторов, держала в чистоте дом и в порядке сад, заботилась и о белье. Я всегда приносила в следственную тюрьму свежее белье для господина д-ра Фенерна, а также еду, в особенности арденнский паштет, который научилась готовить у мясника Герберса в Куире. Позднее контору закрыли, дом конфисковали, мне пришлось освободить комнату. По-видимому, господина д-ра Фенерна обвинили также в присвоении имущества и подлогах, он попал, уже по-настоящему, в тюрьму, но я продолжала его навещать. Я хотела вернуть жалованье за два месяца, которое оставалась ему должна. Он строго-настрого запретил это. Очень скоро я нашла место в доме д-ра Блорны, с которым познакомилась через господина Фенерна.

Блорны занимают бунгало в поселке Зюдштадт, расположенном в парке. Хотя мне предлагали там жилье, я отказалась: я хотела быть независимой и работать по своей специальности как человек свободной профессии. Супруги Блорны были очень добры ко мне. Госпожа д-р Блорна помогла мне - она работает в большом архитектурном бюро - купить собственную кварти-

ру в городе-спутнике на юге, рекламируемом в проспектах под девизом «Элегантная обитель у реки». Господин д-р Блорна, как юрист, консультирующий промышленные фирмы, госпожа д-р Блорна, как архитектор, были знакомы с проспектом. Вместе с господином д-ром Блорной мы высчитали стоимость, проценты и размеры постепенного погашения долга за двухкомнатную квартиру с кухней и ванной на восьмом этаже, и, так как 7 тысяч марок сбережений у меня было, а на 30 тысяч марок кредита супруги Блорна дали поручительство, я смогла уже в начале 1970 года въехать в свою квартиру. Мой минимальный месячный взнос вначале составлял около 1100 марок, но поскольку супруги Блорна не вычитали у меня за питание, госпожа Блорна каждый день даже совала мне какую-нибудь еду и питье, я могла жить очень экономно и погашать свой кредит даже быстрее, чем мы сперва рассчитали. Четыре года я веду у них хозяйство, мой рабочий день начинается в семь утра и заканчивается в 16.30, когда я управляюсь с уборкой, покупками, приготовлением ужина. Я забочусь также обо всем белье. Между 16.30 и 17.30 я занимаюсь собственными домашними делами и потом еще 1,5 - 2 часа обычно работаю у пенсионеров Хиперцев. За работу в субботу и воскресенье я в обоих домах получаю дополнительную оплату. В свободное время я при случае работаю у ресторатора Клофта или помогаю на приемах, вечерах, свадьбах, званых обедах, балах, чаще всего как нанятая на свободных началах экономка с оплатой за всю работу в целом, на свой риск, иной раз по поручению фирмы «Клофт». Я занимаюсь калькуляцией, организацией, при случае работаю кухаркой или официанткой. Мои доходы брутто в среднем составляют 1800 - 2300 марок в месяц. В финансовом управлении я считаю себя человеком свободной профессии. Налоги и страховки я выплачиваю сама. Все эти вещи — налоговые декларации и т. п. — мне составляют бесплатно в конторе Блорны. С весны 1972 года я владею «фольксвагном» выпуска 1968 года, который мне продал по сходной цене работавший в фирме «Клофт» повар Вернер Клормер. Мне стало трудно добираться общественным транспортом до различных, к тому же меняющихся мест работы. С машиной я получила возможность работать на приемах и празднествах, проводившихся в отдаленных отелях».

16

Эта часть допроса продолжалась с 10.45 до 12.30 и — после часового перерыва — с 13.30 до 17.45. В обеденный перерыв Блюм отказалась от кофе и бутербродов с сыром за счет полицейского управления, и усиленные уговоры явно расположенных к ней госпожи Плессер и ассистента Мёдинга тоже ни к че-

му не привели. Как говорил Гах, она, очевидно, не могла рассматривать раздельно служебное и личное, понять необходимость допроса. Когда Байцменне, с расстегнутым воротничком и расслабленным узлом галстука, поглощавший с аппетитом кофе и бутерброды, похожий на доброго папашу, действительно повел себя по отношению к Блюм по-отечески, она настояла на том, чтобы ее отвели в камеру. Оба полицейских, приставленных для ее охраны, потом тоже пытались предложить ей кофе и хлеб, но она упрямо качала головой, сидя на нарах, курила сигарету и, морща нос, гримасами всячески выказывала отвращение к заблужданному унитазу в камере. Позднее она поддалась уговорам госпожи Плецер и обоих молодых полицейских и позволила пощупать пульс, оказавшийся нормальным, снизила до разрешения принести из соседнего кафе песочное пирожное и чашку чая, настояв на том, что сама это оплатит, хотя один из молодых полицейских, охранявший угром дверь ее ванной, пока она одевалась, изъявил готовность «угостить ее». Мнение обоих полицейских и госпожи Плецер о Катарине Блюм в связи с этим эпизодом: лишена чувства юмора.

## 17

В 13.30 допрос был продолжен и длился до 17.45. Байцменне с удовольствием обошелся бы более кратким допросом, но Блюм настаивала на обстоятельствах, право на которую признали за ней и оба прокурора, и в конце концов Байцменне сперва неохотно, но затем, узнав причину, показавшуюся ему важной, тоже согласился с ними.

В 17.45 стали решать, продолжить или прервать допрос, отпустить Блюм или отправить в камеру. Правда, в 17.00 она снова милостиво согласилась выпить еще чаю и съесть бутерброд (с ветчиной), изъявив тем самым готовность продолжать допрос, так как Байцменне обещал после его окончания отпустить ее домой. Теперь речь зашла об ее отношениях с госпожой Вольтерсхайм. По словам Катарини Блюм, это ее крестная, кузина ее матери, она всегда заботилась о ней, и когда Катарина перебралась в город, то сразу же вступила с ней в контакт.

«20.02 меня пригласили на этот домашний бал, который, собственно, намечался на 21.02, на карнавальную ночь, но потом его перенесли на день раньше, так как в карнавальную ночь госпожа Вольтерсхайм была занята по службе. За четыре года это был первый танцевальный вечер, на котором я была. Нет, я должна уточнить это показание: несколько раз — может быть, два, три, а то даже и четыре раза — я немного танцевала у Блорнов, когда помогала принимать гостей. В поздний час, управившись с уборкой и мытьем посуды, я подавала кофе, а напитками зани-

мался д-р Блорна, и тогда меня звали в салон, где я танцевала с господином д-ром Блорной, а также и с другими господами из университетских, экономических и политических кругов. Потом я эти приглашения принимала очень неохотно, колеблясь, пока совсем не перестала их принимать, потому что гости, часто навеселе, здесь тоже становились назойливыми. Точнее говоря: с тех пор как я обзавелась машиной, я отказалась от этих приглашений. Прежде я зависела от этих господ: кто-нибудь из них подвозил меня домой. Вон и с тем господином,— она показала на Гаха, который покраснел,—я иной раз танцевала». Бывал ли и Гах назойливым? — такой вопрос не задавался.

18

Продолжительность допроса объясняется тем, что Катарина с поразительной педантичностью контролировала каждую формулировку, просила зачитывать каждую фразу, заносимую в протокол. Например, упомянутая в последней главке «назойливость» сперва вошла в протокол как «нежности», то есть в первоначальной редакции говорилось, что «господа становились „нежными“». Это вызвало возмущение и энергичный протест Катарини. Дошло до настоящей дискуссии по поводу этих определений между нею и прокурорами, между нею и Байцменне, так как Катарина утверждала, что нежности — это действие двустороннее, в то время как назойливость — одностороннее, а именно последнее всегда имело место. Когда господа заявили, будто все это не столь уж важно и она сама виновата, что допрос так затянулся, она сказала, что протокола, где вместо назойливости будут значиться нежности, она не подпишет. Разница имеет для нее решающее значение, и одна из причин ее разрыва с мужем как раз с тем и связана, что он никогда не бывал нежен, а всегда только назойлив.

Подобные дискуссии возникли и в связи со словом «добрые» применительно к супругам Блорна. В протоколе стояло: «были любезны по отношению ко мне». Блюм настаивала на слове «добры», а когда ей вместо него предложили «добродушны», поскольку «добры» звучит так старомодно, она возмутилась и заявила, что любезность и добродушие не имеют ничего общего с добротой, а именно ее она ощущала в отношении Блорнов к ней.

19

Тем временем были допрошены и обитатели дома, большинство которых о Катарине Блюм или вообще никаких показаний дать не могли, или сказали очень мало: встречались иногда с ней



в лифте, здоровались, знают, что это она владелица красного «фольксвагена»: одни считали ее секретаршей какого-нибудь крупного босса, другие — заведующей отделом универмага; она всегда опрятна, приветлива, хотя и сдержанна. Только двое из жильцов пяти квартир восьмого этажа, в одной из которых жила Катарина, смогли дать более подробные сведения. Одна — владелица парикмахерской госпожа Шмиль, другой — пенсионер, бывший служащий электростанции по фамилии Рувидель, причем поразительно, что в обоих показаниях утверждалось, будто Катарина принимала или приводила с собой мужчину. Госпожа Шмиль утверждала, что визитер приходил регулярно, примерно раз в две-три недели, с виду очень изящный господин лет сорока, явно из «приличной среды»; господин же Рувидель характеризовал визитера как довольно молодого хлыща, несколько раз он приходил один, а несколько раз — вместе с фройляйн Блюм. Приходил за два минувших года раз восемь или девять, «это только те визиты, которые я наблюдал, о тех же, которых я не наблюдал, я, конечно, сказать ничего не могу».

Когда Катарине предъявили в конце дня эти показания и попросили ее высказаться по поводу них, именно Гах, прежде чем сформулировать вопрос, попытался пойти ей навстречу, спросив, не те ли это господа, которые при случае подвозили ее домой. Катарина, покраснев от стыда и злости, язвительно ответила вопросом — разве запрещено принимать в гостях мужчин — и, поскольку она не пожелала вступить на доброжелательно построенный Гахом мостик, а возможно, вовсе и не сочла его мостиком, Гах посуровел и сказал, что она должна отдавать себе отчет, сколь серьезно рассматриваемое здесь дело, дело Людвига Гёттена, широко разветвленное и уже более года обременяющее полицию и прокуратуру, и он спрашивает ее, раз она, по видимому, не отрицает, что визиты имели место, идет ли речь об одном и том же господине. Но тут грубо вмешался Байцменне: «Стало быть, вы знаете Гёттена уже два года».

Это заявление ошеломило Катарину, она не нашлась, что ответить, только смотрела, качая головой, на Байцменне, а когда она удивительно робко пролепетала: «Нет же, нет, я только вчера познакомилась с ним», это прозвучало не очень убедительно. В ответ на требование назвать имя визитера она «чуть ли не с испугом» покачала головой и отказалась дать показания на сей счет. Тогда Байцменне снова повел себя по-отечески и стал уговаривать ее, сказав, что ведь нет ничего дурного, если она имеет друга, который — и тут он совершил непоправимую психологическую ошибку — был с нею не назойлив, а, возможно, нежен; она ведь в разводе и не обязана соблюдать верность, и это даже не предосудительно, если — третья непоправимая ошибка! — неназойливая нежность, может быть, приносила определенные

материальные блага. Это окончательно испортило дело. Катарина Блюм отказалась отвечать на вопросы и потребовала доставить ее в камеру или домой. К удивлению всех присутствующих, Байцменне мягко и устало — было уже 20.40 — заявил, что прикажет служащему отвезти ее домой. Но когда она встала, быстро собрала сумочку, косметичку и пластиковый пакет, он неожиданно и жестко спросил: «А каким образом он ночью выбрался из дома, ваш нежный Людвиг? Все входы и выходы охранялись; вы знаете какой-то путь и показали его, и я это выведу. До свидания».

## 20

Мёдинг, ассистент Байцменне, отвозивший Катарину домой, говорил потом, что он очень обеспокоен состоянием молодой женщины и боится, как бы она чего-нибудь не сделала с собой; она совершенно разбита, подавлена, но, как ни странно, именно в этом состоянии у нее обнаружилось или развилось чувство юмора. Когда они сходили по городу, он шутливо сказал: «Как славно было бы где-нибудь просто, без всяких задних мыслей, выпить сейчас рюмочку и потанцевать», на что она кивнула и ответила, что это было бы недурно, вероятно, даже славно, а когда он у ее дома предложил проводить наверх до дверей квартиры, она саркастически сказала: «Ах, лучше не надо, вы же знаете, у меня достаточно визитеров, но все равно спасибо».

Весь вечер и полночи Мёдинг пытался убедить Байцменне, что Катарину Блюм надо арестовать — ради ее безопасности. Байцменне даже спросил, не влюблен ли он, на что тот ответил: нет, она только нравится ему, и она его ровесница, и он не верит в теорию Байцменне о большом заговоре, в котором замешана Катарина.

О чем он не рассказал и что тем не менее стало известно Блорне от госпожи Вольтерсхайм — о двух советах, которые он дал Катарине, провозжая ее все-таки через вестибюль к лифту; эти два довольно деликатных совета, смертельно опасные для него и его коллег, могли бы ему дорого обойтись; стоя около лифта, он сказал Катарине: «Не прикасайтесь завтра к телефону и не раскрывайте газеты», причем неясно, имел он в виду ГАЗЕТУ или просто газеты.

## 21

Было примерно 15.30 того же дня (четверг, 21.02.74), когда Блорна впервые на отдыхе встал на лыжи и собрался отправиться на большую прогулку. С этого момента его отпуск, который он так долго предвкушал, пошел насмарку. Как прекрасна была

накануне, вскоре после прибытия, длинная вечерняя прогулка, два часа по глубокому снегу, потом бутылка вина у пылающего камина и крепкий сон при открытом окне; первый на отдыхе завтрак, неспешный, долгий, потом несколько часов, тепло закутавшись, на террасе в плетеном кресле; и вот в тот самый момент, когда он уже встал на лыжи, перед ним возник этот субъект из ГАЗЕТЫ и без всякого вступления заговорил о Катарине. Считает ли он ее способной на преступление? «То есть как? — сказал он. — Я адвокат и знаю, кто способен на преступление. Что еще за преступление? Катарина? Немыслимо, с чего вы взяли? Что вам известно?» Узнав в конце концов, что долго разыскиваемый бандит, как доказано, переночевал у Катарини и ее примерно с 11 часов утра строго допрашивали, он собрался было лететь обратно и заступиться за нее, но субъект из ГАЗЕТЫ — действительно ли тот выглядел таким мерзким или это ему лишь потом представлялось? — сказал, что настолько скверно дело все-таки не обстоит и не назовет ли он несколько характерных черт Катарини. А когда он уклонился и субъект заметил, что это плохой знак, который может быть плохо истолкован, ибо молчание по поводу ее характера в подобном случае — а речь ведь идет о "front-page-story"<sup>1</sup> — однозначно свидетельствует о дурном характере, Блорна вышел из себя и очень раздраженно сказал: «Катарина очень умная и сдержанная особа», но разозлился на себя, ибо это тоже было неверно и несколько не выражало того, что он хотел и мог бы сказать.

Он еще никогда не имел дела с газетами, тем более с ГАЗЕТОЙ, и когда этот субъект уехал на своем «порше», Блорна отстегнул лыжи и понял, что с отпуском покончено. Он поднялся на балкон к Труде, которая, закутавшись в одеяла, нежилась в полудреме на солнце. Он ей все рассказал. «Позвони же», — сказала Труда, и он пытался позвонить, три раза, четыре, пять раз, но все время слышал одно и то же: «Абонент не отвечает». Вечером в одиннадцать часов он снова пытался позвонить, но опять никто не ответил. Он много пил и плохо спал.

## 22

Когда он в пятницу утром около половины десятого мрачный явился к завтраку, Труда протянула ему ГАЗЕТУ. На первой полосе — Катарина. Огромная фотография, огромные литеры. **ВОЗЛЮБЛЕННАЯ БАНДИТА КАТАРИНА БЛЮМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ О ГОСПОДАХ ВИЗИТЕРАХ.**

*«Разыскиваемый в течение полутора лет бандит и убийца Людвиг*

---

<sup>1</sup> Здесь: первополосный материал (англ.).

*Гёттеи мог бы вчера быть арестован, если бы его возлюбленная, домашняя работница Катарина Блюм, не замела его следов и не прикрыла его бегства. Полиция предполагает, что Блюм уже длительное время замешана в заговоре (продолжение см. на обороте под заглавием «ГОСПОДА ВИЗИТЕРЫ»).*

На обороте он прочитал, что его высказывание «Катарина умна и сдержанна» ГАЗЕТА превратила в «холодна и расчётлива», а его общее замечание о преступности — в слова, что «она вполне способна на преступление».

*«Священник из Геммельсбройха сказал: «От этой всего можно ожидать. Отец был тайным коммунистом, а мать, которую я из милосердия некоторое время держал уборщицей, воровала церковное вино и справляла в ризнице оргии со своими любовниками».*

*Последние два года Блюм регулярно принимала визитеров. Была ли ее квартира конспиративным центром, бандитской ячейкой, перевалочным пунктом для транспортировки оружия? Каким образом двадцатисемилетняя домашняя работница могла стать владелицей собственной квартиры стоимостью приблизительно в 110 000 марок? Участвовала ли она в дележе добычи, полученной при банковских грабежах? Полиция продолжает расследование. Прокуратура работает на полную мощность. Завтра сообщим больше. ГАЗЕТА, КАК ВСЕГДА, ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ! Вся информация о закулисной стороне дела — в завтрашнем воскресном выпуске».*

После полудня Блорна на аэродроме восстановил дальнейший ход событий.

10.25. Звонок очень взволнованного Людинга, который заклинал немедленно возвратиться и связаться с тоже очень взволнованным Алоизом. Алоиз, по-видимому совершенно растерявшийся, каким я его никогда не видел и представить не мог, в данный момент находится в Бад-Беделиге на конференции христианских предпринимателей, где он должен сделать основной доклад и руководить дискуссией.

10.40. Звонок Катарини, которая спросила, действительно ли я сказал то, что стоит в ГАЗЕТЕ. Обрадованный возможностью объясниться, я рассказал, как было дело, и она сказала (записано по памяти) примерно следующее: «Я вам верю, верю, теперь я знаю, как работают эти сволочи. Сегодня утром они добрались даже до моей тяжелобольной матери, до Бреттло и других людей». На мой вопрос, где она сейчас, она ответила: «У Эльзы, а сейчас мне опять надо на допрос».

11.00. Звонок Алоиза, который я почувствовал это впервые в жизни, а мы знакомы двадцать лет — был взволнован и напуган. Он сказал, я должен немедленно возвратиться, чтобы выступить его поручителем в одном очень щекотливом деле. Ему надо сейчас сделать доклад, затем обедать с предпринимателями, потом вести дискуссию, а вечером участвовать в одной дружеской

встрече, но между 7.30 и 9.30 он может присхать к нам домой, откуда потом и махнет на эту дружескую встречу.

11.30. Труда тоже считает, что мы должны немедленно уехать и заступиться за Катарину. По ее иронической улыбке вижу, что у нее есть (впрочем, как всегда) соответствующая теория о сложностях Алоиза.

12.15. Заказал билеты, упаковал вещи, заплатил по счетам. После неполных сорока часов отпуска — на такси в И. Там с 14.00 до 15.00 переждал на аэродроме туман. Долгий разговор с Трудой о Катарине, к которой, Труда знает, я очень привязался. Говорили и о том, как мы подбадривали Катарину, чтобы она не была такой скованной, чтобы забыла о своем несчастливом детстве и злополучном браке. Как мы старались преодолеть ее щепетильность, когда речь шла о деньгах, и предоставить ей с нашего счета более дешевый кредит, чем в банке. Даже наше объяснение, что если она вместо 14%, которые надо платить банку, даст нам 9%, это вовсе не будет нам в убыток, а она сэкономит много денег, ее не переубедило. Как мы обязаны ей: с тех пор как она спокойно и приветливо, очень экономно ведет наше хозяйство, не только значительно сократились наши расходы — она дала нам обоим возможность полностью посвятить себя работе, чего в деньгах и не исчислить. Она освободила нас от пятилетнего хаоса, так обременявшего наш брак и нашу работу.

Поскольку туман не рассеивался, мы в 16.30 решаем ехать поездом. По совету Труды я не звонил Алоизу Штройбледеру. На такси едем на вокзал, где еще поспеваем на поезд 17.45 на Франкфурт. Ужасная поездка — тошнота, нервность. Даже Труда серьезна и взволнованна. Она предчувствует большую беду. Совершенно измученные, делаем пересадку в Мюнхене, где достали места в спальном вагоне. Оба предвидим огорчения с Катариной и по поводу нее, неприятности с Людингом и Штройбледером.

## 23

В субботу утром, совершенно подавленные и разбитые, они на вокзале города, все еще по-карнавальному веселого, и сразу на перроне — ГАЗЕТА: снова на первой полосе Катарина, на сей раз спускающаяся в сопровождении чиновника уголовной полиции в штатском по лестнице полицейского управления. НЕВЕСТА УБИЙЦЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ РАСКОЛОЛАСЬ! НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ О МЕСТОПРЕБЫВАНИИ ГЁТТЕНА! ПОЛИЦИЯ В ПАНИКЕ.

Труда купила номер, и они молча посхали на такси домой, а когда он, пока Труда открывала двери, расплачивался, так-

сист показал на ГАЗЕТУ и сказал: «Там и про вас есть, я сразу вас узнал. Вы ведь адвокат и работодатель этой потаскушки». Он дал чересчур много часвых, и шофер, чья ухмылка была вовсе не так злорадна, как голос, отнес чемоданы, сумки и лыжи в прихожую, приветливо бросив на прощание: «Пока».

Включив кофеварку, Труда мылась в ванной. ГАЗЕТА лежала на столе в гостиной, и там же — две телеграммы: одна от Людинга, другая от Штройбледера. От Людинга: «Мягко говоря, разочарованы отсутствием контакта. Людинг». От Штройбледера: «Не могу поверить, чтобы ты подвел меня. Жду тотчас звонка. Алоиз».

Было как раз восемь часов пятнадцать минут — почти точно то время, к которому Катарина подавала им завтрак: всегда красиво накрытый стол, цветы, свежая скатерть и салфетки, хлеб, булочки, мед, яйца и кофе, а для Труды гренки и апельсиновый джем.

Даже Труда, принеся кофеварку, немного хрустящих хлебцев, мед и масло, стала почти сентиментальной. «Никогда больше так не будет, никогда. Они изведут девочку. Если не полиция, то ГАЗЕТА, а когда ГАЗЕТА потеряет к ней интерес, за нее примутся люди. Иди сюда, прочти это сначала, а уж потом звони визитерам». Он прочитал:

*«ГАЗЕТЕ, всегда старающейся широко вас информировать, удалось собрать новые данные, освещающие характер этой самой Блом и ее мутное прошлое. Журналистам ГАЗЕТЫ удалось разыскать тяжелобольную мать Блом. Сперва она пожаловалась, что дочь давно не навещала ее. Потом, ознакомленная с непроверяемыми фактами, она сказала: «Это и должно было случиться, этим и должно было кончиться». Бывший супруг, простодушный рабочий-текстильщик Вильгельм Бреттло, с которым Блом в разводе, поскольку злонамеренно бросила его, еще с большей готовностью сообщил ГАЗЕТЕ: «Теперь, — сказал он, с трудом сдерживая слезы, — я знаю наконец, почему она сбегала от меня. Почему бросила меня. Вот чем она занималась. Теперь мне все понятно. Ей было мало нашего скромного счастья. Ей хотелось в верха, а где же честному, скромному рабочему взять «порше». Может быть, — добавил он мудро, — вы передадите читателям ГАЗЕТЫ мой совет: вот этим-то и кончатся ложные представления о социализме. Я спрашиваю вас и ваших читателей, каким образом прислуге достаются такие богатства? Ведь честным путем их не получишь. Теперь я знаю, почему всегда боялся ее радикальности и нелюбви к церкви, и я благословляю решение всевышнего не даровать нам детей. И когда я еще узнал, что нежности убийцы и грабителя ей были милее моей немудрящей привязанности, то и эта сторона дела становится ясной. И тем не менее я хочу воззвать к ней: моя миленькая Катарина, лучше бы ты осталась со мной. Мы ведь тоже с годами обзавелись бы собственностью и небольшой машиной,*

*я, конечно, никогда не смог бы предложить тебе «порше», только скромное счастье, какое может дать честный работяга, не доверяющий профсоюзам. Ах, Катарина...»*

Под заголовком «Супруги-пенсионеры потрясены, но не удивлены» Блорна на последней полосе увидел отчеркнутый красный столбец:

*«Находящийся на пенсии штудииендиректор д-р Бертольд Хиперц и госпожа Эриа Хиперц потрясены деятельностью Блом, но «не особенно удивлены». Сотрудница ГАЗЕТЫ разыскала их в Лемго у замужней дочери, управляющей там санаторием; филолог-античник и историк Хиперц, у которого Блом работает три года, сказал: «Радикальная во всех отношениях особа, которая нас ловко обманула».*

(Хиперц, которому потом позвонил Блорна, клялся, что сказал следующее: «Если Катарина радикальна, то она радикально услужлива, хозяйственна и разумна, или я уж очень ошибаюсь, а у меня за плечами сорокалетний опыт педагога, и я редко ошибался».)

Продолжение первой полосы:

*«Полностью сломленный бывший супруг Блом, которого ГАЗЕТА посетила во время репетиции барабанщиков и дудочников, отвернулся, чтобы скрыть слезы. Остальные члены союза тоже отвернулись, как выразился крестьянин-старожил Меффельс, с ужасом от Катарины, которая всегда была с причудами и прикидывалась такой недотрогой. Во всяком случае, бесхитростные карнавальные радости честного рабочего испорчены».*

В заключение фотография господина Блорны и Труды в саду возле плавательного бассейна. Подпись: «Какую роль играют женщина, прежде известная как «красная Труда», и ее муж, при случае называющий себя «лсыым»? Высокооплачиваемый адвокат-консультант промышленных фирм д-р Блорна с женой Трудой у плавательного бассейна роскошной виллы».

Здесь следует, воспользовавшись гидротехническим термином, сделать своего рода «обратный подпор», что-то наподобие того, что в кино и литературе именуется ретроспекцией: с субботнего утра, когда супруги Блорна, подавленные и расстроенные, вернулись из отпуска, к утру в пятницу, когда Катарину снова доставили на допрос в полицейское управление; на сей раз ее привезли госпожа Плесер и пожилой чиновник, лишь легко вооруженный, и не из ее квартиры, а из квартиры госпожи Вольтерсхайм, к которой Катарина присхала в пять часов утра на собственной машине. Служащая не скрывала, что ей известно, где они найдут Катарину: не дома, а у Вольтерсхайм. (Справедливости ради следует еще раз вспомнить жертвы и тяготы че-

ты Блорна: прекращение отпуска, поездка в такси на аэродром в И. Задержка из-за тумана. В такси на вокзал. Поезд во Франкфурт, пересадка в Мюнхене. Тряска в спальном вагоне. И рано утром, едва они добрались до дома, ГАЗЕТА! Позднее — слишком поздно, конечно, — Блорна жалел, что вместо Катарини — он ведь знал от парня из ГАЗЕТЫ, что она на допросе, — не позвонил Гаху.)

Все, кто участвовал во втором допросе Катарини в пятницу, — Мёдинг, госпожа Плецер, прокуроры д-р Кортен и Гах, протоколистка Анна Локстер, которую раздражала чувствительность Блюм к слову, охарактеризованная ею как «выпендривание», — все заметили, что у Байцменне было прямо-таки сияющее настроение. Он вошел в зал заседаний потирая руки, с Катарининой обращался предупредительно, извинился за «некоторые грубости», в коих повинна не его должность, а его характер — такой уж он неотесанный малый, — и сперва занялся списком конфискованных вещей. В нем значились:

1. Небольшая потрепанная зеленая записная книжка малого формата, содержащая одни только телефонные номера, которые тем временем были проверены, и ничего подозрительного при этом не обнаружилось. По всей видимости, Катарина пользовалась записной книжкой почти десять лет. Эксперт-почерковед, искавший письменные следы Гёттена (Гёттен, кроме всего прочего, дезертировал из бундесвера и работал в одной конторе, то есть оставил много письменных следов), назвал развитие ее почерка образцовым. Запись шестнадцатилетней девушки — номер телефона мясника Герберса, семнадцатилетней — врача д-ра Клутена, двадцатилетней — д-ра Фенерна, позднее — номера и адреса кулинаров, рестораторов, коллег.

2. Выписки из счета в сберкассе, с отмеченными на полях рукою Блюм перерасчетами и списаниями. Поступления, списания — все точно, ни одна из сумм не вызывает подозрений. Так же выглядят всякие бухгалтерские расчеты, заметки и извещения в небольшом скоросшивателе, куда она заносила свои обязательства и расчеты, касающиеся фирмы «Хафтекс», в которой она приобрела свою «Элегантную обитель у реки». Тщательнейшей проверке были подвергнуты ее налоговые декларации, налоговые извещения, налоговые платежи, просмотревший их затем финансовый эксперт нигде не обнаружил какой-нибудь «скрытой более или менее значительной суммы». Байцменне особое значение придавал проверке ее финансовых сделок за последние два года, которые он шутя называл «периодом мужских визитов». И ничего. Выяснилось, правда, что Катарина ежемесячно переводила матери 150 марок, что она поручила по абонементу фирме «Кольтер» в Куире уход за могилой отца в Геммельсбройхе. Покупки мебели, домашней утвари, одежды, белья,



счета за бензин — все проверено, и нигде ни одной зацепки. Возвращая Байцменне документы, финансовый эксперт сказал: «Послушай-ка, когда она выйдет на свободу и будет искать место, дай мне знать. Таких всегда ищешь и не находишь». Ничего подозрительного не оказалось и в телефонных счетах Блюм. Междугородные переговоры она, судя по всему, вряд ли вела.

Отмечено было также, что время от времени Катарина Блюм переводила на карманные расходы небольшие суммы — от 15 до 30 марок — свосму брату Курту, в настоящий момент сидевшему за кражу со взломом.

Церковных податей Катарина не платила. Судя по ее финансовым документам, она еще в возрасте 19 лет, в 1966 году, вышла из католической церкви.

3. Еще одна небольшая записная книжка с различными записями, главным образом расчетного характера, содержала четыре рубрики. Одна для домашнего хозяйства Блорны с записями расходов и подсчеты — на закупки продуктов, моющих и чистящих средств, на химчистку, прачечную. При этом было установлено, что белье Катарина гладила собственноручно.

Во вторую рубрику записывались соответствующие расходы и подсчеты, относящиеся к домашнему хозяйству Хиперцсв.

Следующая рубрика относилась к домашнему хозяйству самой Блюм, расходы по которому были очень скромными; случались месяцы, когда на продовольствие она тратила лишь 30—35 марок. Но, по-видимому, она часто ходила в кино — телсвизора у нее не было — и иногда покупала себе шоколад и даже конфеты.

Четвертая рубрика содержала доходы и расходы, связанные с одноразовыми работами Блюм, покупкой и чисткой профессиональной одежды, пассивные взносы за «фольксваген». Когда дошли до счетов за бензин, вмешался Байцменне и с удивившей всех любезностью спросил, откуда такие относительно большие расходы на бензин, которые, кстати, соответствуют чрезвычайно большим цифрам на спидометре. Везде установлено, что расстояние до Блорны и обратно составляет около 6 км, до Хиперцца и обратно около 8, до госпожи Вольтерсхайм — около 4 км, и если в среднем, при самом щедром раскладе, исходить из одной разовой работы в неделю и прибавить на это, тоже при очень щедром раскладе, еще 20 км и разделить их на все дни недели, что составит еще по 3 км, то получится примерно 21—22 км в день. Наверное, она не каждый день навещала госпожу Вольтерсхайм, но на это мы закроем глаза. Таким образом, получится примерно 8000 км в год; как свидетельствует письменное соглашение с поваром Клормером, она, Катарина Блюм, получила «фольксваген» 2 года тому назад и на спидометре было 56 000 км. Если к этому добавить  $2 \times 8000$ , то на спидометре те-

перь должно быть примерно 72 000 км, в действительности же на нем почти 102 000 км. Правда, известно, что время от времени она навещала свою мать в Геммельсбройхе, а позднее в санатории в Куир-Хохзаккеле, вероятно, иногда и своего брата в тюрьме, но расстояние до Геммельсбройха или Куир-Хохзаккеля и обратно составляет примерно 50 км, до ее брата — около 60 км, и если исходить из одной, при щедром раскладе — двух поездок в месяц, а брат ее сидит только полтора года, до этого он жил у матери в Геммельсбройхе, то, умножив на все те же два года, получится еще 4000—5000 км, а оставшиеся 25 000 км так и не выяснены, так и не объяснены. Куда же она так часто ездила? Может быть — он, право же, не хочет опять выступать с грубыми намеками, но она должна понять его вопрос, — она где-нибудь (где именно?) встречалась с кем-то, с одним или несколькими?

Не только Катарипа, а и все присутствующие слушали как зачарованные — но и потрясенные — эти расчеты, преподнесенные Байцменне ласковым голосом, и казалось, будто Блюм все эти подсчеты и выкладки Байцменне воспринимала не с раздражением, а лишь с напряжением, смешанным с потрясенностью и зачарованностью, потому что, пока он говорил, она не объяснения этим 25 000 км искала, а самой себе хотела уяснить, куда, когда и почему она ездила. Еще тогда, когда Катарина усаживалась для допроса, она не была больше неприступной — скорее мягкой, казалось даже, робкой, — выпила чай, не настаивала на том, чтобы самой за него заплатить. А теперь, когда Байцменне покончил со своими вопросами и расчетами, воцарилась — по свидетельству многих, *почти* всех, присутствующих — мертвая тишина, будто они почувствовали, что на основе одного факта, который, не будь счетов на бензин, легко можно было не заметить, кто-то здесь в самом деле проник в интимную тайну Блюм, чья жизнь до сих пор представлялась такой ясной.

«Да, — сказала Катарина, и с этого момента ее показания стали заноситься в протокол, в виде которого и существуют, — верно, я сейчас быстро про себя подсчитала, это составляет более 30 километров в день. Я никогда не задумывалась над этим, никогда не прикидывала и затраты, но иной раз я ездила просто так, просто вперед, без цели, то есть цель как-то сама собой возникала, то есть я ехала в каком-нибудь направлении, которое определялось просто само по себе: на юг в направлении Кобленца, или на запад в направлении Ахена, или вниз к Нижнему Рейну. Не каждый день. Я не могу сказать, как часто и на какие расстояния. Большею частью когда шел дождь, и у меня был свободный вечер, и я была одна. Нет, вношу поправку в свои показания: только когда шел дождь, я ездила, — точно не знаю почему. Должна сказать, что иной раз, когда мне не нужно было

схатъ к Хиперцам и не случалось разовой работы, я уже в пять часов была дома, и мне нечего было делать. Мне не хотелось часто ездить к Эльзе, в особенности с тех пор, как она так подружилась с Конрадом, а одной идти в кино для незамужней женщины довольно рискованно. Иногда я заходила в церковь, не по религиозным причинам, а потому, что там можно спокойно посидеть, но в последнее время и в церквях пристают — не только прихожане. Конечно, у меня есть несколько друзей — например, Вернер Клормер, у которого я купила «Фольксваген», и его жена, и еще другие служащие Клофта, но приходиться одной довольно трудно и чаще всего неприятно, тем более если обязательно, а лучше сказать — не безоговорочно, принимашь всерьез знакомство или ищешь его. Лучше уж сесть в машину, включить радио и поехать куда глаза глядят, но всегда — по проселочным дорогам, всегда — в дождь, больше всего мне нравились проселочные дороги, обсаженные деревьями: иной раз я доезжала до Голландии или Бельгии, выпивала там кофе или пива и ехала обратно. Да. Я это поняла только теперь, когда вы спросили меня. И если вы спросите, как часто, я скажу: два-три раза в месяц, иногда реже, а иногда даже чаще, и обычно это продолжалось несколько часов, пока я в девять или в десять, а то и около одиннадцати возвращалась до смерти уставшая домой. Возможно, сказывался и страх; я знаю много незамужних женщин, которые вечером перед телевизором в одиночку напиваются допьяна».

По мягкой улыбке, с которой Байцменне без комментариев принял к сведению это объяснение, догадаться о его мыслях было нельзя. Он только кивнул, и если снова потер руки, то, возможно, лишь потому, что сообщение Катарини Блюм подтвердило одну из его теорий. Некоторое время стояла тишина, словно присутствующие были поражены или испытывали неловкость; казалось, будто Блюм впервые приоткрыла некоторые свои тайны интимного свойства. Обсуждение остальных конфискованных вещей заняло не много времени.

4. Фотоальбом с фотографиями людей, которых легко идентифицировать. Отец Катарини Блюм — производит впечатление болезненного и озлобленного человека и выглядит гораздо старше того возраста, в каком он тогда был. Ее мать, которая, как выяснилось, больна раком и при смерти. Ее брат. Она сама, Катарина, в четыре года, в шесть лет, в десять — во время первого причастия, новобрачная в двадцать; ее муж, священник из Геммельсбройха, соседи, родственники, разные фотографии Эльзы Вольтерсхайм, затем один, сперва не установленный, пожилой господин, очень бодро выглядящий, — оказалось, что это д-р Фернер, преступивший закон налоговый инспектор. Никаких фо-

тографий личности, которую можно было бы соотнести с теориями Байцменне.

5. Заграничный паспорт на имя Катарины Бреттло, урожденной Блюм. В связи с паспортом возникли вопросы о поездках, и выяснилось, что Катарина еще ни разу «по-настоящему не выезжала» и, за исключением нескольких дней, когда болела, всегда работала. Фенсерн и Блорна, правда, выплачивали ей отпускные, но она или продолжала у них работать, или нанималась на временные должности.

6. Старая коробка от конфет. Содержимое: несколько писем, едва ли с десятков, от матери, брата, мужа, госпожи Вольтерсхайм. Ни одно письмо не заключало в себе ничего такого, что было бы связано с тем, в чем ее подозревали. Кроме того, в коробке было несколько любительских фотографий ее отца — сфрейтора вермахта, мужа в форме барабанщика; несколько листков отрывного календаря с пословицами; довольно обширное собрание собственных, написанных от руки рецептов и брошюра «Об использовании хереса при приготовлении соусов».

7. Папка со свидетельствами, дипломами, удостоверениями, со всеми документами по разводу, нотариальными бумагами, касающимися квартировладения.

8. Три связки ключей, тем временем проверенных, — ключи от ее собственной квартиры и шкафов, от квартир Блорны и Хиперца.

Было установлено и внесено в протокол, что в вышепоименованных предметах не обнаружено ничего подозрительного; объяснения Катарины Блюм об израсходованном бензине и насезженных километрах приняты без комментариев.

Лишь в этот момент Байцменне вынул из кармана усыпанное бриллиантами рубиновое кольцо, которое, видимо, лежало там незавернутым, и, потеряв его о рукав, протянул Катарине.

— Вам знакомо это кольцо?

— Да, ответила она без промедления и смущения.

— Оно принадлежит вам?

— Да.

— Вы знаете, сколько оно стоит?

— Точно не знаю. Но недорого.

Так вот, — сказал Байцменне приветливо, — мы его оценили — и для верности не только у нашего специалиста здесь в управлении, но еще и дополнительно, чтобы ни в коем случае не оказаться несправедливыми к вам, — у ювелира в городе. Это кольцо стоит от восьми до десяти тысяч марок. Вы этого не знали? Я даже верю вам, но вы должны мне объяснить, откуда оно у вас. Когда ведется расследование по делу изобличенного в грабеже преступника, серьезно подозреваемого в убийстве, такое кольцо не мелочь и не личное, интимное обстоятельство, как

сотни наезженных километров, многочасовые автомобильные поездки под дождем. От кого вы получили это кольцо --- от Гёттена или некоего визитера, или Гёттен все же не тот визитер, и если нет, куда вы, в качестве визитерши, да будет позволено мне это шутливо определение, ездили под дождем тысячи километров? Нам нетрудно установить, у какого ювелира это кольцо куплено или украдено, но я хочу предоставить вам шанс, ибо считаю вас не прямой преступницей, а только наивной и немножко романтической женщиной. Как вы мне --- нам --- объясните, что вы --- вы, которая известна как недотрога, прямо-таки неприступная особа, прозванная знакомыми и друзьями «монашенкой», избегающая дискотек, потому что там беспутничают, разошедшаяся с мужем, так как он стал «назойливым», как же вы нам объясните, что, познакомившись с этим Гёттеном якобы только позавчера, вы в тот же день, можно сказать --- не присев, ведете его к себе домой и там очень быстро вступаете с ним, ну, скажем так --- в интимные отношения? Как вы это назовете? Любовью с первого взгляда? Влюбленностью? Нежностью? Согласитесь, тут какая-то неувязка, и она никак не может снять подозрения. И вот еще. Он сунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда большой белый конверт, из которого извлек довольно экстравагантный, фиолетовый, с подкладкой кремового цвета, конверт обычного формата. --- Этот пустой конверт мы нашли вместе с кольцом в ящике вашего ночного столика, он проштемплеван 12.02.74 в 18.00 в вокзальном почтовом отделении Дюссельдорфа и адресован вам. Господи, --- сказал в заключение Байцменне, --- да если у вас был друг и он время от времени навещал вас, а иной раз вы к нему ездили и он писал вам письма и иногда дарил что-нибудь --- скажите же нам, это ведь не преступление. Обвинения против вас возникнут только в том случае, если это связано с Гёттеном.

Все присутствующие понимали, что Катарина кольцо узнала, но стойкость его была ей неизвестна, что снова возникла щекотливая тема визитов некоего господина. Испытывала она чувство стыда, что репутация ее под угрозой, или же она испугалась, что угроза нависает над кем-то, кого она не хочет подвергать опасности? На сей раз она покраснела лишь слегка. Не потому ли она не показала, что получила кольцо от Гёттена, что знала: представлять Гёттена кавалером такого класса бессмысленно? Она была спокойной, почти кроткой, когда говорила под протокол: «Это верно, что на домашнем балу у госпожи Вольтерсхайм я танцевала самозабвенно и исключительно с Людвигом Гёттеном, которого видела впервые в жизни и фамилию которого узнала только во время полицейского допроса в четверг утром. Я испытала к нему большую нежность, и он ко мне тоже. Часов в десять я покинула квартиру госпожи Вольтерс-

хайм и посчала с Людвигом Гёттеном к себе домой. О происхождении драгоценности я не могу, нет, вношу поправку: не хочу говорить. Поскольку оно мне досталось не незаконным путем, я не считаю себя обязанной объяснять его происхождение. Отправитель предъявленного конверта мне неизвестен. Вероятно, это был обычный рекламный проспект. В профессиональных гастрономических кругах меня уже немного знают. Объяснить же факт, что рекламное письмо послано без указания отправителя в довольно вычурном конверте с дорогой подкладкой, я не могу. Хотела бы только сказать, что некоторые гастрономические фирмы любят создавать видимость изысканности».

На вопрос о том, почему она, так охотно, по ее словам, сядящая на машине, в тот день отправилась к госпоже Вольтерсхайм на трамвае, Катарина Блюм ответила, что не знала, много или мало выпьет, и сочла более надежным обойтись без машины. На вопрос, много ли она пьет и бывает ли пьяной, она ответила: нет, пьет мало, пьяной никогда не была, только один раз, причем в присутствии и по инициативе мужа, ее напоили на вечеринке корпорации барабанщиков каким-то анисовым снадобьем, по вкусу напоминающим лимонад. Позднее ей сказали, что эта довольно дорогая штука -- излюбленное средство, чтобы напоить человека допьяна. Когда ей заявили, что такое объяснение будто она боялась, не слишком ли много выпьет, неосновательно, поскольку она никогда много не пьет, и не в том ли дело, что она с Гёттеном заранее договорилась, то есть знала, что им не понадобится ее машина, так как они поедут обратно на его машине, она покачала головой и сказала: все было точно так, как она сообщила. У нее как раз было настроение напиться, но потом она все же этого не сделала.

Еще один пункт следовало выяснить до обеденного перерыва: почему у нее нет сберегательной или чековой книжки? Нет ли все же где-то лицевого счета? Нет, у нее нет другого счета, кроме как в сберкассе. Всякую, даже малейшую, поступающую в ее распоряжение сумму она тотчас же использовала на выплату кредита, полученного под большие проценты; проценты за кредит иной раз почти вдвое выше процентов, выплачиваемых по вкладам, а жирочет вообще почти не дает процентов. Кроме того, чековое обращение кажется ей слишком сложным и дорогим. Текущие расходы, домашнее хозяйство и машину она оплачивала наличными.

Определенные заторы, которые можно назвать и подсудными помехами, неизбежны, ибо не все источники можно разом и одним движением отвести и перевести в другое русло так, чтобы

тотчас же перед глазами предстало осушенное пространство. Но ненужных подспудных помех надо избегать, и тут следует объяснить, почему в эту пятницу утром и Байцменне, и Катари-на были такими мягкими, почти кроткими, чуть ли не смиренными, а Катарина даже пугливой или запуганной. Правда, ГАЗЕТА, которую одна доброжелательная соседка подсунула под двери госпожи Вольтерсхайм, вызвала у обеих женщин гнев и возму-щение, стыд и страх, но телефонный разговор с Блорной немно-го успокоил их, и так как вскоре после того, как обе расстроен-ные женщины пробежали глазами ГАЗЕТУ и Катарина погово-рила с Блорной по телефону, появилась госпожа Плесер и от-кровенно призналась, что квартира Катарины, конечно, нахо-дится под наблюдением, почему она и знала, где искать Катари-ну, и что теперь им нужно, к сожалению — к сожалению, вместе с госпожой Вольтерсхайм, — на допрос, то откровенная и при-ветливая манера госпожи Плесер отодвинула на задний план вызванный ГАЗЕТОЙ ужас, и в Катарине ожила радость, до-ставленная ей ночным событием: Людвиг позвонил ей, позвонил оттуда! Он был так мил, что она ничего не рассказала ему о своем злоключении, чтобы у него не возникло чувства, будто он причина каких-то бед. Они и сейчас не говорили о любви, это она ему категорически — еще когда они ехали в машине к ней домой — запретила. Нет-нет, у нее все в порядке, конечно же, она бы предпочла быть у него, с ним, навсегда или по крайней мере надолго, конечно, лучше даже навечно, она за время кар-навала отдохнет и никогда больше не будет танцевать с другим мужчиной, кроме как с ним, и всегда только по-южноамерикански и только с ним, и как у него там все сложи-лось. Он очень хорошо устроен и обеспечен, и, поскольку она запретила ему говорить о любви, он все-таки хочет сказать, что она ему очень-очень-очень нравится и когда-нибудь — когда, он пока не знает, может быть, через несколько месяцев, или через год, или даже через два года — он заберет ее, куда — он пока не знает. Ну, и в том же духе — как обычно разговаривают по теле-фону люди, питающие друг к другу глубокую нежность. Ни сло-ва об интимных делах, тем более о том событии, которому Байц-менне (или, что кажется все более вероятным, Гах) дал такое грубое определение. И все в том же духе. То, что говорят друг другу люди, исполненные нежности. Довольно долго. Десять минут. Может быть, даже больше, сказала Катерина Эльзе. Что касается конкретного словарного запаса обоих нежных собесед-ников, то можно указать на известные современные кинофиль-мы, где довольно много и *по видимости* бессодержательно бол-тают по телефону, часто на далеком расстоянии.

Этот телефонный разговор, который Катарина вела с Люд-вигом, был причиной расслабленности и Байцменне, его друже-

любия и мягкости, и если он-то догадывался, почему Катарина отказалась от своего заносчивого упрямства, то Катарина, конечно, не могла догадаться, что он весел по той же причине, хотя и не на том же основании. (Да послужит этот знаменательно-примечательный факт поводом к тому, чтобы чаще звонить по телефону, в крайнем случае и без нежного перешептывания, потому что всдь никогда не знаешь, кому таким телефонным разговором на самом деле доставишь радость.) Но Байцменне была ведома и причина боязливости Катарины, ибо он знал и о следующем анонимном звонке.

Просьба не доискиваться источников доверительных сведений, которые содержатся в этой главе,—речь идет только о пробойне в запруде боковой лужи; дилетантски сооруженная плотина будет пробита и даст течь, прежде чем слабая плотина рухнет и все напряжение спадет.

## 26

Во избежание недоразумений надо сказать, что как Эльза Вольтерсхайм, так и Блорны знали, разумеется, что Катарина действительно нарушила закон тем, что помогла Гёттену исчезнуть незамеченным из ее квартиры; способствуя его бегству, она становилась соучастницей определенных преступлений, пусть даже и не зная в данном случае, каких именно! Эльза Вольтерсхайм твердила ей об этом незадолго до того, как госпожа Пледер увела обеих на допрос. Блорна воспользовался первым же случаем, чтобы растолковать Катарине наказуемость ее действий. Ни перед кем не надо скрывать и того, что Катарина сказала госпоже Вольтерсхайм о Гёттене: «Боже мой, он как раз тот, кого я должна была встретить, я бы вышла за него замуж и родила ему детей — пусть даже пришлось бы ждать годы, пока он выйдет из кутузки».

## 27

Допрос Катарины Блюм можно было считать оконченным, она только должна быть готова в случае надобности к сопоставлению показаний других участников танцевального вечера у Вольтерсхайм. Следовало выяснить еще один вопрос, немаловажный в связи с теорией Байцменне о существовании договоренности и заговора: каким образом Людвиг Гёттен попал на домашний бал госпожи Вольтерсхайм?

Катарине Блюм предоставили выбор: отправиться домой или подождать в каком-либо приемлемом для нее месте, но домой идти она отказалась, ибо квартира, сказала она, внушает ей отвращение, она предпочитает ожидать в камере, пока допра-



шивают госпожу Вольтерсхайм, чтобы потом вместе пойти к ней домой. Лишь в этот момент Катарина вытащила из сумки оба номера ГАЗЕТЫ и спросила, не может ли государство — так она выразилась — сделать что-нибудь, чтобы защитить ее от этой грязи и вернуть потерянную честь. Она теперь хорошо знает, что ее допрос был вполне обоснован, хотя и не понимает, к чему это копание в мельчайших деталях ее жизни, но для нее совершенно непостижимо, каким образом подробности допроса — например, визиты некоего господина — могли стать достоянием ГАЗЕТЫ, да еще все эти лживые и обманом добытые свидетельства. Тут вмешался прокурор Гах и сказал, что в связи с огромным общественным интересом к делу Гёттена следовало, конечно, дать сообщение прессе; пресс-конференции пока не было, но ее, вероятно, не избежать в связи с волнением и страхом, вызванными бегством Гёттена, — бегством, которому она, Катарина, способствовала. Впрочем, благодаря свосму знакомству с Гёттеном она стала теперь «исторической личностью», а значит, и объектом понятного общественного интереса. Оскорбительные и, возможно, клеветнические детали она может обжаловать в порядке частного обвинения, и если обнаружится, что из следственных органов просачивается информация, то, она может быть уверена, они заявят протест по поводу нарушения закона и помогут ей добиться своего права. Затем Катарину Блюм отвели в камеру. От строгой охраны отказались, к ней приставили лишь молодую невооруженную сотрудницу полиции, Ренату Цюндах, которая потом рассказала, что Катарина Блюм в течение всего времени, то есть приблизительно два с половиной часа, только и делала, что читала и пересчитывала ГАЗЕТУ. Она отказалась от чая, хлеба, от всего — не агрессивно, а «почти дружелюбно, но с какой-то апатией». Всякие разговоры о модс, фильмах, танцах, которые она, Рената Цюндах, заводила, чтобы отвлечь Катарину, не были поддержаны.

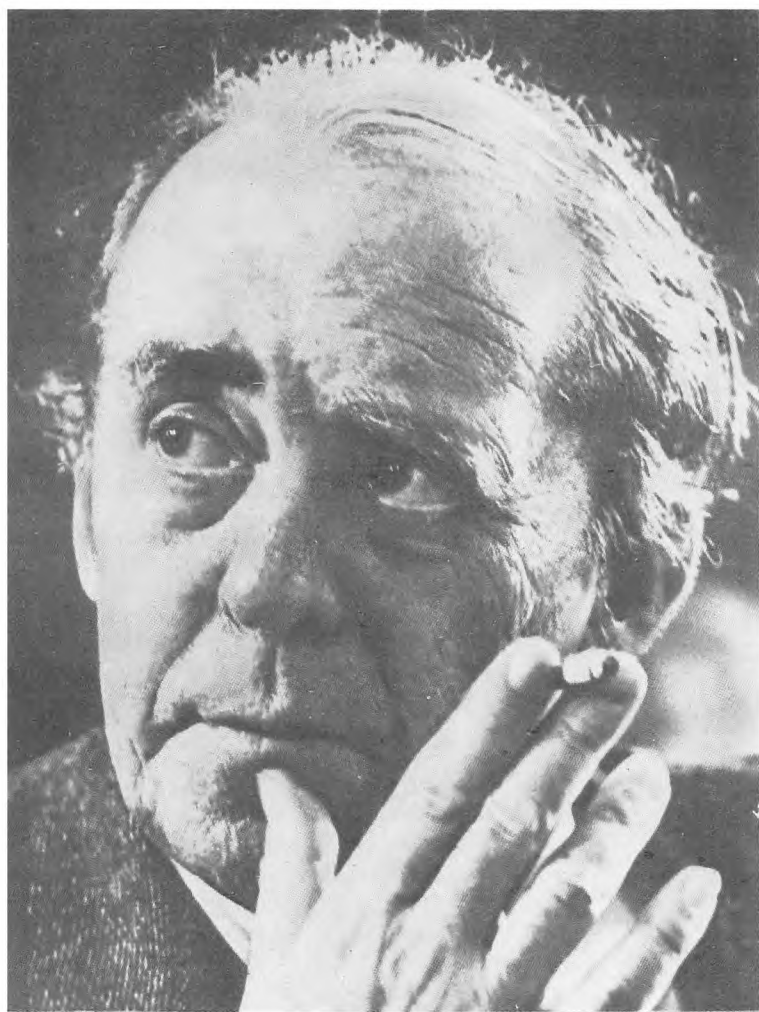
Потом, чтобы помочь этой Блюм, прямо-таки с ожесточением вцепившейся в ГАЗЕТУ, она временно передала охрану коллеге Хюфтсону и принесла из архива сообщения других газет, в которых вполне объективно говорилось об обстоятельствах дела и допросе Блюм, о ее возможной роли. На третьей, четвертой полосах — краткие сообщения, где даже фамилия Блюм приводилась не полностью, а говорилось лишь о некой Катарине Б., домашней работнице. «Обозрение», например, дало десятистрочную информацию, без фотографии, разумеется, где говорилось о злополучном стечении обстоятельств некой абсолютно незапятнанной особы. Все это — а ей принесли пятнадцать газетных вырезок — ее не утешило, она только сказала: «Да кто это читает? Все, кого я знаю, читают ГАЗЕТУ!»

Для того чтобы выяснить, каким образом Гёттен сумел попасть на домашний бал госпожи Вольтерсхайм, сперва допросили саму госпожу Вольтерсхайм, и сразу же стало очевидно, что госпожа Вольтерсхайм настроена по отношению ко всей допрашивающей коллегии если не явно враждебно, то, во всяком случае, враждебнее, чем Блюм. Она показала, что родилась в 1930 году, то есть сй 44 года, не замужем, по профессии экономка, диплома не имеет. Прежде чем дать показания по делу, она «бесстрастным, сухим, как порох, голосом, что выразило ее возмущение с большей силой, чем если бы она ругалась или кричала», высказалась об обращении ГАЗЕТЫ с Блюм, а также о том факте, что прессе такого рода передаются подробности допроса. Она понимает, что следует выяснить роль Катарины, но, спрашивается, допустимо ли «разрушать молодую жизнь». Она знает Катарину со дня ее рождения и видит, как уже со вчерашнего дня это разрушение и растерянность приносят свои плоды. Она не психолог, но тот факт, что Катарина потеряла всякий интерес к своей квартире, которую так любила и ради которой так много работала, она считает в высшей степени тревожным.

Прервать обвинительный поток слов Вольтерсхайм было невозможно, даже Байцменне не преруспел в этом, лишь однажды ему удалось перебить ее упреком, что она принимала у себя Гёттена, на что она ответила, что сам он не представлялся и не был сй представлен другими. Она только знает, что в ту самую среду он появился около 19.30 в сопровождении Герты Шоймсель вместе с ее подругой Клаудией Штерм, а ее в свою очередь сопровождал какой-то мужчина в костюме шейха, о котором она знает только, что его называли Карлом, и который потом вел себя весьма странно. О договоренности Катарины с этим Гёттеном не может быть речи, и госпожа Вольтерсхайм никогда прежде не слышала его имени, а жизнь Катарины сй известна до мельчайших деталей. Ей, правда, пришлось признаться, что она ничего не знает о «странных автомобильных поездках» Катарины, чьи соответствующие показания сй предъявили, что нанесло решающий удар по утверждению, будто все детали жизни Катарины сй известны. Вопрос о визитах мужчины смутил ее, но она ответила: раз Катарина ничего об этом не сказала, то и она отказывается говорить. Единственное, что она может заметить: это «довольно пошлое дело», и, «когда я говорю «пошлость», я имею в виду не Катарину, а визитера». Если Катарина ее уполномочит, она скажет все, что знает; она исключает возможность того, что поездки Катарины связаны с этим господином. Да, такой господин существует, и если она не желает говорить о нем, то по-

тому, что не хочет выставить его на посмешище. Как бы то ни было, роль Катарини в обоих случаях — и в отношении Гёттена, и в отношении визитера, — вне всяких сомнений, благородна. Катарина всегда была трудолюбивой, честной, немножко пугливой, вернее, запуганной девушкой, в детстве даже набожной и благочестивой. Но потом ее мать, уборщицу церкви в Геммельсбройхе, неоднократно уличали в бесчестности, а однажды даже поймали на месте преступления — вместе со служкой она распивала в ризнице церковное вино. Это раздули в «оргию» и устроили скандал, а приходский священник в школе стал плохо обращаться с Катариной. Да, госпожа Блюм, мать Катарини, была очень неустойчивой особой, временами предавалась запою, но надо представить себе этого вечно брюзжащего, болезненного человека — отца Катарини, который вернулся с войны полнейшей развалиной, затем озлобившуюся мать и, можно сказать, злополучного брата. Ей известна также история неудачного брака Катарини. Она с самого начала ей не советовала, Бреттло, да простят ей это выражение, типичный слизняк, ползающий на брюхе перед всеми светскими и церковными властями, к тому же отвратительный хвостун. Брак Катарини был бегством из кошмарной домашней атмосферы, и, как только она избавилась от этой атмосферы и от опрометчиво заключенного брака, она, как известно, стала превосходным человеком. Ее профессиональные достоинства вне всяких сомнений, это она, Вольтерсхайм, может не только устно, но, если понадобится, и письменно подтвердить — она член экзаменационной комиссии ремесленной палаты. При нынешнем развитии новых форм гостеприимства, все более склоняющегося к форме так называемого организованного буфета, шансы такой женщины, как Катарина Блюм, которая имеет прекрасную организаторскую, калькуляторскую и эстетическую подготовку и опыт, поднимаются. Но если теперь ГАЗЕТА не исправит дела, вместе с утратой интереса к своей квартире Катарина утратит, конечно, интерес и к профессии. По этому пункту госпоже Вольтерсхайм разъяснили, что не дело полиции или прокуратуры «учинять уголовно-правовое преследование определенных, несомненно порочных, методов журналистики». Нельзя походя посягать на свободу печати, но она может быть уверена, что частное обвинение будет рассмотрено по всем правилам и будет заявлен протест о правонарушении в связи с использованием незаконных источников информации. С пламенной, можно сказать, речью в защиту свободы печати и тайны информации выступил молодой прокурор д-р Кортен, который вместе с тем особо подчеркнул, что если человек не возвращается в плохом обществе или не связывается с ним, то он никакого повода к кривотолкам в прессе и не дает.

А вот такие факты, как, скажем, появление Гёттена и пресло-



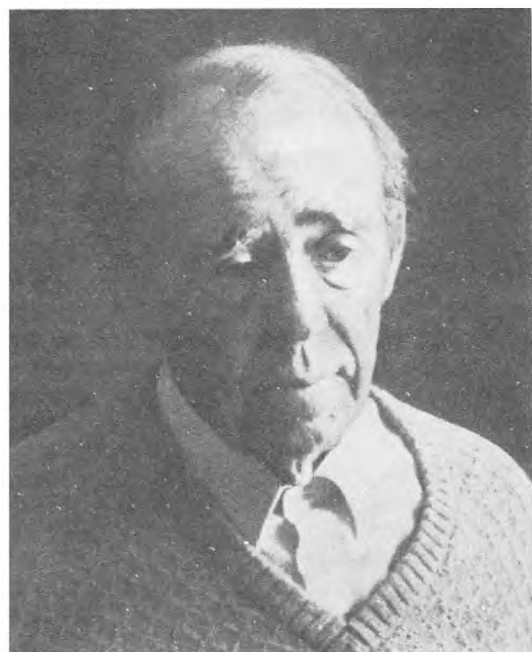
1936



1960



1975



1985



Г. Бѐль и Анשמרי Цעх, 1942



Г. Бѐль и Е. Евтушѐнко, Кѐльн, 1963



После спектакля «Глазами клоуна» в театре им. Моссовета, март 1970.  
Слева направо: В. Сошальская, Е. Кацева, Г. Бортников, Г. Бёль, М. Терехова

Вручение Нобелевской премии наследным принцем Швеции Карлом-Густавом, 1972





Аннемари и Г. Бëль, 1976

На демонстрации в защиту мира 10.10.1981

На вечере, устроенном в честь возведения Г. Бëлля в звание командора французского «Ордена искусств и литературы», Париж, 1984





Карманные издания книг Г. Бёлля



в этого Карла в костюме шейха, позволяют сделать вывод о странной беспечности при общении с людьми. Тут ему еще не все ясно, и он рассчитывает при допросе обеих попавших в дом или попавшихся молодых дам получить приемлемые объяснения. Ее же, госпожу Вольтерсхайм, нельзя не упрекнуть в том, что она не слишком разборчива в выборе своих гостей. Госпожа Вольтерсхайм не могла позволить себе выслушивать поучения от человека значительно моложе ее и сослалась на то, что пригласила обеих молодых дам, предложив им прийти вместе со своими друзьями, и далека от мысли требовать у друзей своих гостей удостоверения личности и справки полиции о благонадежности. Ей пришлось выслушать замечание и принять к сведению, что возраст здесь не играет никакой роли, роль играет лишь положение прокурора д-ра Кортена. Как бы то ни было, здесь ведь расследуется серьезное, тяжкое, если не тягчайшее, уголовное преступление, в котором замешан Гёттен. И она должна оставить на усмотрение представителя государства, какие детали и какие поучения считать важными. В ответ на повторный вопрос, может ли Гёттен и визитер быть одним и тем же лицом, Вольтерсхайм сказала: нет, это совершенно исключено. Но поскольку на вопрос о том, знает ли она «визитера» лично, видела ли его, встречалась ли когда-нибудь с ним, ей пришлось ответить отрицательно и поскольку она не знала и о такой важной интимной детали, как странные автомобильные поездки, то присутствующих допрос не удовлетворил, и ее нелюбезно отпустили до поры до времени. Явно раздраженная, она, прежде чем покинуть помещение, потребовала занести в протокол, что переодетый шейхом Карл показался ей по меньшей мере столь же подозрительным, как и Гёттен. Во всяком случае, он в туалете все время произносил монологи и исчез не попрощавшись.

## 29

Поскольку было установлено, что Гёттена на вечер привела семнадцатилетняя продавщица Герта Шоймель, следующей допросили ее. Она была явно напугана, сказала, что никогда еще не имела дела с полицией, но все-таки дала более или менее приемлемое объяснение своего знакомства с Гёттеном. Она показала: «Я живу вместе с моей подругой Клаудией Штерм, которая работает на шоколадной фабрике, в однокомнатной квартире с кухней и душевой. Обе мы из Куир-Офтерсбройха и обе дальние родственницы и госпожи Вольтерсхайм, и Катарины Блюм. Хотя Шоймель хотела подробнее разъяснить, в каком именно дальнем родстве они состоят, и стала называть дедушек и бабушек, которые были двоюродными и троюродными братьями и сестрами других дедушек и бабушек, ей предложили не

уточнять степень дальнего родства, сочтя выражение «дальние» достаточным.) — Мы называем госпожу Вольтерсхайм тетей и считаем Катарину кузиной. В тот вечер, в среду, 20 февраля 1974 года, мы обе, Клаудия и я, находились в некотором затруднении. Мы обещали тете Эльзе привести на небольшой праздник наших приятелей, потому что иначе будет не хватать партнеров. Но мой друг, который служит сейчас в бундесверсе, точнее сказать — в саперных частях, неожиданно был опять назначен в наряд, и, хотя я советовала ему просто сбегать, мне не удалось уговорить его, потому что он уже неоднократно сбегал и боялся крупных дисциплинарных взысканий. Друг Клаудии к тому времени был настолько пьян, что нам пришлось уложить его в постель. И мы решили пойти в кафе «Полькт» и подцепить там каких-нибудь симпатичных парней, потому что не хотели осрамиться перед тетей Эльзой. В карнавальном сезоне в кафе «Полькт» всегда оживленно. Там встречаются до и после балов, до и после заседаний, и можно быть уверенной, что всегда найдешь много молодых людей. К вечеру настроение в кафе «Полькт» было уже очень приподнятым. Этот молодой человек, о котором я только сейчас узнала, что его зовут Людвигом Гёттеном и он разыскивается как опасный преступник, два раза пригласил меня потанцевать, и во время второго танца я спросила, не хочет ли он пойти со мной на вечеринку. Он тут же с радостью согласился. Он сказал, что находится здесь проездом, нигде не остановился, не знает даже, где ему провести вечер, и с удовольствием пойдет со мной. Как раз когда я, можно сказать, договорилась с этим Гёттеном, Клаудия танцевала рядом со мной с каким-то мужчиной в костюме шейха, и они, должно быть, слышали наш разговор, потому что шейх, которого, как я позднее узнала, зовут Карлом, сразу же в шутливо-робком тоне спросил, не найдется ли на этой вечеринке местечко и для него, он тоже одинок и толком не знает, куда деться. Ну, мы, стало быть, достигли своей цели и вскоре после этого поехали к тете Эльзе в Людвиговой простите, я имею в виду господина Гёттена машине. Это был «порше», не очень удобный для четырех пассажиров, но путь ведь был недалекий. На вопрос, знала ли Катарина Блом, что мы пойдем в кафе «Полькт» кого-нибудь подцепить, я отвечаю: да. Я утром позвонила Катарине на квартиру адвоката Блорны, где она работает, и рассказала, что нам с Клаудией придется прийти одним, если мы кого-нибудь не найдем. Сказала я и о том, что мы пойдем в кафе «Полькт». Она была против и сказала, что мы слишком доверчивы и легкомысленны. Катарина ведь строгая в этих делах. Тем более меня удивило, что она почти сразу же полностью завладела Гёттеном и весь вечер с ним танцевала, будто они все знакомы».

Показания Герты Шоймель почти дословно подтвердила ее подруга Клаудия Штерм. Разошлись они лишь в единственном незначительном пункте. А именно: она танцевала с шейхом Карлом не два, а три раза, потому что Карл пригласил ее раньше, чем Гёттен Герту. И ее, Клаудию Штерм, тоже удивило, как быстро Катарина Блюм, известная своей неприступностью, познакомилась, можно сказать сблизилась, с Гёттенем.

Пришлось допросить еще трех участников домашнего бала. Текстильный коммерсант Конрад Байтерс, 56 лет, друг госпожи Вольтерсхайм, и супруги Хедвиг и Георг Плоттен, 36 и 42 лет, оба по профессии служащие административных учреждений,— все трое одинаково описали ход вечера, появление Катарина Блюм, появление Герты Шоймель в сопровождении Людвига Гёттена и Клаудии Штерм в сопровождении одетого в костюм шейха Карла. Вообще-то вечер был приятный, танцевали, болтали друг с другом, причем особенно остроумным оказался Карл. По словам Георга Плоттена, несколько мешало — если можно так выразиться, ибо сами они наверняка это так не воспринимали,— «тотальное присвоение Катарина Блюм Людвигом Гёттенем». Это сообщило вечеру некую серьезность, чуть ли не торжественность, не вполне подходящую обычным карнавальным увеселениям. Госпожа Хедвиг Плоттен подтвердила, что, когда она после ухода Катарина и Людвига пошла на кухню за мороженым, ей тоже показалось, будто введенный в дом под именем Карла шейх произносил в туалете монологи. Кстати, этот Карл вскоре удалился, толком не попрощавшись.

Снова доставленная на допрос Катарина Блюм подтвердила телефонный разговор с Гертой Шоймель, но по-прежнему отрицала, что у нее была договоренность с Гёттенем. Вовсе не Байцманне, а более молодой прокурор, д-р Кортен, настоятельно рекомендовал ей признаться, что после телефонного разговора с Гертой Шоймель ей позвонил Гёттен и она хитроумно направила его в кафе «Полькт», велел заговорить с Шоймель, чтобы потом незаметно встретиться у Вольтерсхайм. Осуществить это было очень легко, так как Шоймель яркая, разодетая в пух и прах блондинка. Почти впавшая в полную апатию Катарина Блюм только покачала головой, по-прежнему сжимая в правой

руке оба номера ГАЗЕТЫ. После этого ее отпустили, и она вместе с госпожой Вольтерсхайм и ее другом Конрадом Байтерсом покинула полицейское управление.

33

Еще раз просматривая подписанные протоколы допросов, чтобы проверить, нет ли каких-нибудь упущений, д-р Кортен поставил вопрос, не стоит ли всерьез заняться этим шейхом по имени Карл и расследовать его крайне подозрительную роль в деле. Он очень удивлен, что до сих пор не предприняты меры для розыска Карла. Ведь, в конце концов, этот Карл появился в кафе «Полькт» одновременно, если не вместе, с Гёттеном, тоже втерся в дом на вечеринку, и роль его кажется ему, Кортену, довольно странной, если не подозрительной.

Тут все присутствующие разразились хохотом, даже сдержанная служащая уголовной полиции Плецер позволила себе улыбнуться. Протоколистка, госпожа Анна Локстер, смеялась так вульгарно, что Байцменне пришлось призвать ее к порядку. И так как Кортен все еще не понимал, в чем дело, коллега Гах наконец просветил его. Разве Кортену не ясно, разве не бросилось в глаза, что комиссар Байцменне умышленно оставил в стороне, не упомянул шейха? Ясно же, что он один «из наших» и его мнимые монологи в туалете не что иное, как — правда, неуклюже сработанное — оповещение коллег посредством мини-радиопередатчика, чтобы они занялись слежкой за Гёттеном и Блюм, адрес которой к тому времени был уже, естественно, известен. «И вы, конечно, понимаете также, коллега, что в карнавальном сезоне костюм шейха наилучшая маскировка, ведь по само собой разумеющимся причинам шейхи нынче популярнее ковбоев. Естественно, — добавил Байцменне, — нам с самого начала было ясно, что карнавал поможет бандитам скрыться и осложнит нам задачу идти по горячим следам, ведь мы тридцать шесть часов следовали по пятам Гёттена. Гёттен, который, кстати, не облачился в маскарадный костюм, ночевал в автобусе марки «фольксваген» на стоянке, откуда потом угнал «порше»; он позавтракал в кафе, там же в туалете побрился и переоделся. Мы ни на минуту не теряли его из виду, за каждым его шагом следил десяток наших людей, переодетых шейхами, ковбоями и испанцами, снабженных мини-радиопередатчиками, прикидывающихся подгулявшими участниками карнавала, — они тотчас же сообщали о всех его попытках установить контакт. Нами охвачены и проверены все, с кем Гёттен соприкасался до того, как переступил порог кафе «Полькт»:

кельнер из пивной, где он пил пиво;



две девушки, с которыми он танцевал в ресторанчике старого города;

рабочий на бензоколонке неподалеку от Хольцмаркта, где он заправил угнанный «порше»;

мужчина у газетного киоска на Маттиасштрассе;

продавец в табачной лавке;

служащий банка, где он обменял семьсот американских долларов, добытых, вероятно, при ограблении какого-нибудь банка.

Установлено, что все это были случайные, а не запланированные контакты и ни одно слово, каким он обменялся с каждым из этих людей, не похоже на код. Но я не поверю, что Блюм — тоже случайный контакт. Ее телефонный разговор с Шоймель, пунктуальность, с которой она появилась у Вольтерсхайм, да и треклятая самозабвенность и нежность, с которой они оба с первой же секунды танцевали — и как быстро они потом вместе отвалили! — все это говорит, что случайности не было. Но прежде всего об этом свидетельствует тот факт, что она якобы позволила ему уйти не попрощавшись, совершенно очевидно, что она показала ему путь из жилого квартала, не охваченный контролем. А ведь мы ни на минуту не выпускали из поля зрения жилой квартал, то есть дом в этом квартале, где она живет. Конечно, мы не можем установить полный контроль над территорией почти в полтора квадратных километра. Она, должно быть, знает запасный выход и указала его, кроме того, я уверен, что она играет роль квартирьера для него, а возможно, и для других и точно знает, где он находится. Дома ее работодателей уже обложены, мы произвели разведку в ее родной деревне, еще раз основательно обыскали квартиру госпожи Вольтерсхайм, пока ее тут допрашивали. Ничего. Мне кажется, лучше всего позволить ей свободно разгуливать, чтобы она совершила ошибку; и, вероятно, путь к его квартире пролегает через пресловутого визитера, я уверен, что запасный выход из жилого квартала связан с госпожой Блорна, которая, как мы теперь знаем, и есть «красная Труда», а она участвовала в просктировании квартала».

#### 34

Здесь следует заметить, что первый «обратный подпор» почти закончен, с пятницы перешли опять к субботе. Все сделано для того, чтобы избежать новых заторов, в том числе и излишних скоплений напряженности. Полностью избежать их, видимо, невозможно.

Примечательно, что в пятницу после полудня, после заключительного допроса, Катарина Блюм попросила Эльзу Вольтерсхайм и Конрада Байтерса сперва отвезти ее домой и —

пожалуйста, пожалуйста — вместе с ней подняться в квартиру. Она призналась, что боится, потому что в тот четверг, ночью, вскоре после телефонного разговора с Гёттеном (по тому факту, что она, пусть и не на допросе, открыто говорила о своих телефонных контактах с Гёттеном, любой непредвзятый человек может судить о ее невинности), случилось нечто совершенно ужасное. Сразу после разговора с Гёттеном, как только она положила трубку, телефон снова зазвонил, и «в безумной надежде», что это опять Гёттен, она тотчас же сняла трубку, но на проводе был не Гёттен, а «жутко тихий» мужской голос «почти шепотом» наговорил ей «всякие гадости», сплошные мерзости, но самое мерзкое — парень выдавал себя за обитателя дома и сказал, что раз уж ей так по душе нежности, то зачем далеко искать, он готов и в состоянии предложить ей любой, ну просто любой вид нежности. Да, этот звонок и заставил ее ночью приехать к Эльзе. Она боится, боится даже телефона, и, так как Гёттен знает ее номер, а она его номера не знает, она все надеется, что он позвонит, но в то же время и боится телефона.

Не стоит скрывать, что Катарине Блюм предстояли и другие ужасы. Ну, к примеру, почтовый ящик; до сих пор он играл в ее жизни очень незначительную роль, она заглядывала туда в основном лишь потому, что «так уж принято», но безрезультатно. В эту пятницу утром он был набит до отказа, и отнюдь не на радость Катарине. И хотя Эльза В. и Байтерс всячески пытались перехватить письма, печатные издания, она не отступалась и просмотрела — наверное, в надежде получить весточку от своего дорогого Людвига — все почтовые отправления, в общей сложности штук двадцать, но, по всей видимости ничего не найдя от Людвига, затолкала весь хлам в свою сумку. Даже поездка в лифте оказалась мучительной, так как с ними вместе поднимались двое жильцов. Один из них (звучит невероятнo, но приходится сказать) — господин в костюме шейха, который, в явном стремлении отгородиться от них, забился в угол, но, к счастью, вышел уже на четвертом этаже, и дама (с ума сойти, но что правда, то правда), персодстая андалузкой, в маске, — она не отпрянула от Катарини, а стала к ней вплотную и с бесцеремонным любопытством разглядывала ее «нагими, осуждающими карими глазами». Она поехала выше восьмого этажа.

Надо предупредить: дальше будет еще хуже. Едва они очутились в квартире, при входе в которую Катарина прямо-таки вцепилась в Байтерса и Эльзу В., зазвонил телефон, и на сей раз госпожа В. оказалась проворнее Катарини, она ринулась вперед, схватила трубку, ужаснулась, побледнела, пробормотала: «Проклятая свинья, проклятая трусливая свинья» — и благополучно положила трубку не на рычаг, а рядом с ним.

Тщетно госпожа В. и Байтерс пытались отнять у Катарины почту, она крепко сжимала всю стопку писем и печатных изданий вместе с обоими номерами ГАЗЕТЫ, которые тоже извлекла из сумки, и настояла на том, чтобы вскрыть всю корреспонденцию. Ничего нельзя было поделаться. Она все прочитала!

Не все послания были анонимными. Одно неанонимное письмо — самое большое — пришло от предприятия, которое называло себя «Домом рассылает предметов интимного обихода» и предлагало всевозможные принадлежности сексуальной жизни. Это уж совсем добило Катарину, да кто-то еще сделал приписку от руки: «Вот настоящие нежности».

Коротко, или еще лучше — статистически говоря: среди остальных восемнадцати корреспонденций были:

семь анонимных, от руки написанных открыток с грубыми предложениями сексуальных услуг, в каждой из них как-либо обыгрывались слова «коммунистическая свинья»;

четыре анонимные открытки, содержащие политические оскорбления — от «красной крысы» до «кремлевской тетки» — без сексуальных предложений;

пять писем с вырезками из ГАЗЕТЫ, в трех или четырех из них — красными чернилами на полях комментарии, среди прочего, например, такого содержания: «Что не удалось Сталину, то и тебе не удастся»;

два письма, содержащие религиозные наставления, в обоих случаях на приложенных трактатах написано: «Научись снова молиться, бедное заблудшее дитя» и «Стань на колени и исповедуйся, Бог еще не оставил тебя».

Лишь сейчас Эльза В. обнаружила подсунутую под дверь записку, которую она, к счастью, действительно сумела скрыть от Катарины: «Почему ты не воспользуешься моим каталогом нежностей? Должен ли я принуждать тебя к твоему счастью? Твой сосед, которого ты так пренебрежительно отвергла. Я тебя предупреждаю». Это было написано печатными буквами, которые, по мнению Эльзы В., выдавали высшее, возможно врачебное, образование.

## 35

Поразительно, что ни госпожа В., ни Конрад Б. не удивились и даже и не подумали вмешаться, когда Катарина подошла к небольшому домашнему бару в гостиной, вынула бутылки хереса, виски, красного вина и початую бутылку вишневого сиропа и без особого волнения стала швырять их в незапятнанные стены, о которые они разбивались.

То же самое она сделала в маленькой кухне, используя для этой цели кетчуп, салатный соус, уксус, острый соус для при-

правы. Надо ли добавлять, что то же она сотворила в ванной с тубиками и флаконами крема, пудрой, порошками, солями для ванны, а в спальне — с флаконом одсколона?

Действовала она при этом планомерно, а вовсе не взволнованно, так убежденно и так убедительно, что Эльза В. и Конрад Б. ничего не предпринимали, чтобы ее остановить.

### 36

Существует, конечно, довольно много теорий, с помощью которых пытались определить момент, когда Катарина впервые вознамерилась убить или разработала план убийства и решила привести его в исполнение. Одни полагают, что достаточно было уже первой статьи в ГАЗЕТЕ в четверг, другие же считают решающим днем пятницу, потому что в этот день ГАЗЕТА все еще не утихомирилась и обнаружилось, что добрососедские отношения и квартира, к которой Блюм была так привязана, разрушены (субъективно, во всяком случае); анонимный абонент, анонимная почта, а потом еще субботняя ГАЗЕТА и, кроме того (здесь мы забегам вперед), ВОСКРЕСНАЯ ГАЗЕТА. Но разве не излишни подобные умозрительные рассуждения: она задумала убийство и осуществила его — и хватит! Можно с уверенностью утверждать: в ней что-то «поднялось», высказывания бывшего мужа ее особенно вывели из себя; и уж с абсолютной уверенностью можно утверждать: все, что потом было напечатано в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ, если и не послужило причиной, то, во всяком случае, оказало отнюдь не успокаивающее воздействие.

### 37

Прежде чем покончить с «обратным подпором» и снова сосредоточиться на субботе, следует сообщить еще о том, как прошли вечер в пятницу и ночь с пятницы на субботу у госпожи Вольтерсхайм. Общий итог: неожиданно спокойно. Правда, отвлекающие маневры Конрада Байтерса, включившего танцевальную музыку, южноамериканскую даже, и пробовавшего разохотить Катарину потанцевать, потерпели неудачу, неудачу потерпела и попытка разлучить Катарину с ГАЗЕТОЙ и анонимной почтой; также потерпела неудачу попытка представить все проходящим и не так уж страшно важным. Разве не пришлось пережить куда более ужасные вещи: нищес детство, брак с этим дрянным Бреттло, запои, «мягко говоря, опустившейся матери, которая в конечном счете повинна в том, что Курт сбился с пути»? Разве Гёттен в настоящий момент не в безопасности и его обещание забрать ее дано не всерьез? Разве сейчас не карнавал

и разве она не обеспечена материально? Разве нет на свете таких ужасно милых людей, как Блорны, как Хиперцы и даже этот «тщеславный кривляка» — позвать по имени визитера все еще не решались, — разве не был он, в сущности, забавным и уж никак не удручающим явлением? Тут Катарина возразила и напомнила про «идиотское кольцо и дурацкий конверт», которые поставили их обоих в тяжелое положение и даже навлекли подозрение на Людвига. Могла ли она знать, что этот кривляка не стоит за ценой, только бы потешить свое тщеславие? Нет-нет, забавным она его вовсе не находит. Нет. А когда стали обсуждать практические вещи — например, не поискать ли ей новую квартиру и не подумать ли уже сейчас — где, — Катарина уклончиво сказала: единственное практическое дело, каким она собирается заняться, — это соорудить карнавальный костюм, и она просит Эльзу одолжить ей большую простыню, потому что она хочет ввиду моды на шейхов в субботу или воскресенье «двинуться в путь» бедуинкой. Что, собственно, случилось плохого? Если хорошенько подумать, почти ничего, или лучше сказать — почти только хорошее, ибо как-никак Катарина действительно встретила того, «кого она должна была встретить», провела с ним «ночь любви», ну, хорошо, ее опрашивали или допрашивали и, судя по всему, Людвиг в самом деле «не божья коровка». Затем была эта обычная грязь в ГАЗЕТЕ, несколько свиней анонимно позвонили, другие анонимно написали. Разве жизнь не продолжится? И разве Людвиг не устроен — она, только одна она знает, как прекрасно, прямо-таки комфортабельно он устроен. А теперь мы сошьем карнавальный костюм, в котором Катарина будет восхитительно выглядеть, белый женский бурнус; в нем она славненько «двинется в путь».

В конце концов, природа заявляет свои права, и вот ты уже дремлешь, засыпаешь, просыпаешься, снова дремлешь. А не выпить ли нам по стакашчику? Почему бы нет? Наимирнейшая картина: молодая женщина, задремавшая над шитьем; пожилая дама и пожилой господин осторожно обходят ее, чтобы природа «вступила в свои права». Природа так основательно вступила в свои права, что Катарину не разбудил даже телефонный звонок, прозвучавший в половине третьего ночи. Почему вдруг задрожали руки у трезвой госпожи Вольтерсхайм, когда она схватила трубку? Уж не ждет ли она анонимных нежностей, наподобие тех, что она услышала несколько часов назад? Конечно, половина третьего ночи жутковатое время для телефонного звонка, но она хватается трубку, которую у нее сразу же отбирает Байтерс, и как только он произносит «Да?», на другом конце провода трубку вешают. И снова раздастся звонок, и снова — как только он снимает трубку, еще прежде, чем он сказал «Да?», —

отбой. Конечно, есть люди, которые хотят потрепать человеку нервы, раз они узнали из ГАЗЕТЫ его имя и адрес, и потому лучше не класть больше трубку на аппарат.

Было решено уберечь Катарину хотя бы от субботнего выпуска ГАЗЕТЫ, но она, воспользовавшись несколькими минутами, когда Эльза В. заснула, а Конрад Б. брился в ванной, выскользнула на улицу, где в утренних сумерках рванула дверцу первого попавшегося автомата с ГАЗЕТОЙ, совершив своего рода кощунство, ибо обманула ДОВЕРИЕ ГАЗЕТЫ, поскольку вынула ГАЗЕТУ, не заплатив за нее! Можно считать, что с «обратным подпором» пока покончено, потому что как раз в это время, в эту самую субботу, Блорны, подавленные, раздраженные и грустные, вышли из ночного поезда и раздобыли тот же выпуск ГАЗЕТЫ, который они потом изучат дома.

### 38

Неуютно было у Блорнов в субботу утром, крайне неуютно, не только из-за почти бессонной, с тряской и качкой, ночи в поезде, не только из-за ГАЗЕТЫ, о которой госпожа Блорна сказала, что эта зараза настигает человека всюду, нигде от нее не спрячешься, неуютно не только из-за полных упреков телеграмм влиятельных друзей и клиентов, но также из-за Гаха, которому рано, слишком рано (и вместе с тем слишком поздно, если учесть, что лучше было бы сделать это еще в четверг) позволили дпсм. Он был не очень приветлив, сказал, что допрос Катарину закончен, он не может сказать, будет ли возбуждено против нее дело, но в настоящее время ей, конечно, требуется защитник, хотя еще и не судебный защитник. Разве они забыли, что сейчас карнавал и прокуроры тоже имеют право на отдых, а иной раз и на праздник? Но как бы то ни было, ведь знакомы-то уже двадцать четыре года, вместе учились, вместе зубрили, пели песни, даже совершали туристские походы, и потому не обращай внимания на первые минуты плохого настроения, тем более что и сам чувствуешь себя крайне неуютно, но тут вдруг просьба — от прокурора! — дальнейшее обсуждать не по телефону, а лучше при встрече. Да, обвинения против нее выдвинуты, многое чрезвычайно запутано, но хватит, может быть, потом, после обеда, при встрече. Где? В городе. Лучше всего на ходу. В фойе музея. В половине пятого. Никаких телефонных связей с квартирой Катарину, с госпожой Вольтерсхайм, с супругами Хиперц.

Неуютно еще и потому, что так быстро дало себя знать отсутствие упорядочивающей руки Катарину. Даже непонятно, как это всего лишь за полчаса словно воцарился хаос, хотя всего

только заварили кофе, достали из шкафа хрустящие хлебцы, масло и мед и поставили в прихожую багаж; в конце концов даже Труда раздражилась, потому что он беспрестанно, снова и снова, спрашивал, какую связь она видит между делом Катарини и Алоизом Штройбледером, тем более Людингом, и она несколько не пыталась успокоить его, а только в своей наигранной наивно-иронической манере, которая обычно так нравилась ему, но в это утро была не по душе, все время отсылала его к обоим номерам ГАЗЕТЫ, потом спросила, обратил ли он внимание на одно слово, но на какое именно, говорить не стала, саркастически заметив, что хочет проверить его сообразительность, и он снова и снова читал «эту мерзость, эту отвратительную мерзость, которая всюду настигает человека», читал и перечитывал, не в силах сосредоточиться, потому что его всякий раз выводили из себя фальсифицированные его высказывания и слова «красная Труда», пока он наконец не капитулировал и смиренно не попросил Труду ему помочь; он настолько вне себя, что сообразительность изменяет ему, кроме того, он уже много лет практикует как адвокат по индустриальным, а не уголовным делам, в ответ на что она сухо произнесла: «К сожалению», но затем все-таки сжалась и сказала: «Разве ты не заметил слов «господа визитеры» и не заметил, что я их соотнесла с телеграммами? Посмотри-ка внимательно на фотографию этого Гёттинга, нет, Гётгена, — разве станст кто-нибудь говорить о нем как о господине визитере, как бы ни был он одет? Нет, ни в каком случае, на языке добровольно шпионирующих обывателей такого всегда назовут мужчиной, а не господином, и я предсказываю тебе, что не позже чем через час нам тоже нанесет визит господин, и еще я тебе предсказываю неприятности, конфликты и, возможно, конец одной старой дружбы, неприятности и с твоей «красной Трудой» и кое-что поболее, чем просто неприятности с Катарини, имеющей два очень опасных свойства: верность и гордость, — она никогда, ни за что не признается, что показала этому парню запасной выход, который мы обе, она и я, вместе изучали. Спокойно, дорогой, спокойно: ничего не обнаружится, но, в сущности, моя вина, что этот Гёттинг, нет, Гётген, смог исчезнуть незамеченным из ее квартиры. Ты наверняка уже не помнишь, что в моей спальне висел план всей системы отопления, вентиляции, канализации и проводок «Элегантной обители у реки». Шахты отопления помечены на нем красным цветом, вентиляции — синим, кабельные линии — зеленым, канализация — желтым. Этот план настолько привлекал к себе Катарину — ведь она сама такая аккуратная, все планирующая, почти гениально планирующая особа, — что она подолгу стояла перед ним и то и дело спрашивала о значении линий на этой «абстрактной картине», как она его называла, и я готова была раз-

добыть и подарить ей копию. Слава богу, что я этого не сделала; представь себе, что было бы, если бы у нее нашли копию плана, — хорошенькая база была бы подведена под теорию заговора, перевалочного пункта под сочетание: «красная Труда» и бандиты — Катарина и визитеры. Такой план был бы, конечно, идеальным руководством для всех сортов любителей незримо поживиться чужим добром или чужим теплом. Я сама ей объяснила, какой высоты различные переходы, где при разрыве труб и проводок можно пройти во весь рост, где — согнувшись, а где и ползком. Так, и только так, этот милый молодой джентльмен, о чьих нежностях ей остается теперь только мечтать, мог улизнуть от полиции, и если он действительно грабитель банков, он разгадал эту систему. Возможно, и господин визитер входил и выходил тем же путем. Для этих современных жилых кварталов требуются совсем иные методы наблюдения, чем для старомодных доходных домов. Подскажи это при случае полиции или прокуратуре. Они караулят главные входы, может быть, вестибюли и лифты, но ведь есть еще и грузовые лифты, они ведут напрямик в подвал, а там стоит только проползти несколько сот метров, поднять где-то крышку люка — и был таков! Поверь мне, теперь остается только молиться, крупные заголовки в ГАЗЕТЕ по тому или иному поводу ему не нужны, нужно ему сейчас точное и уверенное расследование и информация о нем в прессе, а еще больше, чем крупных заголовков, он боится злого и недовольного лица некой Мод, его законной, богом данной жены, от которой у него, кроме того, четверо детей. Разве ты не заметил, как он резво, «по-мальчишески весело», должна сказать, действительно мило несколько раз танцевал с Катариной, и как он прямо-таки навязывался провожать ее домой, и как он по-мальчишески досадовал, когда она обзавелась своей машиной? Ему нужно такое исключительно милое создание, как Катарина, не легкомысленное и все-таки — как вы это называете — чуткое на ласку, серьезное и все-таки молодое и такое прелестное, что она и сама этого не знает, — вот чего жаждет его сердце. А разве она и твое мужское сердце не радовала немножко?»

Да, было это, она радовала его мужское сердце, он признался в этом, и еще он признался, что она ему не просто нравится, это нечто большее, гораздо большее, и она, Труда, знает ведь, что на любого человека, не только мужчину, иной раз находит что-то такое, хочется кого-то обнять, да, может быть, и не только обнять, но Катарину — нет, тут было что-то, что никогда, ни за что не позволило бы ему стать «визитером», и если что-то мешало, даже исключало всякую возможность стать «визитером», или лучше сказать — попытаться это сделать, то не уважение к ней, Труде, не оглядка на нее — она ведь понимает, что он



имеет в виду,— а уважение к Катарине, да, уважение, почти благоговение, больше даже — нежнос благоговение перед ее, да, да, черт возьми, невинностью, которая даже больше, больше чем невинность, он не знает подходящего выражения. Возможно, дело в этой ее необычайной сердечной сдержанности, и хотя он на пятнадцать лет старше Катарини и, видит бог, кое-чего в жизни добился, то, как она взялась за свою испорченную жизнь, выправила, организовала ее, помешало бы ему, возникни у него вообще мысли подобного рода, потому что он побоялся бы разрушить ее жизнь, ее самос, ведь она так ранима, так дьявольски ранима, и если бы выяснилось, что Алоиз и впрямь тот «визитер», он бы, попросту говоря, «дал ему по морде»; да, ей надо помочь, помочь, ей не справиться с этими уловками, допросами, опросами, теперь слишком поздно, но в течение дня ему необходимо разыскать Катарину... В этом месте его интересные рассуждения были прерваны Трудой, которая со своей бесподобной сухостью заявила: «Визитер только что подъехал».

39

Здесь следует сразу же отметить, что Блорна не дал по морде Штройбледеру, который действительно подъехал в архироскошном наемном автомобиле. Пусть здесь не только по возможности мало крови течет, но пусть и изображение физического насилия, если без него никак не обойтись, будет сведено до того минимума, к которому обязывает отчет. Это совсем не означает, что обстановка у Блорнов мало-мальски разрядилась, напротив — стало еще неуютнее, ибо Труда Блорна, продолжая помещивать в чашке кофе, не смогла удержаться, чтобы не встретить старого друга словами: «Привет, визитер». «Я полагаю, смущенно заметил Блорна, — Труда опять попала в точку». «Да, — сказал Штройбледер, — спрашивается только, всегда ли это уместно».

Здесь можно отметить, что отношения между госпожой Блорной и Алоизом Штройбледером однажды достигли почти невыносимого накала — когда тот попытался если не соблазнить, то всерьез пофлиртовать и она в своей сухой манере дала ему понять, что, хотя он считает себя неотразимым, он вовсе не таков, во всяком случае для нее. При этих обстоятельствах можно понять, что Блорна предпочел сразу же увести Штройбледера в свой кабинет, попросив жену оставить их одних и в промежутке («Между чем?» — спросила госпожа Блорна) сделать все, все, чтобы разыскать Катарину.

Почему собственный кабинет может показаться человеку таким отвратительным, захлавленным и грязным, хотя нигде ни пылинки и все на своем месте? Почему красные кожаные кресла, в которых улажено столько дел и проведено столько доверительных раговоров, в которых действительно удобно сидеть и слушать музыку, вдруг становятся такими противными, книжные полки — омерзительными и даже Шагал на стене с собственноручной надписью — подозрительным, словно изготовленная самим художником подделка? Пспельница, зажигалка, штоф для виски — что можно иметь против этих безобидных, хотя и дорогих предметов? Что делает такой окаянный день после такой окаянной ночи столь невыносимым и напряжение между собой и старым другом столь сильным, что чуть ли не искры летят? Что можно иметь против нежно-желтых стен, украшенных современной графикой?

«Да-да,— сказал Алоиз Штройбледер,— я пришел, собственно, сказать, что в *этом* деле мне твоя помощь уже не нужна. У тебя опять сдали нервы, там, на аэродроме, во время тумана. Через час после того, как вы потеряли самообладание или терпение, туман рассеялся, и вы могли бы еще успеть сюда к 18.30. Вы могли бы даже, если б спокойно подумали, позвонить еще из Мюнхена на аэродром и узнали бы, что самолеты уже летают. Но оставим это. Не будем играть краплеными картами — не будь никакого тумана и вылетит самолет по расписанию, ты бы все равно прибыл слишком поздно, потому что решающая часть допроса давно была закончена и ничему уже нельзя было бы помешать».

«Я все равно не могу тягаться с ГАЗЕТОЙ»,— сказал Блорна.

«ГАЗЕТА,— сказал Штройбледер,— не представляет никакой опасности, это в руках Людинга, но ведь есть еще и другие газеты, и я могу примириться с любыми заголовками, но только не с теми, где я фигурирую вместе с бандитами. Романтическая история с женщиной доставила бы мне в крайнем случае семейные неприятности, но не общественные. Даже фотография с такой привлекательной особой, как Катарина Блюм, не причинила бы вреда, в остальном же теорию о мужских визитах оставят без внимания, а украшение или письмо — ну да, я подарил ей довольно дорогое кольцо, которое нашли, и написал несколько писем, от которых нашли лишь один конверт,— все это не доставит осложнений. Скверно, что этот Тётгес пишет для иллюстрированных газет под другой фамилией вещи, которые ему нельзя напечатать в ГАЗЕТЕ, и что — ну да — Катарина обещала ему интервью. Я узнал об этом несколько минут назад от Лю-

динга, который тоже за то, чтобы дать Тётгесу это интервью, потому что на ГАЗЕТУ можно повлиять, но не на другие журналистские действия Тётгеса, которые он осуществляет через подставное лицо. Ты что, вообще не в курсе?» — «Понятия ни о чем не имею», — сказал Блорна.

«Странное состояние для адвоката, чьим мандантом я как никак являюсь. Вот что происходит, когда бессмысленно транжирят время в тряских и валких поездах, вместо того чтобы вовремя связаться с метеослужбами, которые сообщили бы, что туман скоро рассеется. Ты, по-видимому, так еще и не связался с нею?»

«Нет, а ты?»

«Нет, непосредственно нет. Я только знаю, что примерно час назад она звонила в ГАЗЕТУ и договорилась с Тётгесом о специальном интервью на завтра после обеда. Он согласился. Но есть еще одно обстоятельство, которое причиняет мне больше, значительно больше огорчений, вызывает настоящую боль в желудке, — (тут лицо Штройбледера прямо-таки исказилось и голос задрожал), — ты можешь с завтрашнего дня бранить меня, сколько захочешь, потому что я действительно злоупотребил вашим доверием, но, с другой стороны, мы ведь действительно живем в свободной стране, где дозволена и свободная любовная жизнь, и, можешь мне поверить, я сделаю все, чтобы ей помочь, я даже поставлю на карту свою репутацию, ибо — смейся, если угодно, — я люблю эту женщину, но: ей нельзя уже помочь, мне еще можно помочь, а она попросту не позволяет ей помочь...»

«А в отношении ГАЗЕТЫ ты тоже не можешь ей помочь, против этих свиней?»

«Господи, да не принимай ты так близко к сердцу ГАЗЕТУ, хотя она и вас уже взяла в оборот. Не время теперь спорить о бульварной журналистике и свободе печати. Короче говоря, я хотел бы, чтобы ты присутствовал при интервью в качестве моего и ее адвоката. Дело в том, что самое щекотливое до сих пор не всплыло ни при допросах, ни в прессе: полгода назад я чуть ли не силком навязал ей ключ от нашего домика на двоих в Кольфорстенхайме. Ни при обыске квартиры, ни при личном просмотре ключа не нашли, но он у нее *есть* или по крайней мере был, если она его попросту не выкинула. Пускай это было сентиментальностью, назови как угодно, но я хотел, чтобы у нее был ключ от дома, я не хотел отказываться от надежды, что она придет ко мне туда. Поверь же мне, я бы ей помог, вступился за нее, даже пошел бы туда и признался: смотрите, я и есть тот визитер, но я ведь знаю: от меня она отречется, от своего же Людвига — никогда».

Что-то совсем новое, неожиданное появилось в лице Штрой-

бледера, вызвавшее у Блорны почти сочувствие, по меньшей мере любопытство: какая-то чуть ли не покорность — или то была ревность? «Что это там было с украшениями, с письмами, а теперь вот с ключом?» «Черт побери, Хуберт, разве ты все еще не понимаешь? Об этом я не могу сказать ни Людингу, ни Гаху, ни полиции: я уверен, что она дала ключ свосму Людвигу и этот парень уже два дня там торчит. Я просто боюсь, боюсь за Катарину, за полицейских чиновников, да и за этого глупого мальчишку, который, может быть, торчит в моем доме в Кольфорстенхайме. Мне хочется, чтобы он исчез оттуда прежде, чем его найдут, и в то же время мне хочется, чтобы его поймали, лишь бы все кончилось. Теперь понимаешь? И что же ты мне посоветуешь?»

«Ты можешь позвонить туда, я имею в виду — в Кольфорстенхайм».

«И ты думаешь, если он там, он подойдет к телефону?»

«Тогда ты должен позвонить в полицию, другого пути нет. Хотя бы для того, чтобы предотвратить несчастье. В крайнем случае позвони анонимно. Если существует хоть малейшая вероятность того, что Гёттен в твоём доме, ты должен немедленно известить полицию. Иначе это сделаю я».

«Чтобы мой дом и мое имя все-таки фигурировали вместе с этим бандитом в заголовках? Я думал о другом... Я думал, не съездил бы ты туда, я имею в виду — в Кольфорстенхайм, ну, как мой адвокат, чтобы посмотреть, все ли в порядке».

«В такой момент? В карнавальную субботу, когда ГАЗЕТА уже знает, что я спешно прервал отпуск — для того только, чтобы посмотреть, все ли в порядке на твоей даче? Не испортился ли холодильник, да? Отрегулирован ли термостат масляного отопления, не разбиты ли стекла, загружен ли бар и не отсырело ли постельное белье? Ради этого и сорвался из отпуска высокочтимый юрист-консультант, владеющий роскошной виллой с плавательным бассейном и женатый на «красной Труде»? Ты и впрямь считаешь эту идею здоровой, при том что господа репортеры ГАЗЕТЫ наверняка следят за каждым моим шагом, — сдва, так сказать, выйдя из спального вагона, я еду на твою виллу, чтобы поглядеть, скоро ли пробьются крокусы и показались ли уже подснежники? Ты и впрямь считаешь это хорошей идеей, не говоря уже о том, что этот милый Людвиг доказал, что умеет неплохо стрелять?»

«Черт возьми, ну к чему сейчас твоя ирония и шуточки? Я прошу тебя как адвоката и друга оказать мне услугу не столько личного, сколько гражданского характера, а ты толкуешь о каких-то подснежниках. Со вчерашнего дня дело держится в таком секрете, что сегодня мы не имеем оттуда никакой информации. Все, что мы знаем, мы знаем из ГАЗЕТЫ, где у Людинга,

к счастью, есть хорошие связи. Прокуратура и полиция не звонят даже в министерство внутренних дел, где у Людинга тоже есть связи. Речь идет о жизни и смерти, Хуберт».

В этот момент вошла, не постучав, Труда с транзистором в руке и спокойно сказала: «О смерти речь уже не идет, только о жизни, слава богу. Они поймали этого парня, он сдуру стрелял и в него стреляли, ранили, но не смертельно. В твоём саду, Алоиз, в Кольфорстенхайме, между плавательным бассейном и беседкой. Говорят о роскошной вилле, стоимостью в полмиллиона, одного из компаньонов Людинга. Кстати, джентльмены действительно ещё существуют: первое, что сказал наш славный Людвиг, — это то, что Катарина вообще никакого отношения к делу не имеет; это чисто личная, любовная история, не имеющая ни малейшего отношения к преступлениям, в которых его обвиняют, по которым он по-прежнему отрицает. Тебе, наверное, придется вставить несколько стекол, Алоиз, там была хорошенькая пальба. Твое имя пока не упоминалось, но, может быть, тебе все-таки стоит позвонить Мод, которая наверняка волнуется и нуждается в утешении. Кстати, одновременно с Гёттеном в других местах поймали ещё трех его предполагаемых сообщников. Все в целом считается триумфальным успехом некоего комиссара Байцменне. А теперь, дорогой Алоиз, проваливай-ка отсюда и нанеси, разнообразия ради, визит своей любимой жене».

В этот момент в кабинете Блорны дело вполне могло бы дойти чуть ли не до рукоприкладства, никоим образом не соответствовавшего назначению и обстановке помещения. Штройблдер якобы *якобы* попытался вцепиться Труде Блорне в горло, но вмешался ее муж; не станет же тот поднимать руку на даму. Штройблдер якобы *якобы* на это ответил, что он не уверен, подходит ли определение «дама» к такой злоязычнице, и что есть слова, которые при определенных обстоятельствах, в особенности когда сообщают о трагических событиях, нельзя применять в ироническом смысле, и если он еще хоть один раз, один-единственный раз услышит то однозвоное слово, тогда да, что тогда? тогда все будет кончено. Едва он покинул дом и Блорна еще не успел сказать Труде, что все-таки она, пожалуй, далековато зашла, как она буквально оборвала его и сказала: «Ночью умерла мать Катарины. Я ее разыскала в Куир-Хохзаккеле».

Прежде чем приступить к последним маневрам по вы-, от-, переводению потока, следует сделать одно попутное замечание,

так сказать, технического свойства. В этой истории происходит слишком многое. Переизбыток действия, с которым трудно совладать, ей во вред. Разумеется, весьма прискорбно, когда работающая как человек свободной профессии прислуга убивает журналиста, и подобный случай необходимо исследовать или хотя бы как-то объяснить. Но как быть с популярными адвокатами, которые ради домработницы прерывают заслуженный тяжким трудом отдых в лыжный сезон? С промышленниками (по совместительству являющимися профессорами и партийными заправилами), которые в приступе перезрелой сентиментальности чуть ли не силком навязывают именно этой домработнице ключи от домиков на двоих (в придачу с самим собой); как известно, то и другое — безуспешно; которые, с одной стороны, жаждут publicity<sup>1</sup>, но, с другой стороны, publicity лишь определенного рода; сплошь вещи и люди, которые попросту не синхронизируются и постоянно мешают течению (иначе говоря, ровному разворачиванию действия), потому что они, так сказать, неприкосновенны. Как быть с чиновниками уголовной полиции, которые постоянно требуют «язычки» и их получают? Короче говоря, слишком много просачивается и вместе с тем в решающий для автора отчета момент просачивается недостаточно, потому что хотя кое-что и можно узнать (скажем, от Гаха или некоторых полицейских чиновников и чиновниц), однако ничего, ну ничегошеньки из того, что они говорят, не имеет силы, даже тени доказательств, потому что никакой суд не получал подтверждения, ни перед каким судом не давались показания. Это не имеет силы свидетельских показаний! Ни малейшего общественного значения. Например, вся эта афера с «язычками». Подключение к телефонной сети помогает, конечно, расследовать, но поскольку подключение производится не следственными органами, то при открытом судопроизводстве не только нельзя использовать результаты, о них даже упоминать нельзя. Прежде всего: какова психология человека, подслушивающего телефонные разговоры? О чем думает безупречный чиновник, который исполняет только свой долг, исполняет свою, так сказать, обязанность (возможно, даже неприятную для него) если и не по чрезвычайной необходимости, в приказном порядке, то наверняка из соображений выгоды, — о чем он думает, когда слушает телефонный разговор того незнакомого обитателя дома, которого мы здесь краткости ради назовем сулителем нежности, с такой исключительно милой, привлекательной, почти безупречной особой, как Катарина Блюм? Охватывает его моральное возмущение или половое возбуждение, или то и другое? Возмущается он, сочувствует, полу-

---

<sup>1</sup> Реклама (англ.).

чает свособразное удовольствие, когда особу по прозвищу Монашенка оскорбляют до глубины души гнусными предложениями, угрожающе произносимыми с хриплыми стонами? Ну, много чего случается на виду, еще больше — в тени. О чем думает безобидный, тяжким трудом зарабатывающий хлеб свой насущный подслушиватель, когда, например, нский Людинг, здесь упоминавшийся, звонит в главную редакцию ГАЗЕТЫ и говорит приблизительно следующее: «Немедленно Ш. целиком вынуть, Б. целиком вставить»? Конечно, Людинга не потому подслушивают, что за *ним* ведется наблюдение, а потому, что есть опасность, как бы ему не позвонили — скажем, шантажисты, политические гангстеры и т. п. Откуда безупречному подслушивателю знать, что под Ш. подразумевается Штройбледер, а под Б. — Блорна и что в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ ничего не доведется прочитать про Ш., зато много — про Б. И тем не менее — кто же может это знать или хотя бы подозревать — Блорна в высшей степени ценимый Людингом адвокат, множество раз доказавший свою искусность как в национальных, так и интернациональных масштабах. Что имеется в виду, когда в другом разговоре упоминаются источники, которые «не могут встретиться», как те королевские дети, для которых мнимая монашенка не поставила свечу, и кто-то там погружается довольно глубоко, тонет? А тут еще госпожа Людинг велит своей кухарке позвонить секретарше мужа и узнать, чего бы Людинг хотел в воскресенье на десерт: блинчики с маком? клубнику с мороженым и взбитыми сливками, или только с мороженым, или только со взбитыми сливками? — в ответ на что секретарша, которая не желает докучать своему шефу, но знает его вкус и, возможно, не прочь создать повод для раздражения или неприятностей, довольно язвительным тоном говорит кухарке, что она совершенно уверена, господин Людинг в это воскресенье предпочел бы карамельный пудинг с миндальным соусом; кухарка, которая, конечно, тоже знает вкус Людинга, возражает и говорит, что это новость для нее, и не перепутала ли секретарша собственный вкус со вкусом Людинга, и пусть она переключит аппарат и даст ей возможность непосредственно с самим господином Людингом обсудить его пожелания в отношении десерта. На это секретарша, которая при случае сопровождает господина Людинга в поездках на конференции и питается с ним во всяких палас-отелях или интербазах, заявляет, что, когда *она* с ним в поездках, он всегда ест карамельный пудинг с миндальным соусом; кухарка: но в воскресенье-то он не будет с ней, секретаршей, в поездке, и разве не может быть так, что пожелания Людинга в отношении десерта зависят от общества, в котором он находится? И т. д. И т. д. После чего идет еще долгий спор о блинчиках с маком, и весь этот разговор записывается за счет налогоплательщиков на

пленку! Не думает ли тот, кто прослушивает пленку и, разумеется, должен внимательно следить, не применен ли здесь код анархистов, не означают ли блинчики, скажем, ручные гранаты, а мороженое с клубникой — бомбы; или же: ну и заботы у них; или: мне бы ваши заботы, ибо возможно, у него только что дочь сбежала, или сын стал наркоманом, или опять повисилась квартирная плата, — и все это, эти записи на пленку, из-за того только, что когда-то Людингу пригрозили бомбой; таким-то образом какой-нибудь невинный чиновник или служащий узнает наконец, что такое блинчики с маком, он, у которого они — даже один такой блинчик — сошли бы за целый обед.

Слишком многое случается на виду, и мы ничего не знаем о том, что случается в тени. Если бы можно было прослушать пленки! Чтобы что-то узнать, наконец, — ну, например, как осуществляется, если таковая имеет место, интимная связь Эльзы Вольтерсхайм с Конрадом Байтерсом. Что означает слово «друг», когда речь идет об отношениях этой парочки? Называет она его своим сокровищем, миленьким или просто говорит ему Конрад или Конни; какого рода словесными нежностями они обмениваются, если вообще обмениваются? Не поет ли он ей по телефону песни — ведь известно, что у него хороший, почти концертный, по меньшей мере годящийся для хора баритон? Какие именно? Серенады? Шлягеры? Арии? А может быть, они обсуждают ядерными словами прошлые или предстоящие интимные дела? Ведь так хочется знать про это, а поскольку большинству людей в надежных телепатических свойствах отказано, они прибегают к телефону как к более надежному средству. Отдают ли руководящие органы себе отчет в том, какие психические нагрузки они взваливают на своих чиновников и служащих? Предположим, временно находящаяся под подозрением особа вульгарного склада, которая взята на «язычок», звонит своему нынешнему, тоже вульгарному, партнеру по любовной игре. Поскольку мы живем в свободной стране и можем свободно и открыто разговаривать друг с другом, также и по телефону, — что тут вспорхнет с пленки и влетит в ухо скромному, а то даже и строгих правил человеку, все равно какого пола? Разве это допустимо? Разве это обеспечивает психологическую безопасность? Что говорит по этому поводу профсоюз общественных служб, транспорта и движения? О промышленниках, анархистах, о банковских директорах, грабителях и служащих всячески заботятся, а кто позаботится о наших национальных магнитофонно-плечочных вооруженных силах? Неужели церкви нечего сказать по этому поводу? Неужели не может ничего предпринять конференция епископов в Фульде или центральный комитет нсмецких католиков? Почему молчит папа римский? Неужели никто не догадывается, что тут приходится выслушивать невин-



ным ушам — от обсуждения карамельного пудинга до грубейшего порно? Молодых людей призывают на поприще чиновников, — а в чьи руки их отдают? В руки телефонных нарушителей морали. Вот область, где церковь и профсоюзы могли бы наконец сотрудничать. Можно было бы по меньшей мере выработать своего рода программу просвещения подслушивателей. Пленки с лекциями по истории. Стоит недорого.

Только-только вернувшись покаянно к событиям, происходящим на виду, снова занявшись неизбежной работой в каналах, приходится сразу же начать с заявления. Здесь было обещано, что кровь больше течь не будет, причем можно обратить внимание, что смертью госпожи Блюм, матери Катарины, это обещание впрямую не нарушается. Ведь речь идет не о кровавом злодеянии, хотя и о не совсем нормальном смертном случае. Смерть госпожи Блюм была вызвана насильственным путем, хотя и непреднамеренно насильственным. Во всяком случае — это надо подчеркнуть, — вызвавший смерть не имел намерения ни умерщвлять, ни убивать, ни даже причинять телесные повреждения. Речь идет, как было не только установлено, но даже им самим подтверждено, о том Тётгесе, которого и самого постиг кровавый, насильственный конец. Еще в четверг Тётгес разыскивал в Геммельсбройхе адрес госпожи Блюм, узнал его, но тщетно пытался пробраться к ней в больницу. Привратник, медсестра отделения Эдельгард и заведующий отделением д-р Хайнен предупреждали его, что госпожа Блюм нуждается в полном покое после тяжелой, хотя и удачной операции по поводу рака, что любые волнения могут губительно сказаться на ее выздоровлении и ни о каком интервью не может быть и речи. На замечание о том, что благодаря связи дочери с Гёттеном госпожа Блюм тоже становится «действующим лицом современной истории», врач возразил, что и действующие лица современной истории для него в первую очередь пациенты. Но во время этой беседы Тётгес заметил, что в доме работают маляры, и потом хвастал перед коллегами, что посредством «простейшей из всех уловок, а именно уловки мастерового», ему удалось, раздобыв халат, ведро с краской и кисть, в пятницу утром пробраться к госпоже Блюм, ибо ничто так не обогащает, как матери, в том числе и больные. Он изложил госпоже Блюм факты, хотя и не был уверен, что до нее все дошло, ибо, по всей видимости, имя Гёттена ей ничего не говорило, и она сказала: «Почему должно было так кончиться, почему должно было так случиться?», что он в ГАЗЕТЕ перевернул следующим образом: «Так и должно было слу-

читься, так и должно было кончиться». Небольшую поправку, внесенную в высказывание госпожи Блюм, он объяснил тем, что как репортер он обязан и привык «помогать простым людям выразить свои мысли».

Нельзя точно установить, действительно ли Тётгес проник к госпоже Блюм или же он соврал, выдумал историю о посещении больницы для того, чтобы преподнести процитированные в ГАЗЕТЕ слова матери Катарини как интервью, дабы доказать свою журналистскую ловкость и прихвастнуть. Д-р Хайнен, сестра Эдельгард, медсестра-испанка по фамилии Уэльва, уборщица-португалка по фамилии Пуэлко — все они считают невозможным, чтобы «этот парень и впрямь позволил себе такую наглость» (д-р Хайнен). Несомненно, что это — возможно, даже выдуманное, но не исключаемое — посещение матери Катарини имело решающее значение, однако при этом возникает, естественно, вопрос, не отрицает ли попросту больничный персонал то, чего он не имел права допустить, или же Тётгес выдумал это посещение, чтобы обосновать слова Катарининой матери. Здесь должна господствовать абсолютная справедливость. Считается доказанным, что Катарина сшила себе костюм, чтобы пойти в тот самый кабачок, из которого злосчастный Шённер «смылся с какой-то гулкой», и произвести собственное дознание *после того*, как договорилась об интервью с Тётгесом, и *после того*, как ВОСКРЕСНЯЯ ГАЗЕТА опубликовала новую корреспонденцию Тётгеса. Так что надо подождать. Установлено, доказано, что д-р Хайнен был ошарашен неожиданной смертью своей пациентки Марии Блюм и что он «не может исключить, если и не доказать, непредвиденные воздействия». Во всяком случае, невинные маляры здесь совершенно ни при чем. Нельзя пятнать честь немецкого ремесла; ни сестра Эдельгард, ни иностранные дамы Уэльва и Пуэлко не могут поручиться, что все маляры, а их было четверо от фирмы «Меркенс» из Куира, действительно были малярами, и, поскольку все четверо работали в разных местах, никто и впрямь не может знать, не прокрался ли кто-нибудь в халате, с ведром с краской и кистью. Установлено: Тётгес *утверждает* (о подтверждении не может быть речи, так как его посещение недоказуемо), что был у Марии Блюм и интервьюировал ее, и это утверждение стало известно Катарине. Господин Меркенс также подтвердил, что, конечно же, не все четверо маляров были на работе одновременно и что, *если бы* кто-нибудь захотел прокрасться, он бы с легкостью это осуществил. Д-р Хайнен потом сказал, что заявит протест в связи

с опубликованием в ГАЗЕТЕ слов матери Катарини, устроит скандал, потому что если это правда, то это ведь неслыханно; но его угроза не была выполнена, так же как и угроза Блорны «дать по морде» Штройбледеру.

Около полудня той субботы, 23 февраля 1974 года, в Куире, в кафе у Клоога (речь идет о племяннике того трактирщика, у которого Катарина время от времени работала на кухне и официанткой), собрались наконец вместе Блорны, госпожа Вольтерсхайм, Конрад Байтерс и Катарина. Были объятия и слезы, даже у госпожи Блорны. Разумеется, и в кафе «Клоог» царило карнавальное настроение, но владелец, Эрвин Клоог, который Катарину знал, ценил и говорил ей «ты», предоставил собравшимся свою личную комнату. Оттуда Блорна позвонил сперва Гаху и отменил встречу в вестибюле музея. Он сообщил Гаху, что мать Катарини внезапно умерла — очевидно, вследствие посещения Тётгеса, сотрудника ГАЗЕТЫ. Гах был мягче, чем утром, попросил передать Катарине, которая наверняка не сердится на него, да и не имеет для этого оснований, его личное соболезнование. Кстати, она всегда может им располагать. Он, правда, сейчас занят допросами Гёттена, но освободится; кстати, из допросов Гёттена ничего изобличающего Катарину не обнаружилось. Он говорил о ней и про нее с большой симпатией и корректностью. Разрешения на свидание ожидать, конечно, не приходится, поскольку родства тут нет, а определение «невеста» наверняка покажется слишком шатким и необоснованным.

Похоже, будто весть о смерти матери не так уж сильно потрясла Катарину. Кажется даже, что она испытала облегчение. Конечно, Катарина соотнесла д-ра Хайнса с номером ГАЗЕТЫ, где упоминалось интервью Тётгеса и приводились слова ее матери, но она никоим образом не разделяла возмущения д-ра Хайнса по поводу интервью: она считала, что эти люди — убийцы и клеветники, она их, конечно, презирает, но, видимо, это-то и есть прямая обязанность подобного рода газетчиков — лишать невинных людей чести, доброго имени и здоровья. Д-р Хайнс, ошибочно принимавший ее за марксистку (вероятно, он прочитал в ГАЗЕТЕ намски Бретгло, бывшего супруга Катарини), был несколько обескуражен ее сдержанностью и спросил, считает ли она это — художества ГАЗЕТЫ — порождением строя. Катарина не поняла, что он имеет в виду, и покачала головой. Затем сестра Эдельгард проводила ее в морг, куда она вошла вместе с госпожой Вольтерсхайм. Катарина сама

стянула покрывало с лица матери, сказала «Да», поцеловала ее в лоб; в ответ на предложение сестры Эдельгард произнести короткую молитву она покачала головой и сказала «Нет». Она снова натянула покрывало на лицо матери, поблагодарила монахиню и, только покинув морг, заплакала, сначала тихо, потом сильнее и, наконец, безудержно. Может быть, она вспомнила и своего покойного отца, которого шестилетним ребенком увидела в последний раз тоже в морге. Госпожа Вольтерсхайм подумала, вернее, ей внезапно пришло в голову, что она еще никогда не видела Катарину плачущей, даже в детстве, когда ей приходилось столько страдать. В очень вежливой форме, чуть ли не любезно, Катарина настояла на том, чтобы поблагодарить и обеих иностранных дам, Уэльву и Пуэлко, за все, что они сделали для ее матери. Она покинула больницу, полностью владея собой, не забыв попросить администрацию больницы телеграфно уведомить находящегося в тюрьме брата Курта.

Такой она и оставалась весь конец дня и вечером: полностью владела собой. Хотя она то и дело доставала оба номера ГАЗЕТЫ, излагая Блорнам, Эльзе Вольтерсхайм и Конраду Байтерсу все детали и свое толкование этих деталей, казалось, что ее отношение к ГАЗЕТЕ тоже стало другим. Выражаясь в духе времени — менее эмоциональным, более аналитическим. В этом близком ей, дружески настроенном кругу, в комнате Эрвина Клоога, она откровенно говорила и о своем отношении к Штройблдеру: однажды после вечера у Блорнов он подвез ее домой, проводил до самых дверей, потом, хотя она категорически, чуть ли не с отвращением, запретила это, зашел, попросту вставив ногу в дверь, в квартиру. Ну, он, конечно, пробовал быть назойливым, вероятно, был оскорблен тем, что она вовсе не считала его неотразимым, и в конце концов — уже после полуночи — ушел. Начиная с этого дня он прямо-таки преследовал ее, все время приходил, присылал цветы, писал письма, несколько раз ему удавалось проникнуть к ней в квартиру, и однажды он просто навязал ей кольцо. Это все. Она потому не призналась в его визитах и не выдала его фамилии, что считала невозможным объяснить допрашивающим чиновникам, что ничего, ну совершенно ничегошеньки, даже одного-единственного поцелуя между ними не было. Кто же поверит, что она устояла перед таким человеком, как Штройблдер, который не только состоятелен, но в политических, экономических и научных кругах чуть ли не знаменит своим неотразимым очарованием, почти как киноартист, и кто же поверит домашней работнице, что она устояла перед киноартистом, причем из соображений не морали, а вкуса. Он ничуть ее не привлекает, и всю эту историю с визитером она считает отвратительнейшим вторжением в сферу, которую она не потому не хочет назвать интимной, что это можно

неправильно понять, — ведь между нею и Штройбледером не было даже намёка на интимность, — а потому, что он поставил ее в положение, которое она никому, а уж тем более целой допрашивающей команде не могла бы объяснить. Но в конечном счете — и тут она рассмеялась — она все же испытывала к нему определенную благодарность, ибо ключ от его дома был важен для Людвига или по крайней мере его адрес, так как — тут она снова рассмеялась — Людвиг наверняка и без ключа проник бы туда, но ключ, конечно, облегчил дело, а она знала, что во время карнавала вилла будет пустовать, поскольку как раз двумя днями раньше Штройбледер опять ужасно надоедал ей, прямо-таки преследовал и предложил провести там конец карнаваловой недели, прежде чем он дал согласие участвовать в конференции в Бад-Б. Да, Людвиг ей сказал, что полиция его разыскивает, но только он сказал, что дезертировал из буддсвера, собирается бежать за границу, и — она в третий раз рассмеялась — ей доставило удовольствие собственноручно отправить его в отопительную шахту и показать запасной выход, который в конце «Элегантной обители у реки» на углу Хохкёпфельштрассе выводит на свет божий. Нет, она правда не думала, что полиция следит за нею и Гёттенем, она смотрела на это как на своего рода романтическую игру, и только утром — Людвиг действительно ушел в шесть часов — ей дали почувствовать, насколько все серьезно. Видно было, что она испытывает облегчение от того, что Гёттен арестован; теперь, сказала она, он не сможет больше натворить глупостей. Она все время пребывала в страхе, так как в этом Байцмисне есть что-то зловещее.

#### 45

Здесь следует зафиксировать и запомнить, что вторая половина субботнего дня и вечер протекали довольно мило, настолько мило, что все — Блорны, Эльза Вольтерсхайм и удивительно тихий Конрад Байтерс — почти успокоились. В конце концов, решили — даже сама Катарина, — что «обстановка разрядилась». Гёттен арестован, допросы Катаринины закончены, Катаринина мать, хотя и преждевременно, избавилась от тяжких страданий, формальности, связанные с похоронами, идут своим чередом, все необходимые документы один из куирских административных чиновников любезно согласился выписать в понедельник, несмотря на то что это предпоследний праздничный день. Некоторым утешением были и слова владельца кафе Эрвина Клоога, категорически отказавшегося принять какую бы то ни было плату за съеденное и выпитое (речь шла о кофе, ликерах, картофельном салате, сосисках и пирожных), он сказал на

прощание: «Выше голову, Катринхен, здесь не все думают о тебе плохо». Утешение, таившееся в этих словах, возможно, было и относительным, ибо что уж значит «не все»? — но тем не менее все-таки «не все». Решили поехать к Блорнам и провести там остальную часть вечера. Катарине самым категорическим образом запретили приложить к чему бы то ни было свои неутомимые руки — она в отпуске и должна расслабиться. Госпожа Вольтерсхайм готовила на кухне бутерброды, а Блорна и Байтерс занялись камином. Катарина в самом деле позволила «побаловать себя». Вечер получился на славу, и, не будь одной смерти и ареста одного очень дорогого человека, наверняка бы попозже рискнули потанцевать, ведь что ни говорите — время карнавала!

Блорне не удалось уговорить Катарину отказаться от намеченного интервью с Тётгесом. Она была спокойна и очень приветлива, и позднее, после того как интервью оказалось «интервью», у Блорны мороз по коже пробегал, когда он вспоминал, с каким исключительным хладнокровием Катарина настаивала на интервью и как решительно отвергла его помощь. И все-таки он потом не был полностью уверен, что именно в этот вечер Катарина задумала убийство. Ему казалось куда более вероятным, что решающую роль сыграла ВОСКРЕСНЯЯ ГАЗЕТА. Послушав и серьезную, и легкую музыку, рассказы Катарины и Эльзы Вольтерсхайм о жизни в Геммельсбройхе и Куире, расстались дружески, снова были объятия, но на сей раз без слез. Было только пол-одиннадцатого вечера, когда Катарина, госпожа Вольтерсхайм и Байтерс со взаимными заверениями в большой дружбе и симпатии попрощались с Блорнами, счастливыми тем, что своевременно — своевременно для Катарины — вернулись из отпуска. Перед угасающим камином они за бутылкой вина обсуждали новые отпускные планы и характер своего друга Штройбледера и его жены Мод. Когда Блорна попросил жену впредь при его посещениях не употреблять слово «визитер», поскольку — она ведь сама видела — оно вызывает такую болезненную реакцию, Труда Блорна сказала: «А мы его увидим нескоро».

Достоверно известно, что остаток вечера Катарина провела спокойно. Она еще раз примерила костюм бедуинки, закрепила швы и решила чадру заменить белым носовым платком. Потом послушали вместе радио, послали печенья и отправились почивать: Байтерс — впервые открыто вместе с госпожой Вольтерсхайм в ее спальню, Катарина — удобно устроившись на тахте.

Когда Эльза Вольтерсхайм и Конрад Байтерс в воскресенье утром встали, стол для завтрака был уже мило накрыт, кофе процежен и налит в термос, а Катарина, завтракая с видимым аппетитом, сидела за столом и читала ВОСКРЕСНУЮ ГАЗЕТУ. Дальше мы будем не столько излагать, сколько цитировать. Правда, Катаринина «история» вместе с фотографией уже не занимала первую полосу. На сей раз на первой полосе был Людвиг Гёттен с надписью: «Нежный возлюбленный Катаринины Блюм взят на вилле промышленника». Сама «история» подавалась пространнее, чем прежде, на седьмой — девятой полосах с многочисленными фотографиями: Катарина после первого причастия, ее отец — возвратившийся с фронта сфрэйтор, церковь в Геммельсбройхе, опять вилла Блорны. Мать Катаринины лет в сорок, довольно угрюмая, опустившаяся, перед маленьким домишком в Геммельсбройхе, в котором они жили, наконец, фотография больницы, где Катаринина мать умерла в ночь с пятницы на субботу. Текст:

*«Первой доказуемой жертвой непостижимой, все еще находящейся на свободе Катаринины Блюм можно теперь назвать ее собственную мать, которая не пережила потрясения, вызванного деятельностью своей дочери. Если уже само по себе достаточно странно, что дочь с самозабвенной нежностью танцевала на балу с грабителем и убийцей в то время, когда умирала мать, то с крайней извращенностью граничит факт, что эта смерть не исторгла у нее ни слезинки. Действительно ли эта женщина только «холодна и расчетлива»? Жена одного из ее прежних работодателей, уважаемого сельского врача, описывает ее так: «...У нее повадки настоящей потаскухи. Я вынуждена была ее уволить — ради моих подрастающих сыновей, наших пациентов, а также ради репутации моего мужа». Может быть, Катарина Блюм участвовала и в аферах пресловутого д-ра Фенерля? (ГАЗЕТА в свое время сообщала об этом деле.) Не был ли ее отец симулянтom? Почему ее брат стал уголовником? Все еще не выяснены: ее быстрая карьера и ее большие доходы. Теперь окончательно установлено: Катарина Блюм помогла бежать запятанному кровью Гёттену, она бесстыдно злоупотребила дружеским доверием и спонтанной готовностью помочь одного высококочного ученого и промышленника. Тем временем в ГАЗЕТУ поступили сообщения, которые достаточно убедительно доказывают: не она принимала визитера, а сама выступала в роли непрошеной визитерши, чтобы выдохнуть все на вилле. Таинственные автомобильные поездки Блюм теперь уже не так таинственны. Она без зазрения совести поставила на карту репутацию почтенного человека, его семейное счастье, его политическую карьеру (о ней ГАЗЕТА уже неоднократно информировала читателей), безразличная к чувствам преданной супруги и четверых детей. Совершенно очевидно,*

что Блюм должна была по заданию одной левой группы разрушить карьеру Ш.

*Неужто полиция, неужто прокуратура и впрямь поверят покрытому позором Гёттену, который выгораживает Блюм? ГАЗЕТА в который раз поднимает вопрос: не слишком ли мягки наши методы допроса? Надо ли по-людски относиться к нелюдям?»*

Под фотографиями Блорны, госпожи Блорны и виллы:

*«В этом доме Блюм самостоятельно, без надзора, пользуясь полным доверием д-ра Блорны и госпожи д-р Блорны, работала с семи утра до шестнадцати тридцати. Что могло здесь твориться, пока ничего не подозревающие Блорны занимались своей профессией? Или они не так уж ни о чем не подозревали? Их отношения с Блюм называют очень близкими, чуть ли не доверительными. Как рассказывали соседи газетным репортерам, можно говорить чуть ли не о дружеских отношениях. Мы опускаем здесь определенные намеки, так как они не относятся к делу. Или все-таки относятся? Какую роль играла госпожа д-р Гертруда Блорна, которая в анналах некоего технического института еще и по сей день известна как «красная Труда»? Каким образом Гёттен мог ускользнуть из квартиры Блюм, хотя полиция следовала за ним по пятам? Кто знал до последней детали планы коммуникаций благоустроенного дома «Элегантная обитель у реки»? Госпожа Блорна. Продавщица Герта Ш. и работница Клаудия Шт. единодушно сказали ГАЗЕТЕ: „О, они танцевали друг с другом (имелись в виду Блюм и бандит Гёттен) так, словно знакомы целую вечность. Это не была случайная встреча, это было условленное свидание“».*

Когда потом при закрытых дверях порицали Байцменне за то, что он, зная о пребывании Гёттена на вилле Штройбледера еще с 23.30 вечера в четверг, почти сорок восемь часов оставлял его безнадзорным и тем самым рисковал, что тот снова сбежит, он засмеялся и сказал, что с полуночи четверга Гёттен не имел больше шанса бежать. Дом стоит в лесу, но совершенно идеально окружен охотничьими вышками, «как сторожевыми башнями», министр внутренних дел полностью в курсе и одобрил все меры; вертолетом, который приземлился, разумеется, вне зоны слышимости, на охотничьи вышки сразу же направили специальную группу, а на следующее утро местную полицейскую службу секретнейшим порядком усилили двумя десятками сотрудников. Важно было установить, с кем у Гёттена будут контакты, и риск оправдал себя. Отмечено пять контактов. И, прежде чем арестовать Гёттена, надо было, конечно, установить личности этих пятерых, задержать и обыскать квартиры. За Гёттена взялись лишь тогда, когда обезвредили тех, с кем у него



были контакты, а сам он, то ли по легкомыслию, то ли по наглости, повел себя так беспечно, что за ним можно было наблюдать снаружи. Кстати, некоторыми деталями мы обязаны репортерам ГАЗЕТЫ, принадлежащему ей издательству и связанным с этим концерном органам, у которых в ходу довольно свободные и не очень формальные методы добывания подробностей, остающихся скрытыми от официальных следователей. Так, например, выяснилось, что госпожа Вольтерсхайм столь же малобезупречна, как и госпожа Блорна. Вольтерсхайм — внебрачное дитя одной работницы, родившейся в 1930 году в Куирс. Мать еще жива, но где она живет? В ГДР, причем отнюдь не вынужденно, а добровольно; ей неоднократно — первый раз в 1945-м, вторично в 1952-м, потом еще раз, в 1961-м, незадолго до постройки стены, — предлагали вернуться на родину, в Куир, где у нее есть домик и один morgen земли. Но она отказалась, отказалась трижды, и все три раза наотрез. Еще интереснее отец Вольтерсхайм, некий Лумм, тоже рабочий, к тому же член тогдашней КПГ, в 1932 году он эмигрировал в Советский Союз и там якобы пропал без вести. Он, Байцменне, полагает, что в списках вермахта подобного рода пропавшие без вести не значатся.

#### 49

Поскольку нельзя быть уверенным, что определенные, относительно ясные указания на взаимосвязи поступков и действий не потеряются или не истолкуются превратно, а то и воспримутся просто как намски, да будет позволено здесь обратить внимание еще на одно обстоятельство: ГАЗЕТА, вызвавшая посредством своего репортера Тётгеса безусловно преждевременную смерть матери Катарины, теперь в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ представила Катарину виновной в смерти собственной матери и, кроме того, обвинила ее — более или менее открыто — в краже ключа от второй виллы Штройблсдера! Это следует еще раз подчеркнуть, поскольку тут нельзя быть полностью уверенными. Как нельзя быть уверенными, что правильно будут поняты все клеветнические, лживые, фальсифицированные утверждения ГАЗЕТЫ.

Стоит хотя бы на примере Блорны показать, как ГАЗЕТА может подействовать даже на сравнительно разумного человека. В аристократическом предместье, где живут Блорны, ВОСКРЕСНАЯ ГАЗЕТА, разумеется, не продается. Там бульварщину не читают. И случилось так, что Блорна, который решил, что все уже прошло, и только с некоторой опаской ждал разговора Катарины с Тётгесом, узнал о статье в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ лишь позднее, когда позвонил госпоже Вольтерсхайм.

Вольтерсхайм же считала само собой разумеющимся, что Блорна уже прочел ВОСКРЕСНУЮ ГАЗЕТУ. Блорна — как, надемся, уже понял читатель — был сердечным, искренне беспокоящимся о Катарине, но и трезвым человеком. Когда госпожа Вольтерсхайм прочитала ему по телефону соответствующие пассажи из ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЫ, он, что называется, не поверил своим ушам; он попросил зачитать это еще раз, вынужден был поверить, и тут его — так это, кажется, называется — взорвало. Он кричал, орал, бегал по кухне в поисках пустой бутылки, нашел, кинулся с нею в гараж, где его, к счастью, перехватила жена и помешала ему изготовить зажигательную смесь, которой он хотел сначала взорвать редакцию ГАЗЕТЫ, а потом «главную виллу» Штройбледера. Надо зримо представить себе: человек с высшим образованием, сорока двух лет, в течение семи лет пользующийся уважением Людинга, почитаемый Штройбледером за свое трезвое и четкое ведение переговоров — в международном масштабе, будь то в Бразилии, в Саудовской Аравии или в Северной Ирландии, — то есть речь идет отнюдь не о провинциальном, а об истинно светском человеке, и вот *он-то* хочет изготовить зажигательную смесь!

Госпожа Блорна с ходу назвала это стихийно-мелкобуржуазно-романтическим анархизмом, стала подробно обсуждать ситуацию, как *обсуждают* большую или причиняющую боль часть тела, взялась сама за телефон, попросила госпожу Вольтерсхайм прочитать ей соответствующие пассажи, и, надо сказать, она поблэднела — даже она поблэднела — и сделала нечто такое, что, возможно, еще хуже, чем то, к чему могла бы привести зажигательная смесь: она схватилась за телефон, позвонила Людингу (который в это время как раз сидел за своей клубничкой *со* взбитыми сливками и *с* ванильным мороженым) и сказала ему: «Вы свинья, вы просто жалкая свинья». Она, правда, не назвалась, но можно полагать, что все знакомые Блорны знали голос его жены, не очень-то ими любимой за ее мсткие и острые замечания. Это, по мнению мужа, было уж слишком — он думал, что она звонила Штройбледеру. Ну, тут было еще много скандалов, между самими Блорнами, между Блорнами и другими, но, поскольку при сем никто не был убит, да будет позволено это обойти. Эти несущественные, хотя и закономерные, последствия публикации ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЫ лишь для того упоминаются, чтобы читатели знали, что даже образованные и утвердившие себя в жизни люди были возмущены и обдумывали насильственные меры самого ужасного свойства.

Как выяснилось, в это время — примерно около двенадцати — Катарина, пробыв неузнанной полтора часа в журналистском погребке «Золотая утка», чтобы, по-видимому, собрать там сведения о Тётгесе, отправилась к себе домой ждать Тётгеса,

жившегося туда через четверть часа. Об «интервью», пожалуй, говорить не стоит. Известно, чем оно закончилось (см. с. 168).

Чтобы проверить истинность ошеломительного — ошеломившего *всех* участников этой истории — сообщения священника из Геммельсбройха, будто отец Катарины был тайным коммунистом, Блорна поехал на один день в деревню. Поначалу священник подтвердил свое высказывание, признал, что ГАЗЕТА процитировала его дословно и точно, доказательств для своего утверждения он представить не может, да и не хочет, сказал даже, они ему *не нужны*, поскольку он может положиться на свое чутье, а он просто нюхом чуял, что Блюм коммунист. Разъяснить, что это за чутье, он не захотел, в ответ на просьбу Блорны, раз уж он не хочет разъяснить, что это за чутье, все же сказать, *каков* запах коммуниста, так сказать, *чем* пахнет коммунист, священник не изъявил готовности откликнуться и — приходится, к сожалению, отметить — стал довольно невежлив, спросил у Блорны, католик ли он, а получив подтверждение, напомнил ему о долге послушания, чего Блорна не понял. С этого момента у него, конечно, возникли трудности в розысках сведений о Блюмах, судя по всему не слишком здесь любимых; он услышал немало дурного о матери Катарины, которая однажды действительно выпила в ризнице в обществе уволенного потом служки *одну* бутылку церковного вина, слышал немало дурного о брате Катарины, который вообще-то был сущим наказанием, но единственным обоснованием заявления о коммунизме отца Катарины была брошенная им крестьянину Шоймелю в 1949 году в одном из семи кабачков деревни фраза, якобы гласившая: «Социализм — это вовсе не самое скверное». Больше раздобыть ничего не удалось. Единственный результат злополучных розысков в деревне состоял в том, что к их концу Блорна сам был не то чтобы прямо обруган, но, во всяком случае, назван коммунистом, причем — что его особенно больно задело — это сделала дама, которая вначале в известной мере ему помогала, почти даже симпатизировала, — пенсионерка-учительница Эльма Цубрингер; прощаясь, она насмешливо улыбнулась, даже подмигнула ему и сказала: «Почему вы не признаетесь, что сами один из этих, а уж ваша жена тем более?»

К сожалению, нельзя умолчать о некоторых актах насилия, имевших место в период, когда Блорна готовился к процессу

против Катарины. Самую большую ошибку он совершил, когда согласился по просьбе Катарины взять на себя защиту также и Гёттена и все время пытался добиться для обоих разрешения на свидание, настаивая на том, что они обручены. Будто бы обручение состоялось в тот самый вечер двадцатого февраля и в последующую ночь. И т. д. и т. д. Можно себе представить, чего только не написала ГАЗЕТА о нем, о Гёттене, о Катарине, о госпоже Блорне. Здесь незачем это упоминать или цитировать. Определенные нарушения или смену уровня следует предпринимать лишь в том случае, когда это необходимо, а в данном случае такой необходимости нет, поскольку тем временем стало хорошо известно, что представляет собой ГАЗЕТА. Был распущен слух, будто Блорна намерен развестись с женой, слух, который ничего, ну совершенно ничего общего с истиной не имел, но тем не менее он посеял между супругами известное недоверие. Утверждалось, будто его финансовые дела неважны, что плохо, ибо верно. Он и впрямь многовато взял на себя, поскольку, кроме всего прочего, перенял своего рода опеку над квартирой Катарины, которую трудно было сдать внаем или продать, так как она считалась «запятнанной кровью». Во всяком случае, цена ее упала, и Блорне пришлось разом выплатить полностью очередной взнос, проценты и т. д. Появились даже первые признаки того, что фирма «Хафтекс», ведавшая жилым комплексом «Элегантная обитель у реки», взвешивала, не подать ли на Катарину Блюм жалобу с требованием возместить убытки в связи с причинением ущерба наемной, торговой и общественной ценности комплекса. Как видим, неприятности, сплошные неприятности. Попытка уволить госпожу Блорну из архитектурной фирмы за обман доверия, состоящий в ознакомлении Катарины с структурой жилого комплекса, в первой инстанции, правда, была отклонена, но никто не знает, что решат вторая и третья инстанции. И еще: вторая машина уже продана, а недавно в ГАЗЕТЕ была фотография в самом деле довольно элегантного «супердрандулета» Блорны с подписью: «Когда же красному адвокату придется пересесть в машину маленького человека?»

Конечно, отношения Блорны с «Люштрой» (Людинг-Штройбледер-Компания) тоже нарушены, если не прерваны. Речь теперь идет только о «завершении дел». Правда, недавно Штройбледер сообщил по телефону: «Умереть с голоду мы вам не дадим». Блорну удивило, что вместо «тебе» Штройбледер сказал «вам». Он еще, разумеется, работает на «Люштру» и «Хафтекс», но не в интернациональной сфере и даже не

в национальной, а лишь изредка в региональной, чаще всего в локальной, а это означает, что ему приходится биться с жалкими нарушителями договоров и клязниками, которые предъявляют иски, скажем, на то, что им обещали облицовку из мрамора, а сделали из зольнхофенского сланца, или с типами, которые, если им обещали три слоя шлифовального лака на двери ванной, ножом отскребают краску, нанимают экспертов, устанавливающих, что нанесено только два слоя; протекающие ванны, попорченные мусоропроводы, используемые как предлог не платить обусловленные договором деньги, — вот те дела, которые ему теперь поручают вести, в то время как раньше он, если не постоянно, то довольно часто, курсировал между Буэнос-Айресом и Персеполисом, чтобы участвовать в обсуждении больших проектов. На военной службе это называют разжалованием, связанным чаще всего с намерением унижить. Следствие: язвы желудка еще нет, но желудок Блорны уже даст о себе знать. На беду, он еще предпринял в Кольфорстенхайме собственные розыски, чтобы узнать у местного мастера полиции, торчал ли ключ снаружи или внутри, когда арестовывали Гёттена, или обнаружены признаки того, что Гёттен вломился. К чему все, раз дознание закончено? Это — следует отметить — никоим образом не лечит язвы желудка, хотя мастер полиции Херманс был очень любезен, никоим образом не заподозрил его в коммунизме, но настоятельно посоветовал ему не впутываться в это дело. Единственное утешение Блорны: жена становится все более милой с ним, острый язык она, правда, сохранила, но обращает его уже не против мужа, а только против других, хотя и не против всех. Ее план продать виллу, выкупить квартиру Катарины, переселиться туда не осуществился пока из-за величины квартиры, то есть из-за ее малости, поскольку Блорна хочет отказываться от своей городской конторы и завершить дела дома; он, слышавший либералом с повадками бонвивана, приятный, жизнерадостный коллега, чьи вечера охотно посещались, начал обнаруживать черты аскета, пренебрегать одеждой, которой всегда придавал большое значение, и так как он пренебрегает ею *действительно*, а не на модный манер, иные коллеги утверждают, что он даже перестал следить за собой и от него пахнет. Так что на новую карьеру надежды мало, ибо в самом деле — здесь ничего, совершенно ничего не должно быть утасно — запах его тела уже не прежний, не запах человека, утром бодро устремляющегося под душ, обильно потребляющего мыло, дезодоранты и туалетную воду. Короче говоря: с ним происходит существенная перемена. Его друзья — а у него еще есть несколько друзей, в их числе Гах, с которым ему, кстати, приходится иметь дело в связи с Людвигом Гёттеном и Катариной Блум, — его друзья обеспокоены, тем более что его ярость — скажем, против ГАЗЕ-

ТЫ, то и дело одаряющей его небольшими корреспонденциями, — уже не прорывается наружу, а, по всей видимости, проглатывается им. Беспокойство его друзей доходит до того, что они просили Труду Блорну незаметно проверить, не обзавелся ли Блорна оружием или не изготавливает ли он взрывной механизм, ибо застреленный Тётгес нашел пресмника и продолжался по имени Эгинхард Темплер; этому Темплеру удалось сфотографировать Блорну при входе в частный ломбард, затем, сфотографировав его, по-видному, через витрину, дать читателям ГАЗЕТЫ представление о переговорах между Блорной и владельцем ломбарда: обсуждалась залоговая стоимость какого-то кольца, которое владелец ломбарда рассматривал в лупу. Подпись под снимком: «Действительно ли иссякли красные источники или же здесь инсценируется нужда?»

53

Самая большая забота Блорны — уговорить Катарину сказать на суде, что решение отомстить Тётгесу — причем никоим образом не с намерением убить, а только напугать — она приняла лишь в воскресенье утром. Правда, в субботу, приглашая его на интервью, она намеревалась недвусмысленно высказать ему свое мнение и обратить его внимание на то, что он натворил с нею и ее матерью, но убивать она не собиралась и в воскресенье, даже после прочтения статьи в ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЕ. Следовало избежать впечатления, будто Катарина целыми днями планировала убийство и планомерно его осуществила. Он пытается объяснить Катарине, утверждающей, что уже после прочтения первой статьи у нее возникли *мысли об убийстве*, что у многих, в том числе и у него, иной раз возникают мысли об убийстве, но есть разница между мыслями об убийстве и спланированным убийством. И еще его беспокоит, что Катарина до сих пор не чувствует раскаяния и потому не сможет его обнаружить и перед судом. Она вовсе не удручена, а в какой-то мере даже счастлива, что живет «в таких же условиях, как и милый Людвиг». Она считается образцовой заключенной, работает на кухне, и, если начало судебного разбирательства отложится, ее переведут в хозяйственный отдел (экономический); но там, как удалось узнать, ее ждут вовсе не с восторгом, а с опаской — как в аппарате управления, так и в среде арестантов — из-за ее репутации честного человека, и слухи о том, что весь срок своего заключения — а предполагают, что обвинение потребует пятнадцать лет, но получит она от восьми до десяти лет, — Катарина проработает по хозяйственному ведомству, распространялись по всем тюрьмам как страшное известие. Вот и вид-

но: честность в сочетании с умением планировать нигде не желательна, даже в тюрьмах и даже в управлении.

54

Как доверительно сообщил Гах Блорне, обвинение Гёттена в убийстве, вероятно, нельзя будет доказать, и потому не будет и предъявлено. Однако считается доказанным, что он не только дезертировал из бундесвера, но и нанес значительный ущерб (также и материальный, не один лишь моральный) этому благословенному органу. Не ограбил банк, а полностью обчистил сейф, содержащий жалованье для воснослужащих двух полков и значительные денежные запасы; кроме того, подделал балансовую ведомость и украл оружие. Ну, надо полагать, он тоже получит от восьми до десяти лет. Таким образом, он выйдет на свободу лет тридцати четырех, Катарина — тридцати пяти, и она в самом деле строит планы на будущее: она рассчитывает, что ко времени освобождения ее капитал даст значительные проценты и тогда она сожет конечно не здесь», открыть «ресторан с кулинарией». Вопрос, может ли она считаться невестой Гёттена, вероятно, будет решаться не на более высоком, а на самом высоком уровне. Соответствующие ходатайства составлены и совершают свой долгий путь по инстанциям. Кстати, телефонные контакты, которые Гёттен установил с вилами Штройбледера, ведут только к служащим бундесвера или их женам, среди них офицеры и офицерские жены. Скандал, видимо, будет среднего размера.

55

В то время как Катарина почти безмятежно, ограниченная лишь в свободе, глядит на свое будущее, Эльза Вольтерсхайм впадает во все большее ожесточение. Ее очень задело, что бросили тень на ее мать и покойного отца, считавшегося жертвой сталинизма. У Эльзы Вольтерсхайм можно обнаружить усилившиеся общественно враждебные тенденции, смягчить которые не удастся даже Конраду Байгерсу. Поскольку Эльза специализировалась главным образом по части холодных закусок — как в области калькуляции, так и приготовления и контроля, — ее агрессивность обращается главным образом на гостей званых вечеров, будь то иностранные или отечественные журналисты, промышленники, профсоюзные деятели, банкиры или высокопоставленные чиновники. «Иной раз, — сказала она на днях Блорне, — мне приходится силком сдерживать себя, чтобы не швырнуть какому-нибудь субчику на фрак миску с картофельным са-

латом или опрокинуть какой-нибудь потаскухе в декольте поднос с ломтиками семги — пусть они наконец узнают, что такое страх. Представили бы они себе, как выглядят со стороны, с нашей стороны: как они стоят с разинутыми ртами, лучше сказать — пастьями, и как сразу толпой набрасываются, конечно же, на бутерброды с икрой, а то еще есть типы — даже миллионеры или жсны миллионеров, — которые набивают себе карманы сигаретами, спичками и печеньем. А в другой раз они еще приносят какие-то пластмассовые сосуды, в которых утаскивают с собой кофе; и все это, все-все ведь как-то оплачивается из наших налогов, так или иначе. Есть типы, которые экономят на завтраке или обеде и, как коршуны, накидываются на закуски, но я, конечно, не хотела бы обидеть коршунов».

## 56

Из явных актов насилия известным стал пока один, но он привлек к себе, к сожалению, довольно большое внимание общественности. В связи с открытием выставки художника Фредерика Ле Боша, чьим меценатом считался Блорна, последний впервые снова встретился со Штройбледером, который ринулся к нему с сияющим лицом, а когда Блорна не подал ему руки, Штройбледер сам буквально схватил руку Блорны и зашептал ему: «Господи, не принимай же ты все это так близко к сердцу, мы не дадим вам пропасть, вот только ты, к сожалению, сам попадаешь». К сожалению, истины ради надо сообщить, что в этот момент Блорна действительно дал Штройбледеру по м... Скажем сразу, чтобы сразу же и забыть: потекла кровь, кровь из носа Штройбледера, по разным наблюдениям — от четырех до семи капель, но, что еще хуже, Штройбледер отшатнулся, однако тут же сказал: «Я прощаю тебе, прощаю тебе все — ввиду твоего состояния». И так как это замечание почему-то вызвало крайнее раздражение Блорны, произошло нечто такое, что очевидцы называли «рукопашной схваткой», и, как это всегда бывает, когда люди типа Штройбледера и Блорны появляются на публике, здесь же оказался фоторепортер ГАЗЕТЫ, некий Коттензель, преемник застреленного Шённера, и не стоит, наверное, обижаться на ГАЗЕТУ, тем более уже зная ее характер, за то, что она опубликовала фотографию этой «рукопашной схватки» с надписью: «Нападение левого адвоката на консервативного политика». Разумеется, лишь на следующее утро. Во время выставки произошла еще одна встреча — между Мод Штройбледер и Трудой Блорной. «Можешь быть уверена в моем сочувствии, дорогая Труда», в ответ на что Труда Б. сказала Мод Ш.: «Засунь быстренько свое сочувствие обратно в холодильник, где



хранятся все твои чувства». Когда же Мод Ш. снова предложила ей прощение, добросердечие, сочувствие, даже чуть ли не любовь со словами: «Ничто, абсолютно ничто не в силах умсньшить мою симпатию, даже твои злые выпады», Труда Б. ответила словами, привести которые здесь не представляется возможным, о них можно сообщить лишь в реферативной форме, они не были дамскими, эти слова, какими Труда Б. намекнула на многочисленные попытки Штройбледера к сближению и среди прочего — в нарушение правила о неразглашении доверенных тайн, которое распространяется и на жену адвоката, — упомянула кольцо, письма и ключ, который «этот постоянно получавший от ворот поворот ухажер оставил в некоей квартире». Но тут дам разлучил Фредерик Ле Бош, который, сохраняя присутствие духа, не упустил возможности подхватить кровь Штройбледера промокательной бумажкой и переработать ее — как он назвал — в “One minute piece of art”<sup>1</sup>, нарек это «Концом многолетней мужской дружбы» и, подписав, подарил не Штройбледеру, а Блорне со словами: «Можешь это сплавить, чтобы пополнить немножко свою кассу». По этому упомянутому последним факту, равно как и по описанным вначале актам насилия, можно судить, что искусство все-таки еще несет социальную функцию.

57

Конечно, в высшей степени огорчительно, что к концу сообщается так мало гармоничного и так мало остается надежды на гармонию. Получилась не интеграция, а конфронтация. Конечно, можно позволить себе задаться вопросом: как так или почему, собственно? Молодая женщина в хорошем, почти вселом настроении отправляется на мирный танцевальный вечер, а спустя четыре дня она — поскольку здесь должно иметь место не осуждение, а только сообщение, то и сообщать следует одни лишь факты — становится убийцей — собственно говоря, если вдуматься, только из-за газетных сообщений. Возникает раздражение, напряжение, а потом и рукопашная схватка между двумя очень-очень давними друзьями. Язвительные реплики их жен. Отвергнутое сочувствие, даже отвергнутая любовь. Крайне безотрадные явления. Веселый, общительный человек, любящий жизнь, путешествия, комфорт, настолько пренебрегает собой, что начинает источать запах! Даже запах изо рта у него учуял. Он дает объявление о продаже своей виллы, обращается даже в ломбард. Его жена осматривается «в поисках чего-то другого»,

---

<sup>1</sup> Экспромт (англ).

так как уверена, что вторая инстанция лишит ее места; она даже готова, эта одаренная женщина готова поступить в крупную мебельную фирму в качестве продащицы разрядом повыше, с титулом «консультант по интерьеру», но там ей заявляют, что «круги, которые обычно у нас покупают,— это те круги, сударыня, с которыми вы рассорились». Короче говоря, плохо дело. Прокурор Гах уже доверительно шепнул друзьям то, чего самому Блорне сказать еще не решился: по всей вероятности, его как защитника отклонят— ввиду его очевидной пристрастности. Что будет дальше, чем это кончится? Что станется с Блорной, если он лишится возможности навещать Катарину и — не стоит больше скрывать! — держать ее за ручку. Нет сомнений: он ее любит, она его — нет, у него нет ни малейшей надежды, ибо все, все отдано ее «милому Людвигу»! И надо добавить, что «держать за ручку» означает здесь действие одностороннее, оно заключается лишь в том, что, когда Катарина передает ему документы, или записи, или документальные записи, он задерживает ее руку несколько дольше — возможно, на три, четыре, ну, не больше пяти десятых секунды,— чем принято. Черт возьми, ну как тут создашь гармонию, если даже его горячее расположение к Катарине не может заставить его — скажем же это наконец— несколько чаще мыться. Его не утешает даже тот факт, что он, он один установил происхождение оружия, которым было совершено преступление, чего не удалось ни Байцменне, ни Мёдингу, ни их помощникам. Ну, «установил», возможно, и не совсем точное слово, поскольку имеется в виду добровольное признание Конрада Байтерса, который как-то заметил, что он старый нацист, и, возможно, только благодаря этому на него до сих пор не обращали внимания. Был он в свое время политическим руководителем в Куире и кое-что смог тогда сделать для матери Эльзы Вольтерсхайм, ну а пистолет — это старый служебный пистолет, который он спрятал, но по глупости однажды показал Эльзе и Катарине; как-то они даже отправились втроем в лес и устроили там стрелковые упражнения; Катарина оказалась очень хорошим стрелком, она объяснила, что еще молодой девушкой прислуживала за столом в кружке стрелков и ей иногда позволяли палить из ружья. А в ту субботу вечером она попросила у него ключ от квартиры, сказав, что ей хочется побыть одной, ее же квартира для нее мертва, мертва... однако в субботу она все же осталась у Эльзы и, должно быть, пистолет взяла в его квартире в воскресенье, когда после завтрака и чтения ВОСКРЕСНОЙ ГАЗЕТЫ поехала, переодевшись бедуйнкой, в этот треклятый журналистский кабак.

Под конец остается сообщить все-таки кое-что до некоторой степени отрадное: Катарина описала Блорне процесс совершения преступления, рассказала также, как она провела те семь или шесть с половиной часов между убийством и ее появлением у Мёдинга. Поскольку Катарина все изложила письменно и передала это Блорне для использования на суде, есть счастливая возможность процитировать это описание дословно.

«В журналистский погребок я пошла лишь затем, чтобы взглянуть на него. Мне хотелось знать, как такой человек выглядит, какие у него повадки, как он говорит, пьет, танцует — этот человек, который разрушил мою жизнь. Да, я сначала зашла в квартиру Конрада и взяла пистолет, даже сама зарядила его. Когда мы были однажды в лесу, я попросила показать, как это делается. В погребке я прождала полтора или два часа, но он не пришел. Я решила: если он окажется уж очень противным, то не пойду давать ему интервью, и если бы я прежде увидела его, то и не пошла бы. Но он не пришел в кабачок. Чтобы избежать приставаний, я попросила хозяина — его зовут Петер Краффлун, мы вместе иногда работали по найму, он был обер-кельнером, — я попросила его разрешить мне поработать за стойкой. Петер, конечно, знал, что про меня писала ГАЗЕТА, он обещал подать мне знак, если появится Тётгес. Время-то карнавальное, и меня несколько раз приглашали танцевать, но Тётгес все не появлялся, и я занервничала, так как не хотела встретиться с ним неподготовленной. Ну, и в двенадцать я поехала домой, с души воротило, так изгажена и измарана была квартира. Но ждать пришлось всего несколько минут, пока позвонили в дверь, — как раз хватило времени отвести предохранитель пистолета и положить его наготове в сумочку. И тут позвонили, я открыла, он стоял уже у двери, я же думала, что он позвонил снизу и у меня будет еще несколько минут, но он поднялся на лифте, и вот он стоял передо мной — я испугалась. Я сразу увидела, что он свинья, настоящая свинья. К тому же красавчик. Таких обычно называют красавчиками. Да вы ведь видели фотографии. Он сказал: «Ну, Цветочек<sup>1</sup>, чем мы сейчас займемся?» Я не произнесла ни слова, отступила в комнату, он вошел следом за мной и сказал: «Ну что ты смотришь так растерянно, мой Цветик, я предлагаю сперва поразвлечься». Тем временем я уже взялась за сумочку, а он подступился к моему платью, и я подумала: поразвлечься — что ж, пожалуйста, вынула пистолет и тут же выстрелила в него. Два раза, три раза, четыре. Не знаю точно —

<sup>1</sup> Фамилия Блюм созвучна слову Blüme (нем.) — цветок.

сколько. Вы можете прочесть об этом в полицейском отчете. Не думайте, что для меня в новинку, чтобы мужчина хватался за мое платье — если вы с тринадцати лет, а то и раньше, работаете прислугой, вы кое-чего насмотрелись. Но этот парень, да еще и «поразвлекся», и я подумала: хорошо, сейчас я тебя развлеку. Он, конечно, не ожидал этого и с полсекунды так удивленно смотрел на меня, ну прямо как в кино, когда в кого-то вдруг неожиданно стреляют. Потом он упал, я думаю, он был уже мертвый. Я бросила около него пистолет и вышла, спустилась на лифте вниз и вернулась в кабачок; Петер удивился, ведь я отсутствовала едва ли полчаса. Я снова встала за стойку, больше не танцевала и беспрестанно думала: это же неправда; но я знала, что это правда. Петер иногда подходил ко мне и говорил: «Сегодня он не придет, этот твой приятель», а я отвечала: «Похоже на то». И напускала на себя безразличис. До четырех я наливала водку, цедила пиво, открывала бутылки с шампанским и подавала рольмошсы. Потом ушла, не попрощавшись с Петером, сперва зашла в церковь поблизости, с полчаса там сидела и думала о матери, о проклятой, жалкой жизни, выпавшей ей на долю, и об отце, который вечно, вечно брюзжал, брюзжал на государство и церковь, на власти и чиновников, на офицеров и всех поносил, но, когда ему приходилось с кем-нибудь из них иметь дело, он пресмыкался, чуть ли не повизгивал от рабства. И о муже, Бреттло, о тех отвратительных гадостях, которые он рассказал Тётгесу, и, конечно, о брате, который всегда, всегда оказывался тут как тут, стоило мне заработать несколько марок, и выманивал их у меня для какой-нибудь срунды, на одесжду, или мотоцикл, или игорные салоны; и, конечно, о священнике, который всегда называл меня в школе «папшей красноватой Катринхен», а я понятия не имела, что он хочет этим сказать, и весь класс хохотал, потому что я и впрямь тут же краснела. Да. И, конечно же, о Людвиге. Потом я ушла из церкви и заглянула в первое попавшееся кино, но не осталась там, опять пошла в церковь, потому что в карнавальное воскресенье это было единственное место, где можно обрести немного покоя. Я думала, конечно, и о застреленном там, в моей квартире. Без раскаяния, без сожаления. Он ведь хотел поразвлекся, и я устроила развлечение, не так ли? У меня мелькнула мысль, не тот ли это парень, который звонил мне ночью и надоедал также бедной Эльзе. Я подумала: да это же тот самый голос, надо было дать ему возможность еще немного поболтать, чтобы убедиться; но что бы мне это дало? Потом мне захотелось крепкого кофе, и я пошла в кафе Бекеринга, не в зал, а на кухню, потому что я знаю Кете Бекеринг, жену владельца, по школе домоводства. Кете была очень мила со мной, хотя ее ждало довольно много дел. Она дала мне чашку собственного кофе, который завари-

васт правильно, совсем на бабушкин лад, заливая водой размолотые зерна. Но потом она завела разговор о всей этой чуши из ГАЗЕТЫ, мило, но так, будто все-таки немножко верит ей, да и откуда людям знать, что все сплошная ложь. Я попробовала ей это объяснить, но она не поняла, а только подмигнула и сказала: «А ты, стало быть, в самом деле любишь этого парня», и я сказала: «Да». Потом я поблагодарила за кофе, на улице взяла такси и поехала к этому Мёдингу, который был тогда так мил со мной».

1974

## СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

### Послесловие к новому изданию «Потерянной чести Катарины Блюм»

Упорно держится слух о том, будто эта *повесть* — *роман* о террористах; совсем недавно слух этот стал снова распространять видный профессор информатики: по-видимому, он тоже не считает нужным *информироваться* на этот счет; в таком случае возникает вопрос: каким образом информируется информант? «Понаслышке», из вторых, третьих, а то и шестых рук? Разумеется, я ни от кого не могу требовать, чтобы он прочитал повесть, но ведь если современник, наделенный высокой ответственностью информанта, *обучающий* других информатике, высказывается по поводу какого-либо предмета, то должен же он уметь сам информироваться. В этой повести нет ни одного террориста, равно как и ни одной террористки; что в ней, правда, есть, так это *подозреваемые* в терроризме, но, по моему скромному мнению, даже информант должен знать разницу между подозреваемым и изобличенным. Тот, кто в состоянии вспоминать события хотя бы десятилетней давности, вспомнит годы, когда ГАЗЕТА ссыла клевету и подозрительность, та самая ГАЗЕТА, которая обзывала десятки людей убийцами, хотя ни в одном убийстве они не были уличены.

Совсем недавно наш нынешний министр семьи и брака вынужден был опровергать сообщение газеты, чертовски похожей на ГАЗЕТУ. Политики лишь тогда замечают, с какой газетой они связались, когда у них возникают неприятности с газетами, — и тем не менее они с ними связываются снова и снова. Воистину гиблое дело потратить еще хоть слово по поводу определенных газет.

Потратить слово по поводу этой повести? Попробую. Десять лет — большой срок. Я бы давно позабыл этот переодетый повестью памфлет, если бы время от времени мне не напоминали о нем полностью дезинформированные информанты; по сути это памфлет, полемическое сочинение, — так оно было задумано, намечено и осуществлено, и уж западные европейцы-то с их гуманитарным образованием как раз и должны были бы знать, что памфлеты относятся к лучшим западноевропейским традициям; я ведь тоже западный европеец и некоторым образом имею даже зачаточное гуманитарное образование. Итак, возможно, я позабыл бы этот переодетый повестью памфлет на ГАЗЕТУ, если бы время от времени — и не только «справа», но и те, кто почитает себя «левыми» — мне укоризненно не напоминали о том, что я написал этот *роман* о террористах (который и не ро-

ман вовсе, и террористы там не появляются). «Правые» злятся, потому что им так положено, «левые» злятся потому, что действие «разыгрывается» во времени, когда мы имели полулевое (или мне следует сказать — псевдополулевое?) правительство. Упрекнуть себя я могу только в одном: эта книга слишком безобидна. Она же не более чем любовная история со «стержнем действия» (по-английски — “plot”) бульварного романа: «простая девушка» (ах, доведись бы мне познакомиться с *простым* человеком! До сих пор ни одного не встретил), превосходная служанка, влюбляется в человека, которого, как позднее выясняется, разыскивает полиция. Правда, зная она заранее, что его разыскивает полиция, она бы все равно влюбилась в него, — это в ее характере. Так бывает. Дьявольски свособразная это штука — любовь. Есть женщины, которые любят мужчину не потому, что он преступник, а несмотря на то, что он преступник. Чертов факт, — ГАЗЕТЕ, которая любит только своих собственных преступников и фальсифицирует любые факты, он неприятен и непонятен! ГАЗЕТА настолько изолгалась, что даже нефальсифицированный факт на ее страницах кажется ложью. Короче говоря: правда и та вываливается в дерьме, когда ГАЗЕТА передает ее «правдиво». Напиши она: «Расцвели розы», я, стоя перед цветущей розовой клумбой, все равно сй не поверю. Поговорку «Единойды солгавшему не верят и тогда, когда он говорит правду» в данном случае следовало бы перефразировать: «Тысячекратно солгавшему я не поверю и тогда, когда он *однажды* скажет правду». В случае с *действительно* цветущими розами придется пожалеть эти в самом деле прекрасные цветы, потому что сама лживость использует их как алиби.

Катарина Блюм, испытывавшая так мало любви, эта трудолюбивая, дельная, совершенно аполитичная женщина, в экономическом смысле находящаяся (причем благодаря собственному старанию и расчету) *на подъеме*, — да-да, она само олицетворение экономического чуда, у нее есть машина, собственная квартира и некоторые сбережения, — обращает свой взгляд на Людвига Гёттена, взгляд благосклонный. Женщины, обращающиеся на кого-то свой взгляд, не носят постоянно в сумочке описания примет всех разыскиваемых преступников, не имеют при себе и уголовного кодекса, даже гражданский кодекс не всегда держат под рукой. Плохо дело, если любовь взаимна! Каждый ведь знает, как взвивается пламя, когда вспыхивают двое «в огне любви». А Гёттен, в самом деле преступивший закон — он растратчик и дезертир, — он действительно «умет любить»! Конфликты (см. развитие повествования) неизбежны, тем более что эта «простая девушка» (где они, «простые», есть, где?) обладает еще двумя проклятыми качествами, воспетыми в сагах и сказаниях: *верностью* и *гордостью*. Ситуация становится не просто

конфликтной — она становится взрывчатой. Все кругом усеяно динамитом, и ГАЗЕТА, эта повсюду снующая, изолгавшаяся пронира, поставляющая информацию полиции и от нее же ее получающая (такое бывает, и при этом обмене нелепые мелочи вырастают в подозрительные обстоятельства), метровыми заголовками обрушивает на голову читателей горы подозрений, клеветы, подлостей; тут уж не цветут никакие розы, «простая девушка» теряет свою честь, свое достоинство, действительно нарушает закон, помогая любимому бежать. Она не только помогает любимому бежать, но и передаст ему ключ от укромного места, который ей когда-то всучил некий незадачливый ухажер, подаривший на беду еще и непомерно дорогое кольцо, в надежде — тщетной! — на свидание. История с ключом — это детектив в детективе. Катарина нарушает закон — опять как в бульварном романе! — «из-за любви». Такое бывает. Это стародавний мотив детективной литературы. И поскольку ГАЗЕТА ничем не гнушается, Катарина считает ее виновной и в смерти своей матери, а репортер не понимает, почему Катарина так зла на него, почему она взрывается. Ведь как-никак он прославил ее, теперь самое время совместно «снять сливки» с ее истории, то есть: после того как ее выжали как лимон, теперь можно опубликовать ее «истинную» историю, которая, разумеется, была бы преподнесена так же живо, как и все, что напечатано в ГАЗЕТЕ. Вероятно, она имеет место, эта ужасная «невинность» репортера, который ведь только выполнял свою обязанность, снабжая ГАЗЕТУ кричащими заголовками и сенсациями, а теперь хотел бы дать другой газете «истинную» историю, — возможно, эта ужасная «невинность», чуть ли не простодушие репортера, и заставила Катарину схватиться за револьвер. Катарина еще успела понять, что ГАЗЕТА подла, и эта «невинная» подлость была для нее последней каплей, переполнившей чашу. «Простая» девушка пришла в отчаяние и совершила «акт отчаяния» — убийство, которое в бульварной книжонке называлось бы «кровавым злодеянием». Было ли у нее намерение убить репортера? Во всяком случае, пистолет-то она раздобыла. Пусть свое слово скажет уголовный кодекс. Бывают конфликты не только со смертельным исходом; бывают конфликты, которые, ввергнув человека в отчаяние, неминуемо приводят к смертельному исходу. Это известно и в Западной Европе и, возможно, известно даже информатикам.

Важно вот что: повесть имеет не только заголовок: «Потерянная честь Катарины Блюм», но и подзаголовок: «Как возникает насилие и к чему оно может привести». Слишком мало еще известно о насилии **СЕНСАЦИОННЫХ ЗАГОЛОВКОВ**, и уж совсем почти неизвестно, к чему это насилие сенсационных заголовков может привести. Криминологии стоило бы заняться ис-



следованием того, что могут натворить ГАЗЕТЫ со всей их чудовищной «невинностью». Однако повесть имеет не только заголовки и подзаголовки, но и эпиграф: «Персонажи и сюжет этой повести — вымышленные. Если при описании определенных журналистских приемов обнаружится сходство с присадами газеты «Бильд», это сходство не преднамеренное, не случайное, но неизбежное». Заголовок, подзаголовок, эпиграф, эти три кажущиеся мелкими деталями — важные составные части повести. Они неотъемлемы от нее. Без них памфлетная тенденция повести — а она действительно тенденциозна! — непонятна. Тот, кто занимается этой повестью, пусть сперва займется тремя вышепоименованными элементами, в них почти и заключено истолкование.

Недавно один класс гамбургских школьников через свою учительницу обратился ко мне с вопросом, «что же случится потом», когда в 1982 году Катарина и Людвиг, собственно, должны будут выйти из тюрьмы. Хороший вопрос, которым я еще не задавался. Ну, поскольку оба они никогда террористами не были, то теперь вряд ли ими станут. Катарине, видимо, придется сидеть дольше, чем Людвигу. Вероятно, вначале она будет работать на кухне, потом, может быть, в планово-хозяйственном отделе тюрьмы, даст полномочия Людвигу вместе с доктором Блорной продать ее имущество и присмотреть какой-нибудь небольшой отель, который они вместе вели бы. Людвигу и нескольким друзьям она признается, что не собиралась убивать Тётгесса, решение внезапно «на нее накатило», когда он сунулся к ней — во всей своей ужасной невинности — со своими коммерческими и сексуальными предложениями. Он был совершенно чужд ей, и она сама себе тоже. Разумеется, она понимает, что она убийца, потому-то и не хочет иметь детей. Она не хочет, чтобы когда-нибудь ее детям кто-нибудь сказал или выкрикнул вслэд, что их мать убийца. Я бы посоветовал ей сменить имя, покрасить волосы: если она блондинка — в черный цвет, если брюнетка — в белокурый. Чем старше она будет становиться, тем более тяжело у нее будет на душе — она ведь исключительно *совестливая* женщина, хотя и совершила убийство. Такое бывает. И я надеюсь, что Людвиг будет ей хорошим спутником.

Кстати, реакция прессы, которая вправе была полагать, что именно она «подразумевается» в книге, была не только — что вполне понятно! — злобной, но порой и прямо-таки глупой. Так, перестали публиковать ежедневные списки бестселлеров, потому что в них пришлось бы упоминать книгу. Могучие империи не всегда столь суверенны, как они прикидываются. Папа империи сам не опустил до *прямого* обвинения. Он послал вперед своих причетников, своих кардиналов — при надобности во

время папских литургий прислуживают и кардиналы. Я покался, но не раскаялся.

P.S. Тем временем «Бильд» почти уже стала официальной правительственной газетой. По воскресеньям или понедельникам министерские сообщения по важным политическим вопросам появляются в одном из изданий «Бильд». Это не случайность.

*1984*

# Донесения о мировоззренческом состоянии нации



## 1. Краснозобик — Краснокрылу

Тем временем я устроился очень недурно, и хотя мое ателье было закреплено за мной договором еще несколько месяцев назад, я, как мы условились, приехал сюда за шесть недель до вступления его в силу, чтобы при помощи списка, который вы мне дали, разыграть материально стесненного человека, ищущего квартиру. Если учесть, какая мне предшествовала слава — ни много ни мало три допроса и арест, — то я бы сказал, что мне все же достаточно охотно шли навстречу. Чему это следует приписать — сочувствию к моей сомнительной деятельности или моему публичному раскаянию, репутации «блудного сына», — сказать трудно. Так или иначе, чтобы вы немного уяснили себе обстановку, я посылаю вам спецпочтой список лиц, открыто выражавших мне симпатию. Поскольку мы условились имен не называть, то я пользуюсь в данном случае уже испытанной нами «двухдонкой». Людей, мне сочувствующих, я склонен рассматривать как сочувствующих моему *раскаянию*, а не моей прежней деятельности, однако сделать окончательный вывод предоставляю вам, ибо для этого необходимо заглянуть в их досье, а я к ним доступа не имею. То же самое относится и к лицам, открыто выражавшим мне антипатию: вызвано ли их отвращение ко мне моим *раскаянием* или недоверием к этому раскаянию — судить об этом я мог бы, только располагая столь же полной информацией, какой располагаете вы. Не завидую вашей задаче: проанализировать, в чем коренится здесь симпатия или антипатия, ибо и в одном, и в другом случае вам придется все время иметь в виду возможность перемены убеждений, которая произошла у меня.

Лаконичная рекомендация, которую вы дали мне к здешнему члену ЦК, оказалась очень полезной: передо мной сразу открылись кое-какие двери и чьи-то объятия. Я нигде не отрицал

той спорной роли, какую играл в анархическом движении Берлина и Дортмунда, а свое кодовое имя «Краснозобик» обнаруживал совершенно сознательно, как прозвище.

После моего первого выступления на сцене (которое организовал тот самый член ЦК) все сложилось, как я и предвидел: мне не пришлось искать сближения с людьми — они сами искали сближения со мной. В очень красивом зале церковного прихода я показал свой лучший номер: пиротехническое представление «францисканско-иоаннитская огненная цепь». Потом состоялись дискуссии, тема обычная: «Ангажированное искусство». Был спор, небольшое сообщение в прессе, интервью, в ходе которого я ввел и определил понятие «воспламеняющее искусство», а поскольку здесь не только католическая среда, но и все круги общества буквально изголодались по искусству, то меня переправили дальше. Так что дело завязалось хорошо (и развяжется, надеюсь, так же). У меня есть почва под ногами, я приобрел репутацию, какой добивался — человека непроницаемого, выдаю себя за *умерятого* реакционера, — так, за мною уже закрепилось прозвище Бейс\* Союза учащихся.

Никак не пойму, почему вы упрекаете меня в «филологизме»; я же на самом деле вынужден расшифровывать тарабарский и уголовный жаргон людей, с которыми мне необходимо встречаться. Так что если я кого-либо обозначаю словом «красноломкий», это вовсе не значит, что это сложенный красный, а лишь то, что на изломах его жизни и сознания просматривается красный цвет. Соответственно обстоит дело и с «черно- и коричневоломкими». Такие краткие обозначения я нахожу весьма полезными и предлагаю зашифровать их следующим образом: «кл», «чл», «крл». Для пометок в деле это очень удобно. Если же о каком-то человеке я говорю, что он «красноплесневый», то это выражение отнюдь не фигуральное, подразумевающее, что это вялый и ленивый красный; оно означает, что человек этот заражен «красной плесенью» — я имею в виду плесень не в смысле лень, а в смысле тлен, и шифр предлагаю «кпл». Стало быть, не исключено, что кого-то я могу обозначить буквами «чл/кпл» или даже «кл/кпл».

Хоть я и знаком с соответствующим жаргоном, пусть только до 1972 года, у меня все же возник известный языковой барьер с одной здешней группой, которая, можно сказать, навязалась мне сама. Они называют себя «Красногузками» и действуют совершенно сепаратно от *определившихся* левых сил, соединяя жесткий догматизм с показной общительностью. Мне понадобилась почти неделя, прежде чем я выяснил, что когда они говорят о «предводительнице банды анархистов, нечаянно забившей мощнейший гол», то имеют в виду совсем не У. М.\*, а одну пробивную фабрикантшу, которая всего-навсего слишком произвольно

истолковала закон о налогах. А когда говорят о «потянувшей миллионы коробке», построенной для «преступного объединения», то имеют в виду не новостройку в Штаммхсймере, а резиденцию федерального объединения союзов работодателей в Кёльне, конечно не называя ни то, ни другое здание. Такие догадки и толкования вытекают просто из тщательного (и утомительного, да к тому же требующего расходов) изучения умонастроений и лексики. Сколько времени понадобилось мне, пока я выяснил, что под преступным объединением ЕКА подразумевается не Евангелическая кооперативная ассоциация, а Епархия кёльнского архиепископа; что Лскаки --- сокращение, пренебрежительно употребляемое в отношении некоторых лиц, причастных к церкви, это вовсе не закамуфлированное слово «лакси» (что было бы легко предположить), а просто-напросто сокращение слов «левокатолические круги». Тогда, по логике, должны существовать и «Каки» --- правокатолические круги, причем намек на коричневый оттенок цвета ХЛКИ здесь отнюдь не случаен. Конечно, у меня возникли кое-какие сомнения в значительности этих «Красногузок», но нельзя недооценивать их роль как кристаллизующего вещества. Это группа из пяти человек: редактор на радио, студентка --- она, по-видимому, у них за главаря, --- секретарша и двое рабочих, для которых МС оказались слишком правыми (список фамилий, как условлено, вы получите через «двухдонку»!). Они конфликтуют со всеми левыми группами, *не* примыкающими к ГКП, с церковными молодежными группами обоих вероисповеданий и с военнослужащими. Позволю себе заметить, что может иметь смысл намекнуть об этом военной контрразведке. Получается, что молодые словоохотливые офицеры, для которых слово «демократия» не пустой звук, а свободно-демократические основы государства, --- не выхолощенное понятие, сами, как овечки, лезут под нож, ввязываются в дискуссии, которые им не по зубам и в которых откровенно высказываются доводы против НАТО. Крайне неохотно сообщая вам одну подробность, которая, в сущности, относится к компетенции ИНТИМНОЙ СЛУЖБЫ, но могла бы от нас ускользнуть: молодой и чрезвычайно общительный майор из министерства обороны явно состоит в связи с некой особой, именующей себя Красногузкой I (позволю себе заметить, что это особа *женского* пола); во всяком случае, я нечаянно стал свидетелем совершенно недвусмысленных нежностей, которыми эти двое обменивались в саду молодежного центра в перерыве дискуссионного вечера. В течение шести недель я имел также полную возможность наблюдать некоего господина, которого мы условимся называть псевдодатчанином. Он тихо, робко, почти молча приглядывается к происходящему, а так как я оказался в сфере его культурно-политической деятельности, то при случае он обращается

ко мне, просит интервью (которое я в надлежащее время ему дам), собирает данные, информацию. Вдруг он *активизировался* и предложил мне (как нарочно, во время приема, устроенного ХСС) учредить «Комитет в пользу жертв классовой юстиции». Я выразил свое одобрение, но прямо в это дело еще не ввязался. Он уверяет, что в одном монастыре неподалеку отсюда у него есть единомышленники, поэтому я все-таки хочу при ближайшей возможности отчетливо выразить ему свою солидарность, не исключено, что это наведет нас на международные круги сочувствующих этому движению монахов. Псевдодатчанин намекнул также, что в монастыре мне скорее всего обеспечено выступление, так как некий Фармфрид (патер?) внимательно следит за моей артистической судьбой.

На такого рода выступления и встречи мне, видимо, следует соглашаться, они сами вытекают из моей здешней ситуации и, так сказать, вырастают из моей почвы и на моей почве. К тому же они вводят меня в среду, смежную с интеллектуальной, в которую вы настоятельно рекомендовали мне вклиниться: министерская бюрократия с высшим образованием, публицисты, комментаторы, церковная *кпл.* арена, журналисты, дипломаты. Чтобы пробиться в эти круги, я непременно должен стать «интересным».

Насколько автоматически действуют здесь предрассудки, я обнаружил недавно, когда во время вечерней дискуссии на тему «Является ли искусство политической акцией — может ли политическая акция быть искусством» у меня завязался разговор с тем самым столь же любезным, сколь и алчущим нежностей майором. Он заметил, как в сущности жалко, что мы — он имел в виду артистов вообще и меня в частности — так упорно уклоняемся от военной службы. Каково же было его удивление, когда я ему сообщил, что в 1969—1970 гг. честь честью отслужил в армии, где был пиротехником, так что своими ремесленными навыками я обязан бундесверу, а уж их дальнейшим художественным развитием — самому себе. Что майора это удивило, для меня неожиданным не было, еще менее неожиданным было бы, если бы он *притворился* удивленным. Вызывает беспокойство, что он в самом деле этого не знал, и хотя мы с ним встречались уже добрый десяток раз, не позаботился навести обо мне справки. Я полагаю, Краснокрыл, что у нас снова появилась возможность вставить перо военной контрразведке! Подумайте только, ведь этот симпатичный парень меня спросил, не смогу ли я при случае продемонстрировать мое искусство караульному батальону, а когда я шутливо осведомился, не сможет ли он помочь мне раздобыть для этого черный порох и фосфор, он засмеялся и сказал, что хотя армия и не располагает этими средствами в чистом, непереработанном виде, ибо времена пороховых рожков безвоз-

вратно миновали, но, наверно, можно будет как-нибудь договориться с заводами боеприпасов. Должен признаться, что такая наивность меня просто потрясла. Представьте себе, что я принял бы его предложение! Какой-то случайно встреченный, едва знакомый ПИРО-босвик получил бы тогда прямо от бундесвера материал, с помощью которого он мог бы взорвать все ведомство федерального канцлера (что при нынешнем канцлере — чисто абстрактно — было бы не так уж вредно!).

Все же у господина майора хватило ума во время этого мероприятия наконец-то проявить оперативность. Он без конца звонил по телефону, однако потом неосторожно, из тщеславия, выдал, какого характера были его звонки, ибо, прощаясь со мной, сказал: «До свиданья, камрад артист!» Очевидно, он выяснил, что я не рядовой военнообязанный, а после сборов в 1971—1973 годах был произведен в лейтенанты запаса.

В «двухдонке» вы найдете фамилии, адреса и цигаты из высказываний студентов, шестнадцати будущих педагогов, четырех теологов и двух социологов; все они ярко выраженные кл/кпл; кроме того, мнения четырех министерских чиновников, трех журналистов, чьи слова я снабжаю пометкой откл. (напоминаю вам, что откл. означает не отключение, а только отклонение). К тому же обращаю ваше внимание на то, что строжайший надзор я устанавливаю исключительно за теми, кто высказывается не публично, а лишь в частном порядке, то есть даже не на дискуссионных вечерах, а в пивных, на вечеринках, в кафе, во время коротких встреч на улицах.

Краснозобик

## 2. Рабочая лошадь — Зав. конюшней

Как выяснилось, это была все же удачная мысль — внедрить меня сюда в качестве внештатного сотрудника датской радиостанции, а так как мое задание (датское) довольно широкого плана, тему ограничить трудно, поиски материала отнимают много времени, то у меня оказалось достаточно и времени, и простора для деятельности. Многочасовая серия передач о «Культурно-политическом развитии послевоенного общества Германии» обеспечивает мне доступ именно в те круги, которые мы условимся называть «кандидатами на пристальное наблюдение». Считаю своим долгом вам сообщить, что люди здесь очень и очень недоверчивы: едва я успел представиться в федеральном ведомстве печати, посетить несколько журналистских пивных, как к моему работодателю Ф-сену сразу же полетел встречный запрос. От кого исходил запрос — от ведомства печати, от датских коллег или так вообще завездено в этой конюшне, вам луч-

ше знать, нежели мне; возможно, запрос делался на всех этих уровнях. Так вот, Ф-сен все подтвердил — и данное мне задание, и подлинность моего удостоверения, и после некоторой путаницы (здесь у меня есть однофамилец, журналист, которого, похоже, не очень любят, прозвище — Стукач!) я могу считать себя принятым и признанным. Поскольку я к тому же могу ничего не подправлять в своей *vita*<sup>1</sup> (как условлено, я откровенно сообщаю свои биографические данные: год рождения 1940, окончил торг. училище — заочно, потом учился на факультете журналистики, внештатно сотрудничал в редакциях по разделу «Образовательная политика», свободный журналист, имею публикации на соответствующую тему, некоторые привлекли к себе внимание), то мне нечего опасаться встречных вопросов. После того как я добрых десять лет беспрепятственно пахал свое поле, мне потребовалось всего две недели, чтобы войти в здешнюю *атмосферу*, еще две, чтобы очутиться в окружении «кандидатов», а после третьей пары недель, то есть в целом после шести, я здесь, можно сказать, уже свой парень. Для первой серии передач я выбрал такое название: «Столица и искусство». Мои тезисы одобрены, и я усердно собираю информацию, делаю заметки, наброски, понемногу переписываю их набело и несколько не дергаюсь оттого, что Ф-сен (ничего не подозревающий) уже слегка торопит. Ведь когда первая серия пойдет в эфир и, как вы мне сулили, датская пресса не совсем обойдет ее молчанием, я смогу передать и переслать «обрезки» ведомству печати и отделу культуры министерства иностранных дел, после чего меня окончательно отсюда вышлют.

Вы знаете, что я ни во что не ставлю известные «почтовые ящики», зато ящики федеральной почты считаю самыми надежными. Так как отправка «до востребования» кажется мне тоже слишком ненадежной, то я адресую письма прямо нашей общей приятельнице, в чьем семейном пансионе в Вестервальде мы сживали уже не раз и мирно резались в скат. Я предполагаю, что вы по-прежнему проводите там свои уик-энды, а если мои донесения станут драматичными или срочными и потребуют немедленных мер, то у меня под боком все еще имеется некий монастырчик, доброе старое «Гнездо» наших совещаний, где патер Фармфрид — предлагаю для него шифр ФФ — предоставит нам свой «красный» телефон (и свою неизменно охлажденную можжевелевку). Предполагаю, что внутримонастырскую информацию он передаст непосредственно вам, так что я ничего об этом сообщать не буду, если не получу других указаний. Во всяком случае, как отзовется постановление о радикальных элементах на монастырском пополнении — это дело внутрицерков-

---

<sup>1</sup> Жизнь (лат.).



ное и щекотливое, а Фф находится как раз на этом фронте. Как и раньше, все данные, фамилии, цитаты пойдут отдельно, в «слизистую сумку».

Соответственно моему заданию, сначала я занимался выявленными или уже уличенными сторонниками радикалов, следил за ними или даже с ними беседовал и предлагаю (в наказание) не мешать им предаваться собственным душевным терзаниям. Возьмем для начала господина, которого мы уговорились называть Рюффлин,— он ведь не только признал свои ошибки, но искренне в них раскаивается и даже слегка тронулся. Чуть что, он бормочет: «Я же в самом деле это знал, знал же, знал», намекая на то, что в свое время бросил некоей собаке (если мне не изменяет память, это был боксер), хоть и *знал*, что она принадлежит какой-то родственнице Гудрун Энслин\*, целый кулек отменных бараньих костей. Нам не стоит здесь заниматься вопросом, который уже не раз служил темой газетных комментариев,— купил ли он кости специально для *этой* собаки или же вначале предназначал их своей собственной (кажется, спаниелю). Пусть все останется, как есть: он *раскаивается* и так откровенно выражает свое раскаяние, что мне его даже немножко жаль, хотя *вообще* я в таких случаях безжалостен. Этого Рюффлина можно изо дня в день видеть в одном довольно многолюдном кафе, где он сидит и читает либо передовицу в «*Рейнше меркур*», одобрительно и ритмично кивая головой в знак, так сказать, полного своего согласия, причем из кармана пиджака у него торчит ФАЦ\*, либо он читает передовицу ФАЦ, точно так же кивая головой, а «*Рейнше меркур*» торчит у него из кармана. Между тем ему удастся— сначала он делал это под псевдонимом— время от времени помещать обзоры в одной газете, не внушающей никаких подозрений, и если даже псевдоним, какой он себе избрал— Супертье, говорит в его пользу, то содержание его обзоров— тем более. Так что давайте выпустим Рюффлина— Супертье из-под строгого надзора. Прочитайте «Колонки обозревателя», подписанные Супертье, и вы со мной согласитесь.

Совершенно по-другому обстоит дело с тем парнем, которого мы с вами в свое время, когда он произвел некоторый переполох на берлинской и дортмундской анархической сцене, прозвали за его испанистую внешность Мендосой. Здесь он фигурирует под шуточным (или кодовым?) именем, которое взял себе сам, хотя уверяет, что им наградили его другие. Его называют Краснозобиком, но в результате моих трудоемких (как вы можете себе представить) розысков выяснилось, что это прозвище пустил в оборот он сам: на двух-трех сборищах как бы невзначай заметил: «Такая-сякая шпрингеровская свинья на днях обозвала меня Краснозобиком», или «Такой-сякой реакционный тип из

ОХДС\* вчера обозвал меня Краснозобиком». Таким образом он ловко подбросил окружающим свое прозвище. Думаю, что к этому Мендосе — Краснозобику мне надо будет присмотреться поближе. К счастью, полученное радиозадание даст мне возможность прямо обратиться к нему, не внушая никаких подозрений: теперь он называет себя «артистом-боевиком», его специальность — «воспламеняющее искусство», или искусство зажигания. Поскольку эстрада здесь представлена слабо, можно сказать, почти никак, то ему за два месяца удалось создать себе положение, которое можно было бы обозначить словом «вездесущий». Беспардонность, с какой он, без всякой причины, а значит, демонстративно, носит в кармане, скажем, книжку издательства «Вагенбах»\*, да так, что она торчит оттуда ровно настолько, чтобы ее сразу можно было узнать, граничит с неприличием. После нескольких выступлений, которым нельзя отказать в известной привлекательности, он здесь так «вписался», что его приглашают даже на присмы Центрального комитета немецких католиков, и я недавно его там видел, на сей раз с торчащим из кармана экземпляром «*Дас да*»\*. Он болтал с нунцием Бафиле, пытаясь, как я уловил мимоходом, разъяснить ему мистические видения Екатерины Сиенской. Надо вам было видеть сухое, удивленное лицо прелата, хотя он еще и не казался шокированным. Несомненно одно: Краснозобик обнаружил некий дефицит искусства и сознательно обустроивается в этой просторной нише. Пропасть, отделяющая ХДС—ХСС и близкие к ним клерикальные круги от общеинтеллектуальной и артистической среды,— это вакуум, который может оказаться опасным! Опасность я здесь усматриваю нешуточную: объявился наконец молодой артист, успевший уже составить себе имя; «артист-боевик», даже открывающий литературные горизонты, и, хотя он ведет себя как откровенный анархист, на него клюют. Боюсь, что все это чревато бедой, ведь Краснозобику для его выступлений требуются ингредиенты, которые в таких изделиях, как хлопушки и прочие карнавальные и новогодние атрибуты, хоть и не вполне безопасны, но политически совершенно безобидны, однако при другой композиции и других амбициях становятся уже далеко не безобидными: черный порох, сера, сурьма, фосфор и т. п. Вам известно, что слово «фейерверк» достаточно многозначно, это огненные игры самого разного свойства, а Краснозобик играет с огнем в двух смыслах: его искусство заключается в огненных представлениях, а за кулисами у него тлест пламя анархии.

Хотя мне известно, что ни на сцене, ни за сценой службы безопасности не дремлют, я все же позволю себе серьезно предостеречь: за искусством этого «боевика», возможно, много чего кроется. Во всяком случае, спички имеются в свободной продаже,

и если с тысяч и тысяч спичек соскрести головки, образуется потенциальный взрывчатый материал, а это совсем не смешно. Мой совет: взять под контроль продажу спичек в розничной, в оптовой торговле, в супермаркетах. Не то чтобы заставить непременно отчитываться за их покупку или продавать по талонам, но здесь нужен глаз да глаз!

Я осторожно закинул обговоренную нами удочку: мой план основать «Комитет помощи жертвам классово-юстиции». Можно ли считать случайностью, что первым на нее клюнул Краснозобик, и к тому же общал мне поддержку некой группы, именующей себя «Красногузками»?

Рабочая лошадь

P.S. На сей раз «слизистая сумка» будет полна до краев.

Раб.л.

### 3. Красногузка I — Майордому

Весь материал лежит наготове в надежном месте, единственная трудность — печатник, которому нам пришлось щедро заплатить, обзавев его молчать. К счастью, это несобщительный, скупой на слова человек определенного сорта — ожесточившийся левый католик, не расставшийся с романтикой двадцатых годов. При необходимости тебе придется выставить его в качестве главного свидетеля. Он готов просидеть полгода, не больше, но я думаю, тебе удастся свести дело к четырем месяцам. В его случае можно даже зацепиться за параграф 51 — в свое время он полгода просидел в концлагере. Пожалуйста, сделай все, все возможное, чтобы материал не обнаружили до его использования.

«Викинг», в чей «Комитет помощи жертвам классово-юстиции» мы вступили, предложил мне «взрывчатые штуки». Еще не знаю, что он имеет в виду — взрывчатку, бомбы и т. п., или известный сорт забористого порноматериала, который до либерализации порносферы тоже называли «бомбами». Проверь-ка ты его. Я бы не хотела рисковать. Без всякого повода вдруг заговорил со мной об Орхусе, но ведь там сидит Дучке\*, а может быть, следующим будет Б 7. Похоже, что он радикал, значит, надо устроить ему провал. Я не знаю, насколько надежна датская служба безопасности, но ты все-таки справишься там у них.

Что касается другого, Краснозобика, то его приглашение на чашку кофе я приняла. Соответствует ли круг его чтения — Вальраф и проч. — его убеждениям или это маскировка (маскировка от кого?), я пока решить не могу. Кроме того, он не стесняясь показал мне довольно большой запас пиротехнических средств, заметив, что если кому-то вздумается ими «злоупотре-

бить», то их вполне хватит на то, чтобы «разнести» парламент. Новый Гай Фокс \*? Туалетная вода для волос у него из ГДР, все осветительные приборы тоже. Он довольно долго рассуждал о динамитчике из романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», при этом ужасно смшно скалился, уверяя, что он, мол, тоже динамитчик, артист-динамитчик.

Попозже, когда он показал мне свои запальники, запальные шнуры, запасы химикалий и батареи, то мне стало немножко не по себе. Его попытки за мной поухаживать я отмела самым вежливым образом. «Увильнула» от него, не слишком его обидев. Не вздумай ревновать. Нам и без того надо соблюдать осторожность. У меня создалось впечатление, что он что-то подозревает, — спросил напрямик о моих «личных отношениях с бундесвером» и как это сочетается с моей политической ангажированностью и т. д. Приглашение прийти на его ближайшее выступление в одном восточноазиатском посольстве я приняла.

Еще два сообщения: к «Комитету» самостоятельно примкнул ирландский Лифтерхолт, студент теологии. Кроме того, тут еще вертится один ирландец по фамилии Мак-Нальти. Происходит что-то имеющее отношение к сыру. Может, ничего опасного и нет, но лучше бы копнуть. По мне этот ирландец слишком уж психованный. Мак-Н. играет на гитаре, поет всякую душещипательную дребедень, а посреди песни то и дело выкрикивает — ни к селу ни к городу — «Cheese». Я это воспринимаю как лозунг, пароль, может, это пароль для контрабандного экспорта или импорта внутри ЕЭС? Разве Ирландия производит много сыра? В данном случае я ничего не *знаю*, а только *чую носом*, а тебе известно, что нюх меня редко подводит. Викинга и нашего глуповатого Краснозобика я считаю не вполне безобидными. Печатник мне совсем не по душе, так же как мрачный Лифтерхолт. Зато веселый Мак-Нальти в каждой своей песне каждый раз выкрикивает слово «сыр» как боевой клич и каждое свое выступление заканчивает такими двумя строчками:

I want to go to Parma  
I want to get some Cheese <sup>1</sup>.

Постарайся через НАТО в Лондоне и Белфасте и через ЕЭС в Дублине разузнать, что это за сыр из Пармы. Может, он имеет в виду пармезан, притом тертый?

Сделай так, чтобы нас арестовали только через шестнадцать часов после акции. Несколько недель нам с тобой, наверно, придется обходиться без ласк.

Красногузка I

---

<sup>1</sup> Хотел бы я поехать в Парму,  
Хотел бы я отведать сыра (англ.).

#### 4. Краснозобик — Краснокрылу

Тем временем вы уже, наверно, поняли, что воспользоваться телефоном «двухдонки» мне было крайне необходимо. Мое выступление в восточноазиатском посольстве оказалось под серьезной угрозой срыва, база для моих операций могла быть преждевременно разрушена — ничто здесь не действует так губительно, как подобный провал. Артист, не способный достать необходимый ему материал! А если этот материал у него конфискуют? Мерзкие трудности, с которыми я столкнулся при покупке большой партии спичек, абсурдно противоречат тому количеству черного пороха, который мне предлагает сама армия. После того что я, как всегда, наивно заказал у оптовых торговцев свои обычные 60 000 коробков, ко мне неожиданно нагрянули три представителя службы безопасности (мужского пола), которые пусть и не грубо, но весьма энергично обыскали мои жилые комнаты и ателье. Они забрали два номера журнала «*Конкрет*», три публикации издательства «Вагенбах», а также экземпляр «*Франкфуртер хефте*». После того как они с величайшим недоверием, чуть ли не с отвращением просмотрели «*Франкфуртер рундшау*», «*Шпигель*» и «*Зюддойче цайтунг*», у меня создалось впечатление, что и ФАЦ, особенно раздел фельстона, показалась им крайне подозрительной. Лишь случайно газеты «*Цайт*» у меня в доме не было.

Что же касается спичек, то мой деликатный намек на личное знакомство с министрами культов двух земель, управляемых ХДС, несколько мне не помог, а робкое упоминание о том, что и министр культов земли, управляемой ХСС, мне тоже не совсем чужд, они вообще пропустили мимо ушей. В конце концов я сослался на министерство иностранных дел, на серьезные дипломатические осложнения, могущие возникнуть, если они вздумают помешать выступлению артиста в восточноазиатском посольстве. Я долго беседовал с этими господами об искусстве и о спичках, и хотя имел возможность показать им кое-какие журналы по искусству со статьями обо мне, даже заметку в разделе культуры ФАЦ, все было тщетно. Смягчить их не удалось, а один и вовсе заявил, что искусство, зависящее от спичек, — это не искусство. Представьте себя на моем месте! И это за пять часов до выступления, за три часа до репетиции! Под конец я посоветовал им подумать, как на это будет реагировать иностранная пресса. Никакого впечатления! Что было бы, убеждал я их, если бы у художника отобрали краски, у писателя — карандаши! Или запретили бы продавать эти необходимые для искусства предметы! Что случилось бы тогда с искусством, не говоря уже о гарантированной конституцией свободой?

Можете вы себе представить, что я был уже почти готов себя раскрыть? Я этого не сделал. Впрочем, насколько небрежно искали у меня эти господа, несмотря на видимость усердия, вы можете судить по тому, что ими не были обнаружены три экземпляра «Дас да» и две книжки Гюнтера Вальрафа, а ведь они лежали у меня под подушкой!

Оставшись наконец один, я пошел в телефонную будку и в виде исключения вызвал «двухдонку». Кроме того, я позвонил в восточноазиатское посольство, тамошний культурный атташе меня успокоил, сославшись на экстерриториальность, на свободу искусства и на имеющийся у них значительный запас бесплодных спичек англо-ирландской фирмы «The Friendly Match»<sup>1</sup>. Тем временем сработала «двухдонка», и мое выступление — кстати, оно имело фантастический успех — было спасено.

Прошу вас теперь ничего, решительно ничего по этому поводу не предпринимать — это происшествие сослужило хорошую службу моей легенде и весьма удобряет мою здешнюю почву. К тому же оно дало мне повод для составления прилагаемого списка сочувствующих и не сочувствующих, которые объявились у меня в связи с этим происшествием, подходили ко мне и т. п. Вы удивитесь, узнав, кто и как высказался по этому поводу, и моя скромная информация, обогащенная вашими негласными сведениями, может оказаться весьма полезной для принятия постановления о радикальных элементах\*. Прежде всего обратите внимание на легкомысленную симпатию к либералам в Министерстве иностранных дел. Там никто не подозревает, насколько опасны спичечные головки на самом деле! Полное отсутствие сообразительности при чрезвычайных обстоятельствах.

Краснозобик

## 5. Рабочая лошадь — Зав. конюшней

Успех в экзотическом посольстве развязал ему язык. Уже на следующее утро он дал мне интервью. Спесиво, гордо, важно. Сказал также, что ввиду его растущей популярности он все-таки должен еще подумать, вступать ли ему в Комитет. Сначала он разыгрывал из себя антишовиниста, хвалил качество англо-ирландских, шведских, даже итальянских спичек (просил в разных посольствах оказать ему «деловую помощь» спичками) и заявил, что прискорбное вмешательство в его дела, необходимость коего он, безусловно, понимает, навело его на мысль пользоваться в будущем только заграничными спичками. Когда я его

---

<sup>1</sup> «Дружественная спичка» (англ.).

спросил, как обстоит дело с советскими спичками и спичками из ГДР, Венгрии и т. д., он довольно глупо усмехнулся и сказал, что намерен их испробовать и «принять в расчет».

Я забрасывал всевозможные удочки: не фашизм ли это уже, что это за страна, где ставят преграды искусству, не стоит ли мне рассказать об этом скандале по датскому радио. Он не клюнул, сослался, в полном соответствии с той псевдоректорской личиной, которую он на себя надел, на «пусть горькую, но осознанную необходимость». Гегель? Он не попался ни на какую приманку.

Потом мы долго и подробно беседовали о воздействии спичечной акции (которую он все же назвал «спичечной истерией») на торговлю продуктами питания, косметикой и аптекарскими товарами, на всякого рода мастерские, на изготовителей приспособлений для фейерверка и прочих забав и торговцев, розничных и оптовых, этими предметами. Ему уже было известно, что посольство Китайской Народной Республики заявило протест МИДу и уведомило, что будет изготавливать ракеты самостоятельно: древние китайские традиции никоим образом не могут быть нарушены, точно так же не может быть нарушено и соблюдение этих традиций. Кроме того, поступило — это он тоже знал — заявление от обиженных офицеров запаса, которые собирались в своем союзе отметить какой-то юбилей (а может, производство своего председателя в генералы запаса?) и устроить по этому случаю фейерверк. Заверения в документально подтвержденных патриотических убеждениях и в прямо-таки безупречном политическом прошлом, настоящем и будущем их председателя ни к чему не привели. Даже вмешательство председателя ХДС было оставлено без внимания. Нет уж! Порох есть порох, и кто знает, не придет ли в голову какому-нибудь чокнутому майору (а такие есть!) шальная мысль. Жаль, конечно, потому что этот союз сам по себе достоин поощрения, но на данном этапе исключения могут вызвать недовольство. Искусству же ставят палки в колеса, а милитаристам полная свобода!

Лишь позднее, когда мы с ним все-таки коснулись актуальных вопросов, зашла речь о его взглядах на искусство. Его ателье, расположенное, кстати, на заднем дворе бывшей фабрики, выглядит отнюдь не по-спартански, а наоборот, очень даже уютно. Стены оклеены старыми планами выступлений дортмундского и берлинского периодов его жизни, основная тема — «поставить свечи», зажечь огни, зажигательные мысли, революция с небес. При этом аргументирует он очень ловко: у всех религий, говорит он, в обычае «возжигать» свечи или огоньки. Праздник св. Люции, Jul<sup>1</sup>, солнцестояние, рождественская сл-

---

<sup>1</sup> Рождество (шведск.).

ка, свечи в церквах, алтари с приношениями по обету и т. д. Это одинаково распространено как на Востоке, так и на Западе. Потом он заговорил об «Интернационале огнезажигания». Зажигание должно затем продолжаться и передаваться дальше в форме «зажигательных мыслей». Вместо телефона надо проложить огнепроводный шнур. В этом принципе однозначно просматривается модель «запального шнура», которым он хочет «опоясать весь мир». Подземные зажигательные устройства, огнепроводы, зажигательные системы с дистанционным управлением, сплошь произведения искусства, «разросшиеся корни воспламенения и юмора». Должен признаться, что юмор этого господина, который за португальским портвейном, сигарками и под очень тихую ирландскую народную музыку проповедует революцию с небес, рассуждает об огнепроводных системах, кажется мне весьма кладбищенским. У него хватило смелости включить в свою зажигательную схему даже нефтеспровод, а «поскольку НАТО располагает целой системой разнообразных и широко разветвленных трубопроводов», то враждебное отношение к НАТО он считает прямо-таки реакционным.

Вы мне поверите, что я ушел от него с весьма смутным чувством. Слова, сказанные им на прощанье, я счел явной издевкой. Он проводил меня до дверей, предложил во всякое время давать мне дополнительную информацию о состоянии искусства в столице. А потом шепнул: «Сыр, тертый сыр, тертый. Вы же связаны со страной, где изготовление сыра имеет давнюю традицию!» Я не мог понять, к чему эти намеки, но спрашивать не стал — не хотел унижаться, так что прошу вас, разузнайте, что за всем этим кроется. Возле его ванной комнаты я, между прочим, обнаружил груды батареек разного напряжения. Разумеется, все это нужно ему для «произведений искусства». Существуют ведь художники, которые разбрызгивают краску из пистолета. Советую его взять.

Конечно, я и сам не слишком рад тому, как подействовало мое предостережение насчет спичек. Слух, что для покупки спичек вскоре надо будет иметь специальное разрешение, разнесся с ошеломляющей быстротой, их начали панически скупать, потом в магазинах вдруг стали припрятывать зажигалки, а когда под угрозой изъятия оказались еще и газовые баллончики для зажигалок (по ошибке, но пока выяснилось, что это ошибка, и принятые меры были отменены, ушли бесценные часы), люди стали гоняться за фитильными зажигалками, но разве фитили не так же опасны? Момснтально образовался черный рынок, отменились проявления истерии не только из-за нехватки спичек, скорее даже из-за связанной с ними опасности. Сделали несколько обысков, не у одного нашего приятеля. Теперь обстановка почти нормализовалась — с тех пор как соответствующие ин-



станции сообщили, что вовсе не *все* спички будут изъяты. Один из моих английских коллег тут же спроворил антинемецкую статью под названием «German Matchbox Revolution»<sup>1</sup>, где описал, как у известной в городе бельгийской журналистки, заядлой курильщицы, славящейся тем, что она терпеть не может зажигалки, сделался сердечный приступ. Представителям правительства было совсем не легко отвечать на вопросы по этому поводу; один корреспондент из Восточного блока (кстати, очень злобный) спросил, не пора ли уже обучить немецкий народ добывать огонь трением? Прозвучали слова «каменный век», даже «ледниковый период». Пошли разговоры о «произволе властей», о «чрезмерной осторожности». Но разве осторожность может быть чрезмерной?

Раб. лошадь

Р. С. Чтобы подытожить мои наблюдения за двумя другими лицами, сочувствующими радикалам: дама, которую мы условились называть Поцелуйчик (в свое время она подвезла в своей машине на вокзал дядю одной родственницы У. М., гостившего у ее соседа, хотя прекрасно *знала*, кто это!), ни малейшего раскаяния не выразит! Она отказывается от интервью, от заявлений, от какой бы то ни было информации, *хотя* ее муж — средний чиновник Министерства внутренних дел. Этот человек, когда с ним заговаривают о странном поведении его жены, только прикидывается смущенным. Никаких выводов он сам из этого сделать не желает. Сделает ли выводы МВД, для меня весьма сомнительно, особенно после того, как наша очаровательница, Поцелуйчик, недавно все-таки заявила, что означенный господин был очень обаятелен, к тому же он инвалид. Вот и все. Раскаяния — ни малейшего! Никаких последствий — и непоследовательное Министерство внутренних дел.

Случай 4-й. С Руффино, по-видимому, все ясно. Он отказался от своего прихода и был вынужден взять отпуск. У него тоже — никаких признаков понимания или раскаяния, наоборот: он говорит, что сделал бы это еще раз, и если детям когда-нибудь снова в жаркий летний день придется ждать машину (они ждали, как установлено, машину К I!) возле его дома (*как* они очутились возле его дома, выяснить так и не удалось), то он опять купит им мороженое, и уж теперь со взбитыми сливками и со всеми возможными «добавками». Когда его спросили, что он имеет в виду под «добавками», он ответил: «А сверху еще шоколадный соус!» Этому типу пришлось выехать из дома, так что теперь он в отпуске, к сожалению, «с полным содержанием» (лишить католического священника его материальной базы, по всей видимости,

<sup>1</sup> «Немецкая спичечная революция» (англ.).

почти невозможно!), и он подался в Майнц, где собирается «наконец получить степень доктора теологии». Я предлагаю поручить Обезьяне IV пасти Руффино. Он, похоже, не вполне равнодушен к женским чарам.

Р. л.

## 6. Красногузка I — Майордому

В истории с сыром нюх меня, как видно, не подвел! За это время выяснилось — из соответствующих английских публикаций это явствует тоже, — что тертый пармезан — важнейший ингредиент при изготовлении бомб определенного сорта, а Мак-Нальти постоянно вращается в определенных кругах. Что касается банка АПТ, то могу тебя успокоить. Правда, осторожности ради я порасспросила компетентных людей, где помещается этот суперлевый банк, но повсюду встречала недоумение, пока случайно (на вечеринке медиков) не выяснила, что банком АПТ называют действительно существующий Апткарско-врачебный банк в Кёльне. Нетрудно было также разузнать, что подразумевается под «M-Brothers»<sup>1</sup>: речь идет о депутатах бундестага Марксе и Мергесе (оба из ХДС), так что опасности никакой. Я, правда, не знаю, как у вас работает эротический отдел, но могла бы подсказать кое-что полезное: одна девчонка из расчетного отдела ФЛЕРОПЫ\* — к нам она пока не примкнула, но уже на подходе — на днях сказала, хихикая: «Если б мне можно было болтать!» А когда мы смножко на нее нажали, прибавила: «Вы не поверите, кто и кому посылает цветы, и куда! И не только мужчины женщинам!» У меня словно пелена спала с глаз. Если не удастся ее разговорить или добиться от нее толку за деньги (надо, чтобы для нее игра стоила свеч), то проще всего забраться к ним в бюро и сфотографировать копии счетов за цветы, где указаны отправитель, адресат, цена, вид цветов и т. д. Красногузка 4 готова взять это на себя. О Краснозобике и Викинге ничего особенно нового. Первый раздулся от важности, с тех пор как у него было что-то вроде домашнего обыска и успешное выступление в восточном посольстве — этого даже я не могу не признать. Викинг начинает теперь собирать деньги для своего Комитета.

Операция «Учительский стол» завершилась если и не полным, то значительным успехом. В нескольких окрестных деревнях и городках мы организовали вечерние дискуссии учителей и учащихся реальных училищ и гимназий. Тема — «Загнивание капитализма». Пока я вместе с Красногузкой 3 участвовала в дискуссии, Красногузки 2, 4 и 5 незаметно покинули зал и обща-

<sup>1</sup> Братья М. (англ.).

рили в классах учительские столы — те, что были не заперты. В целом в семи школах было обследовано 112 столов. Результат: 4 фотографии Розы Люксембург, довольно много пособий по Крестьянской войне, по 1848-му, 1918-му годам, брошюры из ГДР, соответствующие газеты. Плакаты и открытки Стэка\*. «Вагенбах», Вальраф, «Конкрет», «Дас да». Детали — фамилии, места находок, точная опись найденного, как обычно, в «слуховом рожке». Полагаю, что нашим преемникам стоит продолжить эти операции. Категорически не советую взламывать замки. Искушение было сильным, особенно при виде шкафов в учительских. К счастью, Красногузке 5, руководившему этой операцией, удалось соблюсти дисциплину. Писала второпях.

Поцелуйчик от твоей Красногузки

## **7. Запись в деле, сделанная Зав. конюшней**

(не дословно, а конспективно после звонка Фф из «Гнезда» по «красному» телефону и разговора о Рабочей лошади)

Рл арестован и допрошен. Фф имел возможность посетить его как духовник. Допрос Рл длился пять часов, пристрастный и малоприятный. Фф находит тревожным тот факт (я так же), что пароль «Краснохвост», по-видимому, ничего не говорит ни арестованному, ни тем, кто его допрашивает. Фф и Рл намскают на донос со стороны Кз. Репутация Рл подмочена и должна быть немедленно восстановлена (лучше всего с помощью МИД'а и Ведомства печати). Арест был произведен после их общего с Кз визита в «Гнездо». «Гнездо» обшарили тоже. Что Кз по нашему указанию был в тот же вечер арестован тоже, слабое утешение. Связь между гербицидом «Экс», сахарной пудрой и тертым пармезаном еще не выяснена. «Красный» телефон в келье Фф обнаружен не был. Необходимо выяснить также, какая служба ответственна за арест Рл. Каким образом можно всыпать этой службе за несобнаружение телефона, не лишаясь при этом незамесимого Кт. Фф считает вероятным, что в «Гнезде» ведется контр-контрразведка.

Фф обещал «плотно набитую слизистую сумку» с разнообразнейшим материалом о внутренних делах «Гнезда».

## **8. Краснозобик — Краснокрылу**

**(Записка из тюрьмы)**

Арест и строгий допрос мне нисколько не повредили, ни физически, ни психически, моей легенде — тоже. Такие происше-

ствия усиливают неразбериху, с обеих сторон. Ничего не предпринимать.

**(После освобождения — открытым текстом)**

Общая, что «двухдонка» будет полна до краев! Какое сочувствие выражал мне тюремный персонал в том соседнем городке! Единственный надежный человек — тюремный священник, гнувший свою линию последовательно и безжалостно. Никакой сентиментальности. Стоит взять его на учет как пригодного для использования. Он был кадровым офицером и политические дискуссии считал «просто антихристианскими». Спросил меня, почему я не уезжаю в ГДР. Очень хороший человек. Вечером, после того как меня освободили, я пошел в театр на постановку Клодса. Демонстративно надел черный костюм, побрился, вымыл голову и повязал белый галстук. Там я встретил одного влиятельного члена ЦК (не клерикала), который представил меня редактору «*Нойе бильдност*» и «*Вельт*», потом одному высокопоставленному функционеру ХДС, весьма остроумно сравнившего пиромансию с пироманией. Он говорил о баварских «поджигателях», всячески подчеркивая, что имеет в виду не Штрауса, а кое-какой опыт в делах страховых компаний против крестьян-поджигателей.

Об акции «Красногузок» и об их аресте мы узнали только позднее, около полуночи. После предпринятых мною ночных розысков в разных направлениях это скандальное происшествие представляется в следующем виде.

На рассвете «Красногузки» установили в городе, на всех местах, где образуются транспортные пробки (локализовано 10–12 таких перекрестков!) самодельные стенды, умело сработанные из фанеры и легкого металла, на которые они наклеили (примерно на уровне глаз водителя) сравнительно небольшие плакаты. Содержание плакатов:

1-я строка: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (красными буквами)

2-я строка: против преступных объединений в кельнской верхушке.

Строки 3—6 — явная фотокопия из Кельнской телефонной книги:

Федеральный союз Немецких промышленников.

Федеральный союз Немецких банков.

Федеральное объединение Немецких рабочих союзов.

Федеральный союз оптовых торговцев предметами личной гигиены.

Последняя строка (опять красными буквами): Просьба в эти учреждения *взрывчатку не подкладывать*.

Большинство водителей, проезжавших там в этот ранний час, явно не поняли, в чем дело, и приняли эти плакаты за обычные объявления о розыске. Только позднее, когда образовались

большие заторы и людям пришлось подолгу ждать, один депутат от ХСС, которому что-то показалось подозрительным, вышел из машины, прочитал текст, сигнализировал службе безопасности, и та необыкновенно оперативно вмешалась и убрала стенды. На беду, корреспондент одной иностранной газеты на другом оживленном перекрестке тоже внимательно прочитал плакат. К счастью, это был корреспондент не из Восточного блока, а испанец, лояльный роялист, который в свою очередь известил полицию. Казалось, все обошлось сравнительно благополучно, но вечером, около 19 часов, этот плакат был экстренной заказной почтой доставлен во все местные и иностранные корпункты. И уже в 20.30, когда я находился в театре, Красногузки были арестованы, а часом позже — и печатник, некий Цвейкамнер, личность которого еще выясняется.

Только часам к 22--23 это происшествие стало темой разговоров в пивных, барах, на вечеринках и спешно созванных совещаниях. У нас есть все основания отметить эту отчаянную акцию Красногузок как радостное событие: за одну эту ночь, переходя с вечеринки на вечеринку, без приглашения являясь то туда, то сюда, в холлах отелей, в квартирах, ресторанах я узнал больше, чем за предшествующие два месяца. Общий итог: устрашающий! Циничные комментарии, веселье, выражасмос в неприятно откровенной форме, и лишь совсем редко -- искреннее и глубокое возмущение. Даже один внештатный сотрудник еженедельника «*Вельт ам зоннтаг*» и один обозреватель, близкий к «*Рейнише меркур*», сочли эту историю «все же весьма забавной». В «двухдонке» вы найдете полный список лиц, чьи фамилии мне удалось узнать, с точным описанием их реакции. Из-за множества поездок на такси, спиртного, коробки шоколадных конфет, на которую мне пришлось потратиться, эта ночь, конечно, обошлась в копеечку, но дело того стоило. Я зафиксировал реакцию почти всей здешней прессы. После всего, что я узнал, я задаюсь вопросом, достаточно ли будет процитировать только словесные отклики людей, не следует ли приложить к ним еще и физиономическое доказательство (фильм или фото). Образ мыслей, подмеченный кое у кого, можно подтвердить только с помощью фото, поскольку многие реагируют молча и выдает их лишь выражение лица. Прошу принять к сведению это легко осуществимое предложение и обсудить его в соответствующей инстанции.

Единодушное возмущение царило только в церковных кругах. (Характерно, что среди кк., но не св.) (Должен сделать исключение для некоторых лиц в «Монастырчике»: они довольно таки однозначно проявляют себя как чл/кп. Все, все — фамилии, данные, детали, цитаты и т. д. — вы найдете в «двухдонке».)

Домой я пришел только к семи утра, принял ванну, переоделся и сразу опять отправился в город, чтобы уловить реакцию населения. Неприятный сюрприз: здесь тоже почти все только схибно улыбаются, возмущения не чувствуется, всюду подчеркивают: *так ведь кровопролития не было*. Эту оговорку надо хорошенько обдумать. Правда, ни местная, ни надргиональная пресса даже не упомянули о происшедшем, но одна бульварная газета не могла удержаться, чтобы целиком не перепечатать плакат: уже поползло словечко «студенческий розыгрыш», пущенное именно той газетой. Наверно, Совету по печати придется этим заняться.

Я побывал на рынках, в супермаркетах, втирался в похоронные процессии, посетил профсоюзное собрание кельнеров, несколько раз прокатился на пароме, раз, наверное, десять ездил на такси, смешивался с толпой приезжающих и отъезжающих на разных вокзалах, там и сям пил у стойки пиво, в закусовых — кофе, досиживал до обеденного перерыва на некоторых крупных предприятиях. Общий итог — отрицательный. Только те круги населения, что морально укреплены церковью, были действительно возмущены (но, чтобы не возникло недоразумения, *не* студенты теологии, я обеспечил себе доступ на лекции, семинары и в студенческие столовые). Либеральная, левoliberalная и левая (там, где она есть) часть населения явно веслилась или, по меньшей мере, выражала удовлетворение. Если обобщить высказывания, то они колеблются от «Хорошо, что им тоже разок досталось» до «Хорошенько их, этих господ!». Особенно меня беспокоит то, что в умонастроении профессиональных таксистов произошли явные перемены: я заметил у них куда больше веселья, чем возмущения, никто даже не заикнулся о смертной казни. Только одна таксистка сказала: «Это уж слишком». Но это не политически сознательное возмущение, а скорее в смысле: «Так не делают».

Я счел уместным тестировать также два массажных салона — дорогой и дешевый. Итог отрицательный. Конечно, Краснокрыл: расходы, расходы, расходы, но я думаю, что дело того стоило.

Краснозобик

## **9. Секретный отчет о координационном совещании трех представителей спецслужб перед инструктажем агентуры**

Не приходится отрицать, что в ходе акций двух информаторов и одной информационной группы имсли место кос-какис осечки. Следует, однако, отмстить, что ущерб от них незначите-

лен, дополнительных затрат не потребовалось и что осечки неизбежны, так как имеется в виду не информация о выявленных поступках, а *мировоззренческая разведка*, последняя же не может быть обеспечена «висением на хвосте». Возможный арест, строгий допрос предусмотрены характером работы и, таким образом, опасности не представляют, кроме того, надо подчеркнуть, что осечки даже в известной степени желательны:

1. Чтобы убедиться в абсолютной надежности информаторов.

2. Чтобы испытать их твердость, то есть обнаружить точку, где они готовы себя раскрыть.

3. Осечки необходимы для того, чтобы выявить недоработки в координации.

В рассматриваемых здесь случаях все участники выдержали тест на надежность и твердость. Прежде чем будет более подробно сообщено об отдельных успехах, следует еще раз настойчиво подчеркнуть разницу между информацией о выявленных поступках и мировоззренческой разведкой. При разведке мыслей определенные виды подстраховки намеренно исключаются.

Критика общественностью распоряжений, которые она ошибочно окрестила «спичечной истерией», решительно отклоняется, так как дальнейший успех оправдал эту акцию, неизбежно вызвавшую недовольство публики.

По указанию одной кассирши в супермаркете «Мондиаль», а затем и розничного торговца предметами для увеселений удалось тем временем арестовать студента теологии Николауса Лифтерхольта. В его комнате нашли значительное количество хлорида калия, черного пороха, раствора декстрина, фосфора, а также разрубленные монеты в один, два, пять и десять пфеннигов на общую сумму 18,80 марки. Лифтерхольт между прочим признался, что замышлял покушение на одного кардинала. Он собирался надеть себе на спину два специальных плоских рюкзака с особо взрывчатой смесью, содержащей разрубленные монеты, и во время своего рукоположения в сан (оно должно было состояться приблизительно через полгода) взорвать себя и дощепочтенного монсеньора кардинала. Неясен лишь мотив Лифтерхольта: он заявил, что его «вынудила вмешаться прогрессирующая прогрессивность» кардинала. А подобный мотив как прогрессивные, так и консервативные церковные круги, опрошенные порознь, находят «странным». То, что при аресте Лифтерхольта и необходимом осмотре всех студенческих комнат общежития там удалось основательно «проветрить», оказалось дополнительным эффектом пресловутой «спичечной истерии», который нельзя недооценивать. Список изъятых книг, журналов

и т. п. будет приложен позднее, как только закончится его составление. Но уже и сейчас можно считать доказанным, что студенты читали и Сартра.

Изъятие перед ежегодным приемом в ХДС полутора килограммов тертого пармезана тоже квалифицировали как проявление «истерии». Однако имеются доказательства, что радикальные элементы сумели обеспечить себе доступ на этот прием и что с помощью тертого сыра можно быстро изготовить самодельные бомбы. И если какой-то фермер-одиночка, состоявший на учете из-за своей «чрезмерной задумчивости», перестрелял у себя коров, потому что цепочка «коровы — молоко — сыр — тертый сыр» показалась ему угрожающей, то этот единственный экстремальный случай не должен сорвать уже намеченные мероприятия. То же относится к гербициду «Экс» и сахарной пудре: там, где *оба* эти вещества покупаются в больших количествах (свыше одного килограмма), бдительность должна быть неусыпной, а наблюдение за уровнем запасов — неукоснительным. Мы отдаем себе отчет в том, что подобные меры существенно вредят вошедшему ныне в моду садоводству и консервированию фруктов, но приходится сознательно идти на непопулярность. Употреблять на больших приемах тертый сыр решительно не рекомендуется.

Ввиду дела Лифтерхольта нам представляется бесспорным, что контроль за количеством покупаемых спичек должен оставаться в силе.

В итоге можно сделать вывод, что трехмесячная работа по разведке мировоззрений, проводившаяся двумя информаторами и одной информационной группой, благодаря достигнутым результатам оправдала себя сверх ожиданий и что немногие осечки можно считать пустячными.

В общей сложности проверкой мировоззрения охвачено и зафиксировано поименно 736 человек — журналистов, студентов, министерских чиновников, не в их публичных, а в частных высказываниях. Лица и группы лиц, подвергнутые проверке, но не зафиксированные поименно, составляют не одну тысячу. Как отдельные лица, зафиксированные поименно, так и анонимные группы разграничены со скрупулезной точностью. У всех проверяемых лиц и групп определялась прежде всего готовность к отклонению (на жаргоне — «компоненты размягчения»). Признаки: неоткл., откл., сверхоткл., супероткл. Подобным же образом устанавливалась и подверженность радикальным настроениям. Кроме того: круг чтения, склонности, куда предпочитает путешествовать (на данном этапе особенно важно: кто ездит в Португалию?). Как предварительный результат работы группы по определению круга чтения можно уже приложить



данные о сторонниках Сартра: из 736 человек, зафиксированных поименно

*знали* Сартра 204

из них *ценили* Сартра 78

*защищали* Сартра 3.

Эти детали только подтверждают важность проверки мировоззрения, приобретающей особый вес при оценке профессиональной перспективности человека. Возбуждается ходатайство об увеличении средств на мировоззренческие операции.

Кроме того, возбуждается ходатайство о выделении средств на физиономическую фиксацию мировоззрения. Давно известно, что отпечатки пальцев, цитаты, обычные методы дознания в определенных случаях, ситуациях должны быть дополнены доказательствами *по выражению* или *из выражения* лица. Это относится особенно к зрителям демонстраций, участникам дискуссий, которые никогда не берут слова, однако выражением лица выдают или проявляют свои убеждения, свои симпатии или антипатии. Как предварительное условие следует учитывать, что физиономические доказательства мировоззрения целесообразно использовать только в сочетании с точной характеристикой ситуации, с употребляемой в дискуссии фразеологией. Для обеспечения фиксации мировоззрения должно быть заготовлено достаточное количество фото- и киноматериалов, должны быть тщательно обучены опытные фотографы-портретисты и психологи, чтобы ими можно было располагать как физиономическими экспертами. Серия закрытых опытов вышеописанного характера под девизом «Свободно-демократические основы государства» была уже проделана над лицами из всех возрастных, профессиональных и социальных групп, чью реакцию на эти слова фиксировала скрытая камера. Научно обоснованная оценка этого эксперимента еще не представлена, однако можно заранее рассчитывать на ошеломляющий результат.

На тот случай, если возникнут непреодолимые финансовые трудности, предлагается вместе с Министерством науки и исследований и Министерством юстиции учредить научно-исследовательский институт под названием «Мировоззренческая физиономика».

Тройка

1975

# Что станется с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной части

Самюю, Саре и Борису

1

30 января 1933 года мне было от роду пятнадцать лет и шесть недель, а почти ровно четыре года спустя, 6 февраля 1937 года, в возрасте девятнадцати лет и семи недель, я получил так называемый аттестат зрелости. В этом документе две ошибки: во-первых, неверно указана дата моего рождения, а во-вторых, в графе «профессиональные склонности» вместо избранного мною «работника книжной торговли» директор почему-то вписал «книгоиздательская деятельность», а почему, я понятия не имею. Об этих неточности, хвала им и слава, позволяют мне с сомнением относиться и ко всем остальным свидетельствам моего аттестата, включая отметки. Обнаружил я их лишь два года спустя, впервые взяв аттестат в руки, дабы представить его в университет города Кёльна, где намеревался начать занятия с осеннего семестра 1939 года, тогда-то мне и бросилась в глаза неверно указанная дата моего рождения; мне в жизни не пришлось бы в голову хлопотать об устранении такой ошибки в столь важном официальном документе, поскольку она даст мне право до некоторой степени усомниться: вправду ли это я и моя ли «зрелость» официально удостоверена в этой бумаге. Может, это кто-то другой? Но тогда кто? Словом, играть с подобными мыслями приятно, к тому же они бросают тень сомнения на сам документ: вдруг он недействителен?

Есть и еще несколько оговорок, которые сразу надо взять на заметку: если тема «*Страдания* в школе» и впрямь входит в обязательную программу всякого немецкого автора, то мне придется очередной раз уличить себя в необязательности. То есть, разумеется, я тоже страдал (восклицание в скобках: «кто, стар или млад, не страдал на своем веку?!»), но не в школе. Со всей ответственностью утверждаю: этого я не допустил, это дело — как по-

том и кое-какие еще в моей жизни — я «взял в свои руки», так сказать, под контроль. Как — об этом речь впереди. Мучительным был переход из начальной школы в гимназию, но мне тогда было десять, и к интересующему нас периоду это не относится. В школе я иногда скучал, бывало, и злился — главным образом на учителя закона божьего (который, разумеется, со своей стороны злился на меня, подобные констатации — еще одна оговорка! — следует понимать «амбивалентно»), — но чтобы *страдать*? Нет. Еще одна оговорка: моя неспредолжимая (и по сей день непреодоленная) несприязнь к нацистам ничего общего не имела с Соппротивлением. Это они *противостояли* мне, были *противны* всем фибрам моего существа, осознанно и инстинктивно, эстетически и политически, я и по сей день не сумел обнаружить никаких увеселительных, а уж тем паче эстетических категорий, применимых к нацистам и их эпохе, потому меня и бросает в дрожь от некоторых фильмов и спектаклей. А в гитлерюгенд я просто *не мог* вступить и не вступил, вот и все.

Еще одна оговорка (а будет и еще одна!): вполне правомерные сомнения в собственной памяти, ведь все это было как-никак сорок восемь лет назад, а никаких заметок, никаких записей у меня не сохранилось. Все они сгорели или затерялись при пожаре в мансарде дома № 17 на улице Каролингерринг в Кёльне; нет у меня уверенности и по части синхронизации событий личной жизни с историческими фактами: так, к примеру, я готов был спорить на что угодно, что, когда по приказу Геринга, тогдашнего премьер-министра Пруссии, были обезглавлены семеро кёльнских коммунистов, шла осень 1934 года. Я проиграл бы пари: это случилось уже осенью тридцать третьего. Или еще: я уверен, что память меня не обманывает, когда вспоминаю, как однажды утром мой одноклассник, член СС (в ту пору еще в черной униформе), измотанный, но с азартным блеском в глазах, рассказывал мне, как они всю ночь «прочесывали» район Годесбергских вилл\*, ловили бывшего министра Тривенариуса. Слава богу — это не он, это я так подумал, — безуспешно, но, когда я на всякий случай решил свериться с энциклопедией, выяснилось, что Тривенариус эмигрировал уже в тридцать третьем, нам же в тридцать третьем только-только сравнялось шестнадцать, а в СС можно было вступить лишь с восемнадцати, следовательно, воспоминание раньше, чем к тридцать пятому году, никак нельзя отнести, — выходит, либо Тривенариус в 1935-м или 1936-м еще раз нелегально возвращался в великий рейх, либо в СС «клюнули» на какой-то непроверенный сигнал. За саму «историю» — эта странная смесь усталости и охотничьего блеска в глазах — я ручаюсь, а вот места ей не нахожу. И последняя оговорка, она же предостережение: да не пробудит название «Что станется с мальчиком?» ни ложных надежд, ни ложных

опасений. Отнюдь не всякому ребенку, чьи родные, знакомые и друзья задают ему и себе этот извечный укоризненно-жалостливый вопрос, непременно суждено стать писателем, хотя сам вопрос, подчеркиваю, когда бы он применительно ко мне ни ставился, был абсолютно правомерен и стоял со всей остротой и серьезностью, и я не уверен, что моя мама, будь она жива, и сейчас бы с тревогой не спросила: «ЧТО СТАНЕТСЯ С МАЛЬЧИКОМ?» Вероятно, вопрос этот вообще не лишен смысла, и иногда им стоит задаваться даже применительно к великовозрастным и процветающим государственным деятелям, отцам святой церкви, писателям и т. д.

## 2

С опаской ступаю я на коварную, путаную стезю хронологически связанного, «реалистического» повествования, — с опаской и недоверием к надежности любых автобиографических свидетельств, в том числе и собственных. За достоверность ситуаций, за настроение я готов поручиться, как и за сами факты, этими настроениями и ситуациями «окутанными», — а вот за синхронность, согласованность во времени, столкнувшись с рядом легко проверяемых исторических фактов, поручиться не могу: смотри два примера выше.

Я просто не помню, состоял ли я еще в январе тридцать третьего членом юношеской марианской общины\* или уже нет; к тому же, если я скажу, что при нацистах «четыре года ходил в школу», это будет не вполне точно. Все битых четыре года в школу я, конечно, не ходил, были ведь если и не бессчетные, то и никем не подсчитанные дни, когда я — помимо капикул, праздников и болезней, которые так и так надо вычесть, — ходил отнюдь не в школу. Я любил если не лесную — так я сказать не могу, лесов и даже кустарников в старой части Кёльна не было и нет, так что скажем иначе: я любил уличную школу. Улицы между Охотничьим рынком и Собором, закоулки в районе Сенного и Нового рынков, все переулки и тупики по правую и левую сторону Высокой улицы, если идти к Собору, — я любил просто так слоняться по городу, иной раз даже не беря с собой для приличия ранец, который оставлял в прихожей на вешалке, засунув его на галошницу под полы плащей и пальто. Задолго до того, как я прочел пьесу Ануйя «Пассажир без багажа»\*, я уже был таковым пассажиром, это и сейчас моя самая заветная (увы, несуществующая, несбывшаяся) мечта. Руки в брюки, глаза нараспашку, и в путь: уличные торговцы, старьевщики, рынки, церкви, также и музеи (да, я любил музеи, я вообще был жаден до знаний, но не до зубрежки), шлюхи (обминуть которых в Кёльне, пожалуй, было невозможно на любом маршруте), кошки и соба-

ки, монашенки и священники, монахи, — и, конечно, Рейн, Рейн, мой великий мутно-серый Рейн, вечно живой и оживленный, возле которого я мог просиживать часами; иногда, впрочем, и в кино, в сладостно-запретном полумраке утреннего сеанса, когда в зале только несколько прогульчиков и безработных. Мама многое знала, еще кое о чем догадывалась, но не обо всем. Если верить нашим семейным легендам — которым, как и всяким семейным легендам, следует внимать с известной осторожностью, — то в последние три из четырех школьных годков я и половины дней в школе не был. Да, конечно, это было мое школьное времечко, но я не все время был в школе, так что, раз уже я берусь описывать эти четыре года, следует учесть, что эта история — *всего лишь* история по принципу «*тоже было*», ибо в школу я *тоже* ходил.

### 3

Сорок восемь лет — с 1981 по 1933-й — обратно, и четыре года — с 1933 по 1937-й — туда, от таких фортелей что-нибудь неизбежно потеряется. К тому же не обойтись и без списходительной улыбки, поглядывая с высоты своих шестидесяти трех лет на тогдашнего пятнадцатилетнего, который — с высоты своих пятнадцати — на тебя обернуться не может, и эта односторонняя оглядка, поскольку пятнадцатилетний возразить не в состоянии, еще один источник возможных и существенных ошибок.

Пятнадцатилетний 30 января 1933-го лежит с тяжелым гриппом в постели, он жертва эпидемии, роль которой при анализе захвата нацистами власти, на мой взгляд, учитывается недостаточно. Как-никак, общественная жизнь была частично парализована, многие школы и учреждения закрыты — по крайней мере в местном и региональном масштабе. Новость мне сообщил навестивший меня одноклассник. Радио у нас не было, период конструирования детекторных приемников в домашних условиях наступил несколько позже. Самую дешевую модель «народного приемника»\* мы приобрели скорее по воле, чем по необходимости, уже перед самой войной. Жили мы после очередного, по прошествии двух лет, переезда на улице Матернуса, 32, окнами на безрадостную заднюю стену тогдашней машиностроительной школы, но все же не очень далеко от Рейна, а из окна-эркера можно было видеть и три фронтона красивого, под готику, складского здания торговой фирмы «Ренус», которое служило постоянной темой моих акварелей. Сразу за углом парк Римлян, неподалеку и парк Гинденбурга, где моя мать в погожие дни могла погреться на солнышке среди безработных и пенсионеров-досрочников.

Я лежал в постели и читал, по-мосму, Джэка Лондона

в издании «Народной библиотеки», одолженном у кого-то из наших приятелей; впрочем, не исключено, что я — о, взъерошенные, вставшие дыбом волосы литературных гурманов, как хотел бы я вас пригладить! — *одновременно* читал и Тракля \*. Необъятных размеров кафельная печь в так называемой «эркерной» в порядке исключения топилась, и я с помощью самодельных, очень длинных бумажных трубочек добывал из ее жарких недр огонь для своих (запрещенных) сигарет. Комментарий моей матери по случаю провозглашения Гитлера рейхсканцлером: «Это война». Впрочем, возможно, он звучал и так: «Гитлер — это война».

Провозглашение Гитлера не было неожиданностью. После того как Гинденбург «подло предал» Брюнинга \* (так это называл мой отец), после Папсена \* и Шлейхера \* от Гинденбурга можно было ожидать всего, а пресловутая (и по сей день до конца не проясненная) история, которая в свое время именовалась «скандальной восточной помощью» и о которой не смогла умолчать даже наша, обычно крайне сдержанная «Кёльнише фольксцайтунг», лишила этого «почтено-дряхлого маршала» последних остатков авторитета — не политического, а скорее того морального авторитета, который еще готовы были ему приписывать со ссылкой на его «прусскую порядочность».

Мать ненавидела Гитлера с самого начала (до его конца она, к сожалению, не дожила), звала его «свекольной башкой», намская на факелы из сахарной свеклы, какие вырезают к дню святого Мартина в виде аляповатой рожицы и таскают, держа за «бороду». Гитлер — это было по ту сторону добра и зла, а его многоголосный наместник в Кёльне, небезызвестный господин доктор Роберт Лей \* (подумать только: позднее этот тип распоряжался судьбами всего трудового люда) не слишком способствовал тому, чтобы придвинуть Гитлера и нацистов поближе к этой стороне добра и зла; нацисты — это была безликая орущая масса, скопище ничтожеств, настолько лишенная всего человеческого, что ее даже «быдлом» назвать нельзя. Нацисты — это «даже не быдло». Военный «тезис» моей матери встретил пылкие возражения: дескать, «этот» так долго не продержится, он просто не успеет развязать войну. (Он продержался, в чем куда как наглядно убедился весь мир, достаточно долго.)

Не помню, сколько еще я провалялся в постели. Эпидемия гриппа обеспечила скромный прирост винным лавочкам, особый спрос был на дешевый ром, из которого варили грог, суливший якобы исцеление или, на худой конец, облегчение. Мы тоже в скромных количествах покупали этот ром в лавочке на углу Боннской и Дармштадтской, фамилия владельца, если не ошибаюсь, была Фольк, его огненно-рыжеволосый сын учился в нашей школе. Не помню точно, пришелся ли поджог рейхстага, «скоропалительность» которого всеми была замечена, на время

болезни или уже на школу, если вообще не на каникулы (ведь где-то еще должен был уместиться и карнавал\*!). Во всяком случае, перед мартовскими выборами я уже снова вошел в школьную колсию, и лишь после этих выборов, — мало кто помнит, что нацисты еле-еле наскребли на них большинство, да и то в коалиции с национал-немцами\*, — в апреле, мас стали появляться первые блузы юнгфолька\* и гитлерюгенда, а в старших классах изредка одна-другая униформа СА\*. Было проведено — не помню точно, когда — сожжение книг, акция не только гнусная, но и жалкая; разумеется, нацистский флаг был поднят, но не помню, чтобы кто-нибудь держал речь, предавая анафеме книгу за книгой, выкрикивая имена авторов, бросая глгтворные сочинения в огонь; по-мосму, книги — маленькая кучка — были сложены заранее, и с тех пор я знаю: книги горят плохо. Видимо, в суматохе их позабыли облить бензином. К тому же трудно представить, чтобы в библиотеке нашей гимназии — которая хоть и называлась Государственной гимназией имени кайзера Вильгельма, но по духу была заведением сугубо католическим, — чтобы в скромной школьной библиотеке нашлось так уж много «декадентской» литературы. Большинство учеников было из мелкобуржуазной, обывательской среды — с редкими «отклонениями» вверх или вниз, не исключено, что кое-кому из учителей пришлось пожертвовать Ремарком или Тухольским из личной библиотеки, дабы обеспечить топливо для костра. По крайней мере в нашей школьной программе таковых авторов не числилось, а на фоне очевидного и вопиющего, осязаемого варварства в период между 30 января и поджогом рейхстага, а затем, с удвоенной силой, между поджогом рейхстага и мартовскими выборами, этот акт *символического* варварства, видимо, особо сильного впечатления не произвел.

Зато отнюдь не символические чистки были на виду и на слуху, были ощутимы: исчезали социал-демократы (Зольман\*, Герлингер и другие), центристы, коммунисты само собой, и ни для кого не было тайной, что в казематах вокруг кельнского Восного кольца силами СА сооружаются концлагеря: вошли в обиход словечки «охранный арест» и «при попытке к бегству», это коснулось и кое-кого из наших друзей, отцовских знакомых, некоторые потом возвращались — с печатью *каменной немоты* на устах; брала оторопь, расплозлся страх, а орды нацистов, кроважадные и свирепые, позаботились о том, чтобы слово «террор» не оставалось только достоянием слухов. Район по правую и левую стороны от улицы Св. Северина, через который пролегал мой путь в школу (Альтсбургская и Сильванская улицы, сама улица Св. Северина, Перленграбен), отнюдь не пользовался славой «национально благонадежного». В иные дни, после поджога рейхстага, район бывал полностью или частично оцеплен;

наименее «благонадежные» улицы находились справа от улицы Св. Северина; чей это женский крик доносился из переулка Ахтергесхен, мужской — с Ландсбергской улицы или с Розенштрассе? Как знать, быть может, жизни мы учились не в школе, а по дороге в школу? Ведь это не в школе, а там явно кого-то избивали, тащили из парадных во двор. После поджога рейхстага и мартовских выборов стало потише, но до полной тишины было еще далеко. Все-таки после ноябрьских выборов 1932 года даже в незыблсмо католическом Кёльне КПП оказалась второй по влиятельности партией (Центр — 27,3%, КПП — 24,5, нацисты — 20,5, СДПГ — 17,5%). Соотношение почти такое же, как сегодня в Италии (Кёльн всегда был и остается вопреки своей дурной славе и всем «темным людям» городом прогрессивным\*). В марте же у нацистов было 33,3%, у центра все еще 25,6%, а у КПП и СДПГ, несмотря на чистки и террор, 18,1 и 14,9%, — «неблагонадежная местность» еще отнюдь не была «очищена», работы у СА оставалось достаточно. (О Кёльне еще много можно было бы сказать, но, на мой взгляд, после юбилея Собора, визита папы и празднеств в музее Людвига Кёльн выслушал о себе достаточно, а кроме того — Рейн ведь пока что течет, никуда не делся.)

Где-то в эту пору отец школьной подружки моей старшей сестры, спокойный и солидный полицейский с центристской прокладкой, досрочно вышел в отставку, потому что не мог больше видеть у себя в отделении «полотенца в крови». «Полотенца в крови», — это тоже отнюдь не символическая примета времени, между ними и криками, что я слышал на улице — Ландсбергской и Розенштрассе, в переулке Ахтергесхен — была прямая связь.

Читателю (и редактору), думаю, понемногу становится ясно, что эта история в том, что касается школы, *всего лишь* история по принципу «тоже было», что, хотя речь в ней идет о школьном времечке, подразумевается отнюдь не только время, проведенное мною в школе. В эти четыре школьных года школа была, конечно, делом не второстепенным, но и не главным.

Чистки совсем иного рода существенно изменили мой привычный школьный маршрут: я имею в виду развернувшуюся борьбу с торговцами контрабандных сигарет, которые поджидали клиентуру на углах и в подъездах, шепотом предлагая свой «голландский товар»; самая дешевая сигарета, какую можно было приобрести в официальной продаже, стоила худо-бедно 2,5 пфеннига, это было жалкое, выморочное подобие сигареты, почти на треть тоньше и «жиже», чем «юнона» или «экштайн», которые стоили по 3,3 пфеннига за штуку, а «голландский товар» — светлый табак, сигареты плотные, упитанные, почти на треть толще, чем «экштайн», предлагался по цене от 1 до 1,5



пфеннига. Разница очень даже соблазнительная, особенно в ту пору, ведь еще была памятна да и ощущалась во всем пресловутая брюнингская «экономия»\* с ее грошовым жульничеством в ценах, так что мой брат Алоиз иной раз давал мне денег и поручал раздобыть для него запретный голландский товар. Тут требовалась особая повадка, от Розенштрассе до Перленграбена, главное место — где-то в районе перекрестка с Ландсбергской, оттуда — неприметная постороннему глазу цепочка торговцев до переулка Совиный Сад, где, совсем рядом с нашей школой (на улице Генриха), находилась штаб-квартира контрабандистов, надо было действовать внимательно и осмотрительно, производя впечатление человека «ищущего» и в то же время надежного, что, очевидно, мне удавалось; эта ранняя тренировка, или «школа» (которую можно было приобрести отнюдь не в школе, а лишь по дороге в школу), эта выучка, эта наука несколько позже верой и правдой служила мне на многих черных рынках Европы. (О том, что мировоззрение и стиль жизни кельнцев отнюдь не в ладах с легальностью, мне, помнится, однажды уже доводилось писать.) В целостности и сохранности я доставлял голландский товар домой и получал за труды свою долю благоуханных сигарет; один раз, правда, меня надули: в новехонькой, с голландскими бандерольками пачке вместо двадцати пяти сигарет оказалось почему-то примерно двадцать пять граммов картофельных очисток, — для меня и по сей день остается загадкой, почему были выбраны именно картофельные очистки, а не, скажем, опилки или древесная стружка; они были тщательно взвешены, равномерно распределены по всей пачке и даже завернуты в фольгу. (Пренебрежение к печатям, пломбам, бандеролькам, которые в своем роде тоже печати, передалось мне еще от мамы и после войны причинило мне уйму бед, когда я, ничтоже сумняшеся, распломбирывал и «подкручивал» электросчетчик, в чем, к сожалению, часто бывал изобличен. Печати судебного исполнителя, само собой, срывались по мере появления, чем скорей, тем лучше.) Брат потребовал от меня впредь проверять товар, не отходя от кассы, но пока я ломал голову, как это делать, — ведь купля-продажа совершалась мгновенно — контрабандистская «малина» накрылась. Весь район — Совиный Сад и Шнуровая — был взят в кольцо самой настоящей осады, как минимум один броневик я помню точно, и в конце концов полиция и таможенники — хорошо хоть без пальбы — выкурили всю контрабандистскую сеть. Поговаривали о каких-то бессчетных миллионах конфискованных сигарет и многочисленных арестах.

Да-да, школа, я помню, дойдет и до нее; но пока я еще в девятом классе, ходить в школу стало совсем скучно, к тому же я почему-то начал сутулиться. Отец учредил для меня премию: надо было перечислить двадцать пять магазинных вывесок от церкви св. Северина до Перленграбена, я снова поднял голову и заработал премию. Поднимал я голову и для того, чтобы возле бывшего дома профсоюзов, чуть не доходя до Перленграбена, почитать в витрине газету «Штюрмер»\*. Это чтение отнюдь не укрепляло во мне симпатии к нацистам. (Сегодня, в наши дни, там, увы, запустение, об этом позаботились война и автомагистраль «Север — Юг», а ведь именно на этом пяточке перед баптистским храмом св. Иоанна когда-то кипела жизнь.)

Итак, с материнского благословения — не всегда испрошенного *до*, но неизменно даваемого *после* — я частенько посещал уличную школу. (Мама — я как-то писал об этом — и так содержала вокруг своей кофейной мельницы свособразный подпольный кружок прогульщиков, правда, *не* для домашних.) Но если я и пристрастился к «занятиям» в уличной школе, то не потому, что наша школа была нацистской или, скажем, заражена нацизмом, чего не было, того не было, о большинстве учителей я вспоминаю без тени гнева, даже учитель закона божьего не вызывал у меня гнева, хоть я и спорил с ним до хрипоты (а подчас и до выдворения из класса), но объектом спора были вовсе не нацисты, этой предрасположенности за ним не водилось (напротив, я помню его отличный доклад о сентиментальной и коммерческой подоплке Дня матери\*) — нет, меня бесила бюргерская (читай: ярко выраженная буржуазная) направленность проповедусмого им учения, неосознанно я бунтовал именно против нее, а он никак не мог взять в толк, отчего я так выхожу из себя, и скорее удивлялся, чем сердился. Причина моего бунта была сопряжена с абсолютной неопределенностью общественного положения нашей семьи в ту пору: к какому — бесклассовому или деклассированному — существованию скатились мы под ударами экономических потрясений? Я до сих пор затрудняюсь с ответом: мы не были ни настоящими мелкими буржуа, ни сознательными пролетариями, зато жили с сильным налетом аристократической богемы; слово «бюргерский» было у нас одним из излюбленных ругательств, а элементы всех трех социальных классов, ни к одному из которых мы не принадлежали толком, сделали для нас так называемое «бюргерское» (читай «буржуазное», мы понимали это так) христианство абсолютно неприемлемым. Он, учитель закона божьего, вероятно, просто не мог понять, в чем тут дело, а я, видимо, не умел как следует объяснить. (Вот-вот, сразу видно: у этого Бёлля всегда

были неприятности с церковью и с государством, да и у них с ним. И еще: он бы, наверно, никогда не был настоящим кельнцем, если бы относился к мирским и церковным авторитетам слишком всерьез, а тем паче с подобострастием.)

Так просто деклассированные или люмпены? Не берусь ответить. А другие предметы, помимо религии? Не помню точно, это шло как-то само собой, я уже тогда начал потихоньку аранжировать школьные занятия по своему вкусу, ну а потом снова зауважал нашего религиозного наставника, который, хоть и буржуа до мозга костей, все-таки не заключил альянса с нацистами, и из уважения к его уму снова стал иногда ходить к школьной мессе во Францисканскую церковь, что в переулке Ульриха, варьируя таким образом привычный маршрут по Розенштрассе; сама церковь была мне — другого слова не подберу — отвратительна: аляповатая пошлость и самый дух публики, для которого, пожалуй, подходит только одно слово — вдохновенная вонь. Ходил я туда лишь от случая к случаю, скорее демонстративно, но отчасти и ради того, чтобы хоть как-то утешить учителя закона божьего, к которому вовсе не питал ненависти — просто иногда у нас с ним возникали бурные разногласия; он был гипертоник, а некоторые ребята из гитлерюгенда и новоявленные выскочки из юнгфолька не отказали себе в удовольствии противопоставить ему не себя — это они могли и до 1933 года — но свою униформу, свой потенциальный ранг (были у них там всякие нашивки!); тут он был совершенно беспомощен, терялся, не мог понять, что в этом-то и проявляется «буржуазный элемент», оборачиваясь теперь против него, что эти мальчишки, прежде, до 1933 года, такие примерные католические паиньки, учуяли «новое время» и уже норовили им попользоваться. Впрочем, «доводили» его недолго и вскоре оставили в покос, а через каких-нибудь три года нам пришлось с ним проститься, и прощание это было ужасным, но совсем по иным причинам. Меня он, несмотря ни на что, все же считал католиком, хотя и не паинькой. Но как раз в ту пору я стал сомневаться в своей «католичности», и сомнения эти усугубил новый страшный удар: подписание затеянного папой и Каасом\* конкордата о рейхе. После захвата власти, поджога рейхстага, мартовских выборов именно Ватикан удостоил нацистов первым кивком международного признания. Часть нашей семьи — и я в том числе — всерьез помышляла выйти из церкви, но как раз в ту пору подобный шаг стал модным среди «падших в марте»<sup>1</sup>, следовательно, мог быть истолкован как проявление лояльности, — и мы остались. Это повлекло за собой не один кризис, экзистенциальный и политический, и все же в эту кризисную пору я, гордецом выставив

<sup>1</sup> Так называли многих и многих немцев, кто после мартовских выборов 1933 года устремился в нацистскую партию. — *Прим. автора.*

грудь, шел в рядах религиозной процессии с огромным знаменем в руках (белое, с огромными голубыми буквами РХ<sup>1</sup>), принимая насмешки зевак (отнюдь не всех, скорее немногих) как почести; не помню, что это была за процессия, к какому религиозному формированию я тогда принадлежал, помню только чувство распирающей гордости, зная и особо организованное скопление негодующих крикунов на одной из улиц. Возможно, я все еще состоял тогда в марианской общине, в делах которой участвовал одно время с энтузиазмом (воскресные экскурсии и походы «прочь из унылых городов», любительские спектакли, кукольный театр, о, Бергские холмы и долины, о, Имскеппель, о, еще мирный в ту пору Ванский лес, мирные привалы с ночным пеньем у походного костра!) — из общины я вышел, когда там начали вводить строгую подготовку вплоть до массовых «захождений плечом» чуть ли не поротно. В разгар этой кризисной поры я получил в приходе церкви св. Матернуса место разносчика газеты «Юнге фронт», последнего, вскоре храбро пошедшего ко дну еженедельника католической молодежи; завербовали меня на это место за чашкой эрзац-кофе со сlossenным пирожным в саду больницы Винцентинок, в летнем кафе, и работа оказалась неожиданным денежным подспорьем: медяки, вырученные от продажи газеты, полагалось сдавать лишь неделю спустя, так что с их помощью нам не раз удавалось перебиться с субботы до понедельника.

Был и такой, почти официально выброшенный церковниками лозунг: вступать в нацистские организации, дабы «христианизировать их изнутри», — не вполне, впрочем, вразумительный, поскольку и по сей день никто толком не знает, в чем, собственно, заключалась эта христианизация. Кое-кто — наш директор, по-моему, тоже — последовал этому лозунгу, а после войны, во время денацификации, многие так и не сумели отмыться.

Что до меня, то я, хотя давно уже не был охвачен организованными формами, долго еще демонстративно носил на лацкане значок «РХ», из-за чего несколько раз подвергался публичным нападкам со стороны одного из старшекласников, который — это, впрочем, не редкость — незадолго до этого с особым рвением участвовал в движении католической молодежи. Пожалуй, других неприятностей у меня в школе не было. Одноклассники из «тех» меня не трогали, знали меня уже лет пять-шесть, я их не меньше, споры, конечно, были, но попыток обращения — нет, не было, кое-кому из них, конечно, не слишком нравились иные мои фривольные высказывания о Гитлере и других нацистских вождях, но ни одному из них, даже тому, кто состоял в СС, и в голову не пришло на меня донести. Ярости я не испытывал, и

---

<sup>1</sup> Аббревиатура лат. «Рах» — мир.

к учителям тоже. Нам тогда еще казалось, что нацисты долго не продержатся, мы даже посмеивались в предвкушении новых оппортунистических экивоков, на которые придется пуститься «бюргерам», *если* власть переменится, но *кто* может прийти к власти — на этот счет у нас не было никаких прогнозов. Я и после выпускных экзаменов продолжал дружить с некоторыми из моих одноклассников (эсэсовца я, правда, избегал, по моему, за все три года вплоть до экзаменов я не обмолвился с ним и парой слов). Мы часто собирались вместе делать уроки, с рвением новообращенного я пытался кое-кого из них избавить от своеобразной, сугубо немецкой математической травмы, поскольку незадолго до этого меня самого излечил от нее мой брат Альфред: педантично и упорно он обследовал мою математическую «базу», открывая все новые и новые «дыры», сверлил, ставил пломбы, «наводил ажур». Это повлекло за собой вспышку такого математического энтузиазма, что мы неделями бились над трисекцией угла и иногда, как нам казалось, были настолько близки к открытию, что уже только шепотом бормотали что-то невнятное. В соседней комнате жил квартирант, дипломированный инженер, компетентному суду которого мы намеревались вверить наше открытие.

Да, я просиживал с ними часами, зубрил математику и латынь (еще один травматический для немцев предмет, который, по счастью, давался мне без всяких травм). Иногда по вечерам мы собирались в конторе моего отца на заднем дворе дома № 28 по Фондельской. Денег у всех было в обрез, а сигареты и табак стоили недешево, поэтому мы покупали самые дешевые сигары (по 5 пфеннигов за штуку), разрезали их бритвой и сами скручивали сигареты. (Сегодня я уверен, что это был чистейший финансовый самообман.) Отцовская контора манила уютom, она помещалась в убогом строении, нечто среднее между рубленой хижиной и бараком, все из дерева, а внутри солидно сработанные шкафы с раздвижными дверцами зеленого стекла, где хранилась фурнитура, эскизы и чертежи всевозможных неоготических башенок, колонн, цветочных орнаментов, фигурок святых; наброски кафедр и исповедален, алтарей и церковных скамеек, мебели, был тут и старый копировальный пресс еще довоенных времен, и в картонных коробках все еще оставались лампочки со штыревыми патронами, хотя мы сотнями били их в саду на Кройцнахской улице. Конторские лампы с зелеными абажурами, огромный стол, покрытый зеленым линолеумом, плитки столярного клея, инструменты (что касается клея, то тут конфликт поколений между моим отцом и моим братом Алоизом сконцентрировался на отношении к «варварски-революционному» изобретению холодного клея, который отец ни во что не ставил, а брат, напротив, ставил очень высоко, то и дело демонстрируя

его надежность; отец тем не менее доверял только горячему клею, собственноручно — при непрерывном и тщательном помешивании — сваренному из гладких плиток желто-медового цвета; конфликтов другого свойства тоже было достаточно, но сейчас речь не о них).

5

Да-да, школа тоже, но сперва в том жутком 1933-м, после захвата власти, поджога рейхстага, террора, мартовских выборов, после тяжкого удара, нанесенного конкордатом, произошло еще одно событие, заставившее содрогнуться даже кельнских буржуа: в июле — конкордат был уже на мази, хотя еще и не подписан — в Кёльне прошел судебный процесс против семнадцати членов союза «Рот Фронт» по обвинению в двух предумышленных убийствах и попытке еще одного убийства; убиты были некто Винтерберг и Шпангенберг, недавние члены КПГ, переметнувшиеся к нацистам в СА. Но семнадцать убийц? В это никто не поверил; к тому же так никогда и не было объявлено, кто именно застрелил тех двоих; процесс начался в июле, а в сентябре семеро из семнадцати обвиняемых были приговорены к смертной казни и 3 ноября обезглавлены в тюрьме Клингельпютц. Все прошения о помиловании были отклонены. Никакой пощады. Геринг, премьер-министр Пруссии, опубликовал по этому случаю специальное заявление: «Имевшие место эксцессы побудили меня действовать без промедления и свершить возмездие железной рукой. Дабы всякий, кто впредь покусится на представителя национал-социалистского движения или на представителя государственной власти, знал, что в самом скором времени поплатится за это жизнью». Если это событие переместилось в моей памяти на год позже, на осень 1934-го, то, вероятно, это как-то связано с 30 июня 1934 года\*, этим последним кровавым рывком нацистов к безраздельному господству, день этот запечатлелся в моей памяти как переломный, а время, предшествовавшее 30 июня, видимо, казалось мне относительно «тихим». Сейчас, когда то и дело возобновляется жалкая и гнусная болтовня о «незаслуженном забвении» пиратов «Эдельвейса»\*, я частенько вспоминаю этих семерых молодых коммунистов.

И пусть память подвела меня по части даты, одно я помню точно: в день казни ужас простерся над Кёльном, ужас и страх — как у птиц перед грозой, когда они срываются с гнезд и мечутся в свинцовом небе; стало тихо, с каждым днем все тише; я уже не ронял фривольных замечаний о Гитлере, разве что дома, да и то не при всяком госте.

Один из казнённых, самый молодой из них, девятнадцатилетний парнишка, в камере смертника писал стихи; место их на-

писания, судьба автора выводят эти стихи далеко за пределы того, что принято обозначать снисходительным эпитетом «трогательные», и я не цитирую их, дабы не потревожить их смертельной серьезности: стихи эти, написанные бойцом «Рот Фронта», свидетельствуют об «итальянском духе» в сознании (тогдашних) кёльнских коммунистов; в одном из стихотворений он благодарит за свечи, которые ставят за него в церкви; признается, что присутствовал на месте преступления, но сам не убивал, а в конце благодарит друга, соратника по борьбе, за то, что тот молился вместе с ним ночью, и просит прочесть «Отче наш» над своей могилой.

По милости Геринга, чьи кайзеровски-солдафонские ухватки, по наблюдениям некоторых моих современников, якобы были забавны и даже в своем роде милы, по милости этого бандита, убийцы, этого кровавого фата я некоторое время спустя вместе с тысячами других кёльнских школьников стоял в цепочке на тротуаре: за несколько часов пребывания в Кёльне он умудрился три, если не все четыре раза, переодеть мундир, — удивляюсь, как это ни один мастер кинокомедии до сих пор не углядел *такую* фигуру: это опереточное лицо-маска с морфинистским блеском в глазах, этот сильный истребитель пред господом, этот разъявшийся Нимврод\*, напоследок пытавшийся прикинуться безликим «господином Майером», — вот уж кто прямо просится в кинокомедию! Что там ни говори, но его эскапады на процессе против Димитрова немало послужили к нашему политическому увеселению. Но в тот день, в день, когда было объявлено о казни, под его кровавым кулаком трепетал весь город, — впрочем, возможно, это только мне, напуганному до смерти, казалось, что город трепещет.

## 6

Школа? Да-да, и школа тоже. Вскоре я взошел на ту странную ступеньку образования, которую называли «средней зрелостью»\*. В семье из самых серьезных финансовых соображений дебатировался вопрос, не забрать ли меня из школы и не «пригнать» ли к какому-нибудь ремеслу. Как возможность рассматривалась профессия землемера. («А что, все время на свежем воздухе, — моя неприязнь к затхлости и вони была общезвестна, — хорошая работа, красивая, к тому же с математикой, ты ведь любишь, и вообще».) Еще один вариант: место ученика продавца в солидном кофейном магазине в переулке (уже не помню, в Большом или Малом) Витгассе, у одного из наших приятелей были там связи. Землемер — это и вправду звучало заманчиво, несколько часов я колебался, пока не понял, что все-таки эта деятельность более или менее официальная, от нее по-

пахивало какой-то принудительной «организованностью» — но все равно и по сей день, стоит мне за городом увидеть за работой землемеров с их приборами и полосатыми рясами, я невольно играю с мыслью, что мог бы быть одним из них, да и контора кофейного магазина в (Большом или Малом) пересулке Витчгассе, когда я случайно около нее оказывался, долго еще будила во мне некую сладкую ностальгию по несбывшемуся; это *мог бы, был бы* — хоть я и твердо намеревался быть, а, может даже, и стать писателем, — «крюк» и обход к этому призванию через профессию землемера или кофейного продавца, вероятно, был бы ничуть не хуже иных крюков и обходов, которыми повела меня моя жизнь.

(Лишь сегодня я способен измерить и понять всю глубину смертельного испуга, охватившего, вероятно, моих родителей, братьев и сестер, когда я в промежутке между прерванным обучением в книжной лавке и трудовой повинностью, между февралем и ноябрем тридцать восьмого, в свои двадцать лет — и это в самый разгар самоуверенного нацистского лихолесья! — надумал стать *свободным* писателем и даже попробовал «жить литературным трудом»!)

Из школы меня все-таки решили не забирать, прислушавшись к моим энергичным настояниям, поддержанным голосами старших братьев и сестер; всякая трудовая деятельность отпугивала меня неизбежными формами «организованности», а я не желал, чтобы меня «охватывали» какой-либо организацией, всячески от этого увиливал и надсялся увилить дальше. Учился я в охотку, но, конечно, без всякой одержимости, на многих занятиях начал, правда, уже скучать и, вероятно, к тому времени и в самом деле бросил бы школу, если бы не нацисты. Но я понимал, понимал совершенно осознанно: школа, по крайней мере моя школа, была убежищем, лучше которого все равно не найти, так что при ближайшем рассмотрении выходит, что своим аттестатом я обязан нацистам, наверно, именно поэтому меня совершенно не заинтересовали ни выпускной вечер, ни отметки в аттестате, который я, даже не взглянув, приложил потом к своему заявлению с просьбой предоставить мне место ученика книгопродавца. Наверно, именно с того времени, по достижении «средней зрелости», я и начал «аранжировать» школьные занятия по своему вкусу. Три года до выпускных экзаменов — а до войны сколько? Может, и трех не будет? А я был слишком труслив, чтобы уклониться от призыва. Это я знал, видел тех — немых и каменных, кто вернулся из концлагеря, одной мысли о пытках было достаточно, нет, мужества во мне не было. Уйти, убежать от войны, все равно куда, — это было за гранью мыслимых возможностей. (Недавно Франк Г., ему тридцать семь, он родился в предпоследний военный год, спросил нас, почему же мы не эмигриро-



вали, и нам было трудно растолковать сму, что такая возможность попросту не приходила нам в голову; это все равно как если бы меня спросили, почему я не заказал такси на Луну; разумеется, мы знали, что люди выезжают, были такие и среди наших еврейских знакомых, да и «Штюрмер» я регулярно читал в газетной витрине на углу улицы Св. Северина,— да, такой человек, как Брюнинг, это понятно, но чтобы *мы* — куда и в каком качестве? Чуждаковатое католическое семейство, которое всего лишь против нацизма,— но это выражаясь в сегодняшних категориях; а в ту пору такая возможность попросту не умещалась в голове, была за пределами мыслимого; некий вариант эмиграции — дезертирство в неприятельскую армию,— я иногда взвешивал позже и вынужден был отбросить: «Не *настолько*,— так я думал,— тебя там ждут»,— и предпочел дезертировать в тыл, домой.)

В том же тридцать четвертом году были посрамлены оптимисты, уверявшие, что Гитлер долго не продержится; 30 июня подобные надежды были выметены подчистую, это был солнечный летний день, полный слухов, неясности, напряженных ожиданий с каким-то странным, почти не поддающимся определению привкусом эйфории: быть не может, столько важных нацистских бонз — и, оказывается, преступники, да еще к тому же и гомосексуалисты (про Рема \*, впрочем, это было известно, лозунг «СА! Мойте задницы — Рем идет!» нам доводилось читать на стенах домов, и до, и даже после тридцать третьего). Откровенность, с которой было обличено свое же отродье, была неожиданной и могла оказаться признаком слабости. Увы, через несколько часов стало ясно: это был признак силы, и мы наконец-то узнали, что такое внутрипартийная чистка. Радио у нас еще не было, я весь день гонял на велике — на сей раз, в порядке исключения (почему «в порядке исключения», я еще объясню, всему свое время), и по центру города, возле Сенного и Нового рынков, вокруг Собора и Центрального вокзала,— что-то носилось в воздухе, люди сбивались кучками, першептывались, надеялись, пока по радио не выступил Гитлер и не вышли экстренные выпуски газет. Я купил одну, потом вытащил дома из ящика письменного стола свою коллекцию этикеток сигарет «Альва», серию с портретами всей нацистской верхушки, отобрал тех, что расстреляны: получилась вполне внушительная стопочка. С тех пор я и запомнил лица Хайнеса \* и Рема.

Это был — и все явственно это почувствовали — не только окончательный захват власти, но еще и как бы последняя проба собственных сил, окончательное разоблачение беспомощности Папена и Гинденбурга: Клаузенера \*, Юнга \* и Шлейхера ведь тоже убили,— и ничего, никто даже не пикнул, а если и пикнул, то про себя. Наступила нацистская вечность. Знали ли демокра-

ты, всдали ли националы, что произошло, во что они себя втравили? Боюсь, они и по сей день этого не поняли: в один из абсурднейших дней немецкой истории, в день Потсдама, 21 марта 1933 года, когда Гинденбург вручил судьбы Германии некоему господину во фраке, все они, вероятно, просто ослепли.

В том же году, сразу после 30 июня, был введен государственный День молодежи, суббота, еще не официально, не как закон, это было позже, по-моему, в 1936 году, но он был *введен*. Это надо уметь вообразить: государство, в котором такой тип, такая рожа, как Бальдур фон Ширах \*, ведал всей молодежью страны. Мы знали о нем то, что со временем, похоже, как-то забылось, а именно — что он был поэтом; *немецкий поэт* ведал немецкой молодежью. Из многочисленных его виршей мы знали наизусть только несколько строк, которые бубнили и скандировали повсюду и беспрестанно: «Я был как лист без древа, как песня без напева». (Может, нужно пособить прилежным интерпретаторам поэтических текстов и растолковать, что тут имеется в виду, кто «лист», а кто «дерево»? Если нужно — я готов!)

Помнится, еще до тридцать третьего, когда Кёльнский университет находился на улице Клаудиуса, в минуте ходьбы от нашего дома, Ширах как-то выступал там с чтением стихов, после чего был избит «левыми студентами». И вот теперь эта образина всдала немецкой молодежью, немецкие родители доверили ему своих сыновей и дочерей.

Из примерно двухсот учеников нашей гимназии только трое — те, кто не вступил в гитлерюгенд — не участвовали в субботних «сборах» и, следовательно, не освобождались от посещения школы. Чем там на этих сборах занимались — не знаю, чем-то военно-спортивным, а подробнее я у своих одноклассников не выпрашивал, даже у тех, с кем вместе делал уроки: мы говорили про кино и про девчонок, но не о политике, а если кто и заговаривал о политике, я отмалчивался — боялся, только дома говорил все, что вздумается, даже в присутствии школьных приятелей. Донести на нашу семью — нет, на такое никто бы не отважился. Сегодня мне иной раз кажется, что в кругах довольно высокого нацистского начальства у нашей семьи был тайный покровитель, так никогда и не раскрывший свое инкогнито.

Итак, мы трое (Боллиг, Кох и я) обязаны были по субботам являться в школу, где, под присмотром кого-нибудь из учителей, который по такому случаю, понятное дело, злился — из-за нас у него пропадал выходной, — нам надлежало «приводить в порядок» школьную библиотеку. Битых три года мы втроем по субботам приводили в порядок крохотную библиотечку, размещавшуюся в кладовке бывшей квартиры завхоза. Ни один автор, ни одно название, ни одна книга — а ведь все они прошли через мои руки — не отложились в моей памяти. Нет, я вовсе не стра-

дал и не тяготился ничуть. Полагаю, после двух-трех суббот библиотека, и без того вполне упорядоченная, была упорядочена вконец, а мы сидели, курили (если, конечно, было что курить), пили школьное какао, по очереди бегали за мороженым и убивали время, как могли; надзиравший за нами учитель, как правило, уже в десять смывался домой или в кафе, оставляя нас на попечение завхоза Миргелера, который вскорости — самое позднее в одиннадцать — распускал нас по домам. Миргелер был тихий, милый человек, один из тех редких инвалидов войны, которые о войне рассказывать не любят. Чувствовалось, что он «симпатизант»\*, не *явно*, это было бы слишком рискованно, да от него это и не требовалось; а, кроме того, случалось ведь по субботам и заболеть или сказаться больным. От Миргелера и от иных учителей вовсе и не нужно было никаких явных проявлений инакомыслия, достаточно было просто выражения лица. Для некоторых учителей и для Миргелера мы были — по крайней мере после оккупации Рейнской области в 1936 году — кандидатами в смертники, это смягчало остроту многих конфликтов, которые в «нормальное время» выглядели бы совсем иначе. Так что если я скажу, что после введения дней молодежи по субботам нажим усилился, это будет, пожалуй, преувеличением. Время от времени нас по одному вызывал директор, не часто, а потом и вовсе перестал, — уговаривал вступить в гитлерюгенд или — это уже позже — в СА; делал он это без особой настойчивости, скорее просил, намекая — не слишком, впрочем, убедительно, — что это, мол, нужно для нашего же «блага»; вероятно, у него были из-за нас неприятности, наша тройка портила ему всю статистику. По всему чувствовалось, что ему и самому нелегко вести подобные разговоры, да и просьбы его были бесполезны — мы коснулись в своем злом упорстве вплоть до выпускных экзаменов. Я до сих пор спрашиваю себя, почему между нами троими не завязалась личная дружба, — но она не завязалась, да к тому же по этим субботам кто-то один непременно отсутствовал, а то и двое, если не все трое. Нашу более чем сомнительную «библиотечную работу» так и так никто практически не проверял.

Вообще-то просительные интонации в уговорах директора были куда опаснее любых угроз, потому что мне — он, к сожалению, так никогда об этом и не узнал — наш директор нравился; он был куда мягче, чем казался или вынужден был казаться, — из тех, про кого говорят: «строг, но справедлив», хотя все же ходил слишком близко к краю обрыва: он был хороший историк, наш директор, а история наряду с латынью и математикой принадлежала к числу излюбленных мотивов моей школьной аранжировки. Это благодаря ему я с юных лет постиг сущность колониализма — на материале античной истории; он открыл мне

глаза на паразитическое, почти как в загоне для племенного скота, существование древнеримской черни. Но он, как мне кажется, страдал — сегодня я назвал бы это так — гинденбургской слепотой, фатальной болезнью многих добропорядочных немцев: избытком национального — нет, не националистического и тем более не нацистского — духа, был фронтовик до мозга костей, любил повспоминать о передрягах окопной войны, где он — еще молодым офицером — был ранен в голову; но при этом настоящий католик и рейнландец, произносивший свою фамилию с едва слышным, почти застенчивым «фон». Когда первый из бывших выпускников школы погиб на испанской войне в эскадроне «Кондор», возможно даже над Герникой, директор устроил траурный митинг, со слезами на глазах произнес речь; почем-то мне на этом митинге было не по себе, не хотелось разделять воодушевление скорби, хоть я и знал погибшего, он учился с моим братом в одном классе, — это смутное «не по себе» я сегодня, пожалуй, могу сформулировать точнее: школа готовила нас к смерти, а не к жизни. Неужели смерть за родину и вправду высшее счастье? Как ни кощунственно это звучит, на том митинге могло сложиться впечатление, будто директор завидует погибшему и скорбит, что сам он в свое время *не* пал смертью храбрых при Лангемарке\*. Я знаю, это сказано жестоко, но вовсе не с целью оскорбить покойного: пагубная миссия этих высокообразованных и, несомненно, добропорядочных немецких штудиенратов\*, ревностно насаждавших гинденбургскую слепоту, в конечном счете повлекла за собой Сталинград и Освенцим. Выскажу и еще одно предположение, не поручившись, правда, за его достоверность: думаю, что в высоких, если не в высших церковных инстанциях директору настоятельно посоветовали вступить в нацистскую партию, дабы «спасти все, что еще можно спасти». (Сегодня-то мы знаем, что спасать было уже нечего, но не стоит забывать и о другом: правота задним числом недорого стоит.) Мы, кстати, не раз обсуждали эту проблему с нашими друзьями и знакомыми, считали такие поступки не бесчестьем, а просто глупостью, и ни с кем из тех, кто соблазнился подобной аргументацией, не порвали отношений.

Сами-то мы, кстати, нажима тоже не выдержали: когда перестали выходить газеты «Кёльнише фольксдайтунг» и «Рейн-Майнише», мы подписались на «Вестдойчен беобахтер», хоть нас и злила блудливая словесная эквилибристика ее постоянного обозревателя, католического автора Гейнца Штегувайта. («Перепутал крест со свастикой Штегувайт наш головастьный».) А после 1936 года по настоятельному совету квартального уполномоченного и мы обзавелись флагом со свастикой, пусть и маленьким; в дни, когда вывешивание флагов было обязательным, по величине флага *тоже* можно было судить об умона-

строении. Отец в ту пору, если когда и перспадал заказ, уже почти не работал на церкви и монастыри, только на учреждения и конторы, а когда с заказами стало совсем туго, ему намекнули, что хоть одному из членов семьи надо состоять в какой-нибудь нацистской организации. Было создано нечто вроде семейного совета, жертвой его решения пал мой брат Алоиз, который после жалкой судебной комедии (отец объявил себя несостоятельным) был провозглашен владельцем мастерской; ему же надлежало вступить в СА. (Он не простил нам этого до конца дней, и правильно сделал: надо было по крайней мере хоть бросить жребий.) Из всех нас он в наименьшей степени был создан для этой мимикрии, я не знаю другого человека, до такой же степени непригодного носить униформу, и он *страдал*, действительно страдал от этих крикливых сборищ и строевой муштры, уж не помню точно, сколько раз он туда ходил, наверно, раза три, не больше, как не помню и того, сколько раз я ходил к его штурмфюреру, недавнему коммунисту, который жил на углу Боннской улицы и улицы Роланда, в доме, где была аптечная лавочка Трапперта, в крошечной мансардной комнатенке, куда я приносил этому довольно беспутному, но, в сущности, совсем не вредному (по моим воспоминаниям) человеку регулярные взятки от моего брата в виде блоков сигарет «Р-6», — их тогда выпускали в элегантной, изящной упаковке красного цвета, просто шик, — чтобы он за эти подношения отмечал моего (постоянно отсутствующего) брата в своих списках. И он отмечал, а мы внесли в свои разнообразные фривольные вариации Розария \* еще один стих: «Ты, который ради нас вступил в СА». А вместо «Да не иссякнут дары в деснице вашей» теперь звучало «Да не иссякнут «Р-6» в руке твоей».

7

Да-да, школа. Трудностей не было — ни в учебном, ни в политическом отношении, и никто больше ко мне не приставал. Было, правда, твердо решено, что на второй год мне оставаться нельзя, этого мы и вправду не могли себе позволить, хотя сама мысль казалась очень соблазнительной: лишний годик провести в убежище, ведь всех нас, об этом не стоит забывать, несло навстречу войне, не «после нас хоть потоп» — потоп ждал нас впереди. А я твердо вознамерился учиться не ради героической смерти, провозглашенной высшей жизненной целью большинства, если не всех немецких юношей. Так что я старался жизнь сделать школой, а в школе — как позже выяснится — усвоить кое-что полезное для жизни. Я сосредоточился на предметах по душе: латынь, математика, история, изучал их, даже когда не ходил в школу. Мне нравилось, например, исключительно для соб-

ственного удовольствия, без всякой корыстной цели переводить тексты: в последних классах я иногда пропускал занятия, чтобы в спокойной домашней обстановке поработать над софокловой «Антигоной», поскольку на уроках ее проходили слишком медленно и меня это раздражало. По другим предметам я утруждал себя ровно настолько, чтобы не скатиться ниже «тройки», стараясь по возможности не пропускать контрольные.

Ну, а когда я слишком злоупотреблял прогулами, директор звонил матери и интересовался, действительно ли я так серьезно болен. Но на этот случай у меня имелось постоянное и почти несокрушимое алиби: тогда это называлось хроническое воспаление лобных пазух, болезнь, которая и вправду мучала меня годами, при малейшем наклоне вызывая головные боли и приступы дурноты. Сейчас я иногда думаю, что это была, так сказать, нацигенная болезнь (по-мосму, медикам и психологам тут есть над чем поломать голову, я уверен: бывают недуги, обусловленные политической системой). У этой болезни было еще одно неосознанное преимущество: она освобождала меня от ненавистной гимнастики, да-да, признаю, гимнастику я не любил, слишком от нее несло мужским потом и папашей Яном\*, бессмысленным самоистязанием, так что тут моя болезнь — хотя порой она не напоминала о себе месяцами — пришлось как нельзя кстати. (О, ласковый «синий свет», о, несравненные «прободения» и промывания настоем ромашки!) Чего мне очень доставало, так это игр и легкой атлетики, а еще, конечно, моих любимых кельнских улиц; дело в том, что раза два, когда я, прогуливая школу, бродил по городу, прямо из-за угла на меня внезапно вываливалась нацистская орава, от которой все шарахались на тротуар и, вжимаясь в стены, выбрасывали руки в фашистском приветствии, — я удирал во все лопатки, спасаясь в первом попавшемся подъезде: не забуду этот страх, он засел глубоко (сидит до сих пор!), даже ничтожная вероятность внезапной встречи с такой оравой омрачала радость прогулок по кельнским улицам. Это было похоже на изгнание, и тогда я из пешехода превратился в велосипедиста, шнырял по отдаленным пригородам, в зеленой зоне, вверх-вниз по Рейну, от Нилы до Роденкирхена, добирался и до Дойтца. Я пристрастился к велику, он стал моим единственным и излюбленным видом спорта, и я отдавался ему со всем пылом души. Ведь вообще-то я спорт любил, особенно игры, просто мне претила, да и была смешна эта убийственная мужская серьезность на уроках гимнастики, а футбол, ручной мяч, бейсбол, легкая атлетика — все это после введения Дня молодежи сошло на нет. Сошли на нет и послеобеденные уроки физкультуры со знаменательным названием «игровые виды», а как мы их прежде любили, ближе к лету и ранней осенью заигрывались, бывало, много дольше положенного, да и после шко-

лы играли дотемна, особенно в бейсбол. Теперь же всякое «неорганизованное» занятие спортом было запрещено, моего брата Алоиза как-то даже часа два продержали в полицейском отделении только за то, что он вместе со знакомыми ребятами из нашей церкви гонял в футбол на Поллерском лугу, не то чтобы ему это чем-то грозило, но это был опасный *сигнал*, и ему в официальном порядке вынесли *предупреждение*. Так что единственным моим спортом остался велосипед: я разведывал незнакомые предместья, колесил вверх-вниз по Рэйну, выискивая укромные местечки на берегу, где устраивался с книжкой (да, иногда и с Гёльдерлином). Тюбик клея, лоскут резины на заплатки, насос, карбидная лампа и пара книг на багажнике — вот и вся поклажа, с которой я был независим, как «пассажир без багажа». Ну и в бассейн можно было сходить, еще не все было под запретом.

## 8

Да-да, школа... Временами я даже добивался заметных успехов на уроках словесности. Из тогдашней программы я, правда, запомнил немного, но несколько авторов в памяти отложились, один из них — Адольф Гитлер, автор книги «Моя борьба», наше обязательное чтение. Словесник, доктор Шмиц, человек ироничного, язвительного ума, но, пожалуй, суховатый (для некоторых авторов, увы, *чересчур* суховатый), пользовался священными текстами этого автора, Адольфа Гитлера, весьма своеобразно: с их помощью он пытался породнить нас с «сестрой таланта», именуемой краткостью. Выглядело это так: три-четыре страницы из «Моей борьбы» нам надлежало сократить до двух, а еще лучше — до полутора, мы «ужимали» этот неудобоваримый, ужасающе витисватый немецкий язык (бывает и очень хороший витисватый немецкий!) до состояния «связного текста». Подумать только: «ужимать» тексты самого фюрера! С каким удовольствием я разнимал этот немецкий на части и потом собирал заново. Так что «Мою борьбу» я изучил досконально — и это чтение тоже ни на йоту не подняло авторитет нацистов в моих глазах. Тем не менее как писателю я обязан Адольфу Гитлеру несколькими четверками по литературе, которые были мне очень кстати, обязан, вероятно, — это *тоже* один из школьных «уроков», пригодившихся в жизни — и чем-то вроде редакторской жилки, равно как и симпатией к лаконичному слогу. Меня до сих пор изумляет, что никто не обратил внимания на фривольность этих занятий, этих «ужимок» над текстами фюрера, — самому мне потасный смысл и вся *многозначительность* этих домашних заданий открылись лишь годы спустя, и только гораздо позже, уже после 1945-го, когда терзасмый беспрестанными ми-

грениями Карл Шмиц заходил к нам на Шиллерскую угоститься запретным кофе с черного рынка, я смог отдать ему долг уважения и благодарности. Проходили мы и еще одного автора, которому, впрочем, я не обязан хорошими отметками, — это был некто Ганс Йост\*, чью пьесу «Шлагетер» мы обязаны были не только читать, но и смотреть: все кельнские школы буквально гуртом гнали в театр, для этой цели, если не ошибаюсь, давались даже утренние спектакли. Мои впечатления? Очень слабая пьеса: герой не импонировал мне ни как католик, ни как саботажник, а чтобы импонировать в качестве *слабого героя*, он опять-таки был недостаточно слаб. Хорошими оценками (увы, для меня это была редкость) по литературе я обязан еще швейцарцу Иеремии Готхельфу\*; мы проходили — уже не у Шмица, тот вернулся к нам классом позже, — и весьма обстоятельно, «Ули-работника», и «Ули-арендатора», и сочинения писали об этих романах. Ясное дело, Вренсли была мне куда симпатичней, чем Ули. Я исписывал страницу за страницей, противопоставляя великодушную Вренсли пугливому и мелочному Ули, думая то же, что часто думают мужчины: да он мизинца ее не стоит! И конечно, объяснял (надеюсь, бог и «помоги бог», то бишь Готхельф<sup>1</sup>, мне простят) различия между ними «воздействием среды и обстоятельств». Полагаю, Готхельф проник в нашу школьную программу по недомыслию очередного «кропостратега»<sup>2</sup>, который падевался таким образом донести до нас дух крестьянской жизни, крестьянские мысли, чувства и дела. Изучение Готхельфа было увенчано сочинением на тему «Город с деревней в едином строю!» (излюбленный нацистский лозунг). Я написал страстный пансгирик городу, отважно (и ошибочно, я давно это осознал) выведя Вренсли горожанкой. (Стоило бы, кстати, как-нибудь заняться исследованием механизма всех идиотских недоразумений и поверхностно-идеологических накладок, благодаря которому в условиях диктатуры порой «пропускаются», чтобы не сказать «просачиваются» иные книги. Как, к примеру, чуть позже Ивлин Во\*, которого мы все из-за имени тут же считали женщиной<sup>3</sup>, или Блуа\* и Бернанос, чей антиклерикализм был, видимо, понят властями в корне неверно.)

9

Да-да, школа... Наступили холодные, суровые времена, и с экономической точки зрения тоже, — нас несло навстречу войне. Впрочем, отдушин было много: поддержка родителей, бра-

<sup>1</sup> Gott helf (нем.). — букв. «помоги бог».

<sup>2</sup> «Кропо» — сокращенное обозначение «Крови и почвы», идеологического лозунга нацистов. — *Прим. автора.*

<sup>3</sup> Английское написание имени Ивлин — Evelyn.



твств, сестер, симпатии друзей, в том числе и тех, кто давно состоял в нацистских организациях, отдушиной был и незаменимый, ставший чуть ли не святыней велик, этот безотказный драндулет, удобное подспорье подвижности и бегства, достойное всех и всяческих гимнов, который к тому же — к 1945 году это выяснилось окончательно — оказался единственно надежным и потому бесценным транспортным средством. Ведь чего только не требуется автомобилю? К тому же, при ближайшем рассмотрении, он неповоротлив, зависим от тысячи случайностей, не говоря уж о горючем и проезжих дорогах. А велосипед — где он только не пройдет? — и не стоит забывать: война во Вьетнаме, война против танков и самолетов, была выиграна на велосипедах. Тюбик клея, лоскут резины, насос, лампа — вот и весь багаж, считай что никакого багажа, а при необходимости сколько всего можно на велосипед взгромоздить и повесить?

Отдушиной была и болезнь, она не отпускала меня ни в доблестные месяцы трудовой повинности, ни в столь же доблестные годы вермахта. Но уже в лагере военнопленных, в этом странном состоянии освобождения и плена одновременно, а тем более в послевоенные годы и по сей день — ее как рукой сняло. Может, она и вправду была аллергического свойства? Вполне вероятно, ибо и на нацистов у меня *тоже* аллергия.

В ту пору — мы жили на улице Матернуса — мы часто уходили гулять за город: через Южный мост, дальше по Рейну, через Польт, потом полями летней, пахучей пшеницы, пыльными полевыми тропками, вдали, как ориентир, водонапорная башня, — мы шли к каземату, где мой брат Альфред отбывал свою «добровольную» трудовую повинность. (Отбывание этой «добровольной» повинности было «всего лишь» необходимым условием для того, чтобы поступить в университет.) Затхлый, зловонный подземный каземат, построенный в восьмидесятые годы прошлого столетия, если не раньше, откуда мы, в нарушение всех порядков (у него еще не было права свободного выхода) и просили кого-нибудь вызвать брата: он выходил как арстант, какой-то затравленный, удрученный. Вчерашний «гимназистик», будущий студент, он автоматически был зачислен в «телигенцию» и, следовательно, терпел издевательства и назначения на самые тяжелые работы; у лагерных ворот дежурили две — всегда одни и те же — довольно молодые, но уже изрядно потасканные шлюхи, жалкие создания, готовые за мизерную плату лечь в кустах с каждым, кому удавалось уговорить или «подмаслить» часового. Мрачное, зловещее здание вильгельминского (Вильгельм I) каземата, затхлость, мрак, обе шлюхи, одетые кое-как, без малейшего намска на «расфуфыренность» (ибо они были здесь совершенно вне конкуренции) — нет, все это отнюдь не воодушевляло. Мы приносили с собой сигареты,

боялись говорить в полный голос, — на нас давила жуткая атмосфера этих почти тюремных свиданий в казармах или возле них. (Ах, Лили Марлен \*, ты-то знаешь — никогда мы не назначали «свиданки» под фонарем! Какой же дурак додумается встать с девушкой — а уж тем более со своей девушкой — под фонарем у самых ворот? Нет, только в укромном углу, где потемней, у стены, вжавшись в стену, — и радости в этих встречах тоже было немного, после твоих мягких рук — обратно в казарменную мужскую вонь!) Потом мы понуро брели домой вдоль железнодорожной насыпи, на губах летняя пыль и сытный дух разомлевшей на солнце пшеницы, а в сердце, в голове, в душе у меня уже зрело тоскливое *предощущение*, немного лет спустя подтвердившееся сполна. Я знал, что загрелю, что мне не миновать обеих униформ — трудового фронта и вермахта, что у меня не хватит мужества и сил уклониться. Мы шли домой — летний вечер, водонапорная башня, насыпь железной дороги, пшеничные поля, Рейн. Не в том ли году уже началось строительство казарм в районе Польш-Портц? За распространение подобных слухов многим тогда пришлось поплатиться арестами и допросами, хотя то, что они утверждали, немногим позже оказалось чистой правдой, а именно что там — ведь Рейнская область как-никак все еще оставалась демилитаризованной зоной — идет строительство казарм. Не в том ли году уже были заложены быки под будущий мост для автострады Кельн — Роденкирхен, этой стратегической стрелы на Запад?

Но — еще и еще раз — школа, да, и школа *тоже*. В гимназии лишь двое учителей были завязаны нацистами (оба являли собой тип несотсанного мужлана), они у нас не преподавали, так что неприятностей с учителями у меня лично не было (у них со мной, боюсь, были). Когда кто-нибудь из одноклассников пытался — что, впрочем, бывало редко, — так сказать, компенсировать свою убогую латынь или греческий за счет мундира, наш штудисрат Бауэр (он был у нас с шестого класса до выпуска) только бросал взгляд в мою сторону, взгляда было достаточно; демократ и гуманист, отнюдь не одержимый военным пафосом, он посвящал нас также и в актуально-политическую, пародийную подопласку древнегреческой комедии, не прочь был поразглагольствовать о курении сигар и о шерри, демонстративно игнорировал наши шалости, а под конец читал с нами Ювенала. Среди римлян Ювенал и Тацит были у него любимцами. (Последний раз я видел Бауэра из окна санитарного поезда поздней осенью 1944 года — в инвалидной коляске он катил по перрону то ли в Арвайлере, то ли в Ремагене.) Неприятности с учителями? Нет. Даже распри с учителем закона божьего потихоньку сошли на нет, и даже с учителем физкультуры у нас был полный мир; он иногда приглашал меня, хоть я и был «освобожден от

физических упражнений» (то есть с точки зрения физкультуры являл собой почти что асоциальный элемент), а то и просто просил в порядке личного одолжения сыграть за школу в бейсбол; я был неплохим подающим — это своего рода семейная традиция: оба моих старших брата в нашем местном масштабе были прямо-таки бейсбольными звездами — и выходил, можно считать, подставным игроком на матч где-нибудь на Аахенском пруду или в парке Блюхера против очередной кёльнской гимназии. Еще одно необходимо сказать: я отнюдь не казался себе лучше или, тем более, «чище» своих соучеников, разве что самую малость — о, эта крохотная *малость!* — чужаком, все, что происходило вне меня, было мне чуждо, и чуждость эта с каждым днем росла. Только велосипед и прогулы спасли меня от участи домоседа, и все же я теперь куда чаще сидел дома, переводил с латинского или с греческого и еще задолго до восемнадцати почти «дозрел», чтобы из одиночки превратиться в чудакватого затворника. Избежал я этой участи благодаря не только велосипеду, но и нескольким девушкам. И все же мое развитие не могло не внушать опасений. Родители, братья и сестры, друзья выказывали — с полным правом — серьезную озабоченность и все чаще задавались вопросом: «ЧТО СТАНЕТСЯ С МАЛЬЧИКОМ?» У братьев и сестер уже имелась либо профессия, либо вполне определенные виды на будущее: учительница средней школы, бухгалтерша (коммерческой специализации), столяр-краснодеревщик, студент-теолог. Теология? Что ж, это было совсем не так «холодно», к тому же это был выход, но я в считанные минуты уяснил, а потом и объяснил, почему теология для меня исключена. Пожалуй, изучать теологию мне было бы интересно, но в ту пору это автоматически означало стать священником, от чего меня удерживало одно существенное обстоятельство, которое я постараюсь сформулировать как можно деликатнее: мне уже открылся доступ к прелестям и красотам, к более или менее сокровенным тайнам противоположного пола, и я не был склонен отказываться от дальнейшего постижения этих тайн. Целибат — обет безбрачия — казалось, страшнее этого слова ничего быть не может. Заранее взвешивать возможность двойной морали — это никуда не годилось, а отречение от сана (но зачем в таком случае становиться священником, если сразу думаешь об отречении?) в ту пору было вещь столь же немыслимой, как путешествие на Луну. В конце концов (тут я для разнообразия *тоже* вынужден щегольнуть латинской цитатой): *vestigia terrebant*. Следы устрашили. Были ведь прецеденты, были несчастные и злосчастные жертвы, вконец запутавшиеся в пагубных хитросплетениях двусмысленных уз дружбы, родства, любви и секса, были «оступившиеся» и «споткнувшиеся», падшие и низринутые, были и такие, кто, замыслив путешествие на Луну, со все-

го маху плюхался животом оземь. У отца было много работы для церквей и монастырей, он знал эту среду, и этих знаний — а он их не утаивал — было вполне достаточно; думаю, именно поэтому он строжайшим образом воспрещал нам прислуживать в церкви (меня, впрочем, это занятие никогда не привлекало). Правда, имелся еще один путь, который живо обсуждался, поскольку студентов-теологов вокруг было полным-полно, — путь *сублимации*, но у меня не было ни малейшего желания *это* сублимировать.

10

Точку зрения (ее до сих пор частенько высказывают), согласно которой после 30 января 1933 года будто бы немедленно свершилось нечто вроде экономического чуда, я, к сожалению, в том, что касается нашей семьи, подтвердить не могу. Вступление моего брата в СА ничего нам не «принесло». (Еще одна вариация Розария: «Ты, который ради нас *попипрасу* вступил в СА».) Жилось нам еще хуже, чем до тридцать третьего, и списать это только на нашу «политическую неблагонадежность» никак нельзя. У отца ведь водилось множество добрых старых знакомых среди городского начальства. Самым тяжким делом как было, так и осталось выколачивание «кредитов» в продовольственных лавках, выплата старых долгов, чтобы немедленно залезть в новые, и еще, как неизменный дамоклов меч, — квартирная плата. Я и по сей день не пойму, на что мы жили? Как? «Чем бог пошлет» — это еще слишком мягко сказано. Одно я знаю твердо: мы жили не по средствам, но — пусть политэкономы поломают над этим головы, прежде чем начать ими трясти, — мы жили и *лучше*, и *хуже*, чем нам позволяли наши средства. Как бы там ни было — мы выжили, так что опыт этих лет среди прочего стал и бесценной наукой выживания. Если бы от того времени сохранились хоть какие-нибудь документы, записи, не говоря уж о расходных книгах, я бы с удовольствием их на досуге изучил, дабы проникнуть в тайну этого «КАК?», но никаких официальных материалов не осталось, я помню только бессчетные семейные советы, на которых составлялись сметы, обсуждался и принимался бюджет, в соответствии с полом и возрастом («Девочкам ведь нужны чулки!») распределялись карманные деньги и все это торжественно заносилось в черные записные книжки отца. Думаю, со стороны эта церемония выглядела несколько литературно. Во всяком случае, ни намска на экономическое чудо. То и дело цитировали Диккенса, особенно старика Микобсера из «Дэвида Копперфилда», который, как известно, был виртуоз подсчетов и вообще финансовый гений, хотя и непризнанный, и мог любому растолковать, как достичь богатства и почему люди впадают в нищету, а сам при этом вечно сидел в долго-

вой тюрьме! До Микобера моему отцу было далеко, куда там, он был человеком серьезным и добросовестным, но и отчаянным, с легкой склонностью к «бегству вперед», очертя голову, и предпочитал жить не по средствам. Так что в 1936 году мы снова пересели — уже в третий раз за шесть лет (это был последний переезд, пережитый родительским хозяйством, остальное довершили бомбы), — переехали, согласно все той же стратегии «бегства вперед», в чуть более дорогой район Каролингerring, в квартиру, которая при постройке дома в начале века явно предназначалась для «богатых господ», и даже позволили себе роскошь (умирать — так с музыкой!) после двух квартирантов на Юбирринге, одного — на улице Матернуса, теперь от квартирантов отказаться вовсе. В свете нашего отнюдь не улучшившегося благосостояния переезд этот был акцией безрассудной, но вполне последовательной. Нами владело безумное, быть может, даже преступное желание *жить* и выжить. Так и перебивались.

Школа? Да. Учиться я по-прежнему любил, хотя при малейшей возможности и старался прогулять уроки, часами сидел над задачками и латинскими текстами; был еще один предмет, школьная программа которого не удовлетворяла моей жажды знаний и потребностей к обучению: география. Я обожал атласы, иногда принимался даже их коллекционировать, меня неизменно занимал вопрос, *где, как и чем* живут люди. По-мосму, это называется экономической географией. Я рылся в справочниках, раздобывал интересующий меня материал где придется, откопал в отцовской библиотеке (о которой вообще-то был невысокого мнения) многотомный этимологический труд какого-то миссионера и проглотил его вмиг, собирал статьи об экспедициях, — но все это, разумеется, между делом.

Между делом выполнял я и обязанности «секретаря» у Пауля Хайнена, капеллана церкви св. Матернуса, вел его регистрационную картотеку, отвечал на часть корреспонденции, за что он время от времени выплачивал мне скромную сумму из своего мизерного жалования. Пожалуй, с моей стороны это была скорее «игра», а отчасти и бегство: потоп был не после нас, потоп ждал нас впереди. Тогда же, в 1936 году, я видел Хайнена в последний раз, встретил его на улице Св. Северина где-то между кинотеатром «Кино для каждого» и гимназией Фридриха-Вильгельма, мне показалось странным, что он так торопится, да и попрощался он со мной как-то почти нетерпеливо, — а несколько дней спустя я узнал, что именно в тот день и именно по той дороге он направлялся... в эмиграцию: через Голландию в Америку. Вероятно, его дружба с (тогда тоже еще капелланом) Росентом кому-то показалась слишком подозрительной. Впрочем, подробностей я так никогда и не узнал.

Проблемы физического выживания накладывались на проблемы выживания политического. Наступили скверные дни, недели, месяцы — но было и много радости, и много друзей. Были великолепные дешёвые концерты в Гюрценихе \*, на удивление мужественные лекции и доклады в Академическом союзе католиков, инициатором которого был Роберт Гроше, было кино, а вечерами, с наступлением темноты, когда уже не грозила встреча с нацистскими ордами, можно было спокойно прогуляться на свежем воздухе — иногда даже с девушкой. Нет, в Кёльне ещё можно было жить; а немного погода здесь объявилась дешёвка, которую звали Аннемари \*. Но это уже выходит за хронологические рамки описываемого периода, а если я эти рамки (1933—1937) переступлю в одну (вероятно, года этак до 1750) либо в другую (возможно, вплоть до 1981) сторону, получится нессусветных объёмов семейная сага, вероятно по-своему даже любопытная, как всякий семейный документ, но, с другой стороны, и вполне заурядная. Так что лучше уж будем придерживаться хронологических рамок, да и то сосредоточившись больше на *внешних приметах* описываемого времени, а его внутреннюю жизнь будем затрагивать лишь постольку, поскольку она этих внешних примет касалась или, скажем так, в них отражалась; а посему — ни слова о гнетущем напряжении, конфликтах, проблемах, трагедиях и полутрагедиях; если же в моих попытках воспроизвести эти четыре года нет-нет да и проскальзывают весёлые нотки, то и это тоже верно: мы много смеялись, хотя чаще всего это был смех отчаяния — вроде того, какой случается видеть на средневековых изображениях Страшного суда, где безумную радость праведников иной раз не отличить от ужаса проклятых.

Итак, мы перебивались, и после каждого нового переезда наш новый адрес почти одновременно с родственниками и друзьями почти столь же быстро становился известен судебным исполнителям и нищим; моя мать ни перед кем не захлопывала дверь, у неё было удивительное свойство: она не умела считать судебных исполнителей врагами и тем более как с таковыми с ними обходиться, благодаря чему мы получили от них не один добрый совет, а ломбард стал нам чуть не домом родным. Хорошего во всем этом, конечно, было мало: мы странным образом сочетали в себе хандру и легкомыслие, жили абсолютно неразумно, в самые черные дни, когда это было почти что равносильно финансовому самоубийству, отправлялись обедать в ресторан, зазывали квартирантов (доколе таковые у нас были) перекинуться в картишки, лелся шулерские замыслы разжиться 20 пфеннигами на пачку «Альвы» или «Экштайна», а в конце игры выяснялось,

что квартирант садился за стол с аналогичными намерениями, все хохотали, сигареты покупались в складчину и выкуривались сообща.

Мы хватались за всякую возможность заработать. Самой кошмарной попыткой в этой области была эпопея с рассылкой рождественских веток \*, на чем мы надеялись не просто подзаработать, а даже разбогатеть. У нас была пишущая машинка, на которой мы печатали адреса (и на которой я после тюкал свои первые рассказы, отмеченные несомненным влиянием сперва Достоевского, потом Блуа; но у меня имелся и целый рукописный роман, слегка озадачивший мою жену, поскольку у «героя» было «аж» две женщины) — затея эта кончилась плачевно. Наш заказчик, сам безработный и тоже надеявшийся разбогатеть, требовал, чтобы мы не только надписывали адреса, но и выискивали их по телефонной книге, равно как и сами раздобывали конверты и бумагу для вкладышей. Спрашивается: кому нужны рождественские ветки? Булочникам, кондитерам, владельцам продовольственных магазинчиков — тяжелая работа! В конце концов выяснилось, что дела у нашего заказчика шли еще хуже, чем у нас; не знаю, удалось ли ему сбить хоть одну ветку, но все наши заработки так и ограничились первоначальным авансом, не покрывшим и десятой доли убытков. Ну и, разумеется, мы помогали в отцовском «деле», когда там вообще требовалась помощь: развозили на хлипкой двухколесной ручной тачке (верой и правдой служившей нам и при переездах) новую или отремонтированную конторскую мебель по учреждениям. (О, благословенные финансовые управления районов Юг, Севср, Центр и, конечно же, Главное городское финансовое управление на улице Вертса, мимо которого мы и сейчас иногда проходим, когда идем гулять к Рейну!) Как-то ночью мы обновляли полы в помещении кассы финансового управления Юг, что размещалось в здании бывшего картезианского монастыря, секуляризованного в 1806 году; поднимая старье, якобы еще наполеоновских времен, половицы, как же мы надеялись найти под ними монеты, желательно старье, совершенно не думая о том, что в XVIII столетии монахи-картезианцы вряд ли таскали в своих рясах туго набитые кошельки, а уж посетители финансового управления в позднейшие времена тем более тряслись над каждой монеткой.

Несколько успешнее обстояло дело с частными уроками: правда, спрос был ничтожен, а предложение — на каждом углу, было полно безработных учителей, мелких чиновников и студентов, да и небезработные учителя и штудисраты тоже не гнушались приработком; необозримое предложение, скудный спрос — разумеется, это сказывалось на ценах (о, вольница рыночных отношений!).

Первого своего ученика я нашел по объявлению, это был очень славный мальчик, которому я за пятьдесят пфеннигов в час преподавал латынь и математику. Его контрольных работ я боялся куда больше, чем он сам; этот страх, видимо, все же повлек за собой кос-какие сдвиги к лучшему у моего подопечного — к вящей радости его родителей. Я применил ту же методику, что и мой брат, когда учил меня: отыскивать «дыры», сверлить, ставить пломбы, — и, смотри-ка, дело пошло. Впрочем, попытка давать уроки французского кончилась полным провалом: мама ученика, сама превосходно говорившая по-французски, мигом обнаружила «дыры» в моих знаниях и, любезно расплатившись, отправила меня восвояси. Прежде чем пускаться в рассуждения о реальной стоимости тогдашних пятидесяти пфеннигов, хочу напомнить, что еще восемь лет спустя часовой заработок необученной работницы садоводства составлял не более, а то и менее пятидесяти пфеннигов, что недельное пособие по безработице на семью из трех человек не превышало семнадцати марок. Моя сестра Мехтильда, безработная учительница средней школы, неизменно старавшаяся нам помочь, в то время была домашней учительницей в графской семье в Вестфалии, получала за это в месяц тридцать марок, из коих двадцать пять посылала домой. С учетом всего этого — и абсолютной профессиональной неподготовленности — недельный приработок в размере четырех-пяти марок (ибо с пятидесяти пфеннигов я исхитрился поднять цену до семидесяти пяти) сугубо на карманные расходы — это было совсем недурно, я даже мог себе позволить завести собственный счет у букиниста, что давало мне право на скидку. Впрочем, я вовсе не собираюсь противопоставлять здесь «суровые новые» времена «добрым старым», — это, на мой взгляд, совершенно бесплодно, к тому же стариковское занятие.

Просто пятьдесят пфеннигов по тогдашним букинистическим ценам — это означало две, а то и три книги; Бальзак за десять, Достоевский за двадцать пфеннигов, я отлично помню эти цены на букинистическом «развале» возле кинотеатра «Скала» на Герцогской; пятьдесят пфеннигов — это был билет в кино на дешевые места плюс три сигареты, фортепьянный концерт по школьному билету (о, Моника Хаас \*!), две чашки кофе плюс сигареты, или же — я иногда приглашал на это угощение маму и мою сестру Гертруду — четыре свежие булочки и четверть вареного окорока, ибо — хвала и хула господу — аппетит у нас был всегда! И сестра Гертруда со своей стороны не оставалась в долгу. А по сведениям из хорошо информированных источников мне было известно, что цены на продажную любовь (правда, в исполнении дилетанток) в задних комнатах некоторых кафе в определенных, но, конечно, лишь «национально неблагонадеж-



ных» районах упали до пятидесяти пфеннигов, — и это в только-только «пробудившейся» Германии!

Я часто думаю (уже в наши дни), что в ту пору дать всем детям окончить гимназию или лицей, а потом еще отправить их в университет — это, конечно, означало жить далекое не по средствам. (Впрочем, в действительности все было не так просто и гладко.) Мои родители окончили только начальную школу, в понимании их родителей среднее образование было необходимо только сыновьям, а уж университет дозволялся только тому, кто шел на теологию. (Таким вот образом блестящие задатки не одного одаренного и страстного юриста реализовывались потом в скучной карьере несчастного священника, а потенциальный теолог превращался в атеистически настроенного штудисрата.) Мои родители, видимо, страдали от этой несправедливости (равно как и от прочих) куда больше, чем это казалось со стороны, зато нас хотели видеть свободными, хотели, чтобы мы «развивались свободно».

Единственным надежным источником наших доходов бывали квартиранты (когда они у нас были), но доходы эти даже не покрывали квартирную плату, а из трех «доходных домов», которые мой отец построил, дабы обеспечить свою старость (ему в те годы уже было под семьдесят), у нас остался только один, жалкая жилая казарма на Фондельской, 28, где размещались также отцовская мастерская и контора, именуемая для простоты «лавочкой». Но и этот дом был «в наших руках» изредка и, как правило, ненадолго, он почти всегда находился под арестом — несусветные налоги на домовладения, выплаты по закладным, выплаты за страховку, — кто-нибудь обязательно накладывал на него лапу. Ах, сладостные, золотые деньки, когда дом в порядке исключения оказывался «наш» и сестра Гертруда шла взимать квартирную плату! Но деньки эти тянулись недолго — находился очередной издольщик и опять накладывал лапу. Нет, времена были тяжелые, жить не становилось легче, — легче стало уже потом, за рамками описываемого периода, когда старшие братья и сестры помаленьку начали зарабатывать.

Сегодня умные люди, конечно же, скажут (и будут совершенно правы) то же самое, что другие умные люди говаривали нам еще тогда: жить как мы — *безрассудство*. Да, мы жили безрассудно, и у нас хватало безумия при этом еще и покупать и даже читать книги: новинки издательства «Якоб Хегнер», а также Мориака, Бернаноса и Блуа, Честертона, Диккенса и Достоевского, старого Вайнингера \*, и Клоделя, и Бергенгрюна \*, пока его издавали, и даже «Удары молота» Лерша \*, и, как

уже было сказано, Ивлина Во и Тиммерманса \*, Эрнста Элло \*, Рейнхольда Шнайдера \*, Гертруду фон Ле Форт \* и, конечно, Теодора Хеккера\*. Да, это было абсолютно неразумно, а умные люди брали у нас книги почитать и очень любили потом зайти и подробно обсудить прочитанное, из-за чего нередко возникали споры и не один четверть,— если не полу-, а иной раз и совершенный нацист уходил от нас как оплеванный. Нет, было вовсе не скучно, но одновременно мы погружались в какую-то цепнящую хандру, до утра играли в карты на деньги, прекрасно зная, что выигрыш все равно иллюзорен, карточные долги росли, потом зачеркивались, но все равно мы играли истово, как будто все взаправду. Вряд ли было разумно и то, что из моих братьев и сестер двое работали в отцовском деле, сестра в конторе, брат в мастерской, хотя делать им там было почти что нечего, но они вынуждены были там числиться, чтобы спасти от судебных исполнителей нашу выручку за прокат (почасовая сдача внаем отличных токарных станков). Словом, вплоть до начала войны нам приходилось очень туго. (В войну — тут я перескакиваю за 1937 год — деньги всегда текут рской, в Кельне сразу же повысился спрос на столярный ремонт. Войны решают и проблему безработицы, об этом частенько забывают или предпочитают забыть те, кто любит поразглагольствовать о гитлеровском «экономическом чуде». Войны, кстати, регулируют и цены на сигареты, которые с 1—1,5 пфеннига за превосходный «голландский товар» в конце концов подскочили до 800 пфеннигов за товар американский.)

### 13

Ах да, школа, конечно-конечно, скоро я к ней вернусь. Ведь я все еще был учеником, так сказать, учился жизни, обуревасмый приступами легкомыслия и меланхолии, я постигал премудрости жизни, но был преисполнен твердой решимости, если удастся, премудростей смерти избежать. Итак, повторяю еще раз: мы перебивались. *Самое же главное* (я вовсе не собираюсь вспоминать здесь больше дюжины анекдотов с этими ключевыми словами) — и это действительно дало мне хорошую выучку: финансовые трудности не унизили, а как бы возвысили нас, пробудив странное высокомерие, они не сделали нас неприятными, а только усугубили наши притязания, сообщив нашим рассуждениям некую жуткую логику рассудительного безумства. Златых гор мы, понятно, не ждали, но все равно требовали от жизни *больше*, чем нам полагалось или было положено (к примеру, теми виртуозами подсчетов, которые вычисляют прожиточный минимум), а посему у нас в семье был выброшен лозунг: «Оливер Твист больше не желает!» Дома наша дерзость не знала границ,

непристойными шуточками и издевательствами над отдельными лицами и учреждениями мы доводили друг дружку до какого-то истерического экстаза, нам не требовался алкоголь, достаточно было слов. После одного из таких вечеров, когда взрывы хохота, шутки, насмешки над церковью и государством, учреждениями и лицами шли по нарастающей, мой брат Алоиз, еле переводя дух от смеха, произнес слова, вошедшие потом у нас в поговорку: «Ну ладно, давайте снова станем христианами», а для наивных, верующих, идеалистически настроенных нацистов у нас тоже имелось свое определение — «бодрая (или блаженная) скотинка». В этих наших сборищах не только не было уюта и гармонии, — по части лояльности они были отмысчны постоянными внутренними и внешними диссонансами; три различных классовых элемента по-разному перемещались в каждом из членов семьи, к тому же пропорция эта непрерывно менялась, — отсюда трения, нервозность, и частенько мы бросались друг в друга не только словами, но и пыльными тряпками, а иногда и предметами, бывало что и острыми. В *каждом* по отдельности и *между* всеми нами вместе эти элементы никак не могли примириться, то и дело вступая в конфликт. В каждом и между всеми шли классовые бои. Случались и периоды, отмеченные повышенным употреблением алкоголя, — но это когда были деньги. Предпочтение в таких случаях отдавалось продукции винодельни Херманнса, что на Северинсторбург.

Так вот, школа. Время, которое я на нее потратил, рано было считать потерянным впустую: вдруг мой аттестат вместе с его владельцем еще переживет и войну, и нацистов, хотя что-то не очень в это верилось. Нацисты стали вечностью, война сулила еще одну, а война и нацисты — это была уже вечность в квадрате, но все равно я очень хотел эти четыре вечности перетерпеть (к тому же аттестат на целых десять лет обеспечил мне столь же неопределенный, сколь и легальный общественный и профессиональный статус «студента». Но это после и тоже за рамками нашей истории). Помимо школы, нацистов, экономического кризиса, были еще и другие проблемы, в том числе и вечные, амурные. Я пытался — не знаю, сколь успешно, — утаить их от домашних, которые и без того при мыслях о моем будущем рвали на себе волосы, — только амурных историй им еще не доставало! Хватало ведь и других ударов судьбы: последним из таких ударов — уже после введения всеобщей воинской повинности — стала оккупация Рейнской области \*, которую мы восприняли именно как оккупацию, без всяких там кавычек. Конечно, это не бог весть что, но все же до той поры, до 1936 года, Рейнская область оставалась демилитаризованной зоной, да и последние части английских оккупационных войск торжественно прошли по улицам Кёльна в прощальном марше каких-нибудь шесть лет

назад. Оккупация Рейнской области стала для моего отца — после смещения Брюнинга — последним ударом, теперь и он не сомневался в том, что война неминуема. Нацисты под видом пруссаков, пруссаки в нацистских мундирах — и все это на Рейне. Нам — мне-то уж во всяком случае — было бы куда больше по душе, если бы к нам с другого берега вступили французы — несмотря на Шлагстера! — или англичане.

Отец снова время от времени показывал нам, как он в эшелоне ополченцев (пункт назначения — Верден) симулировал приступ аппендицита — вполне успешно: в Трире его сняли с поезда, пришлось, правда, лечь на операцию, но зато он избежал фронта. Последнее и очень яркое мое воспоминание о нашей квартире на улице Матернуса: нелегальная сходка руководящей группы молодежного католического объединения. Глубокое, сильное и по сей день не изгладившееся впечатление произвел на меня Франц Штебер: серьезный, полный решимости и без иллюзий, он дорогой ценой заплатил за эту свою решимость. Вскоре его арестовали, и после пяти лет в гестаповских застенках он, и без того страдавший болезнью глаз, почти совсем ослеп.

Происшествие иного, не столь значительного масштаба, но все же достаточно серьезное: незадолго до переезда, который в свою очередь состоялся накануне моего перевода в выпускной класс, я подхватил во время загородной велосипедной прогулки в карнавальном вторник (вместе с девушкой мы угодили под снег с дождем) жуткое воспаление лобных пазух и надолго слег в постель; а когда выздоровел, любовь, что называется, сплыла (да, очень жаль, но она попросту сплыла), и меня перевели в выпускной класс условно, поскольку я много пропустил и надо было нагонять.

Я старался, нагонял, наверстывал, постепенно привык к новому маршруту в школу: по улицам Каролингерринг и Заксенринг, переулкам Ульрихскому, Семизамковому и Шнуровому (мимо ломбарда), кусочек сквера Мартинсфельд — до Генрихского переулка, куда я попадал теперь с другого, совсем тихого конца. Тревожный вопрос: ЧТО СТАНЕТСЯ С МАЛЬЧИКОМ? — обрел все более серьезные и обоснованные очертания. В попытках его решения, помнится, принимал живое участие и Хайнен, пока не исчез; он предлагал стезю библиотекаря, видимо несколько запамятовав о сожжении книг, да и вообще библиотекарь — разве это была не одна из самых уязвимых профессий? всю жизнь выдавать, допустим, опусы Ганса Йоста или Ганса Фридриха Блунка\*? Или подборку «душеспасительных» очерков Гейнца Штегувайта? Но хотя карьера библиотекаря была мною решительно отвергнута, в семье прочно укоренилась мысль — не помню уж, кто именно первым ее высказал, —

что мальчику обязательно нужно подобрать «КАКОЕ-НИБУДЬ ДЕЛО ПО КНИЖНОЙ ЧАСТИ». Жаль, конечно, что при «нынешних обстоятельствах» его никак нельзя было увлечь теологией.

Тем летом вскоре после переезда, повлекшего за собой уже привычный домашний хаос (новые шторы для больших окон, распределение комнат, снова и снова бесконечные и бесполезные обсуждения семейного бюджета), я в одиночку совершил на велосипеде нечто вроде познавательного путешествия в Бамберг — через Майнц, Вюрцбург, Шпессарт и Штейгервальд; ну, а поскольку сочетание юношей из гитлерюгенда и девушек из СНД\* на молодежных турбазах мне глубоко претило, отец снабдил меня подорожным письмом в колпингские общины\*. У него, как одного из ветеранов колпингского движения, были давние связи с кёльнским отделением; таким образом я был обеспечен дешевым ночлегом и завтраком, а заодно имел возможность познакомиться с делами и бытом «колпингских братьев» и благодарно принимал из рук южносмецких монахинь кофе и хлеб, молоко и суп. Майнц — широкобедрый романский собор из красного песчаника — понравился мне куда больше его знаменитого кёльнского собрата, мне и в Кёльнс-то ссрый камень романских церквей всегда был как-то родней. Отец ведь был замечательным знатоком кёльнских церквей и музеев. А Вюрцбург для меня, выросшего в абсолютно небарочном городе, был неприятен и чужд одновременно: совершенно иной мир — и не только из-за церквей и дворцов, но и из-за «Разбойничьей банды» Леонгарда Франка\*, которой мы все зачитывались и призрак которой, казалось, «вита» над городом. В Бамберге меня неприятно поразила холодная надменность святого Генриха\*, к образу которого я, собственно, и совершал свое паломничество; он, чей лик висел в ту пору над кроватью либо письменным столом чуть ли не каждого молодого немца, показался мне слишком уж холодным — умным, прилежным, но и холодным, взгляд его ничуть меня не согрел: вернувшись домой, я снял этот лик со стены и засунул в ящик. Он, этот истовый набожный католик, показался мне — иначе не скажешь — «слишком протестантом», а уж кем-кем, но КАТОЛИКАМИ мы хотели остаться во что бы то ни стало, наперекор всем тяготам, невзгодам и собственным проклятьям, вот почему прочитанная в конце 1936 года «Кровь бедняков» Блуа подействовала на нас как взрыв бомбы, не столь, правда, мощный, как, скажем, бомба Достоевского, но по произведенному впечатлению схожий с ней; плюс пожарник Честертон — согласен, весьма странная смесь,

в которой немецкая литература, даже подзапретная и официально преданная анафеме, почти никак не участвовала. Разве что «Будденброки» слегка, краешком, но Тухольского, к примеру, для нас считай что не было; Кестнера \*, правда, мы знали: луна в сфрейторской пуговице. Но вообще-то все прочее означало для нас «Берлин», а Берлин мы не слишком жаловали, особенно после того, как там обосновались нацисты; это несправедливо, я знаю (кое-чему за это время я все-таки тоже научился).

Для старших классов в ту пору ввели новшество: летние школьные лагеря. Два старших класса из разных школ проводили вместе три недели на молодежной турбазе, дабы лучше познакомиться друг с другом и с «жизнью страны»: вместе слушали лекции и доклады, вместе маршировали и занимались спортом. На первом таком лагерном сборе, в Цюльпихе, я пробыл полную смену, мы были там вместе с таким же классом из католической школы св. Алоизия; милый и образованный священник, отец Хуберт Бехер, как мог, старался смягчить нашу лагерную жизнь; в этом «краю Меровингов» мы маршировали по унылым свекличным полям — римские руины, дух Хлодвига \*... Другой лагерный срок — не помню уж, последний или предпоследний — в Обервезеле, мне удалось «замотать», буквально выбив из нашего домашнего доктора какую-то очень солидную медицинскую справку. А еще один — в Дудвайлере под Фельклингеном, что на Сааре, я отбыл лишь наполовину; там воинствующий и крикливый боевой дух гитлерюгенда уже настолько возобладали, что нервы мои не выдержали, и я попросту уехал домой. В Дудвайлере у нас была встреча с поэтом Иоханнесом Кирхвенгом; чувствовал он себя (так, во всяком случае, мне показалось) не слишком бодро, ему в этой атмосфере — а под атмосферой я имею в виду всю эту нацистскую чушь, включая пресловутое «обратно в рейх»\* — было явно не по себе. Он был довольно симпатичный, этот Иоханнес Кирхвенг, сын рабочего, католический священник, и вид у него был усталый и грустный, наверно, он сам не слишком верил своей новоиспеченной славе и предчувствовал, что славой этой вскоре злоупотребят; он читал нам отрывки из своего автобиографического романа — описание тяжелого труда своего отца, стеклодува; состариться, как я сейчас понимаю, он не успел, ровесник века, он умер в 1951 году, значит в ту пору ему было лет 35—36, не больше. Но мне он почему-то запомнился глубоко пожилым человеком, почти стариком, симпатичным и уставшим от жизни (в этой связи мне сейчас пришло в голову, что Генрих Лерш в романе «Удары

молота» тоже пишет о своем отце и его тяжком кузнечном ремесле). В пивнушках Дудвайлсера и Фельклингена рабочие шепотом жаловались нам, что вместо прежних пяти пфеннигов за французскую папиросную бумагу «Риц-ля» им приходится платить по пятнадцать за немецкую «Гецце», но они, ясное дело, никакие не французы, конечно же они самые что ни на есть немцы, и вообще, хотя все-таки... Фельклинген, заводы Рехлинга, и забастовки, и вообще неплохо бы нам разок заглянуть в литейный цех. Ничего радостного, а тем более дружеского в этих разговорах не было: скудость, бедность и затхлый католицизм во всем и на всем, плюс к тому — отнюдь не только из-за папиросной бумаги — оттенок горького сожаления, высказываемого негромко, только шепотом.

А вечерами по всей турбазе бушевало победоносное гитлерюношество, грозя нам — мне и моему другу Каспару Маркарду — расправой за то, что мы наперекор «Хорсту Весселю»\* неизменно затягивали: «Когда везде и всюду неверные сердца, один с тобой пребуду до самого конца»\*. У меня просто сдали нервы (что нередко случалось со мной и после) — по-моему, это называют «повышенной ранимостью», а может, я уже из обыкновенного одиночки превращался в чудаковатого затворника? Словом, я просто-напросто уехал домой, спсдасмый все тем же горьким предчувствием. Да, мы затягивали «Когда везде и всюду неверные сердца...», и я писал не только любовные стихотворения, но и стихотворения о рейхе, читал Стефана Георге\*, которого даже краем помыслов не числил в нацистах. Каспара М. за его политические (их объявили «коммунистическими») высказывания и «происки» вытурили из брюльсской гимназии, после чего благополучно приняли в нашу школу.

## 16

Не забудем: нас несло навстречу войне. Я раздобыл себе Барбюса и Ремарка, Барбюс понравился мне гораздо больше. В школе — так, во всяком случае, мне казалось или только сейчас, задним числом, кажется — ни следа не осталось от былой строгости, даже суровости, которая подобала учителям по отношению к воспитанникам; разногласия, если они возникали, были теперь разногласиями между младшими и старшими, но *взрослыми* людьми, в них была серьезность и исчез оттенок школярства. Считавшийся особенно строгим, овсянный орсолом войны, но никогда о войне не рассказывавший учитель математики Мюлленмайстер (за свою фамилию и предмет он получил у нас прозвище ММ) оказался на поверку самым добрым: в течение последнего учебного года он почти в открытую перерешал с нами все задания по алгебре и геометрии из экзаменационных би-

летов. За год до этого почти треть класса, пять или шесть человек, были оставлены на второй год — может, к выпускным экзаменам наш класс хотели подвести особенно «крепким», не знаю; как бы там ни было, нас осталось тринадцать — тех, кто жаждал доказать свою зрелость. Эти последние летние каникулы и последняя школьная осень запомнились мне своей тоскливой нескончаемостью, — казалось, они тянулись вечно. В них уместились не только мое познавательное паломничество к Генриху II в Бамберг и не только обычная предэкзаменационная лихорадка, когда мы, пользуясь справочниками цитат как некоей путеводной звездой, пытались предугадать, какие именно греческие и латинские тексты будут на сей раз выбраны для экзаменов. Были ведь еще и Олимпийские игры \*, увенчавшиеся небывалым и гнетущим пропагандистским успехом нацистов в стране и за рубежом, и мы своими глазами видели на Кёльнском стадионе — но это уже во время послеолимпийской недели — абсолютно неарийских чемпионов Олимпиады Джесси Оуэнса и Ральфа Мэткафа, который перед стартом перекрестился! Это ж надо: олимпийский чемпион — католик и к тому же негр!

Тем летом мой друг Каспар Маркард стал брать меня с собой к священнику Роберту Гроше, который, предпочтя деревню городу, переселился в местечко Фохем под Брюллем и раз в неделю устраивал там нечто вроде «семинара» для маленькой группы учеников-энтузиастов. Гроше — классический тип рейнландца, классический тип образованного аббата, переводчик и знаток Клодсля, первый *подлинно* экуменический священник в Германии, но *при этом* очень римский; его кабинет-библиотека, битком забитая книгами, всегда в сизых облаках дыма его трубки, — словно экзотический остров, который захватывал, но и страшил мое воображение; мы беседовали о «богоизбранности иудеев», смотрели и брали почитать книги — Гроше, среди прочего, был еще и издателем рекомендательного каталога новинок для кёльнских книжных магазинов, — это были забываемые и незабытые вечера. Гроше — очень западный, но в то же время очень немецкий, даже с неожиданной примесью национализма — был до мозга костей католик, остроумный, чуть надменный и очень мужественный. Мы-то были уверены: вот уж кто «прирожденный» кардинал и всенепременно будущий архиепископ Кёльна. Но нет, когда умер Шульте, его сменил Фрингс, да, Фрингс. Возможно, Гроше казался Риму слишком самостоятельным, не исключено, что и слишком образованным, а насколько он устроил или не устроил бы нацистов, мнение которых по условиям конкордата тоже учитывалось при назначении, так и осталось загадкой. Небольшой спекулятивный экскурс за пределы 1937 года все же себе позволю: если бы после 1945-го вместо Фрингса кардиналом и архиепископом Кёльна



был Гроше — Гроше, который, конечно же, остался бы на стороне ХДС, наряду с Аденауэром стал бы ключевой фигурой во всем немецком послевоенном католицизме, — что тогда? Думаю, многое могло бы повернуться иначе. Не рискну утверждать, что непременно в лучшую сторону. Еще тогда, по дороге домой, на трамвае по предгорной линии или на велосипеде, вспоминая его роскошный и уютный кабинет, полный книг и табачного дыма, я испытывал какое-то тоскливое смущение: мне было немного не по себе от этого преизбытка надменной учености с легким ароматом утонченного национализма и слабым, но несомненным привкусом буржуазности. Да, у него и с ним было очень интересно, и все же это было не то, что я искал.

У нас в семье процесс разбуржуазивания шел полным ходом, так что кабинет Гроше с его академической атмосферой, стопками журналов и книг, самый этот воздух, пресыщенный образованностью, которая утешением изливалась на нас во время лекций и докладов, организованных Академическим союзом католиков, — все это, разумеется, не только делалось с благими намерениями, но и было благом — и все же оставалось чуточку чужим; я знал, а вернее сказать, смутно чувствовал: все это не для меня.

Дома же отнюдь не всегда царили мир и покой, да и не могли царить в той взрывоопасной смеси из остатков мелкобуржуазного бытия, богемных замашек и пролетарской гордыни, которые столь причудливо сочетались в нашей семье, мы действительно не принадлежали ни к какому классу, и нас это ничуть не угнетало, наоборот, только подстегивало нашу заносчивость, порождая нечто вроде собственного, совершенно особого «классового самосознания». И конечно, конечно же, несмотря ни на что и вопреки всему, мы были католиками, — неисправимыми и закоренелыми католиками. Тут уж было не до «вонючей» невозмутимости «*sub specie aeternitatis*»<sup>1</sup>. Мы жили «*sup specie actatis*»<sup>2</sup>. Не помню уж точно и снова боюсь погрешить против синхронизации, но, по-моему, именно в то лето мы, сами того не ведая, чуть не стали наркоманами, пристрастившись к первитину, — во всяком случае, моя мама, моя старшая сестра Мехтильда и я; других членов семейства это, слава богу, как-то обошло. Брат нашего приятеля-медика рассказал нам об «этой штуке», которую у них в госпитале «подсыпают в кофе» особо «злостным больным», дабы побудить их к добровольной выписке; видимо, «штука» оказывала соответствующее действие, и мы ее купили. В ту пору упаковку с 30 таблетками

---

<sup>1</sup> «С точки зрения вечности» (лат.).

<sup>2</sup> «С точки зрения века» (лат.). Здесь: мы жили вском, жили своим временем.

этого снадобья — сегодня это одно из самых сильнодействующих и строго контролируемых тонизирующих средств — можно было запросто купить за 1,86 марки без всякого рецепта в любой аптеке, что мы с успехом и делали: эффект был поразительный, возникало состояние эйфории, — а немножко эйфории нам как требовалось! — причем снадобье «брало» резче и как-то аскетичней, стерильней, чем алкоголь, я бы сказал, оно было стерильней спирта. (Я принимал его довольно долго, еще и во время войны; когда его перестали продавать без рецептов, я разживался рецептами у своей приятельницы, очаровательной молодой дамы, которая работала ассистенткой врача; слава богу, в один прекрасный день мои запасы иссякли, а пополнить их было нечем, и мне пришлось отвыкнуть, — это было опасное снадобье, один из наших лучших друзей пал его жертвой.)

Снова и снова нам отключали электричество, это было худшим бедствием для столь жадной до чтения семьи: свечи были дороги и сгорали мгновенно, а матери за очередное посягательство на пломбы электросчетчика объявили столь строгое и последнее предупреждение, что эти манипуляции пришлось бросить. Именно в то время «уют» в доме Гроше, этот узаконенный, благополучный, приветливый уют стал вызывать у меня чувство неприязни.

## 17

Провалиться на экзаменах не хотелось, подвергать свой будущий аттестат зрелости слишком большому риску — по многим соображениям, прежде всего ввиду плачевных финансовых дел нашей семьи — было бы с моей стороны безответственно, к тому же школа мне уже просто надоела. Пора было с ней кончать и окунаться в тот потоп, что ждал нас впереди. В разгар подготовки к экзаменам — еще одна маленькая сенсация: в тот год нацисты сократили программу обучения в гимназиях до восьми лет, но мы-то проучились от звонка до звонка все девять, так что теперь аттестат у нас, можно считать, был уже в кармане. Худшее, что нас ждало в случае провала, — это через два-три месяца вместе со следующим выпуском сдать экзамен снова, причем вероятность провалиться вторично была смехотворно мала. В самом деле, ведь это означало бы, что школа перевела в выпускной класс ученика, не способного конкурировать с теми, кто проучился на год меньше! Поскольку письменные экзамены вообще отменили, все свелось к тому, чтобы сыскать добровольцев для выборочного устного опроса по наиболее каверзным предметам, как-то латынь, греческий, математика, дабы не подвергать излишнему и напрасному риску тех, кто чувствовал себя в этих предметах не совсем уверенно. Мы открыто обсудили эту

проблему с учителями, и по совету, вернее, почти просьбе штудиенрата Бауэра я взял на себя латынь; он более или менее твердо пообещал мне, что по Ювеналу, которого мы тогда как раз проходили, на экзамене меня спрашивать не будут. Не знаю, то ли Ювенал вообще не числился в нашей школьной программе, то ли Бауэр уже тогда распознал его актуальность и именно поэтому так подробно нам его растолковывал: как-никак, этот Ювенал весьма обстоятельно расписывал безнравственность произвола и деспотии, коррупцию, упадок политических нравов, закат республиканской мысли,—плюс к тому несколько «30 июня», инсценированных преторианцами, и намеки на Тигеллина \*. Я не искал специально, но случайно нашел на букинистическом развале сборник переводов из Ювенала с подробным комментарием 1838 года издания; комментарий по объему почти вдвое превышал текст, это было захватывающее и познавательное историко-культурное чтение, к тому же благодаря романтической выпренности весьма забавно. Толстенный и довольно дорогой том вообще-то был мне не по карману, тем не менее я его купил, и это одна из очень немногих книг, которые я сумел сохранить во время войны и после войны *не* отнес на черный рынок. (Тогда — еще один запретный экскурс в 1945 год — объявилось целое сословие нажившихся на войне спекулянтов, у которых было абсолютно все, кроме книг, для интересеров их шикарно обставленных квартир им срочно требовались книги, и мы потихоньку спустили все, что, как мы знали, будет издано снова: за первое, сигнированное издание «Буддсброкков», к примеру, мы отхватили очень приличную сумму.) Но Ювенала я сохранил! Для экзаменов он мне был не нужен, пользоваться переводом было ниже моего достоинства абитуриента, я только прочел, вернее, проглотил комментарий: он читался как детектив! На греческом мы проходили «Антигону», тут комментарий вообще не требовался, все было понятно и так, меня, как уже было сказано, раздражала только нудная медлительность наших темпов на уроках (ах, эти сгорбленные тоскою спины одноклассников, которым зачем-то непременно было нужно окончить классическую гимназию! Чего ради, спрашивается?), и я, подгоняемый нетерпением, садился дома за стол и, обложившись словарями, переводил самостоятельно. Изредка — в порядке замены — у нас вел уроки Герхард Небель, чей приход всегда вносил в занятия дух оживления и освежающий сквознячок анархии; от него я впервые услышал о братьях Юнгер \*. Поговаривали — очевидно, так оно и было, что его перевели к нам в школу за какую-то провинность. Среди прочего он преподавал также гимнастику и бокс, ни в том, ни в другом я не участвовал, но помню, как он вполне откровенно объяснял нам, что введением бокса в школьную программу мы обязаны тайной англома-

нии нацистов. Вот такая у нас была школа; через несколько лет нацисты ее расформировали, и это тоже достаточно красноречиво говорит в ее пользу.

Мы демонстративно принимали участие в мужских паломничествах «Кёльнских братьев»\*, от площади Сепного рынка до Калькской часовни и обратно, под пристальными неодобрительными взглядами, в сопровождении шпиков.

В качестве скромной эпитафии не могу не упомянуть здесь нашего друга Ганса Шт., который пал жертвой одной из первых кёльнских бомбежек. От него нам достался в наследство бобровый воротник. Это был наш последний, самый сокровенный запас на черный день: когда приходилось совсем туго и заложить было уж вовсе нечего, бобровый воротник сдавался в ломбард и приносил нам две марки, а две марки — это означало три билета в кино и две пачки сигарет или, если без сигарет, четыре билета в кино или на концерт; в кино же мы ходили часто: там было темно, и даже нацисты сидели тихо, ничем не отличаясь от прочих смертных.

## 18

По всем приметам наше школьное времечко тихо-мирно шло к концу, все договоренности с учителями по поводу предстоящих экзаменов были заключены. Когда для записи в будущие аттестаты потребовалось заполнять графу «профессиональные склонности», выяснилось, что наш класс первым если не в истории человечества, то в истории школы не даст миру ни одного теолога. Между тем наша школа, по традиции, была исправным поставщиком боннских духовных семинарий, которые в просторечии именовались «ящичками». («Играю в ящик».) В том, что ни один из нас туда не пошел, вряд ли виноваты нацисты, ибо следующий класс исправно «поставил» свою долю. И надо же такому случиться, что именно в нашем классе уроки закона божьего увенчались отнюдь не мирным, скорее плачевным концом. Разумеется, среди моих одноклассников, состоявших в гитлерюгенде, в СА и СС, были не одни только поверхностные оппортунисты, нет, среди них были и верующие, одинаково искренне верующие и как нацисты, и как католики, что неминуемо вело к внутренним конфликтам, которые порой даже открыто обсуждались: послушание, День матери, который наш учитель религии, можно сказать, вполне убедительно в теологическом смысле похоронил, а поскольку он был человек неглупый и с юмором и ни в малейшей степени не был оппортунистом, между нами установилось нечто вроде взаимного «скептического доверия»: мы все знали, что к чему, и хулиганские выходки с нашей стороны случались столь же редко, как с его стороны жалобы на нас

в дирекцию. Но это здание взаимного доверия рухнуло в один миг, вернее, за один урок, на котором он — то ли посчитав это своим долгом, то ли подчиняясь требованиям школьной программы (думаю, второе ближе к истине, поскольку делал он это через силу и в муках) — решил заняться нашим сексуальным просвещением. Не исключено, что урок на эту тему значился в гимназической учебной программе еще года эдак с 1880, во всяком случае, не думаю, чтобы мы тогда нуждались в сексуальном просвещении больше, чем, скажем, сегодняшние выпускники 1980 года. Как бы там ни было, он за это дело взялся; он нас просвещал: багровея от стыда, упорно не поднимая глаз, он доводил до нашего сведения тот факт, что существуют два противоположных пола, — все это очень скромно, сдержанно, ни в малейшей мере не смешно, так что мы еще вполне были склонны простить ему эту ритуальную повинность, которую он отправлял с таким истовым и мучительным усердием. Но потом наступил катастрофический момент, когда он, пытаясь объяснить нам что-то про половые органы и их функции, заговорил о «клубнике со сливками»; младшему из нас было восемнадцать, старшему двадцать два, и мы выросли в городе, который славен не только своей святостью, но и своей столь же богатой традициями и представленной в столь же щедром и разнообразном ассортименте проституцией. Если во время менее впечатляющих пассажей его лекции, сквозь которые он продирался через стыд, заиканис, пунцовость щек и смеженные веки, мы еще кос-как крепнулись, то уж тут класс, что называется, грохнул — цинично, подло, зло, почти убийственно: даже самых прожженных из нас (а были, разумеется, и такие) потрясла непристойность этого сравнения, в котором мы справедливо усмотрели и поругание нашего интимного личного опыта, сколь бы «грязным» он ни был, и одновременно блудливую апелляцию к нему. Месть наша была ужасной: пять самых похабных анекдотов, «классифицированных» по ключевому слову, были пронумерованы, номера и ключевые слова выписаны на доске, и во время последующих, к счастью, немногих уроков закона божьего достаточно было кому-нибудь назвать число, как весь класс, вспомнив соответствующий анекдот, покатывался от смеха; признаюсь, я не только хохотал вместе со всеми, но и лично принимал участие в отборе анекдотов и их классификации; не в силах постичь секрет нашей жуткой забавы, изощренности которой я и сам до сих пор поражаюсь, учитель старался не терять чувства юмора, хотел приобщиться к нашему веселью, подходил к доске, громко — о боги! — зачитывал ключевые слова и цифры, недоуменно глядел на нас и спрашивал, чему мы смеемся, — словом, это было ужасно: мы творили расправу над абсолютно невинным человеком, но, видимо, не следовало доверять этой святой невинности задачу

сексуального просвещения выпускников. Что угодно, только не эта «клубника со сливками», которая оскорбила всякого, независимо от степени его «просвещенности», любые гастрономические сравнения в этой «сфере» заведомо ужасны. В качестве дополнительной отместки некоторые из нас приносили теперь с собой бинокли и во время урока разглядывали не вполне корректно одетых дам, что высовывались из окон своих кухонь или развешивали на задворках соседнего Перленграбена нижнее белье, постоянные предметы юношеского любопытства, и при этом вслух комментировали результаты своих наблюдений, расписывая женские прелести и нижние юбки — бюстгалтеры в ту пору еще не получили столь широкого распространения.

Если я задним числом вынужден констатировать, что от уроков музыки и рисования в моей памяти *почти ничего* не осталось, то вовсе не хочу винить в том учителей: это обидно, горько, и я до сих пор жалю, что эти уроки пропали для меня «зазря». Наверно, все дело в том, что «общественный статус» этих учителей, преподававших так называемые «неакадемические» предметы (ох, уж эта мелочная немецкая страсть все раскладывать по полочкам), внушал и им, и нам комплекс неполноценности. Как бы там ни было: об этих уроках в памяти не осталось *почти ничего*.

В декабре я начал рассылать запросы в книжные магазины, чтобы найти место ученика продавца: они писались от руки, с обязательным приложением фотокарточки и копии аттестата, которые сделала и заверила у нотариуса моя сестра Гертруда. Все это стоило денег и, кроме того, лишило меня иллюзий: стало ясно, что «Рабочего фронта» \* мне уж точно не миновать. А я-то мечтал о тихой, не слишком большой книжной лавочке, и чтобы хозяин по меньшей мере не был нацистом. Но найти место ученика оказалось непросто (какое уж там экономическое чудо!) — и тем не менее подходящая лавочка, как ни странно, нашлась, тихая, не слишком большая и даже ничуть не нацистская. (Наоборот, ни сам хозяин, ни кто-либо из служащих не были из этой породы, и я даже нашел там настоящего друга.) Что до выпускных экзаменов, то они оказались почти формальностью; началось все в восемь утра, а где-то между часом и двумя все мы уже отделались. По алфавиту я шел первым, получил отрывок из Цицрона, все непонятные слова учитель мне разъяснил, и я благополучно сдал; меня спросили по биологии (по положению биологию сдавали все), я отбарабанил менделевские законы \*, нарисовал на доске соответствующие красные, белые и розовые круги. К половине девятого я уже отстрелялся. Потом, после экзамена, мы, как договорились, встретились в условленном кабачке, выпили пива — и дело с концом. На выпускной вечер я не пошел, мой брат Альфред, у которого в этот день была встреча вы-

пускников его класса, получил за меня мой аттестат и принес его домой. Я и по сей день размышляю над тем, что производство разноцветных школьных мелков в ту пору несомненно должно было пережить небывалый подъем: в скольких тысячах школ сколько сотен тысяч учеников рисовали тогда на классной доске — и не только во время выпускных экзаменов — менделевскую розу?

# Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда



Дорогой Рене, дорогой Винсент,

если в том, что я здесь пишу, вам почудится или послышится маленький налет героики выживания или восстановления — перечеркните это, высмейте, комментируйте зло и сдко, но поверьте, мне чужд лсайтмотив старшего поколения, которое во что бы то ни стало хочет объяснить молодежи, как тяжело было «нам» и как легко живется и жилось ей. Ах, эти жизнерадостные любители «засучивать рукава», они все еще их засучивают, снова и снова засучивают, и сейчас тоже — я пишу между 8 и 13 мая 1984 года, — когда пресловутый закон об амнистии вызывает громкий восторг совсем уж прожженных (один из них несколько дней назад кричал в Штутгарте: «Деньги, деньги, деньги!» — и в его крике явственно слышалось: «Деньги гони!»), совсем уж прожженные как раз засучили рукава, чтобы основательно вывернуть наизнанку Федеративную республику.

Нет-нет, не поддавайтесь этому внушению, вам не легче, чем было нам. В последнюю войну еще можно было выжить, и я хочу попытаться описать вам это: описать, как мы пережили **ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ**. «Рассказывать» — это опасное занятие, в «рассказчике» всегда таится бахвал: хвостун, который-де, в сущности, был героем или по меньшей мере мучеником.

«Одиссея» тоже полна бахвальства, хвастовства, а то, что я хочу вам описать, — маленькая одиссея. «Рассказал» я о войне достаточно, вы можете это почитать, в том числе и то, что я сам пережил; кос-что мне сегодня кажется изрядно выпревшим, очень «литературным»; читайте со снисходительностью, и если вы там — как и в этом письме — найдете, что в написанном слышится жалоба, тогда это может быть жалоба только на германский рейх, на его руководителей и его обитателей, но никогда ни на одну из держав-победительниц, то есть и не на Советский



Союз. Кстати, у меня нет ни малейшего основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в «природе всцщей», которая в данном случае зовется войной, и я всегда понимал: нас туда *не приглашали*. Так уж водится на войне, там стреляют; были там и «катюши» и тому подобное; случается на фронте — ешь и пьешь что попало, а когда от жажды чуть не сходишь с ума (этим *опытом* я хочу поделиться с вами: жажда хуже голода), пьешь даже из луж, забывая всякие предостережения насчет бактерий, микробов и т. п. Я не стремился попасть в советский плен — вы можете судить об этом по тому, что с осени 1944 года я держался «западного направления», хотя меня охотно послали бы снова на «восточное». Для этого мне пришлось немножко помочь самому себе. Солдатам — а я был солдатом — следует жаловаться не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну.

Давно уже я задумал небольшую работу, для которой пока не нашел времени: «Солдат в сказках», в том числе и у Гриммов. Королям, и кайзерам, и всяким «главнокомандующим» в них всегда достается. Во всех сказках подчеркивается их гнусность. В этом сказки куда реалистичнее, чем большинство военных романов, где гнусность всяких «главнокомандующих» обычно остается без внимания, на переднем плане почти всегда «враг» — чей враг? Если мне ниже придется как-то коснуться плена, следите за тем, чтобы я не жаловался на американскую или британскую армию. После войны, после такой войны, я ожидал наихудшего: десятилетий принудительного труда в Сибири или в другом месте; а все оказалось не так уж страшно, если вы учтете, какое разорение причинила война, а также учтите, что без немецкого вермахта, в котором я служил, ни один концлагерь и года не продержался бы.

Вы должны также знать, что смертность в немецких лагерях для советских военнопленных составляла 57,8%, это означает три миллиона триста тысяч мертвых *военнопленных*; смертность среди немецких военнопленных в Советском Союзе — от 35,2 до 37,4%<sup>1</sup>, то есть от одного миллиона ста тысяч до одного миллиона ста восьмидесяти пяти тысяч. В первую мировую войну смертность среди русских военнопленных в Германии составляла 5,4% и тоже была больше, чем среди военнопленных из других стран — 3,5%. Смертность советских военнопленных во вторую мировую войну была в *десять* с лишним раз выше, чем в первую. Вы обратили внимание? Это было УНИЧТОЖЕНИЕ, главное занятие нацистов. УНИЧТОЖИТЬ Советский Союз им все же не удалось, все-таки кое-кто выжил и уцелели кое-какие

<sup>1</sup> В источнике, которым располагал автор, цифра завышена.—  
*Прим. ред.*

дома, в которых можно было жить. Также не удалось нацистам уничтожить Германию, где тоже кое-кто выжил и кое-какие дома уцелели.

Как выжить в условиях УНИЧТОЖЕНИЯ и ХАОСА в среде, где каждый мог быть доносчиком, но, к счастью, не каждый им стал? Читайте отчеты, статистику, документы о Советском Союзе и последствиях войны, все, что я не могу здесь перечислить. Более пяти миллионов поляков было убито, из них девять десятых — гражданское население, в Югославии соотношение между гражданским населением и солдатами — три к одному. Не пренебрегайте статистикой, пусть она порой и бывает неточной или «приблизительной» — кто же в состоянии посчитать и перечислить всех, всех мертвых?

Цифры, если понять, что за ними стоит, приобретают ошелмляющую *наглядность*. Еще одну цифру я хочу привести: из 55 миллионов убитых в Европе 40% — граждане Советского Союза.

С чего мне начать, если я хочу не «рассказать», а только информировать о том, как мы пережили ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ? Лучше всего начать со смерти моей матери — она умерла 3 ноября 1944 года в Арвайлере, когда я лежал в госпитале в Бад-Нойенаре. В госпитале? Не беспокойтесь, я не был ни болен, ни ранен, незадолго до этого меня перевели из Арвайлерского госпиталя в Дрезден, там выписали, отправили обратно в Арвайлер, а по истечении моего отпуска, я, дабы снова стать пригодным для госпитализации, опять немножко помог себе — с помощью снадобий, полученных от одного и поныне здравствующего кельнского врача. После похорон матери мы покинули, кажется 7 или 8 ноября, гостиницу в Арвайлере; вероятно, смерть матери спасла нам жизнь: через несколько дней после нашего «переезда» гостиница была полностью разрушена, прямым попаданием бомбы. «Переезд»? Нет, не хочу и пытаться описать его. Это был бы приключенческий роман, а приключенческих романов предостаточно. Важно только одно: водитель грузовика остался в нашей памяти как «святой»: терпеливый, мягкий, дружелюбный.

Мы поселились у Марии, Алоиза, Марии-Терезии, Франца и Гильберта в Мариенфельде, там, где похоронен ваш маленький брат Кристоф. Новое прибежище приветствовало нас в духе времени: на соседнюю деревню упали первые за всю войну бомбы. Не буду говорить о жилищных условиях и снабжении. Все это достаточно часто описывалось. В одной пристройке шестеро взрослых и трое детей. Мой отец — ему было уже почти 75 лет — все еще любил сигары. Нашим единственным надежным «табачным источником» был польский военнопленный, который

работал в соседнем доме в столярной мастерской. Его звали Тони, по одежде и манерам он выглядел настоящим аристократом.

У нас было одно-единственное желание, то желание, которое доводило до белого каления еще Старого Фрица \*: мы хотели жить, пусть не вечно, но хотя бы еще некоторое время, мы хотели пожить без нацистской чумы.

Сколько романов потребовалось бы, чтобы описать время с 3 ноября 1944 года до апреля 1945-го? Примите во внимание, что рейхсминистра внутренних дел звали Гиммлером и что Гиммлер после 20 июля \* стал главнокомандующим резервной армии, *моим, нашим* главнокомандующим. Внутриполитический террор между 20 июля и окончанием войны еще не описан, он должен стать темой исследования Института современной истории.

У нас было лишь легкомысленное желание — пережить этот террор, и еще было чувство голода; надо было кормить девять, временами десять, одиннадцать человек. Расспросите Аннемари, вашу мать, при случае порасспрашивайте ее как следует: она вязала перчатки, которые вызвали бы восхищение в любом «салоне мод», и получала за это полведра подгнившей картошки. Зима была холодной, как все военные зимы. Почему *все* военные зимы в нашей памяти *холодные*? Не знаю, какими были на самом деле метеорологические сводки. Что еще нам оставалось, как не попрошайничать и красть? Крали только дрова — в соседнем лесочке женщины рубили деревья, стоя по колено в снегу, по строгим указаниям вашего дедушки, он потом профессионально распиливал их на кухонном столе в заселенной девятью человеческими пристройке, предварительно наточив — столь же профессионально — пилу. Вы когда-нибудь слышали звук, с каким зуб за зубом натачивается трехгранным напильником пила? Дерево из лесочка сырое, бумаги мало; каково было вашему деду разжечь огонь? — а он непременно делал это сам. Наша пристройка когда-то служила «пасторским зальцем», забраться туда можно было только со двора по приставной лестнице, в кладовке хранились шесты, служившие во время праздника тела Христова и других процессий для транспарантов. Дерево сухое, размер шеста идеальный. Мы называли их «пастырями» — в память о том, что на одном из транспарантов, которые несли на процессиях праздника тела Христова, было начертано: «Хайль нашему пастырю». Порой приходилось в темноте тайком доставать из закровов такого «пастыря», распиливать по размеру печи и раскалывать его, и мы часто задавались вопросом, хватит ли нам «пастырей» до конца войны (позднее, в лагере для военнопленных, когда приближался праздник тела Христова, я беспокоился, что случится, если жители деревни обнаружат нехватку своих «пастырей»!). Но и сухими пастырскими дровами, и клочками бумаги не растопить печь; нужны спички

или зажигалка, а у нас не было ни того, ни другого. И потому ваш дедушка темными зимними утрами стоял с шести часов перед дверями дома и ждал, пока удастся запалить скрученную бумагу от чьей-нибудь зажигалки; он ругал крестьян, которые, по его понятиям, вставали слишком поздно; всю свою жизнь он привык вставать между половиной шестого и шестью часами — и идти к мессе.

Ваш дядя Алоиз, из ранних бунтарей, имел понятную, но опасную склонность то и дело отлучаться без разрешения из своей части, что могло бы быть истолковано как дезертирство. Официально он «служил», то есть ничего не делал, в Кёльн-Мюльсгейме, в недоброй памяти (также и для меня) Хакстойерской казарме. Он раздобыл велосипед и прикатывал, взмокший от пота и обессиленный, через Мух в Марисенфельд. В результате к нам несколько раз навевывались полевые жандармы (именуемые «цепными псами»). Полевая жандармерия — это было смертельно опасно не только для Алоиза, которого могли пристрелить за ближайшим углом или повесить на ближайшем дереве, я тоже имел основания бояться визита этих господ, потому что не всегда поспевал с подделкой бумаг. Однажды я спасся в узком шкафу, чулане для метел, в который цепные псы, к счастью, не заглянули. Кроме того, маскировкой и отвлекающим средством являлись трое маленьких детей. К счастью, мы, братья, ходили друг на друга, так что соседи никогда не знали точно, сколько тут обретаётся — один или двое. Поэтому мы и не могли при дневном свете помогать в рубке дров.

Здесь следует упомянуть добрым словом крестьянина Иоганна Петерса из Берцбаха под Мухом, без ноги, ампутированной в первую мировую войну, католика, анархиста; он не только давал нам ежедневно (!) за две ничего не стоящие нацистские военные марки два литра (!) молока, но и прятал у себя на печи двух немецких дезертиров, дал им не на одну трубку табака, который был куда дороже, чем две нацистские военные марки. О, эти молочные супы зимы 44—45 годов, может быть, именно им, именно крестьянину Иоганну Петерсу мы обязаны своей жизнью! Два литра молока ежедневно — в военную зиму. Вечерний молочный суп был единственной надежной трапезой. Доставка молока при дневном свете стала опасной для жизни — несколько раз Аннесмари с Марией-Терезисой смогли спастись от низко летящих самолетов, только прыгнув в придорожный ров.

Страх и голод, голод и страх перед немцами. Может быть, теперь вы, Винсент и Рене, лучше поймете то, что мы часто пы-

тались вам объяснить: еще и сегодня каждая из моих покупок — это покупка, продиктованная страхом; именно поэтому я то и дело покупаю слишком много хлеба, слишком много молока, яиц и масла, а сигареты по возможности блоками; может быть, вы лучше поймете, почему я не перестаю удивляться, что остаток своей жизни не провел сидя у печки, с книжкой и сигаретой; ведь как-никак я женат на прилично обеспеченной учительнице реального училища, жалованья которой, хотя и в обрез, хватило бы для нас. Сидеть у печки и читать, хоть несколько часов не испытывать страха перед «цепными псами», господином рейхсминистром внутренних дел Гиммлером и господином главнокомандующим Гиммлером с его законами и эмиссарами; вы, наверное, лучше поймете, почему даже едва уловимый дух фашизма повергает меня в панику; почему я держу свою машину всегда полностью заправленной, в кармане ношу деньги по меньшей мере на неделю и поселился неподалеку от голландской и бельгийской границы. Сумасшедший, сумасшедший, знаю.

Может быть, вы поймете также, что смелым человека делает страх, положение, в котором у него нет иного выбора, кроме как погибнуть или быть смелым, — именно страх придал мне храбрости жить по поддельным бумагам, которые я отважно менял в какой-нибудь инстанции германского вермахта на подлинные, а потом снова их поддсывал. Не воспринимайте все это, Винсент и Рене, как совет или указание — это только информация о моем поведении, которое я тогда считал «исторически» правильным, соответственно близкому *окончанию войны*, хотя историки смотрят на это совсем по-другому. Если что-нибудь потом произойдет, это произойдет для вас совсем иначе. Советы тут мало помогут.

Первую подделку я совершил ранней осенью 44 года, когда уговорил девушку, заполнявшую мне в одном венгерском госпитале выписку, оставить незаполненным место, где после «в...» указывался пункт назначения. Тем самым моя авторучка, которой я в туалете поезда вписал «в...» самый западный из еще не сданных городов — Мсц, по всей вероятности, спасла мне жизнь, ибо по правилам я должен был бы направиться на какой-то «фронтальной сборный пункт» в Дебрецен, а о том, что творилось осенью 44 года на балканском военном плацдарме, вы можете прочитать в любом историческом очерке. Из Венгрии через Арвайлер в Мсц, из Мсца через Арвайлер в Дрезден, из Дрездена через Арвайлер в Бад-Нойенар, в Мариенфельд. *Один* эпизод из этого прошлого я все же попытаюсь вам описать: когда я — должно быть, в октябре или сентябре 44 года — в Ремагене, пересаживаясь из поезда, прибывшего из Мюнхена или Вены, спускался по лестнице подземного перехода к поезду на Арвайлер, по противоположной лестнице спускалась Аннемари, ва-

ша мать, и мы встретились внизу, в туннеле! Можете вы понять, что и теперь, сорок лет спустя, у нас все еще сердце трепещет, да — сердце трепещет, когда мы проеżdжаем Ремаген?

В Марисфельд я ехал еще с подлинными документами — выпиской нойенарского госпиталя. Когда приблизился срок явки, я запаниковал, снова немножко помог себе, явился в Зигбург с повышенной температурой, и мне продлили срок; но затем и подделанная дата наступила, гражданский врач в Мухе, к которому я тоже явился с повышенной температурой, продлил подделанную дату, и она стала теперь почти «официальной» (кстати, то, что сделал врач в Мухе, было недозволено, но он это сделал). Я подделал «официально» продленную дату, опять ее просрочил, и клочок бумаги мало-помалу так истрепался, столько там было подписей и печатей, что никуда не годился. Стоит ли говорить, что мы не просто ждали прихода американцев, мы их заклинали, проклинали! А они все не шли и не шли. Стоит ли описывать наш страх, когда мой брат Алоиз предпринимал все более безумные отлучки из своей части?

Я вспомнил, что у меня был еще один козырь. Все-таки после трех-четырех месяцев пребывания в госпитале и многочисленных заболеваний дома я по правилам германского вермахта все еще был «выздоровливающим» и, прежде чем снова отправиться воевать, имел «право» — какими уж «правами» обладали при господине министре внутренних дел и главнокомандующем Гиммлере! — на «отпуск для долечивания». Ну, ввиду моего совершенно растерзанного «документа», я счел наилучшим припасть к проклятой груди подразделения, которое именовалось «резервной воинской частью» и пребывало в какой-то дыре южнее Мангсйма. Я поехал туда. Да. Поехал. Все вокзалы походили на огромные караван-сарай, кишели измотанными, раздраженными, грязными толпами с их жалким багажом: гражданские, «нормальные» пассажиры, беженцы, солдаты, военнопленные, полицейские самых разных категорий — тут у меня многое путается, и с хронологией я тоже не совсем в ладах, ограничусь лишь несколькими абсурдными, но точными деталями.

Эта резервная воинская часть располагалась в какой-то баденской «табачной» деревне, название которой я забыл. В моей роте (обычно состав роты сто с лишним солдат) было 800 человек — и вот они стоят, ворча и ругаясь, на поверке: с ампутированной рукой, ампутированной ногой, дважды ампутированные, трижды ампутированные (без обших ног и одной руки), на костылях, с самодельными протезами, ожидая назначения пенсий, увенчанные наградами, стоят в очереди за порцией сушеных овощей, на дворе январь или февраль, стужа, а шинель по-

лучают лишь значащиеся в списке KV (годные к строевой службе) или добровольно в него записавшиеся. Спят в сараях для хранения табака, из которых он предусмотрительно вывезен или конфискован; ночью протезы висят на крюках и гвоздях; все затхлое, жалкий эрцаз-кофе, черствый хлеб с капелькой повидла. Как бы то ни было, я избавился от своей раздрыганной, подозрительной бумажки, снова стал легальным; я мерз, голодал, мне пришлось ждать несколько дней, пока настала моя очередь. По вечерам в задних комнатах пивных и в крестьянских кухнях проворачивались табачные махинации; ни одной девушки нигде не видно, крики на поверке, проклятия, ругань,— о благородное отечество, как ты обращаешься со своими героями, своими искалеченными героями (см. сказки!).

Аннемари дала мне в дорогу свою чудесную, легкую и теплую красную турецкую шаль,— закутанный в красное, я привлек к себе внимание. Я сразу же записался в KV, получил шинель и — что столь же важно — подлинную бумагу. Эта подлинная бумага была «свидетельством об отпуске для долечивания» — и бесчинствующие патрули мне были нипочем. Ах, спросите Аннемари о *предшествующих* годах, о встрече в Ремагене, о неделях в Мёце, о кёльнских жилищах. Вы, наверное, теперь понимаете, какие чувства и воспоминания вызывают в нас вокзалы Ремагена, Бонна, Кёльна? Когда мы навещаем в Кёльне Коцслевых на Нойснхёфераллее, где они живут как раз напротив того дома, в котором мы, только что на рубеже 42—43 годов поженившись, пережили самые страшные бомбежки, — неизбежно и незвано приходит воспоминание: об *одном* из наших жилищ, где я ночевал то ли семь, то ли шесть или пять раз, в последний раз в ночь с 29 на 30 июня 1943 года, когда Кёльн разбомбили почти до основания.

Мне не удалось разыскать приказ Гиммлера, изданный в эти последние недели войны; приказ гласил, что каждый солдат может застрелить любого солдата, которого он встретит там, где слышно «боевой тревоги» или «шума битвы». Таким образом, каждый немец стал для каждого немца потенциальным военнопольным судом, даже когда тот, кто встретил другого «вдали от шума битвы», сам находился «вдали от шума битвы». Соответственно и число казней достигало десятков тысяч. Теперь мы знаем, что Гиммлер издал этот приказ незадолго до того, как сам попытался спастись через графа Бернадотта посредством «спаратного мира», о котором Гитлер, разумеется, ничего не ведал. Ведь гиммлеровский девиз — *верность!* Девиз эсэсовцев! Главнокомандующий пытался спастись, в то время как позади

него, перед ним, вокруг него по *его* приказу вешали или расстреливали десятки тысяч.

Германия между 20 июля 1944 года и **ОКОНЧАНИЕМ ВОЙНЫ** — это был *тотальный* террор господина министра внутренних дел Гиммлера. А по радио — вопли Геббельса. Знаете, американская армия в Европе казнила *одного* дезертира — одного, и его вдова многие годы, если не десятилетия, вела судебную тяжбу с Пентагоном. Число казненных немецких служащих вермахта точно неизвестно; известно только, что их было более тридцати тысяч. Пыталась ли хоть одна немецкая вдова, невеста, сестра, мать подать в суд на «германский рейх», или на его наследников, или на одного из выживших из ума фельдмаршалов, в сфере подчинения которого был совершен расстрел или повешение? Разумеется, я также не знаю, сколько казненных статистики протащили по графе «павшие» и, возможно, даже увековечили их имена на памятниках павшим героям войны.

Я не хотел быть одним из них. Ваш дядя Алоиз не раз был близок к тому, чтобы попасть в их число. Тсм, что он выжил, он обязан не только своему сказочному везению, но и своей жене, тете Марии, вашей матери Аннемари и в особенности вашей тете, моей сестре Мехтильде. К счастью, женщины и не подозревали, в какой опасности находился Алоиз, они шли с почти гениальной наивностью и поразительной смелостью в логова различнейших львов, скажем в Кёльн или в Энгельскирхен, и добивались для него отсрочки. Меня подмывает сказать: отсрочки казни. Чтобы описать его отлучки из части, его удачи, потребовался бы новый роман. В конце концов обнаружилось, что он страдает заболеванием почек и давно уже вполне легально должен находиться в госпитале, из которого он потом, во избежание плена, в одеянии католического священника подался через американские линии домой.

Одного дезертира, которого потом расстреляли, я знал. В небольшом селении под названием Кальдауэн вблизи Зигбурга он заговорил со мной, когда я возвращался в ряды германского вермахта; унтер-офицер с удивительной фамилией Шмиц-Клякса, тихий человек, заговорил со мной, потому что знал мое имя от Марии и Алоиза. После войны я узнал, что его расстреляли за дезертирство. Он направлялся с фронта — селение Кальдауэн находилось в 3—4 километрах от Зигбурга — навестить родителей, вероятно выпить кофе; видимо, какой-то легальный немецкий убийца схватил его «вдали от шума битвы». Тогда дело быстро делалось, никто и пискнуть не смел. В начале 50-х годов немецкие женщины тоже без всякого противодействия одобрили



переворужение. Я никогда этого не мог понять; может быть, вам это удастся.

Был я и в Майнце, в феврале 45 года. Возможно, опять в поисках подлинных бумаг, *только* — и вот этого я никак в толк не возьму из Майнца я опять поехал напрямик обратно. Во всяком случае, я был в Майнце, и, так как я ненавижу затхлые вокзальные караван-сарай, я пошел в город, — да, на самом деле, за достоверность этой истории я ручаюсь! — и вдруг увидел вывеску «Гарнизонная комендатура», зашел туда, не спрашивайте меня зачем, я и сам не знаю, может быть, я уже сошел с ума, — итак, я зашел туда, справился — надо же! — где здесь офицер трибунала, и попросил, имея в кармане поддельную увольнительную, доложить ему обо мне.

Был ли я настроен на самоубийство? Нет, я все еще был исполнен желания, которое Старый Фриц считал столь легкомысленным: я хотел жить. Офицер, майор, принял меня, и я изложил ему небольшой роман: по дороге в свою часть я узнал о смерти матери (она умерла пять или шесть месяцев тому назад) и мне необходимо на похороны, кроме того, я узнал, что наша квартира в Кёльне разбомблена (ее разбомбили полтора года назад); таким образом, мне необходимо попасть как на похороны, так и в Кёльн, чтобы спасти мою библиотеку и мои бумаги, которые в связи с предстоящей защитой диплома имеют для меня жизненно важное значение (в моей солдатской книжке в графе «профессия» было записано «студент», и офицер, конечно, не мог знать, подозревать или даже проверить, что в середине первого семестра я был призван в армию). И вот этот удивительный человек, майор, а возможно подполковник, который выглядел ужасно строгим и очень прусским, *поверил* мне или — эта мысль мне пришла в голову позднее — сделал вид, что поверил, потому что он знал, что война проиграна и хотел спасти любую жизнь. Он предоставил мне четырнадцать дней отпуска, и я опять имел подлинную бумагу и отпуск. Одно вы, вероятно, знаете, при случае имели возможность убедиться и потому это не хвастовство, а констатация: если нужно, я умсю быть довольно хладнокровным.

Одно знаю и я: эта увольнительная истекла 2 марта 1945 года, значит, в Майнце я был — не могу сказать, каким образом, — примерно в середине февраля, с шинелью.

Четырнадцать дней: это было великодушно, это была вечность — должны же когда-нибудь прийти американцы. Эти четырнадцать дней, с подлинным документом в кармане, были бы почти *безмятежными*, если бы не страх за брата, который был в большей опасности, чем подозревали женщины. В эти четырнадцать дней я поехал на велосипеде Тиллы в Кёльн взглянуть на нашу квартиру и достать на черном рынке сигареты. Но потом — потом все снова перепуталось: я действительно знаю точно, что 2 марта я стоял на Зигбургской горе Михаэль и видел, как огромная туча пыли, которая прежде была Кёльном, двигалась над равниной в сторону Зигбурга. *Так же* точно я знаю, что 2 марта истекал срок моей последней законной увольнительной справки, и я просто не помню: подделал ли я ее до того, как схать в Зигбург, или после? По всей видимости — до, ибо 2 марта я слишком легко попался бы в лапы бесчинствующих патрулей — они *без разбору* хватали солдат и подвозили в ближайшие воюющие части, то есть к пресловутому «шуму битвы».

На сей раз подделка состояла в том, что на старой пишущей машинке отца я после двойки впечатал пятерку; пятерка легла криво, шрифт тоже был другой; с такой подделкой, попадись она в руки настоящего криминалиста, я недалеко ушел бы, потом — не знаю, не решаюсь и думать об этом, — потом меня, скорее всего, застрелил бы какой-нибудь немец — законченный идиот. Не знаю, почему я после двойки не впечатал девятку; я, правда, выиграл 23 дня, двадцать три вечности, но почему я не взял 27 дней? Независимо от подделки, удостоверение и без того было не очень надежным, ведь в этой фазе войны никому не дали бы в общей сложности пять недель отпуска. Возможно, мы были уверены, абсолютно уверены, что *до тех пор* американцы, наши освободители, *непрерывно* будут уже тут.

Ну, и 25 марта американцев все еще не было, хотя они взяли Кёльн и 7 марта через Рейн двинулись на Ремаген. Ремаген! Можете вы себе представить, что значит для нас это название? Не только из-за *сказочно-неожиданной* встречи, которая у нас там произошла, но только из-за форсирования Рейна американской армией, но и потому, что с июля 43-го до ноября 44 года Аннемари почти ежедневно делала в Ремагене пересадку по дороге из Арвайлера в Кёльн, чаще всего вместе с моим отцом, который там присматривал за своим «предприятием» (дел хватало: чинить окна!). Аннемари ездила в Кёльн, чтобы уводить своих учениц в бомбоубежище. Не знаю, сколько сотен бомбежек ей пришлось пережить. (Расспросите, порасспрашивайте ее как следует. У нее прекрасная память на детали, спросите у нее, на что она жила.) Это было уже безумие, изо дня в день усиливающееся безумие.

Помню — точно не могу сказать, когда это было, — и разбомбленный Бонн, где мы блуждали с Аннемари, вероятно в поисках госпиталя, чтобы там я мог опять немножко помочь себе. На сей раз тщетно. Однажды — да, это звучит как в сказке, — однажды я побывал с моей сестрой Мехтильдой в Энгельскирхене, где Тилла опять что-то передавала для Алоиза. Низко летящие самолеты, штаб-квартира господина генерал-фельдмаршала Моделя, одного из наводивших ужас убийц, который любезнейшим образом застрелился в апреле в небольшом лесу между Дуйсбургом и Дюссельдорфом в возрасте 54 лет, двумя годами моложе своего верховного военачальника, девятью годами старше Гимmlера (да-да, Гимmlеру в 1945 году было 45 лет, подсчитайте при случае, сколько убийств приходится на каждую минуту его жизни!). На улицах орды: солдаты, беженцы, эвакуированные, уезжающие и возвращающиеся, — тому, кто хотел бы нынче снять это для кино, пришлось бы нанять сотни тысяч статистов; отступающие войска, наступающие войска — кто вообще знал, где фронт, где тыл?

Из иностранных радиопередач (слушать которые было опасно для жизни!) мы, конечно, знали, что американцы по автостраде давно продвинулись из Ремагена до Хеннефа, они стояли на реке Зиг, от которой мы жили всего в двенадцати километрах. Но у них были другие стратегические планы, они продвинулись на восток до Касселя, создали, вместе с британской армией, двигавшейся от Арнхайма, «рурский котел», куда потом загнали большую часть немецкого вермахта, — но вот до Мариенфельда они еще не дошли! А 25 марта приближалось, и подделывать больше нечего было, а без бумаг, вдали от «шума битвы», я скоренько закачался бы на виселице, как вы можете это увидеть на иллюстрациях к «Симплициссимусу» \*.

Иногда я думаю, что хаос во время Тридцатилетней войны и после нее не может сравниться с тем, что было во вторую мировую войну и после нее. Население на тех пространствах, где происходили обе войны, тем временем многократно, если не десятикратно увеличилось, возможности для хаоса значительно умножились, а нашими врагами были ведь не продвигающиеся вперед американцы и англичане, нашими врагами были великие специалисты по убийству и хаосу, один из которых назвал себя фюрером и забился в свою бетонированную башню из слоновой кости в Берлине, другой был господин рейхсминистр внутренних дел и главнокомандующий резервной армией Гимmlер плюс еще зараженные манией уничтожения подведомственные ему органы, к которым следует причислить и часть населения.

Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших «врагов» как освободителей. Один из выживших из ума генерал-фельдмаршалов потом называл это не «поражением», а «утраченными победами». Читайте это письмо не как отчет о приключениях, хотя некоторые приключенческие элементы неизбежны, читайте это как «крими», который не может быть *очень* увлекательным, поскольку ведь на главный для «крими» вопрос: схватят ли героя? — уже дан ответ: я остался в живых, и это неопровержимо. Увлекательным может быть в лучшем случае вопрос: как он ухитрился спастись?

Наступило и 25 марта, а американцы все еще не перешли Зиг и не освободили нас; можно было бы найти утешение в том, что и впечатанная после двойки девятка мало что дала бы, ибо и 29 марта они не перешли Зиг.

Выбора не было: обратно в германский вермахт. Вопрос тогда стоял так: где больше шансов выжить — в армии или вне ее? После глубокого раздумья мы решили: в армии. Вне армии без бумаг — это была бы игра опаснее русской рулетки. Но вернуться в армию — это означало расставание, снова разлуку; разлука во время войны, тем более *нацистской* войны, всегда может быть окончательной, и мало пользы от мысли, что «теперь это действительно не может долго продлиться». Ведь и после Сталинграда все это продолжалось еще более двух лет, а от немцев можно было ожидать, что и знаменитое «пять минут после двенадцати» они растянули бы до рассвета, будь у них хоть малейшая возможность.

Мы оттягивали расставание. Аннемари пошла со мной в ближайшую воинскую часть, расположенную в нескольких километрах от нас вблизи деревни Бруххаузен. Это оказался штаб: сплошь штаны с красными лампасами, нервничающий штаб, которому было не до какого-то приبلудного обер-ефрейтора, к тому же у них не было гербовой бумаги, чтобы заменить мою одиозную бумажку на легальную. Меня направили в деревню Бирк на трассе Зигбург — Мух, снабдили походным пайком, в который входили хлеб, колбаса, маргарин, сигареты, и мы продлили расставание, устроившись где-то в стороне от дороги между Бруххаузеном и Мариенфельдом и уничтожив мой походный пайк — голодны мы были оба и ваша мать была беременна. Аннемари прошла со мной дальше, до Муха, всю длинную дорогу под гору, которую она затем должна была продать обратно в гору, и там, на перекрестке внизу в долине, где толпы гражданских и солдат текли, иногда сливаясь, друг мимо друга, мы и расстались. Вся Германия была в движении, а у меня в карма-

не была ничего не стоящая, подозрительная бумажка. Да. Разлука. Я не описываю ее. Как мне описать четыре десятка, а то и сотню разлук? В Кёльне, в Арвайлере, в Марисенфельде и еще бог знает где, в Меце, в Бише, в Сент-Авольде и еще бог знает где.

Я побрел дальше, в направлении Бирка, с совершенно не соответствующей уставу палкой в руке, которая заставила проезжающего мимо офицера полевой жандармерии остановиться и строго напомнить мне, что это недостойно немецкого солдата. Я был слишком подавлен, чтобы хотя бы прикинуться смущенным, объяснил ему, куда еду, и он приказал мне сесть в машину; он был строгой, официальной повадки, и я боялся — все-таки офицер полевой жандармерии, — как бы он не потребовал мои документы и тут же не арестовал.

Он не сделал ни того ни другого, молча высадил меня в Бирке у канцелярии тамошней части, и поехал дальше. Я доложил в канцелярии, предъявил свою бумагу; прежде чем оберсфрейтор смог ее внимательно изучить, его позвали в соседнюю комнату, а я забрал свой клочок, настоящий *corpus delicti*<sup>1</sup>, и когда он, вернувшись, спросил меня о нем, я сказал: «Так ты же взял его с собой». Он удивился, смешался, но не настаивал; я был внесен в список роты и снова стал легальным. Это одиозное отпускное удостоверение, этот документ, возможно спасший мне жизнь, где-то еще лежит среди моих неразобранных военных писем.

«Крими» продолжится. Я испытывал облегчение и печаль: после полугода я впервые был разлучен с Аннемари и родными, снова был в германском вермахте. Вылазки в табачную деревню, в Майнц и другие места были, правда, рискованными, но на их исход можно было больше полагаться. Я был удручен, тем более что не мог и позвонить, а в прежние военные годы это всегда служило утешением. Вечером я в подавленном настроении гулял по Бирку и раздумывал: не скрыться ли мне попросту, но где, где? И тут я вдруг встретил на главной улице дочь одного кёльнского лавочника, у которого мы часто — годами — в долг покупали продукты. Милая девушка, которую я, к сожалению, никогда больше не встречал. Она взяла меня с собой «домой»: временное пристанище, где был и ее отец; он дня два назад бежал от призыва в фольксштурм. Мы разговорились, и господин Фог — так его звали — сказал, что он собирается бежать дальше, навстречу американцам, и спросил, не сможет ли он на день-два спрятаться в Марисенфельде. Я обещал, и он попросил меня найти там для него, так сказать, квартиру; в качестве аванса он дал мне 25 фунтов сахара в прочном мешке.

25 фунтов сахара в конце марта 1945-го! Как доставить его

---

<sup>1</sup> Улика (лат.).

в Мариснфельд, поздно вечером? Ну, я всдь был сумасшедшим, двушка одолжила мне свой велосипед, я закрепил мешок с сахаром на багажнике и пустился в дорогу. Это было безумием, и, может быть, эта самовольная отлучка для доставки сахара — как и позднейшая велосипедная поездка при сходных обстоятельствах, о которой я еще расскажу, — и была моим единственным «подвигом»: сахар для Мариенфельда! Я ехал проселочными дорогами, объезжая опасные перекрестки, где караулили полевые жандармы и патрули, и втаскивая на откосы велосипед и сахар, — и я действительно добрался, обливаясь потом, с сахаром в Мариснфельд — вот эта была встреча! Неожиданная и все же печальная — снова встала проблема: остаться или поехать обратно. В конце концов победило мое «чувство чести»; я обещал девушке вернуть велосипед, а в те времена велосипед был драгоценнее, чем целая автоколонна. Велосипеды вообще решали мою судьбу, в конечном счете — к благу. Итак, я отправился среди ночи обратно, вернул велосипед и пробрался на свое место. Снова легализован.

Теперь начинается последняя фаза, которую я не хочу описывать в деталях, так как об этом можно прочитать в любой книге о войне. В Кальдауне я встретил унтер-офицера Шмица, который позднее был расстрелян как дезертир в нескольких сотнях метров от родительского дома. Потом меня перевели в Нидерауель. Там мы стояли напротив американцев, разделенные только рекой Зиг, и могли видеть собственными глазами — *белый, белый хлеб*, он светился, как луна. Никто не стрелял, стрелять было, так сказать, запрещено, потому что, если бы раздался *один* немецкий выстрел, в ответ обрушился бы целый шквал американских снарядов. Разложение, хаос, скудное питание — мы воровали, доили коров, старались ночевать в хлевах около теплого скота, — и снова велосипед решил мою судьбу. Вы спросите, почему я не бежал сразу к *белому*, такому белому хлебу? Ответ прост: я хотел не просто выжить, я хотел выжить по возможности без плена — легкомысленное желание. Мы с Алоизом раздумывали, не спрятаться ли нам на некоторое время в кладовке среди оставшихся «пастырской» и переждать «развитие событий». Я хотел к Аннемари, хотел домой, кроме того, мне пришлось бы переплывать или переходить вброд холодную реку Зиг. Я выжидал. В загоне открыто поговаривали о «переселении»; некоторые даже пытались это делать — их семьи жили в уже оккупированной американцами области, — ползком и карабкаясь пересобирались через разрушенный мост и были обстреляны, так как их приняли за разведгруппу. Нет, я выжидал, и снова велосипед ввел меня в искушение.

Нам поручили сопроводить в Нидерауель наших сменщиков — роту самокатного подразделения кельнской полиции, —

ночью, через Бёдинген в Альнер, где мы и встретили полицейских. От Альнера до Мариенфельда недалеко: двенадцать, может быть пятнадцать, километров. Мне удалось уговорить одного полицейского чиновника одолжить мне велосипед. Наверное, это был святой, ибо, как я уже говорил, велосипед был драгоценнее, чем целая автоколонна, и кто уже в начале апреля 1945 года, в апогее немецкого хаоса, мог кому-то доверять? Ну, он дал мне велосипед (не знаю его фамилии, не то я и ему, как крестьянину Петерсу, поставил бы памятник), и ночью я поехал в Мариенфельд, повидал Аннемари, привез несколько сигар отцу — и снова дискуссии вокруг проблемы: остаться или не оставаться, забраться наверх в кладовку к «пастырям» или вернуться в Альнер, что примерно было равнозначно возвращению на фронт. В пристройку тем временем подсадили еще одного квартиранта; человек разумный, он советовал мне выбрать кладовку, но я видел перед собой славное, честное лицо полицейского чиновника, которому обещал вернуть велосипед «из рук в руки», и вот я темной ночью отправился окольными дорогами обратно в Альнер. Позднее я слышал, не знаю где, что вся рота полицейских вместе с велосипедами была уничтожена.

Мы же — часть, в которой я числился, потащились дальше, через Брюльталь, в Вальдбрёль, совершенно расхристанные, мы плелись туда, вперед, опять назад. Я помню, однажды мы шли по краю деревни и увидели там развевающиеся белые флаги. Каким-то образом не знаю каким все наше воинство распалось, и я зашагал по направлению к дому, пока какой-то лейтенант посреди шоссе не приставил мне пистолет к груди и не заставил присоединиться к его «войсковой части», носившей нелепое название «Боевая комендатура Брюкхермюле» (эта деревушка, лежащая где-то между Денклингенем и Вальдбрёлем, дала название последней части германского вермахта, к которой я принадлежал). Мне показалось разумнее не сопротивляться этому маньяку, и таким образом я после нескольких неприятных дней попал наконец около Брюкхермюле в американский плен. Наконец? Это было для меня неожиданностью: ведь мы американцев ждали, заклинали, проклинали, это же освобождение — **НАКОНЕЦ МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ НЕМЦЕВ**, и тем не менее вот что оказалось неожиданным: мне было трудно поднять руки вверх, трудно, но я это, конечно, сделал.

Остальное не так важно. Прохладная ночь в импровизированном лагере под Росбахом на Зиге — все еще шепотом вслушиваемые разговоры об окончательной победе; фантастическая поездка через горы Вестервальд в Линд, через Рейн в Зиндиг (прочитайте, перечитайте стихи, которые написал об этом Гюн-

тер Айх), Намур, Аттихи — огромный лагерь. Разумеется, все это не санаторий. Повторяю: я ожидал наихудшего, а оказалось не так плохо, лишь «наполовину плохо», и самыми опасными были по-прежнему немцы, чинившие самосуды, в результате которых не один человек, не один «пораженец» исчез в выгребных ямах — в апреле 45 года, когда Советская Армия уже побраталась с американцами. Нет, нет, никаких жалоб.

Важно только, что мне удалось — не спрашивайте, каким образом, это был бы маленький «крими» в «крими» — избежать физической работы, на которую нас завлесли улучшенным питанием. Я так думал: если ты теперь будешь работать, а «работа» была абсурдной, тогда тебе придется работать годы, если не десятилетия; я так думал: лучше еще несколько месяцев поголодать, чем годы где-то работать. Возможно, я тогда впервые вел себя «исторически сознательно». Позднее, когда лагерь — будто бы 200 000 человек — ликвидировали и передали (продали) французам, мне удалось после тщательнейшей проверки работоспособности попасть в категорию «профессионально непригодных» — странное обозначение, если учесть, что моя профессия — «студент». И теперь, поскольку из будто бы 200 000 человек шестьдесят были объявлены «профессионально непригодными», американцы проявили свой неожиданный, порой здравый смысл: нас отделили, отдельно кормили, лучше, почти хорошо, приставили даже санитаров, которые приносили нам воду для мытья, пока нас снова не пересели и не передали англичанам, в лагерь неподалеку от Ватерлоо.

Англичане были совсем другими, не столь помешанными на гигиене, как американцы, нам давали хорошую еду и много чая с сахаром и молоком — таким чаем немцы пренебрегали. Я тоже не был чаевником, но стал им, почувствовал прелесть этого несравненного английского чая и собирал остатки в литровую пивную бутылку бельгийского происхождения, которая стала моим самым драгоценным достоянием. Ваша мать, Аннемари, во время войны не имела возможности показать мне, как хорошо она умеет заваривать чай. Ах, знаете, в Ирландии и Англии мы стали любителями чая. Из английского лагеря нас распределили по административным округам. Таким образом я узнал о существовании административного округа Арнсберг, к которому относится Гельзенкирхен, откуда родом Ада, единственный друг, оставшийся после войны и плена, вы его тоже знаете. Кёльн — это уже было потом, остальное вам известно.

Следует упомянуть еще один велосипед. Он принадлежал Хильде Мерль из Зигбурга; она одолжила мне его, когда я, отпущенный бельгийцами из британского плена, прибыл октябрьским днем 1945 года в Зигбург, но время было слишком позднее, чтобы успеть еще до комсдантского часа добраться до Нессхо-



всна, где Аннемари достала комнату. Я ехал с невозможной быстротой вверх по дороге, по которой с полгода назад вез мешок сахара, и еще до комендантского часа, потный и измотанный, прибыл в Нессховен. Так рано меня не ждали, велики были удивление и радость, а через несколько дней — горе: мы похоронили вашего маленького брата Кристофа, нашего сына.

Вы спросите, что же я делал эти полгода. Не помню, знаю только: немного. В кухне и без того было полно людсй, иной раз, если мои бумаги были действительно в порядке, я отправлялся мешочничать, ждал американцев, читал даже дневники Кьеркегора, лишь однажды побывал, на велосипеде Тиллы и с безупречными бумагами, в Кёльне, чтобы спасти еще несколько «ценных вещей» и достать сигареты. Во многих местах моего письма вы обнаружите наш семейный цинизм и легкомыслие, может быть, посмеемся. Смейтесь на здоровье: мы выжили и, конечно, не всегда пребывали в унынии. Расспросите основательно вашу мать, порасспрашивайте вашу тетю Марию и вашу кузину Марию-Терезию, ваших двоюродных братьев Франца и Гильберта, как все это запомнилось им, совсем по-другому, чем мне, и иначе, чем рассказал бы Алоиз.

Слишком многое взбаламучивается, слишком многое поднимается в душе, и надо кончать, иначе получится все-таки полромана, я начну «рассказывать», то есть вступаю на скользкую стезю, а ведь нельзя покидать «твердой почвы» «действительно пережитого». Может быть, вы теперь лучше поймете многое из того, что до сих пор казалось вам странным, даже несобъяснимым: что нам не только тяжело, невозможно выкинуть хлеб; что мне тяжело вылить чай или кофе; что эти остающиеся от завтрака драгоценные благородные напитки я забираю в свою рабочую комнату; что я не могу бросить сигарету и что мои продовольственные закупки всегда носят панический характер. Знайте, что в скитаниях 1939—1945 годов ни одна Цирцея не могла бы меня завлечь на свою скалу. В нечистоплотной половой жизни на вокзалах, вокруг них, в поездах того времени не таилось никакого соблазна, а Пенслопа была одновременно и Цирцейей и самой собой. Знайте, что в американском лагере сидели дважды ампутированные, которых схватили с фаустпатронами, — стратеги конечной победы, и что на одном нижнерейнском вокзале возвращающихся домой британские солдаты, чей поезд стоял параллельно нашему, совали нам окурки.

Может быть, вы теперь лучше поймете, почему нас больше всего раздражали типы наподобие Фильбингера \* и Кизингера \*, которые, улыбаясь в своем буржуазном самодовольстве, беспрепятственно прошли через все перипетии времени, и знай-

те, что знаменитое аденауэровское освобождение военнопленных касалось главным образом офицеров высоких рангов, для которых вообще силу сохранил девиз не «поражение», не «освобождение», а «утраченные победы» и которые, поскольку они живут дольше, чем какой-нибудь больной и израненный солдат, значительно обременяют пенсионные кассы и хорошо пригодились при восстановлении германской армии, именуемой бундсвером. Лучше вы поймете, может быть, и то, что наши многочисленные поездки всегда носят характер бегства, бегства от людей типа Фильбингера, который уже не помнит, что участвовал в казни приговоренного им к смерти! (Подумайте только: он не помнит!) Сколько немцев не помнят, сплошь те, кому я мог попасться в руки, — не все они судьи, зато потенциальные палачи.

А уж «немецкие матери», эта высокочтимая категория «немецкой женственности», — сколько из них не только без сопротивления, бывало, и без особой нужды, а то даже и с воодушевлением позволили своим четырнадцати — семнадцатилетним сыновьям ринуться навстречу смерти, принесли их «в жертву фюреру»! Был такой Фердинанд Шёрнер, один из любимцев Гитлера, — его военно-полевые суды были столь же печально знамениты, как суды господина Моделя; он носил почетную кличку «Кровавый пес», его «дисциплинарные меры» нагоняли ужас на солдат. Он умер не в 1945 году, как его любимый фюрер, он умер в 1973 году в Мюнхене; я думаю, он тоже из числа освобожденных Аденауэром немецких военнопленных.

Лет шестнадцать тому назад, дорогой Винсент, дорогой Рене, один из сыновей Рудольфа Гесса написал мне, не внесу ли я свое имя в обширный список тех, кто ходатайствует за досрочное освобождение из тюрьмы господина Гесса. Я не мог, я НЕ СМОГ ЭТОГО СДЕЛАТЬ, и даже теперь, когда Гессу 90, Я НЕ СМОГУ ЭТОГО СДЕЛАТЬ. Еще в 1946 году в Нюрнберге эта диковинная «птица мира» твердила, что Гитлер величайший сын, которого породила тысячелетняя история Германии. У меня в ушах все еще звучит его заклинаящий, фанатический расистский голос, который я, шестнадцатилетний, слышал по радио, и не могу забыть его лица, которое видел в кинохронике: сверлящие глаза, требующие жертв и жертвы свои получающие. Нет, протестовать против его досрочного освобождения я не стану, ходатайствовать за него я не могу.

Знайте, что я отказался участвовать в расчистке Кёльна от развалин, что вмнялось в обязанность каждому возвратившемуся с войны. Я не дотронулся ни до одного камня, я расчищал — тихо, в одиночку, аккуратно сбивая штукатурку с каждого камня, — мастерскую своего отца на Фондельштрассе, которой занимался тогда Алоиз; с общественных камней — ни с одного. Не рассказал я о женщинах, которым пришлось выдер-

жать будни войны и нацистского господства с их повседневными тяготами и абсурдностью.

Я хочу еще раз напомнить вам о четырех велосипедах, о которых здесь говорилось.

1) Велосипед Тиллы, на котором я примерно в феврале 1945 года покатил в Кёльн, чтобы побывать в нашей квартире на Нойснхёфераллее, спасти украшения, тяжелое семейное серебро Аннемари (оно еще и сегодня, в 1984 году, лежит нетронутым и нераспакованным в красных футлярах) и достать на черном рынке сигареты.

2) Велосипед дочери Антона Фога, на котором я ночью нелегально отвез 25 марта 1945 года из Бирка в Мариенфельд 25 фунтов сахара.

3) Велосипед незнакомого полицейского чиновника из Кёльна, на котором я апрельской ночью 1945 года поскакал из Альнера в Мариенфельд — тоже ночью.

4) Велосипед Хильды Мерль, на котором я в октябре 1945 года отправился из Зигбурга в Нессховен, чтобы еще до наступления комендантского часа увидаться с Аннемари.

Несколько дней тому назад, в середине июля, когда я заканчивал это письмо, в возрасте 84 лет умер генерал СС Карл Вольф, авантюристический нацист, еще в 1937 году получивший генеральский чин в СС, начальник личного Гимmlеровского штаба, который в конце февраля 1945 года все-таки пришел к выводу, что война проиграна (можете посмеяться: в конце февраля 1945 года он пришел к этому выводу!). После того как через посредников он провел переговоры с Алленом Даллессом, германский вермахт капитулировал в Италии; все-таки, все-таки; потом Вольфа приговорили к четырем годам трудового лагеря, из которых он отбыл *одну* неделю. Потом, обвиненный в причастности к гибели 300 000 евреев, он отрицал, что знал о существовании лагерей уничтожения (это шеф-то личного штаба Гимmlера!). Он получил 15 лет тюрьмы, через семь лет был освобожден. И после этого прожил еще 13 лет на свободе! Это не шутка, дорогой Рене, дорогой Винсент, так было НА САМОМ ДЕЛЕ. Это немецкая история.

*Ваш отец*



тическая программа, с которой я познакомился, была Алснская программа — она произвела на меня огромное впечатление и показалась концепцией возможного политического будущего Германии. Тогда я имел контакты только с политическими кругами подобного рода, с людьми постарше, а также ровесниками, оставшимися в живых; их было очень мало. Вы должны себе представить: статистическая, скажем так, ситуация тоже была абсурдной. В 1945 году 80-летних было, кажется, вдвое больше, чем 25-летних. И вот о чем нынче большинство забыло, большинство немцев забыло, потому что они не пережили сознательно тогдашнего времени: быть немцем — это не красило. Немское — это было чуть ли не презрительное обозначение. Зато весьма примечательна полновесная самоуверенность нынешних политиков. Политиков примерно одного возраста со мной, которые, собственно, должны бы знать, каково было тогда.

*Вы упомянули Алснскую программу, которая исходила из того, что капитализм перестал соответствовать жизненным интересам немецкого народа. Какой же представляли себе Германию после 1947 года?*

Согласно Алснской программе — христианско-социалистической. Позднее я узнал, что даже Томас Манн в одной из своих последних речей перед концом войны представлял себе будущую Европу только социалистической, при этом надо, конечно, определить, что понимал под социализмом тот, или другой, или третий. Во всяком случае, я не считал, что сохраняются старые имущественные отношения и старое господство. Так же можно понять и Алснскую программу.

Первый шок вызвала денежная реформа, которая на деле оказалась не чем иным, как чистым восстановлением тотального капитализма. Денежная реформа была узаконенной, почти тотальной инфляцией и, стало быть, уничтожением труда. Ведь та же рейхсмарка, которая очень мало стоила в то время, была как никак заработана, заработана рабочим, служащим, чиновником, а иные были столь безрассудны, что откладывали деньги. Я говорю «безрассудны», потому что практически только их сбережения и были уменьшены — помнится, на семь%, — в то время как общий акционерный капитал был увеличен: один к одному. Оглядываясь назад, это можно понять и увидеть здесь одну из причин экономического чуда, но это был тотальный отказ от представлений, разбуженных Алснской программой. Это, собственно, явилось первым шоком.

Основание Федеративной республики, первые выборы — все это я помню плохо. Денежная реформа для меня куда более насущная и важная дата. Вероятно, я даже в 1953 году еще голосовал за ХДС, вполне возможно, а в 49-м — наверняка, но в 57-м,

по-видимому, уже нет, потому что в начале пятидесятых, если не в конце сороковых, уже началась «холодная война», которая привела к созданию двух различных немецких, скажем так, экономических систем, к ужесточению обеих. В ГДР произошло резкое отчуждение собственности, которое не предусматривалось Аленской программой, а здесь — собственностью опять овладели старые силы.

*Хотя денежная реформа потребовала много жертв, можно сказать, что она была проведена без большого сопротивления со стороны широких слоев населения. Сопротивления вообще никакого не было. Чем это можно объяснить?*

Это для меня совершенно неясно. Большинство людей думало в категориях черного рынка, да... конечно, такое положение не могло бы долго существовать. Сопротивление? — я не помню даже критики; лишь позднее я это понял, поскольку при денежной реформе я ничего не потерял. Вот только — это испытал чуть ли не каждый на собственной шкуре: примерно за три недели, за две недели, за неделю до денежной реформы мне персели кучу гонораров за короткие рассказы, статьи, написанные мною для газет и журналов, а издания, в которых все это было опубликовано, продавались после денежной реформы за звонкую монету. Я думаю, подобное пережил и любой рабочий, изготавливавший кастрюли, или укладывавший трамвайные рельсы, или строивший дома.

Я воспринимал это как обесценение труда, но критически высказываться, задумываться об этом, анализировать — этим я занялся позднее. Вместе с тем жить стало как-то легче, потому что деньги, то немногое, что было заработано или имелось, вдруг стали чего-то стоить. Потом наступил конец сороковых, начало пятидесятых — годы «холодной войны», первые признаки ремилитаризации, или скажем — перевооружения. И стало совершенно ясно, что старые промышленные силы, отчасти виновные в приходе Гитлера к власти, финансировавшие его, — да, это доказано, они, например Флик, зарабатывали свои деньги на концлагерях, где рабочая сила стоила в день, кажется, 1,5 марки, при очень плохом питании и большой смертности, — эти старые силы в экономике, еще в большей степени, чем в армии, снова стали господствовать. Я называю это господством, а не правлением. В созданном бундесвере было, конечно, много генералов, политически нейтральных — как ни странно. И я не думаю, что в этом смысле бундесвер пресмник вермахта, в то время как экономика, промышленность, банки вышли из катастрофы, собственно говоря, совершенно невредимыми.

*Во внедрении или восстановлении старых экономических сил большую роль играли и американцы. Многие считают, что перестройки не произошло в результате их влияния. Можно ли сказать: не будь американцев, все было бы по-другому?*

Нет, этого сказать нельзя. Я думаю, что нам надо остерегаться того, чтобы приписывать вину оккупационным властям. А ведь мы склонны к этому, не так ли? Мы были ими освобождены, мы не сами освободили себя, а победитель диктует свои условия. Вопрос лишь в том, не сложилось ли такое положение в результате слишком малого сопротивления с нашей стороны. Я не могу сегодня сказать, в какой степени политики — например, Адснауэр и другие — должны были оказывать сопротивление. У меня сложилось впечатление, что за новые формы не очень-то боролись. Какова была бы эффективность такой борьбы — сказать нельзя, потому что ее не было.

*Социал-демократы и профсоюзы тоже не вели?*

Нет, по сути дела, нет. Я не знаю силы, которая тогда, скажем, в период между 1949 и 1953 годами, серьезно противодействовала подобному развитию. СДПГ, правда, поначалу выступала против ремилитаризации, выступала очень-очень энергично, а восстановление экономических сил я рассматриваю во взаимосвязи с ремилитаризацией.

Затем мы получили план Маршалла \*, который, в сущности, был превеликим экономическим подарком, и, конечно, он действительно очень многому содействовал в экономическом отношении — я не экономист и не политолог, чтобы задним числом анализировать. Мы никогда не сможем установить, был ли возможен собственный немецкий путь развития, скажем, в духе Аленской программы. Программа вселяла надежду, и эта надежда не была разрушена полностью, ибо некоторые законы, изданные позднее правительством ХДС, например большая пенсионная реформа 1957 года, проведенная по инициативе ХДС, были по сути частью Аленской программы. Но потом с этим покончили.

*Можно ли сказать, что в сфере культуры существовало противодействие этой реставрации?*

Да, оно существовало. Период между 1945-м и примерно серединой пятидесятых — это время отрезвления. Я думаю, многие публикации, журналы — назову «Франкфуртер хэфте» как образец и как пример издания, до сих пор придерживающегося той же линии, — носили как христианский, так и социалистический характер. Это были журналы, пользовавшиеся большой по-

пулярностью. Но в конечном итоге победил, так и хочется сказать, ужасный реализм истории.

Я вспоминаю различные детали, например: у моего тогдашнего издателя д-ра Вича, часто приглашавшего меня к себе домой, я встречал людей, немцев и американцев, с которыми мы говорили о причинах безработицы 1929—1937 годов. И все они, очень убедительно аргументируя, утверждали, что кризиса никогда больше не будет, что кризисы — явление, которым можно управлять. Я говорил, исходя, разумеется, из собственного опыта, как человек, который сам хотя и не испытал безработицы, во время войны в течение шести лет жил вместе с рабочими, много разговаривал с теми, кто жесточайшим образом безработицу испытал на собственной шкуре. И для них Гитлер — в смысле обеспечения работой — представлял надежду. Работой, которую он им потом дал, была война, это они тоже хорошо понимали, тогда было много политически очень просвещенных рабочих и мелких служащих.

И потому вопрос о политическом будущем еще не вполне сформировавшейся Германии был насущным: что случится, если снова разразится кризис? А кризисы, как мы знаем по историческому опыту, всегда ведут к повороту вправо, а не влево. Я вел множество бесед, много слушал, потому что не мог научно и профессионально спорить; все эти люди, включая моего издателя, утверждали, что кризиса вообще больше не может быть, что современная экономическая теория исключает кризисы, этим можно управлять. Как мы видим, в Европе и во всем мире все произошло по-другому.

Сегодня, вспоминая эти беседы, я задаюсь, конечно, вопросом, не поддается ли манипулированию и безработица. Если можно манипулировать всем, то почему бы и не безработицей и сегодняшним кризисом. Это настраивает меня недоверчиво по отношению к людям, прогнозирующим будущее.

*С какой целью манипулируют...*

Безработица... я не думаю, что ее создали сознательно, но она вытекает из развития нашей экономической системы. Я убежден, что любой политик, представляющий партию, предпочел бы завтра вообще не иметь ни одного безработного, но он, по видимому, не может взять это в свои руки. Ведь есть теории, которые утверждают, что так называемое современное индустриальное общество всегда нуждается в определенном проценте безработных, чтобы сбивать заработную плату. Я не умю выразиться четче.

*Западная Германия в шестидесятых — семидесятых годах пережи-*



*вала фазу реформ, недолгую фазу реформ. Существовал ли тогда, собственно, шанс и осталась ли теперь хотя бы частица этого шанса превратить в жизнь что-нибудь из того, на что надеялись после 45-го? Или все безвозвратно потеряно?*

Я не думаю, что все потеряно. Можно и вне парламента привести в движение множество вещей, но решения принимает парламент. А у нас нет другой возможности, кроме парламентской системы. Вопрос в том, получим ли мы в одном из ближайших парламентов такой кабинет, который принялся бы за осуществление хотя бы части этих перемен.

Потому я считал бы катастрофой, если бы «зеленые» не вошли в состав следующего бундестага. Сами по себе они есть проявление — очень разнородное проявление — движений за реформы, движений протеста, возникающих в восьмидесятых годах. Возьмите движение за мир, вызвавшее при своем зарождении поток клеветы и доносов в парламенте, — в то время оно вело за собой всего пять%, а при голосовании пункта о ракетном вооружении на его стороне было уже 44% депутатов. Это обнадеживает. Вот это не будет утрачено, это будет существовать как внепарламентская сила, которая, я надеюсь, станет силой парламентской.

Мы не обходим парламента, ни в коем случае, тоталитарная система не была бы решением вопроса, равно как и сильная личность или еще какая-нибудь подобная нелепость. Мы должны полагаться на парламент и на парламент воздействовать. Потому меня так сильно огорчило поражение «зеленых» в последнее время. Хотя и они натворили немало нелепостей и наболтали немало глупостей, именно они являются выразителями настроений шестидесятых годов — стремления к переменам и протест, протест, цель которого — перемены.

*Многие считают, что попытки перестройки потому потерпели крах, что немцы — за исключением незначительного меньшинства — буруваемы своего рода страхом перед переменами и, пока материально им хорошо живется, они согласны на все, что бы им ни предложили. Существует ли нечто вроде четко выраженного немецкого характера?*

Я думаю, да. Это имеет свои причины. Можно, конечно, понять, что люди, которые хорошо живут, боятся всяких перемен, так как они опасаются, что станет хуже. Вот что политики, ответственные политики, должны нам втолковать: мы все должны экономить, но не на безработных, а на бюрократии, на излишнем управленческом аппарате; мы должны эффективно экономить и в быту. У нас экономят не там, где следует: на тех, кто получает социальную помощь, на безработных, на пенсионерах.

Экономия должна идти сверху вниз, и политик должен проявить мужество — экономить наверху, сам начать экономить и потом уже спускаться с экономией вниз. Тогда мы все неизбежно будем иметь меньше, чем имеем сейчас, но все, все. Так дальше продолжаться не может, иначе выразить я это не могу.

Мы живем в расточительном обществе, расточительном во всех смыслах, и расточительность выдаем за развитие. Я думаю, многие политики в нынешнем правительстве, да и в любом правительстве, понимают это. Но у них нет мужества экономить наверху. В том числе, кстати, и на самих себе, — мы все должны отдавать. Это касается чиновников, служащих всех профессий. Но большинству людей живется пока еще хорошо, и они боятся, конечно, перемен, ибо эти перемены могут привести к экономическому ухудшению.

Не к нужде, — я часто думаю об этом, нельзя ведь забывать, что немцы перенесли две тотальные инфляции. Я сам пережил две: одну в детстве, другую — в возрасте 30—31 года, в 1948-м. Я очень хорошо помню первую инфляцию, потому что отец привозил жалованье для своих помощников на ручной тележке, и это жалованье на следующий день уже ничего не стоило.

Потом вторая инфляция, вызванная войной. Я могу понять, что большинство немцев, напуганных этим историческим опытом, держатся за то, что они теперь имеют. Надо им только объяснить, что никто не хочет отобрать у них всё, но мы все, все вместе, повторяю — сверху донизу, должны экономить. Но экономить нужно не на безработных, не на тех, кто получает социальную помощь, не на пенсионерах.

*Нынешний кризис — таит он в себе опасности? Вы сказали, что кризисы в Германии всегда ведут к повороту вправо. Или он таит в себе и шансы?*

Я еще не вижу поворота вправо. Как ни удивительно, безработные пока не поддались демагогии.

Единственным шансом, по-моему, было бы распределение работ, то есть чтобы объем работы распределялся рационально. Это единственная надежда и для молодых людей. Чтобы они работали, скажем, 25 часов в неделю, но и другие тоже. Это очень сложное дело, которое в разных областях должно проводиться по-разному, и оно потребует огромных расчетов, но с помощью компьютеров такая задача, собственно, разрешима. Разумется, это повлечет за собой уменьшение доходов. Но покупательная способность в целом сохранится. Другого решения я не вижу.

Стало почти популярным сокращение рабочего времени, но я думаю, не в этом окончательное решение проблемы, а в рас-

пределении работы. Конечно, это породит новую бюрократию, но в данном случае я бы счел ее необходимой. Каждый день мы видим, каждый день читаем, каждый день слышим по радио, что развитие не устраняет безработицы,— это настолько просто, что понятно и не экономисту. Стало быть, требуется иное решение, и выборы в Нордхайн-Вестфалии показали, что это не обязательно ведет вправо. Куда ведет, не знаю. Но выборы показали, что нынешнее правительство лишь в момент проигрыша замечает: ага, вот кто от нас убегает — безработные, пенсионеры и крестьяне. Заметили они это только сейчас. Вы понимаете, только сейчас, но, во всяком случае,— заметили. А как они с этим справятся, я не знаю.

Все больше вымирают свободные профессии. Свободные профессии не в официальном смысле слова, а в житейском,— я считаю крестьянина свободным человеком, человеком тоже свободной профессии. А число крестьян уменьшается. Недавно я читал, что многие рейнские речники — мелкие собственники — вынуждены отказаться от своего дела. Люди, имеющие собственные посудины и транспортирующие грузы из Базеля в Роттердам и обратно и еще не знаю куда. Предприниматели, которые прежде всегда были самыми свободными людьми, рейнские речники, вообще речники,— и вот они тоже вымирают. Их все больше вытесняют мульти, крупные экспедиционные фирмы, которые с помощью громадных механизмов, конечно, все делают дешевле, все делают быстрее и рациональнее. Отмирание этой свободы, которую может иметь и рабочий, если он зарабатывает достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью,— это, я думаю, очень скверное явление.

Каждый день умирает частица свободы, как отнимается каждый день у земли кусок для дорог и так далее.

Я считаю свободным каждого человека, который собственным трудом добывает средства к жизни, содержит свою семью. Рейнские речники и крестьяне всегда воплощали для меня понятие свободного человека. Со всем тем риском, с которым они связаны, со всеми теми крушениями, которые они тоже терпят. Тут я каждый день вижу, как гибнет свобода. Вот что опасно.

В моей профессии — она ведь тоже свободная — большая часть моих коллег каждый день тоже теряет свободу, в том числе и свободу экономическую. Мы ведь всегда замечаем только звезд первой величины, которые создают свои бестселлеры. А они не составляют и двух% всех писателей, остальные работают не меньше, чем «звезды», порой даже больше. Я ли пишу роман, который, быть может, будет хорошо продаваться, или мой коллега,— работает-то он над ним так же, как я; это какое-то безумие — звездомания во всех областях. И здесь тоже разруша-

ется свобода, а суета вокруг киноактеров — это ведь сплошное сумасшествие, бессмыслица.

Я убежден, что любой фильм, любой, все равно какой, можно делать с молодыми немецкими актерами, которых мы, возможно, еще совсем не знаем. Любой. Любой. И тем не менее гоняются за «звездами», которые своими гонорарами только удорожают фильм. Все это скверные явления.

В этом пункте мы уже американизированы. У Америки, конечно, много хороших сторон, очень много положительных сторон, это страна с богатейшим геологическим, географическим, интеллектуальным разнообразием, но сказывается влияние чистой индустриализации культуры. Это очень плохо. Индустриализация, концентрация — вот в чем великая опасность.

*Вы сказали, что в результате исчезновения свободных профессий все время умирает частица свободы. Это нечто такое, что Вы переносите на все данное общество?*

Я воспринимаю понятие «свободные профессии» не в официальном смысле — там это налогово-техническая классификация, о которой можно спорить, но сейчас не это интересно. То же самое происходит у юристов и врачей, многие из них перебиваются с очень, очень большим трудом, теряя при этом свободу, будь то свобода выбора или политическая свобода. Вот в чем большая опасность. Во всех свободных профессиях, в том числе у писателей, художников, только единицы взмывают ввысь: кинорежиссеры, кое-кто из писателей, кое-какие художники — человек десять, может быть двадцать, остальные прозябают. Этим стоило бы заинтересоваться политикам, которые по меньшей мере десять раз на дню говорят о свободе.

## КОММЕНТАРИИ

Первые литературные опыты Г. Бёлля относятся к 1937 году — ко времени работы учеником в букинистическом магазине в Кёльне. Первый рассказ писателя «Весть» был опубликован в 1947 г. в журнале «Карусель», а через два года в продаже появился сборник прозы «Спутник, когда ты придешь в Спа...» В 1978 г. в ФРГ вышло собрание сочинений Г. Бёлля в десяти томах.

Как публицист Г. Бёлль выступил с начала 1950-х гг., широкую известность приобрел его ранний литературный манифест «Верность литературе руин» (1951, русский перевод в сборнике: Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., Прогресс, 1986).

На русском языке произведения Г. Бёлля издавались неоднократно, см.: Дом без хозяина. М., 1960; Бильярд в половине десятого. М., 1961; Глазами клоуна. М., 1965; Семь коротких историй. М., 1968; Групповой портрет с дамой. М., 1974; Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна: Романы; Потерянная честь Катарины Блюм: Повесть; Рассказы. М., 1988 («Мастера современной прозы»).

### О самом себе

- 22 *...отец проклинал войну и болвана кайзера.*— Имеется в виду последний германский император Вильгельм II (1859—1941).
- 23 *...колет дрова в «Доорне».*— Во время Ноябрьской революции 1918 г. в Германии Вильгельм II вынужден был отказаться от императорской короны; он нашел убежище в одном из дворцов королевы Нидерландов и, по сведениям прессы, усиленно занимался «физическим трудом» — выкорчевывал пни и рубил дрова в дворцовом парке.
- Генрих VIII* (1491—1547) — английский король из династии Тюдоров, в 1534 г. порвал с римской католической церковью и был провозглашен главой англиканской церкви.
- ...гинденбургской армии.*— Пауль фон Гинденбург (1847—1934) — генерал-фельдмаршал, с августа 1916 г. начальник Генштаба, а фактически главнокомандующий германской армией; в 1925 г. был избран президентом, 30 января 1933 г. назначил Гитлера рейхсканцлером, поручив ему формирование нового правительства.

### У нас в стране

- 30 *Третья Пуническая война* (149—146 гг. до н.э.) — происходила между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье.

*Ризе Адам* (точнее: Адам Рис, ок. 1492—1559)— автор многочисленных пособий по математике, способствовавших выработке приемов и навыков устного счета. Поговорка «по Адаму Рису» употребляется для подтверждения точности подсчета.

- 35 ...*модное словечко «рессентимент»*.— *Ressentiment* (франц.)— злопамятство, злоба; чаще всего основанное на неосознанном чувстве собственной неполноценности негативное отношение к лицам, предметам и понятиям.
- 36 *Аденауэр Конрад* (1876—1967)— федеральный канцлер ФРГ в 1949—1963 гг.  
*Олленхауэр Эрих* (1901—1963)— Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 1952—1963 гг.  
*Лизхен Миллер*, «*девушка из народа*».— Возможно, ставшее нарицательным имя героини драмы Шиллера «Коварство и любовь» (первоначальное название драмы — «Лизхен Миллер»).

## Беседа со студентами

- 39 *Сартр Жан Поль* (1905—1980)— французский писатель, философ и публицист, глава французского экзистенциализма.  
*Паунд Эзра Лумис* (1885—1972)— американский поэт, критик, крупнейший представитель американского модернизма.

## Франкфуртские лекции \*

Бёлль читал свои лекции о поэтике во Франкфуртском университете в зимнем семестре 1963 / 64 учебного года. Впервые они были опубликованы в 1966 г. На русском языке публиковались в сокращении в журнале «Вопросы литературы», 1988, № 5.

- 44 *Ферейн* (нем., ист.)— общество, объединение людей, ставящих себе общие задачи; деятельность ферейна регламентируется принятым уставом.
- 46 ...*работу под стать той, что проделали братья Гримм*.— Речь идет о первом толковом словаре немецкого языка, основы которого заложили немецкие филологи братья Якоб Гримм (1785—1863) и Вильгельм Гримм (1786—1859), начавшие работу над ним в 1838 г. и успевшие издать (с 1852 г.) первые четыре тома.  
*Хайд Дуглас* (1860—1949)— ирландский поэт и филолог; в 1938—1945 гг. первый президент Ирландской Республики.
- 48 *Георге Стефан* (1863—1933) и *Бени Готфрид* (1886—1956)— немецкие поэты; *Юнгер Эрист* (р. 1895)— немецкий прозаик и эссеист, после второй мировой войны живущий в ФРГ; в разных формах прокламировали идею элитарности искусства.  
*Музиль Роберт* (1880—1942)— австрийский писатель; в данном слу-

\* Комментарии к «Франкфуртским лекциям» написаны А. Карельским.— *Прим. ред.*

час, очевидно, подразумевается философичность прозы Музиля и усложненность ее художественной формы.

- 51 *Адорно Теодор* (1903—1969)— немецкий (ФРГ) философ, социолог, музыковед, представитель Франкфуртской философской школы.
- 54 «*Через расход — к свободе*» — саркастический перифраз лозунга над воротами концлагеря в Освенциме: «Через труд — к свободе» (“Arbeit macht frei”).
- 56 *Кэги Адольф* — немецкий филолог-классик XIX в., автор гимназических пособий по древнегреческому языку.
- 59 *Адлер Ханс Гюнтер* (р. 1910) — австрийский прозаик и эссеист, с 1947 г. живущий в Великобритании; был узником фашистских концлагерей в Терезиенштадте и Освенциме и описал их впоследствии в нескольких документальных книгах. Повесть «Путешествие» вышла в 1962 г.
- 62 *Бахман Ингеборг* (1926—1973) — австрийская писательница; Бёлль цитирует строки из ее стихотворения «Изо дня в день». ...*потерянный город — Данциг.* — Бёлль имеет в виду трилогию писателя из ФРГ Гюнтера Грасса (р. 1927) «Жестяной барабан» (1959), «Кошки-мышки» (1961) и «Собачья жизнь» (1963), значительная часть действия в которой происходит в Данциге (ныне Гданьск, ПНР) и прилегающих областях.
- 63 *Разве стали обычным чтением Альфред Дёблин... Фонтане?* — Бёлль называет здесь видных немецких прозаиков и публицистов: *Альфреда Дёблина* (1878-1957), *Вальтера Беньямина* (1892—1940), *Вильгельма Раабе* (1831—1910), *Теодора Фонтане* (1819—1898), — в творчестве которых существенную роль играла берлинская тематика.  
«*Бильд*» — бульварная газета крайне правого направления.  
*Гёльдерлин Фридрих* (1770—1843) — немецкий писатель эпохи романтизма.
- 64 *Клейст Генрих фон* (1777—1811) — немецкий драматург и прозаик эпохи романтизма.  
*Штифтер Адальберт* (1805—1868) — австрийский прозаик; его роман «Бабье лето» был опубликован в 1857 г.  
...*голубой цветок...* — В романе немецкого писателя-романтика Новалиса (псевдоним Фридриха фон Гарденберга, 1772—1801) «Генрих фон Офтердинген» (опубликован в 1802 г.) прекрасный голубой цветок, приснившийся герою перед отправлением в путешествие, символизирует собой романтическую мечту о вселенской гармонии.
- 65 *Яноух Густав* (1903—1968) — чешский музыкант и литератор, познакомившийся с Францем Кафкой в Праге в 1920 г. и впоследствии издавший книгу «Разговоры с Кафкой» (1951).
- 66 ...*отдать на откуп «Союзам изгнанных»...* — Имеются в виду землячества реваншистского толка в ФРГ, объединяющие уроженцев земель, возвращенных после второй мировой войны славянским странам.

- 71 *Беккет Сэмюэл* (р. 1906) — ирландский прозаик и драматург, живущий во Франции и пишущий на английском и французском языках; лауреат Нобелевской премии (1969). В его драме «Финал игры» (1957) двое персонажей — старики-супруги Нэгг и Нелл — в продолжение всего действия находятся на сцене, сидя в мусорных ящиках.  
...в «Собачьей жизни» *Грасса*. — В одном из эпизодов романа *Грасса* рассказывается о том, как в окрестностях концлагеря Штутгоф постепенно вырастает белая гора из человеческих костей, на которую с безразличием взирают курсанты расположенной по соседству учебной зенитной батареи.
- 73 *Айх Гюнтер* (1907—1972) — немецкий поэт, радиодраматург и прозаик, один из основателей «Группы 47» — демократического объединения писателей-антифашистов ФРГ, к которому принадлежал и Бёлль.
- 77 *Борхерт Вольфганг* (1921—1947) — немецкий писатель; антифашистское и антимилитаристское творчество Борхерта, сломленного нацистскими застенками и штрафными батальонами, получило широкий резонанс в первые послевоенные годы в Западной Германии. В данном случае Бёлль имеет в виду небольшой рассказ Борхерта «Хлеб».  
*Оттен Карл* (1889—1963) — немецкий прозаик и поэт; антология «Опустелый дом. Проза писателей-евреев» была издана им в ФРГ в 1959 г.  
*Кольмар Гертруда* (1894—1943) — немецкая поэтесса, погибшая в одном из нацистских концлагерей. Упомянутая ниже повесть «Сусанна» впервые была опубликована в антологии Оттена из наследия Кольмар.
- 78 *Рот Йозеф* (1894—1939) — австрийский прозаик и эссеист.  
*Бласс Эрнст* (1890—1939) — немецкий поэт.  
*Фриш Эфраим* (1873—1942) — австрийский писатель и критик; роман «Зенобий» был опубликован в 1928 г.
- 79 *Хомбург* — фасон мужской фетровой шляпы.
- 81 ...его обвинили в предательстве. — Бёлль рассказывает здесь историю публикации романа писателя из ФРГ Макса фон дер Грюна (р. 1926) «Светляки и пламя» (1963).  
*Жан Поль* (наст. имя и фам. Рихтер Иоганн Пауль Фридрих, 1763—1825) — немецкий прозаик и теоретик искусства.  
*Шмидт Арно* (1914—1979) — немецкий прозаик и эссеист (ФРГ); упоминаемый в дальнейшем роман «Каменное сердце» вышел в 1956 г.
- 82 *Честертон Гилберт Кит* (1874—1936) — английский писатель.  
*Блумсбери* — район Лондона, где в первое десятилетие XX века образовался кружок молодых писателей, художников и критиков, ратовавших за интеллектуальную изысканность художественных форм; с кружком «Блумсбери» связаны имена писателей Вирджинии Вулф (1882—1941), Эдварда Моргана Форстера (1879—1970), философа Бертрانا Рассела (1872—1970).  
*Вулф Томас* (1900—1938) — американский прозаик.
- 88 *Бронте Эмилия* (1818—1848) — английская писательница; роман «Грозовой Перевал» был опубликован в 1847 г.



- Бернанос Жорж* (1888—1948)—французский прозаик; роман «Преступление» вышел в 1935 г.
- Роб-Грийе Ален* (р. 1922)—французский прозаик и эссеист; роман «Резинки» вышел в 1953 г.
- Кьеркегор Сёрен* (1813—1855)—датский писатель и философ.
- Августин Аврелий* (Блаженный Августин, 354—430)—христианский теолог.
- 89 *Романы Грэма Грина: «Конец любовной связи», «Тихий американец», «Ценой потери».*—Перечисляемые Бёллем романы английского прозаика Г. Грина (р. 1904) выходили соответственно в 1951, 1955 и 1961 гг.
- 90 *Пеги Шарль* (1873—1914)—французский писатель.
- 91 *Брентано Клеменс* (1778—1842)—немецкий писатель-романтик.
- Готшед Иоганн Кристоф* (1700—1766)—немецкий писатель и теоретик искусства, один из зачинателей эпохи Просвещения в Германии.
- ...еще не перекочевало из медицинской сферы в литературную...*—В данном случае подразумевается распространенная с античных времен в медицине теория четырех телесных соков (лат. humor—влага), оказывающих влияние на темперамент и характер человека; несколько ниже Бёлль снова возвращается к этой теории. Сегодняшний общезыковой и литературный смысл слова «юмор» утвердился в XVIII веке.
- Виланд Кристоф Мартин* (1733—1813)—немецкий писатель эпохи Просвещения.
- Шлегель Фридрих* (1772—1829)—немецкий писатель и теоретик искусства, один из основоположников романтизма в немецкой литературе; в его теории романтического искусства существенная роль отводилась принципу иронии.
- Буш Вильгельм* (1832—1908)—популярный немецкий литератор, автор многочисленных стихотворных юморесок, им самим иллюстрированных.
- 92 *Сэлинджер Джером Дэвид* (р. 1919)—американский писатель; повесть «Симор. Интродукция» была опубликована в 1963 г.; на немецкий язык произведения Сэлинджера переводил Бёлль со своей женой Аннемари.
- ...Христос никого не велел называть безумным...*—Подразумеваются слова Христа из Евангелия от Матфея (5, 22): «... а кто скажет: «безумный», подлечит геенне огненной».
- 94 *Целан Пауль* (1920—1970)—австрийский поэт.
- Носсак Ганс Эрих* (1901—1970)—немецкий писатель (ФРГ).
- Кройдер Эрнст* (1903—1972)—немецкий писатель (ФРГ).
- Айхингер Ильзе* (р. 1921)—австрийская писательница.
- Шнурре Вольфдитрих* (р. 1920)—немецкий писатель (ФРГ).
- Рихтер Ганс Вернер* (р. 1908)—немецкий писатель (ФРГ).
- Кольбенхофф Вальтер* (р. 1908)—немецкий писатель (ФРГ).
- Шрёрс Рольф* (1919—1981)—немецкий писатель и эссеист (ФРГ).
- Ланггессер Элизабет* (1899—1950)—немецкая писательница.
- 95 *Кролов Карл* (р. 1915)—немецкий поэт и эссеист (ФРГ).
- Леиц Зигфрид* (р. 1926)—немецкий писатель (ФРГ).
- Андерш Альфред* (1914—1980)—немецкий писатель (ФРГ).

*Иенс Вальтер* (р. 1923)— немецкий писатель и критик (ФРГ).  
*Кашицц Мария-Луиза* (1901—1974)— немецкая писательница (ФРГ).

## Три дня в марте

Беседа Г. Бёлля с западногерманским журналистом К. Линдером, состоявшаяся 11—13 марта 1975 г., была записана на магнитофон и в том же году издана отдельной книгой.

96 *Энциенсбергер Ханс Магнус* (р. 1929)— немецкий писатель (ФРГ).

105 *Грасс Гюнтер*— см. коммент. к с. 62.

113 *День молодежи*— субботние собрания гитлеровских молодежных организаций.

125 *...Гёц фон Берлихинген, Вы понимаете...*— Г. Бёлле привлекает для сравнения образ Гёца фон Берлихингена из одноименной драмы Гёте (1773), ставший символом активного бунта против несправедливостей феодального общества.

126 *Лоренц Петер*— политический деятель ХДС, ставший жертвой анархистской террористической группы, называвшей себя «Фракция Красная армия», действовавшей в ФРГ в 1968—1970 гг.

128 *Веллерсхоф Дитер* (р. 1925)— немецкий писатель (ФРГ).

132 *Шлёндорф Фолькер* (р. 1939)— немецкий кинорежиссер (ФРГ); фильм «Поруганная честь Катарины Блюм» был снят в 1975 г.

133 *Баадер Майнхоф*— лидеры террористической группы «Фракция Красная армия» Андрес Баадер (1943—1977) и Ульрика Майнхоф (1934—1976).

134 *...с первого невоенного романа.*— Имеется в виду роман Г. Бёлля «И не сказал ни единого слова» (1953).

141 *...от Астуриаса до Сабато и Неруды.*— Мигель Анхель Астуриас (1899—1974)— гватемальский писатель; Эрнесто Сабато (р. 1911)— уругвайский писатель; Пабло Неруда (наст. имя и фам. Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, 1904—1973)— чилийский поэт.  
*Симон Клод* (р. 1911)— французский писатель.

145 *Миллер Артур* (р. 1915)— американский драматург.  
*Фома Аквинский* (1225 или 1226—1274)— теолог и философ, доминиканец.

146 *Моллой*— герой одноименного романа (1951) С. Беккета.

148 *«Тупамарос»*— революционное подпольное движение в Уругвае в конце 1960-х— начале 1970-х гг., пытавшееся свергнуть существующий строй средствами индивидуального террора. Названо по имени Амару Тупака (?—1571)— руководителя борьбы против испанских завоевателей в Перу.

156 *Геритатт* — обанкротившаяся страховая компания в ФРГ, названная так по фамилии ее основателя.

157 *Шельски Хельмут* (р. 1912) — ученый-социолог (ФРГ).

## **Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести**

Перевод на русский язык впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1986, № 3).

### **Донесения о мировоззренческом состоянии нации**

255 *Бейс Йозеф* (1921 — 1986) — немецкий (ФРГ) художник-авангардист  
*У. М.* — Ульрика Майнхоф (см. коммент. к с. 133).

260 *Энслин Гудрун* — активная участница террористической группы «Фракция Красная армия».  
*ФАЦ* («Франкфуртер альгемайне цайтунг») — ежедневная газета в ФРГ, издается с 1949 г. во Франкфурте-на-Майне.

261 *ОХДС* — христианско-демократическое объединение студентов.  
*«Вагенбах»* — прогрессивное издательство Клауса Вагенбаха (р. 1930), немецкого литературного критика, журналиста и издателя; основано в 1965 г.  
*«Дас да»* — прогрессивное австрийское издательство.

262 *Дучке Руди* — руководитель Союза студентов-социалистов во время бурных студенческих выступлений в пасхальные дни 1968 года за демократизацию жизни в ФРГ.

263 *Гай Фокс* (1570—1606) — глава заговора католиков, пытавшихся 5 ноября 1605 г. с помощью порохового взрыва убить короля Якова I. Заговорщиков схватили, Г. Фокс был казнен.

265 *...моя информация... может оказаться весьма полезной для принятия постановления о радикальных элементах.* — Постановление о радикальных элементах, принятое в ФРГ в 1972 г., было направлено против коммунистов и левых социал-демократов, которые за свои убеждения могут быть уволены с работы.

269 *ФЛЕРОПА* — сокращенное название международной фирмы. «Flores Eurorae», снабжающей клиентов цветами по заказам.

270 *Стэк Клаус* (р. 1938) — немецкий (ФРГ) художник-график, автор политических плакатов и коллажей. Против Стэка неоднократно возбуждались судебные процессы. Г. Бёлль, некоторые книги которого оформлял художник, выступал защитником на этих процессах.

### **Что станет с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной части**

278 *...район Годесбергских вилл.* — Район фешенебельных вилл на окраине Бонна.

- 279 ...члены юношеской марианской общины.— Речь идет о молодежной католической организации, в которой процветал культ девы Марии.  
*Ануй Жан* (р. 1910)— французский драматург, автор камерной драмы «Пассажир без багажа» (1937).
- 280 ...дешевую модель «народного приемника».— Речь идет о радиоприемниках с ограниченным диапазоном.
- 281 *Тракль Георг* (1887—1914)— австрийский поэт-экспрессионист.  
 ...*Гинденбург «подло предал» Брюнинга.*— Генрих Брюнинг (1885—1970)— рейхсканцлер Германии в 1930—1932 гг., представитель католической партии «Центр»; под давлением Гинденбурга (см. коммент. к с. 23) вынужден был оставить свой пост; в 1934 г. эмигрировал в США.  
*Папен Франц фон* (1879—1969)— в июле— ноябре 1932 г. глава правительства, в 1933—1934 гг. вице-канцлер Германии; содействовал приходу нацистов к власти.  
*Шлейхер Курт фон* (1882—1934)— последний канцлер Веймарской республики (с 3 декабря 1932 г. по 28 января 1933 г.), убит гитлеровцами.  
*Лей Роберт* (1890—1945)— нацистский военный преступник, в 1925 г. основал в Кёльне нацистскую газету «Вестдойчер беобахтер», в 1933 г. возглавил разгром немецких профсоюзов; перед Нюрнбергским процессом покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.
- 282 ...где-еще должен был уместиться и карнавал.— Имеется в виду пасхальный карнавал, отмечаемый в первое воскресенье после весеннего полнолуния.  
 ...в коалиции с национал-немцами.— Имеется в виду Немецкая национальная народная партия (основана в 1918 г.), поддерживавшая национал-социалистов на выборах в рейхстаг и затем самораспустившаяся.  
*Юнгфольк*— нацистская организация «Союз немецких мальчиков».  
*СА* (штурмовые отряды)— полувоенные соединения НСДАП в Германии в 1921—1945 гг., являлись орудием террора и физической расправы с политическими противниками фашизма, в 1934 г. их место в фашистской иерархии заняли отряды СС.  
*Золльман Вильгельм* (1881—1951)— правый социал-демократический политик, министр Веймарской республики; эмигрировал в 1933 г.
- 283 *Кёльн всегда был и остается вопреки своей славе и всем «тёмным людям» городом прогрессивным.*— Имеется в виду сатира начала XVI в. «Письма темных людей», написанная на латыни К. Рубианом, Г. Буше и У. фон Гуттенем и способствовавшая в том числе борьбе гуманистов-протестантов против кёльнских католиков-доминиканцев.
- 284 ...ощущалась во всем пресловутая брюнингская «экономия»...— Брюнинг (см. коммент. к с. 281) занимался в рейхстаге в 1924—1930 гг. финансовыми и налоговыми вопросами. Став рейхсканцлером, он значительно сократил расходы на социальную сферу, повысил налоги и т. д.
- 285 «*Штормер*»— нацистская еженедельная газета, выходившая

в 1923—1945 гг. в Нюрнберге; издавалась Й. Штрайхером (1885—1946), осужденным на Нюрнбергском процессе на смертную казнь.

*День матери* — традиционный праздник в Германии в честь матерей; в настоящее время отмечается в ФРГ во второе воскресенье мая.

286 *Каас Людвиг* (1881—1952) — председатель буржуазно-клерикальной партии «Центр» (Христианско-демократическая народная партия, название «Центр» идет от места католической фракции в центре Прусской палаты представителей, а затем в рейхстаге) в 1928—1933 гг., способствовавший приходу к власти Гитлера и стремившийся к созданию клерикально-фашистского союза.

289 *30 июня 1934 года* — «ночь длинных ножей», кровавая расправа Гитлера с помощью отрядов СС над штурмовыми отрядами СА Эрнста Рема (1887-1934) и неугодными нацистам буржуазными политиками.

*...болтовня о «незаслуженном забвении» пиратов «Эдельвейса».* — Это имя носила дивизия вермахта особого назначения.

290 *...этот сильный истребитель пред господом, этот разъявшийся Нимврод.* — Нимврод (Нимрод, Немврод) — в ветхозаветной мифологии богатырь и охотник. В книге Бытия (10, 9) сказано: «Он был сильный зверолов, как Нимврод, пред Господом; потому и говорится: сильный зверолов, как Нимврод, пред Господом». Игра слов в тексте Г. Бёлля основана на том, что немецкое «Jäger» означает «летчик-истребитель» и «охотник» (т.е. зверолов). Герман Геринг (1893—1946), один из главных нацистских военных преступников, в годы первой мировой войны командовал эскадрой истребителей.

*...я взошел на ступеньку образования, которую называли «средней зрелостью».* — Речь идет об окончании неполной средней школы.

292 *Рем* — см. коммент. к с. 289.

*Хайнес Эдуард* — один из нацистских деятелей, уничтоженных Гитлером в 1934 г.

*Клаузнер Эрих* (1885 — 1934) — возглавлял отдел полиции в Прусском министерстве внутренних дел; убит по приказу Геринга во время расправы с Ремом и другими неугодными нацистам политиками.

*Юнг Эдгар* (1894—1934) — немецкий писатель, один из советников Папена; убит 30 июня 1934 г.

293 *Ширах Бальдур фон* (р. 1907) — один из руководителей и идеологов нацистского молодежного движения, автор стихотворений и песен в нацистском духе; с 1931 г. носил титул «вождь имперской молодежи», позднее — имперский министр, в 1946—1966 гг. сидел в тюрьме как военный преступник.

294 *«Симпатизант»* — в данном случае: человек, не симпатизирующий нацистам.

295 *Лангемарк* — бельгийский поселок, за овладение которым велись кровавые сражения в 1914 и 1917 гг.

*Штудиепрат* — звание учителя гимназии.

- 296 *Вариации Розария* — цикл католических молитв.
- 297 *Ян Фридрих Людвиг* (1772—1852) — общественный деятель периода антинаполеоновского освободительного подъема в Германии, организатор массового гимнастического движения в стране.
- 299 *Йост Ганс* (1890—1978) — немецкий писатель, в 1933—1945 гг. президент имперской палаты письменности, автор пьесы «Шлагетер» (1933), названной так по имени германского офицера Лео Шлагетера (1894—1923), устраивавшего диверсии на железных дорогах во время беспорядков в 1923 г. в Рурской области и расстрелянного по приговору французского военного трибунала. Пьеса зывала к немецкой «душе», к «голосу крови» и считалась «драмой национал-социалистской революции».
- Готхельф Иеремия* (наст. имя и фам. Альберт Битциус, 1797—1854) — швейцарский писатель.
- Во Ивлин* (1903—1966) — английский писатель.
- Блуа Леон* (наст. имя Мари Жозеф Каэн Маршнуар, 1864—1917) — французский писатель и критик.
- 301 *Лили Марлен* — героиня одноименного кинофильма, поставленного режиссером Райнером-Вернером Фасбиндером (1946—1982) в 1981 г. Тема фильма — бедствия простого человека в годы второй мировой войны.
- 305 *Гюрцених* — старинный концертный зал в Кёльне, назван по фамилии владельцев, организовавших первые концерты в 1827 г.
- Ашнемари* — невеста и затем жена Г. Бёлля.
- 306 *...эпопея с рассылкой рождественских веток*. — Рождественская ветка — веточка без листьев, раскрашенная цветной бумагой и увешанная подарками; обычай дарить эти веточки на рождество был широко распространен в Германии.
- 307 *Хаас Моника* (р. 1909) — французская пианистка, часто гастролировавшая в Германии.
- 308 *Вайшигер Отто* (1880—1903) — австрийский писатель.
- Бергенгрюн Вернер* (1892—1964) — немецкий писатель, в 1937 г. был исключен из нацистской имперской палаты письменности.
- Лерш Генрих* (1889—1936) — немецкий писатель-католик, роман «Удары молота» был издан в 1930 г.
- 309 *Тиммерманс Феликс* (1886—1947) — бельгийский писатель и художник.
- Элло Эрнест* (1828 — 1885) — французский писатель.
- Шнайдер Рейнхольд* (1903—1958) — немецкий писатель-католик.
- Ле Форт Гертруда фон* (1876—1971) — немецкая писательница католического направления.
- Хеккер Теодор* (1879 — 1945) — немецкий эссеист, критик, переводчик.
- 310 *...оккупация Рейнской области*. — Гитлеровские войска вступили в демилитаризованную Рейнскую зону 7 марта 1936 г., нарушив Рейнский гарантийный пакт 1925 г., который устанавливал неприкосновенность германо-французских и германо-бельгийских границ, как они были установлены Версальским мирным договором 1919 г.

- 311 *Блук Ганс Фридрих* (1888—1961)— немецкий писатель, в 1933—1935 гг. президент имперской палаты письменности.
- 312 *СНД*— Союз немецких девушек.  
*Коллингские общины*— католические организации при монастырях, дававшие приют странникам.  
*Франк Леонгард* (1882—1961)— немецкий писатель, роман «Разбойничья банда» опубликован в 1914 г.  
*...надменность святого Генриха*.— Имеется в виду Генрих II (973 или 975—1024)— германский король и римский император (с 1014 г.), основавший в 1007 г. вместе со своей женой, королевой Кунигундой, епископство Бамберг. Генрих II был объявлен святым в 1146 или в 1152 г.
- 313 *Кестнер Эрих* (1899—1974)— немецкий писатель (ФРГ).  
*Хлодвиг I* (ок. 466—511)— король салических франков с 481 г., из рода Меровингов; завосвал Галлию, положив начало Франкскому государству.  
*...«обратню в рейх»*.— Имеется в виду разжигаемое нацистами движение немцев, живших в Польше, Чехословакии, Австрии, за «воссоединение» с «третьим рейхом».
- 314 *«Хорст Вессель»*— гимн нацистов Германии, названный по имени штурмовика Хорста Весселя (1907—1930), погибшего от выстрела в уличной схватке, но возведенного затем в ранг нацистского героя.  
*«Когда везде и всюду неверные сердца, один с тобой пребуду до самого конца»*— строки из «Духовных песен» Новалиса (перевод В. Микуневича).  
*Георге Стефан* (наст. имя и фам. Генрих Абелес, 1868—1933)— немецкий поэт, развивавший идеи и присмы символизма.
- 315 *Были ведь еще и Олимпийские игры*.— Речь идет об Одиннадцатых Олимпийских играх в Берлине, которые проходили 1—16 августа 1936 г.
- 318 *Тигеллин*— префект претории, приближенный Нерона.  
*Братья Юнгер*— Эрнст Юнгер (р. 1895)— немецкий писатель (ФРГ); Георг Фридрих Юнгер (1898—1977)— немецкий писатель (ФРГ).
- 319 *«Кёльские братья»*— католическое мужское общество в Кёльне, к которому нацисты относились неприязненно.
- 321 *«Рабочий фронт»*— официальная организация рабочих и служащих в фашистской Германии.  
*Менделевские законы*— законы (или правила), сформулированные австрийским естествоиспытателем Грегором Йоганном Менделем (1822—1884) в 1866 г. закономерности распределения в потомстве наследственных факторов, названных впоследствии генами.

## Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда

Опубликовано в еженедельнике «Цайт» 15 марта 1985 года. На русском языке впервые публиковалось в сокращении в «Литературной газете» 3 июля 1985 г.

- 326 *Старый Фриц* — так обычно называют короля Пруссии Фридриха II (1740—1786), но также и Фридриха Вильгельма I (1713—1740), скудно оплачивавших труды своих подданных.  
20 июля.— Речь идет о заговоре группы немецких офицеров, чиновников и монополистов против Гитлера и о покушении на него 20 июля 1944 г. Клауса фон Штауфенберга (1907—1944), начальника генерального штаба резервной армии, казненного в тот же день.
- 334 «*Симплициссимус*» — немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник, издававшийся с 1896 г. В 1942 г. закрыт гитлеровцами.
- 340 *Фильбингер Ханс* (р. 1913) — политический деятель ХДС, в 1966—1978 гг. премьер-министр земли Баден-Вюртемберг. В 1978 г. подвергается резкой критике общественности за свою деятельность в качестве судьи в конце второй мировой войны.  
*Кизингер Курт Георг* (р. 1904) — федеральный канцлер ФРГ в 1966—1969 гг., председатель ХДС в 1967—1971 гг.; сторонник реваншистско-милитаристского курса ФРГ.

### Каждый день умирает частица свободы

Интервью г. Бёлля западногерманской журналистке Маргарет Лимберг от 11 июня 1985 г., которое еженедельник «Цайт» опубликовал после смерти писателя (№ 31 от 26 июля), назвав его «политическим завещанием». На русском языке публиковалось в сокращении в «Литературной газете» 18 сентября 1985 г.

- 343 *Когон Ойген* (р. 1903) — немецкий политолог и публицист.
- 346 *План Маршалла* — предложенная государственным секретарем США Дж.К.Маршаллом в 1947 г. программа восстановления и развития Европы после второй мировой войны путем предоставления ей американской экономической помощи; вступила в действие в апреле 1948 г.

А. Гуггин



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аденауэр Конрад 36, 79, 316, 346  
Адлер Ганс Гюнтер 59, 66, 67, 69  
71, 72, 75, 76, 79  
Адорно Теодор 51, 140  
Айх Гюнтер 16, 73, 75, 76, 85, 86,  
94, 339  
Айхингер Ильзе 94  
Андерш Альфред 5, 95  
Ануй Жан 279  
Аристотель 49, 89  
Астуриас Мигель Анхель 141
- Баадер Андреас 133, 146  
Бабель И. Э. 19  
Бальзак Оноре де 63, 82, 139, 307  
Барбюс Анри 8, 314  
Бахман Ингеборг 62  
Бейс Йозеф 255  
Беккет Сэмюэл 71, 146  
Бенн Готфрид 48, 78  
Веньямин Вальтер 63, 64  
Бергенгрюн Вернер 308  
Бернадотт Фольке 330  
Бернанос Жорж 88, 299, 308  
Бехер Хауберт 313  
Бёлль Алоиз 284, 296, 298, 325,  
327, 329, 331, 337, 340, 341  
Бёлль Альфред 288, 300, 321  
Бёлль Аннемари 305, 326—328,  
330, 331, 334—336, 338—340, 342  
Бёлль Винсент 323, 327, 328, 341,  
342  
Бёлль Гертруда 307, 308, 321  
Бёлль Кристоф 325, 340  
Бёлль Мехтильда 307, 316, 331,  
334  
Бёлль Рене 323, 327, 328, 341, 342  
Бёлль Тилла 333, 334, 340, 342  
Биденкопф 161  
Бласс Эрнст 78  
Блок А. А. 19  
Блуа Леон 299, 306, 308, 312  
Блунк Ганс Фридрих 311  
Борм 160  
Борхерт Вольфганг 77, 79, 94,  
138
- Брентано Клеменс 91  
Брехт Бертольт 17, 49, 89  
Бронте Эмилия 88  
Брюнинг Генрих 281, 292, 311  
Буш Вильгельм 91—93
- Вайнингер Отто 308  
Вальден Маттиас 153  
Вальраф Гюнтер 11, 265, 270  
Веллерсхоф Дитер 128  
Венер 156  
Виланд Кристоф Мартин 91  
Вильгельм I 300  
Вич 347  
Во Ивлин 299, 309  
Вольф Карл 342  
Вулф Томас 82
- Галилей Галилео 55  
Гebbельс Йозеф 331  
Гегель Георг Вильгельм Фрид-  
рих 92, 266  
Гейне Генрих 81, 91  
Генрих II 312, 315  
Генрих VIII 23  
Георге Стэфан (наст. имя Генрих  
Абелес) 48, 314  
Гердер Иоганн Готфрид 91  
Геринг Герман 22, 278, 289, 290  
Герлингер 282  
Гесс Рудольф 341  
Гельдерлин Фридрих 63, 81, 92  
Гёте Иоганн Вольфганг 31, 64,  
81, 86, 91, 92  
Гиммлер Генрих 326, 328—331,  
334, 342  
Гинденбург Пауль фон 164, 281,  
292, 293  
Гитлер Адольф 8, 22, 112, 113,  
164, 281, 287, 289, 292, 298, 330,  
341, 345, 347  
Гоголь Н. В. 19, 92  
Голль Шарль де 94

Готхельф Иеремия 299  
Готшед Иоганн Кристоф 91  
Грасс Гюнтер 5, 10, 71, 88, 105,  
145, 158, 161  
Гримм Якоб и Вильгельм, бра-  
тья 46, 49, 66, 67, 324  
Грин Грэм 89  
Гроссман В. С. 20  
Гроше Роберт 305, 315—317

Даллес Аллен 342  
Дёблин Альфред 9, 63, 64, 118  
Джойс Джеймс 88  
Диккенс Чарльз 7, 18, 63, 82, 91,  
92, 121, 303, 308  
Димитров Георгий 290  
Достоевский Ф. М. 7, 19, 27, 82,  
88, 107, 121, 148, 306—308, 312

Есенин С. А. 19

Жан Поль (наст. имя и фам. Рих-  
тер Иоганн Пауль Фридрих)  
81, 87, 91—93, 95

Золльман Вильгельм 282

Йост Ганс 299, 311

Каас Людвиг 286  
Камю Альберт 145  
Карстенс 156.  
Кафка Франц 6, 48, 49, 65—67,  
78, 88, 95  
Кашниц Мария-Луиза 95  
Кёппен Вольфганг 5  
Кестнер Эрих 313  
Кизингер Курт Георг 340  
Кирхвенг Иоханнес 313  
Клаузер Теодор 292  
Клейст Генрих фон 64, 81, 92  
Клодель Поль 271, 308, 315  
Коган Ойген 343  
Кольбенхофф Вальтер 94  
Кольмар Гертруда 77, 78  
Копелев Л. З. 330  
Кройдер Эрнст 94  
Кролов Карл 95  
Къркегор Сёрен 340  
Кэги Адольф 56, 57

Ланггессер Элизабет 94  
Лей Роберт 281  
Ленц Зигфрид 5, 10, 95  
Лермонтов М. Ю. 19  
Лерш Генрих 308  
Лесков Н. С. 19  
Лессинг Готхольд Эфраим 91  
Ле Форт Гертруда фон 309  
Лондон Джек 280  
Лоренц Петер 126, 161, 163  
Люксембург Роза 11, 270

Майнхоф Ульрика 133, 146, 255  
Манн Генрих 20  
Манн Томас 9, 16, 20, 78, 82, 118,  
139, 344  
Маркард Каспар 314, 315  
Марк Карл 63, 81  
Маршалл Джордж Кэтлетт 346  
Маяковский В. В. 19  
Мерль Хильда 339, 342  
Миллер Артур 145  
Модель Вальтер 334, 341  
Мориак Франсуа 30  
Музиль Роберт 48  
Мэткаф Ральф 315

Небель Герхард 318  
Неруда Пабло (наст. имя Нефта-  
ли Рикардо Рейес Басуальто)  
141  
Ницше Фридрих 63, 81  
Новалис (наст. имя и фам. Фрид-  
рих фон Харденберг) 91  
Носсак Ганс-Эрих 5, 94

Оллснхауэр Эрих 36  
Оттен Карл 77, 78  
Оуэнс Джесси 315

Папен Франц фон 281, 292  
Пастернак Б. Л. 19  
Паунд Эзра 39  
Пушкин А. С. 19  
Пэш Шарль 90

Раабс Вильгельм 63, 64, 91  
Рем Эрнст 292  
Ремарк Эрих Мария 8, 9, 282, 314  
Ризе Адам 30, 32, 38  
Рихтер Ганс Вернер 94  
Роб-Грийс Аллен 88

Рокфеллер Нелсон Олдрич 23  
Роллан Ромен 20  
Рот Йозеф 78

Сабато Эрнесто 141  
Сартр Жан Поль 39, 107, 143,  
144, 145, 275, 276  
Свифт Джонатан 88  
Сенкевич Генрик 40  
Симон Клод 141  
Солженицын А. И. 145, 153, 154  
Сталин И. В. 10, 11, 214  
Стивенсон Роберт Льюис 88  
Стэк Клаус 270  
Элинджер Джером Дэвид 92

Тацит 301  
Теккерей Уильям Мейкпис 91  
Тигеллин 318  
Тиммерманс Феликс 309  
Толстой Л. Н. 18, 19, 20, 40, 82,  
88, 92  
Тракль Георг 281  
Тривенариус 278  
Трифонов Ю. В. 20  
Тухольский Курт 282, 311

Фаллада Ганс 6, 7  
Фейхтвангер Лион 9  
Фильбингер Ганс 340, 341  
Флобер Густав 96  
Фог Антон 342  
Фокс Гай 263  
Фолкнер Уильям 18, 36, 49, 88  
Фома Аквинский 145  
Фонтане Теодор 63, 64, 88, 139  
Франк Леонгард 312  
Фрингс Йозеф 315  
Фриш Эфраим 78

Хаас Моника 307  
Хайд Дуглас 46  
Хайнен Пауль 304  
Хайнес Эдуард 292  
Хеккер Теодор 309

Хемингуэй Эрнест 20, 40, 263  
Хлодвиг I 313  
Цезарь Гай Юлий 145  
Целан Пауль 94  
Цицерон 321

Честертон Гилберт Кит 82, 207,  
308, 311

Шагал Марк 221  
Шеель Вальтер 10  
Шельски Хельмут 157—162  
Шекспир Уильям 148  
Шёрнер Фердинанд 341  
Шиллер Иоганн Фридрих 91, 147  
Ширах Бальдур фон 293  
Шлагетер Лео 311  
Шлегель Фридрих 91  
Шлейхер Курт фон 281, 292  
Шлёндорф Фолькер 132  
Шмидт Арно 81, 88, 95, 103  
Шмиц Карл 298, 299, 337  
Шнайдер Рейнхольд фон 309  
Шнурре Вольф Дитрих 94  
Шрёрс Рольф 94  
Штебер Франц 311  
Штегувайт Гейнц 295, 311  
Штифтер Адальберт 16, 64, 66,  
67, 72, 73, 75, 81, 84, 87, 91, 95  
Штраус Франц Йозеф 125, 158,  
162  
Шульте Карл Йозеф 315

Эйнштейн Альберт 29  
Элло Эрнест 309  
Энсслин Гудрун 260  
Эшценсберггер Ганс Магнус 96

Ювенал Децим Юний 301, 318  
Юнг Эдвард 292  
Юнгер Фридрих Георг 318  
Юнгер Эрнст 48, 318

Ян Фридрих Людвиг 297  
Яноух Густав 65

## Содержание

<i>Т. Мотылева</i> Сопричастность. . . . .	5
*О самом себе. <i>Перевод Л. Луизиной</i> . . . . .	22
В защиту домовой прачечной. <i>Перевод В. Седельника</i> . . . . .	25
У нас в стране. <i>Перевод Н. Литвицеу</i> . . . . .	29
Беседа со студентами. <i>Перевод В. Седельника</i> . . . . .	39
Франкфуртские лекции. <i>Перевод А. Карельского</i> . . . . .	42
Три дня в марте. Беседа Генриха Бёлля с Кристианом Линдером. <i>Перевод М. Рудницкого</i> . . . . .	96
*Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	167
Спустя десять лет. Послесловие к новому изданию «Потерянной чести Катарины Блюм». <i>Перевод Е. Кацевой</i> . . . . .	249
Донссения о мировоззренческом состоянии нации. <i>Перевод С. Шлапоберской...</i> . . . . .	254
Что станется с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной части. <i>Перевод М. Рудницкого</i> . . . . .	277
Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда. <i>Перевод Е. Кацевой</i> . . . . .	323
Каждый день умирает частица свободы. <i>Перевод Е. Кацевой</i> . . . . .	343
Комментарии. <i>А. Гугниш и А. Карельский</i> . . . . .	352
Указатель имен . . . . .	364

---

### Генрих БЁЛЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ УМИРАЕТ ЧАСТИЦА СВОБОДЫ

Составитель Евгения Александровна Кацева. Редактор *Л. Н. Григорьева*. Художник *В. И. Левинсон*. Художественный редактор *В. А. Пузанков*. Технические редакторы *Л. Ф. Шкилевич, Л. В. Житникова*. Корректор *Н. И. Шарганова*.

ИБ №16874. Сдано в набор 10.04.88. Подписано в печать 2.01.89. Форма г 84 × 108<sup>1/2</sup>. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Условн. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отг. 19,53. Уч.-изд. л. 23,66. Тираж 50 000 экз. Заказ № 547. Цена 1 р. Изд. № 44757. В книге использованы архивные документы.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119841, ГСП, Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 17.

Можайский полиграфкомбинат В / О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Можайск, ул. Мира, 93.

**ЗАРУБЕЖНАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

**ВЫШЛИ В СВЕТ:**

А. Р. Вильямс (США)  
А. Моруа (Франция)  
Я. Гашек (Чехословакия)  
Э. Хемингуэй (США)  
Ж. Р. Блок (Франция)  
Ф. С. Фицджеральд (США)  
Т. Кайко (Япония)  
Г. К. Честертон (Великобритания)  
М. Иванов (Чехословакия)  
А. Карпентьер (Куба)  
Ч. П. Сноу (Великобритания)  
Э. Э. Киш (Чехословакия)  
Н. Христозов (Болгария)  
Л. Новомеский (Чехословакия)  
М. Твен (США)  
Й. Рыбак (Чехословакия)  
Ф. Мориак (Франция)  
А. де Сент-Экзюпери (Франция)  
М. Фриш (Швейцария)  
Ф. Гарсия Лорка (Испания)  
Л. Мештерхази (Венгрия)  
Дж. Рид (США)  
Г. Гессе (Швейцария)  
К. Оэ (Япония)  
И. Тауфер (Чехословакия)  
Ф. Вольф (ГДР)  
Дж. Пристли (Великобритания)  
Ж. Сименон (Франция)  
Г. Вальраф (ФРГ)  
Ж. Бернанос (Франция)

**ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:**

Э. Кош (Югославия)  
Т. Вулф (США)  
Э. Канетти (Австрия)

# Генрих БЕЛЛЬ

“Хоть я и пишу один на один с листом белой бумаги, набором очиненных карандашей и пишущей машинкой, я никогда не чувствую себя одиночкой; напротив, я всегда ощущаю свою связанность с другими, свою сопричастность — сопричастность времени и современникам, всему тому, что было пережито, испытано, видно и слышано моим поколением и что в плане автобиографическом редко и лишь в самой приблизительной степени бывает настолько характерным, чтобы для него нашлись точные слова”.

Франкфуртские лекции

ИЗДАТЕЛЬСТВО “ПРОГРЕСС”